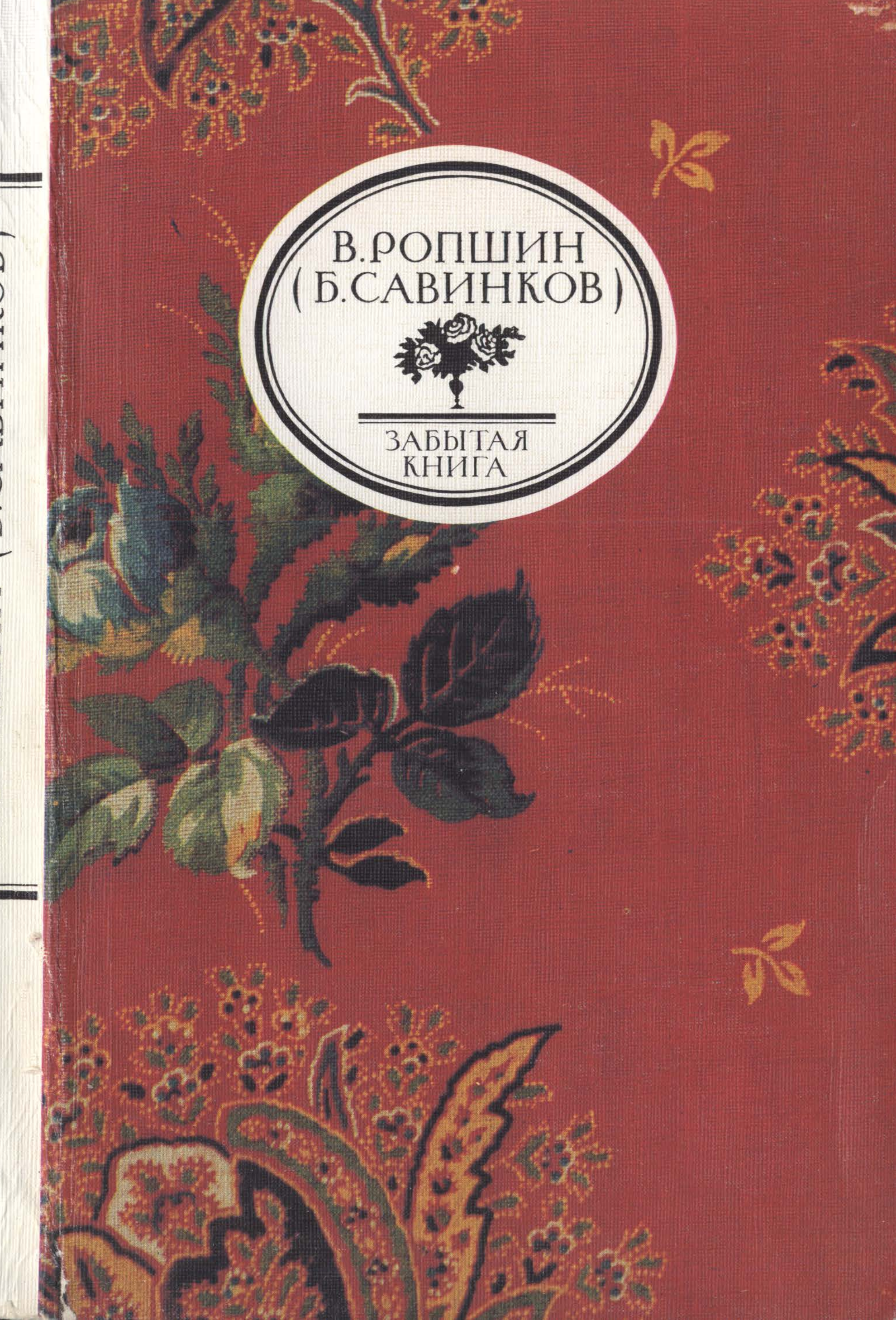


В. РОПШИН
(Б. САВИНКОВ)
ЗАБЫТАЯ
КНИГА
В. РОПШИН (Б. САВИНКОВ)


ЗАБЫТАЯ
КНИГА

В. РОПШИН
(Б. САВИНКОВ)

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

Издание третье

Москва
«Задруга»
1918

В. РОПШИН
(Б. САВИНКОВ)

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

Роман



Москва
«Художественная литература»
1990

ББК 84Р1
Р73

Вступительная статья
Ю. Давыдова

Оформление художника
А. Семенова

Р $\frac{4702010101-175}{028(01)-90}$ без объявл.

ISBN 5-280-01326-9

© Издательство «Художественная литература», 1990 г.

САВИНКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ, ОН ЖЕ В. РОПШИН

Беглые заметки вместо академического предисловия

На севастопольской гауптвахте он ждал петли.

В камере на Лубянке ждал пули исполнителя.

И виселица, и расстрел причитались в точном соответствии с законом. В молодости — по законам Российской империи. В зрелости — по законам Российской республики.

21 августа 1924 года он приступил к письменным показаниям. Почерк был твердым, текст сжатым, как возвратная пружина браунинга.

«Я, Борис Савинков, бывший член Боевой организации ПСР [1], друг и товарищ Егора Созонова и Ивана Каляева, участник убийства Плеве, вел. кн. Сергея Александровича, участник многих других террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа, во имя его, обвиняюсь ныне рабоче-крестьянской властью в том, что шел против русских рабочих и крестьян с оружием в руках».

27 августа 1924 года Военная коллегия Верховного Суда СССР начала слушанием дело Савинкова.

29 августа председатель объявил заседание закрытым.

Савинкова Бориса Викторовича, 45-ти лет, приговорили к высшей мере наказания с конфискацией имущества.

Имущества не было. Конфискации подлежала жизнь.

К опытам этой жизни, напряженно-нервным, как снаряжение бомб в подпольной мастерской, обращался писатель В. Ропшин.

Ахматова сказала о чеховском «Рассказе неизвестного человека»: «Как это фальшиво, искусственно. Ведь Чехов совер

---

[1] Партия социалистов-революционеров (эсеров).

шенно не знает эсеров». Ропшин эсеров знал, ибо был Савинковым.

В его прозе много заемного? Пусть так. Зато фальши-то нет. Он изобразил Коня бледного. Конь вышел блеклым, но не пряничным. От него шибало потом и сукровицей погони.

Из глубины сибирских руд отозвался читатель, каторжанин-террорист: искренностью и силой взволнован до глубины души; все писано слезами и кровью сердца; нет ни одного не выстраданного слова.

Имя этого читателя Савинков назвал в первых строках своих августовских показаний 1924 года.

За двадцать лет до того они с Егором Созоновым готовили покушение на министра внутренних дел, статс-секретаря и сенатора Плеве.

Идеалом Плеве была вечная мерзлота политического грунта. Ему говорили, что со дня на день возможна студенческая демонстрация, он отвечал: «Высеку». Ему говорили, что в демонстрации примут участие курсистки, он отвечал: «С них и начну». Надо бы уточнить. Начинал Вячеслав Константинович — и продолжал — не розгами, а кандалами и эшафотами. Символ всего сущего он видел в параграфах инструкций. Он был столь же фанатичным бюрократом, как и свирепым шовинистом. Именно Плеве разгромил украинских мужиков-повстанцев. Именно Плеве подверг военной экзекуции грузинских крестьян. Именно Плеве науськивал погромщиков на еврейскую голытьбу. Именно Плеве гнул долу финляндцев. И желая воздать должное коренным подданным, утопил русских матросов в пучинах Цусимы, русских солдат загубил на сопках Маньчжурии: именно Плеве подвизался в дворцовом круге рьяных застрельщиков Русско-японской войны.

— Я сторонник крепкой власти во что бы то ни стало, — бесстрастно диктовал он корреспонденту «Матэн». — Меня ославят врагом народа, но пусть будет, что будет. Охрана моя совершенна. Только по случайности может быть произведено удачное покушение на меня.

Интервью французскому журналисту дал Плеве весной 1902 года, усаживаясь в министерское кресло. Озаботившись личной безопасностью, он, что называется, брал меры: уже возникла эсеровская Боевая организация. Отметим претонкое обстоятельство — Плеве рассчитывал и на сверхсекретного агента-провокатора, фактического руководителя боевиков.

Эта надежда взорвалась вместе с метательным снарядом.

Июльским утром девятьсот четвертого года в Петербурге группа Савинкова настигла карету министра на Английском проспекте. Плеве сразила бомба Егора Созонова, тяжко израненного ее осколками.

Эхо разнеслось всероссийское. Не станем цитировать ни революционеров, ни левых интеллигентов. Не потому, что страшен зубовный скрежет новоявленной генерации монархистов, а для того, чтобы рельефнее обозначить общую реакцию на чрезвычайное происшествие.

Князь М. В. Голицын, отнюдь не левый и уж, само собой, не инородец, писал в своих неопубликованных мемуарах: «Признаться, никто его не пожалел. Он душил всякую самую невинную инициативу общества». В мемуарах Сухотиной-Толстой читаем: «Трудно этому не радоваться».

Если ей было трудно не радоваться, то как было не ликовать Борису Савинкову? Нет, не ликовал.

Литератор, не раз встречавший Савинкова, резкими штрихами портретировал Бориса Викторовича: сухое каменное лицо, презрительный взгляд; небольшого роста, одет с иголочки; не улыбается, веет безжалостностью. Однако подпольщица, отнюдь к сантиментам не склонная, увидев сокрушителя Плеве, навсегда запомнила мертвенное лицо потрясенного человека. Весь его облик она сравнила с местностью после потопа: и тот, прежний, и не тот, не прежний.

Но в седле он удержался. Устремляясь в атаку, не помышляют о келье для скорбящей души. И не озираются в поисках госпитального фургона.

Кровавое воскресенье девятьсот пятого года насквозь прожгло Боевую организацию. Народное шествие, осененное ликом Спасителя, торжественно-умиленное хоровым призывом к царю царствующих хранить царя православного, мирное шествие просителей, стекавшееся к Зимнему, было расстреляно, искромсано, разметано, растоптано.

Еще и сороковины не справили по невинно убиенным 9-го января, как группа Савинкова изготовилась к удару по династии. Кровь, пролитая на пути к Зимнему дворцу, отозвалась кровью, пролитой близ Николаевского дворца. В Кремле был убит генерал-губернатор Первопрестольной.

Бомбист, схваченный тотчас, объявил на первом же допросе:

— Я имею честь быть членом Боевой организации партии социалистов-революционеров, по приговору которой я убил великого князя Сергея Александровича. Я счастлив, что исполнил долг, который лежал на всей России.

Следователь по особо важным делам Головня, вероятно, поморщился от этого пылкого: «я счастлив». А может, и не поморщился. В архивном документе московской охранки зеркально отразилась Белокаменная: «Все ликуют».

Бомбист, однако, отказался назвать свое имя. То было правило боевиков: покамест установят твое имя, товарищи успеют скрыться. И верно, группа Савинкова не пострадала. Перелистывая архивную связку, некогда хранившуюся в Особом отде-

ле департамента полиции, убеждаешься в энергии розыска. Но лишь в середине марта прилетела депеша из Варшавы: «Убийца великого князя несомненно упоминаемый циркулярами 1902 г. №№1907, 5000 и 5530 Иван Платонов Каляев, приятель Бориса Савинкова».

Иван Каляев испытывал к Савинкову не просто дружество, а «чувство глубочайшего восторга» — утверждает боевик, вблизи наблюдавший и того, и другого. Восторг этот можно, конечно, отнести на счет натуры Каляева — впечатлительной, чувствующей свежо и сильно; недаром прозвали его «Поэтом». Но ведь и Савинкову надо ж было обладать чертами, решительно несовместными ни с презрительным взглядом, ни с жестокосердием.

Каляева удушили на эшафоте.

Виселицу сооружали ночью на мрачном каменистом острове, в Шлиссельбургской крепости. На дворе плотничали, в каком-то закутке покуривал палач, а в комендантском доме угощались военные и статские. Барон Медем, генерал, рассказывал «о многих казнях, свидетелем коих он был». (Сценку застолья воссоздал очевидец, прокурор, рукопись которого не опубликована полностью.)

Ночь стояла белая, майская.

«Дорогая, незабвенная мать, — писал осужденный. — Итак, я умираю. Я счастлив за себя, что с полным самообладанием могу отнестись к моему концу».

И — в последних строках: «Привет всем, кто меня знал и помнит».

Знали и помнили в городе Варшаве — улица Пенкная, 13, квартира 4. Там жили Савинковы.

Мать Каляева, овдовев, осталась с детьми почти без средств. Мать Савинкова пробавлялась на мужнину пенсию и на свои, не бог весть какие, литературные гонорары. Агентурная справка гласит: семья Каляевых сильно нуждается; ей помогает семья Савинковых.

В доме на Пенкной понятия «революция», «полицейщина», «деспотизм» не были отвлеченными. Старший сын погиб в якутской ссылке. Борис едва избежал участи Созонова, участи Каляева.

Его первый арест пришелся на вьюжное Рождество девяносто седьмого года. Ох, как нетерпеливо поджидали Бореньку, студента Петербургского университета. Он приехал. Мать радовалась: сыновья выходят в люди, младшие дети здоровехоньки. Мужем она гордилась. Поляки называли его «честным судьей», это было высокой похвалой — легион мундирных русификаторов царства Польского не блистал ни честью, ни честностью.

Судья Савинков недурно изучил право. Увы, ему привелось полной мерой познать бесправие. Еще не притупилась боль от гибели первенца, как второй сын был увезен из Варшавы в Петербург, на Шпалерную, в тюрьму. Савинков-старший заболел, его отчислили из министерства юстиции. Им овладела мания преследования. Самая стойкая мания там, где неизбывна мания преследователей. Тенью скользил он по комнатам, губы дрожали: «Жандармы идут... Жандармы идут...»

Не будем задерживаться на тюремно-этапно-ссылочных перипетиях Савинкова. Не ахти как трудны они в сравнении с нашими недавними годинами. Примечательно вот что: Савинков начинал социал-демократом. В ссылке он написал статью «Петербургское рабочее движение и практические задачи социал-демократии». Статья, по слову Ленина, отличалась искренностью и живостью. А главное, совпадала с его размышлениями о том, что делать, ибо молодой автор прокламировал насущную необходимость «единой, сильной и дисциплинированной организации».

Однако, внеся свой пай в изначальный капитал «партии нового типа», Савинков вскоре изменил социал-демократии. Не овладели ли душой будущего Ропшина эмоции, созвучные замятинским? Евгений Замятин признавался: я был влюблен в Революцию, пока она была юной, свободной, огнеглазой любовницей, и разлюбил, когда она стала законной супругой, ревниво блюдущей свою монополию на любовь. Что-то эдакое чуется и в Савинкове, разве что в обратном варианте.

Расхожие представления угнетают одноцветностью. В таких представлениях большевик как бы держатель контрольного пакета с акциями-истинами, он на дружеской ноге с токарями-слесарями. Меньшевик — пенсне на местечковом носу — суетлив, труслив, трухляв, токаря-слесаря над ним потешаются. А эсер, этот взбесившийся мелкий буржуа, прикидываясь другом народа, носит косоворотку, и такой уж нервный, такой нервный, будто за пазухой у него адская машинка; он либо бомбист, злонамеренно мешающий развитию массового движения, либо нахал, дергающий за бороду Карла Маркса.

Да, эсеры держали курс на «обычную» парламентарную республику. Да, чаяли демократического самоуправления. Крупное коллективное землепользование видели лишь за горизонтами всевозможных коопераций. И смели полагать, что российский «капитализм еще не исчерпал своих положительных возможностей», а государственный социализм, учрежденный поспешно и судорожно, «провалится с треском».

Спору нет, они вели политический террор — и против тузов режима, и против мелких козырей с шевронами за беспорочную службу режиму. «Террорную работу» (тогдашнее выражение) считали они партизанскими действиями, прологом действия регулярных сил. Всю эту «работу» осуществляла од-

на — не единственная, — а одна из эсеровских организаций — Боевая. Вот она-то и была огнеглазой любовницей Бориса Савинкова.

Ровно год спустя после гибели Каляева, в мае девятьсот шестого Савинкова изловили. Арест произвели так, словно «поручик Субботин», прибывший в Севастополь, вот-вот взорвет и город, и корабли на рейдах. Филеры заломили ему руки, полицейский офицер уткнул в грудь дуло револьвера, солдаты вкруговую ощетинились штыками.

Савинкова доставили на главную гауптвахту. Был наряжен военный суд. Это ничего иного не означало, как только близость виселицы. Но все дальнейшее произошло словно в тюремных снах, пресекающих дыхание: верные товарищи, побег из-под стражи, парусный бот, бравый лейтенант и два дюжих матроса.

Счастливо разминувшись с броненосцем и миноноской, суденышко направилось к берегам Румынии.

Об одном из боевиков Савинков писал: «Он не представлял себе своего участия в терроре иначе, как со смертным концом, более того, он хотел такого конца: он видел в нем, до известной степени, искупление неизбежному и все-таки греховному убийству».

Такое же желание владело и Пьером Безуховым, решившимся заколоть Наполеона. «Пьер в своих мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с необыкновенною яркостью и с грустным наслаждением представлял себе свою погибель и свое геройское мужество».

Но Пьер и не помышлял о греховности убийства. На войне как на войне. А боевика, сколь бы он ни внушал себе — ты в тылу врага, — боевика пригнетало то, что он выслеживает жертву и нападает словно бы из-за угла. Э, усмехнутся скептики, бесы они, и шабаш. Полноте! И бесы веруют, говорит апостол. Интеллигентная девушка объясняла Савинкову: «Почему я иду в террор? Вам неясно? «Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю». — И, помолчав, прибавила: — Вы понимаете, не жизнь погубит, а душу».

Признавай иль не признавай религиозную струну в душе русского террориста имярек, но вот уж что решительно нельзя признать, так это русского почина в «террорной работе». И вовсе не потому, что апологеты родных осин клеймят русскую революционность печатью чужеродности. Кстати сказать, философ Н. Бердяев, ныне читаемый поспешно и жадно, числил национальной чертой и консерватизм, и революционность.

В конце 40-х годов текущего столетия дали команду бо-

роться за приоритет во всех «регионах» бытия. И боже мой, где только не носились мы выше всех, дальше всех, быстрее всех. Однако о первенстве в таком деле, как экстремизм, не заикались. Хотя именно здесь-то и достигли в сравнении с 1913 годом неслыханного энтузиазма и невиданной деловитости. Нет, не заикались. Но годы спустя такой «приоритетец» подарил нам американский историк Ричард Пайпс.

Ужасаясь современному западному экстремизму, и это естественно, он, будто привстав на цыпочки и вытянув шею, расслышал глухой гром над Петербургом — народовольцы убили Александра II. Расслышал и указал: вот откуда все пошло. (Сейчас, когда плюрализм цветет, как вешняя черемуха, нашлись в наших палестинах его единомышленники. Без них-то, говорят, без этих-то народников и прочих масонов, мы бы ого-го где бы уж были.)

Так вот, если историк забывчив, то История злопамятна. Спросите, и она назовет множество террористов, множество террористических актов, явившихся городу и миру задолго до кроваво-динамитного морока над Екатерининским каналом.

И совсем уж поразительно, что Р. Пайпс слона не приметил. Ведь императора убили в марте 1881 года, а в июле 1881 года убили президента США. Суть не в хронологии, а в сущности. Ее выставили народовольцы открыто, публично:

«Выражая американскому народу глубокое соболезнование по случаю смерти президента Джеймса Авраама Гарфильда, Исполнительный комитет считает своим долгом заявить от имени русских революционеров свой протест против насильственных действий, подобных покушению Гито».

Что за притча? Простая, все определяющая по своим местам. Там, где существуют политические свободы, демократическая государственность, там «политическое убийство есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей».

Коль скоро дух деспотизма упорствовал, то бомба, убившая царя, оставила в живых идею цареубийства. Савинков, мягко выражаясь, был ей не чужд.

Литературные критики правы: Л. Н. Толстой оказал сильное влияние на В. Ропшина. Может быть, и мы не ошибемся, указав на некоторое влияние автора «Не убий» на Б. Савинкова?

Когда венценосцев, писал Толстой, убивают по суду или при дворцовых переворотах, то об этом обыкновенно молчат. Когда убивают без суда, то это вызывает в династических кругах величайшее негодование. (Как выяснилось, не только в династических. Но об этом чуть ниже.) «Самые добрые из убитых королей, как Александр II или Гумберт, — продолжал Толстой, — были виновниками, участниками и сообщниками, — не говоря уже о домашних казнях, — убийства десятков

тысяч людей, погибших на полях сражений». И далее: должно удивляться, что их, королей, так редко убивают «после того постоянного и всенародного примера убийства, который они подают людям». Толстой перечисляет: ужасные усмирения крестьянских бунтов, правительственные казни, замаривания в одиночных камерах и дисциплинарных батальонах. И вот эти убийства, утверждает Толстой, «без сравнения более жестоки, чем убийства, совершаемые анархистами».

«Не убий» написано в девятисотом. Без малого 90 лет спустя крестьянский сын, московский писатель, предложил собравшимся единомышленникам почтить вставанием память Николая II. Нас не шокирует ни это предложение, ни это вставание. Вот только один вопрос. Отчего вслед за тем крестьянский сын, московский писатель, не предложил почтить память усмиренных мужиков, солдат, умученных в дисциплинарных батальонах, питерских фабричных, убиенных 9-го января?

С Николаем II расправились в Екатеринбурге летом восемнадцатого года. В наши дни встрепенувшаяся общественная мысль столь резва, что нет-нет да и бежит по кругу, так сказать, отбеганному. Имеем в виду пресловутую погоню за вездесущими «масонами». Иные ловцы, наделенные специфическим нюхом, усматривают в екатеринбургском изуверстве (ведь и детей изничтожили) ритуальное действо нехристей. Вот только опять вопрос. Не привлечь ли к ответу Александра Сергеевича Пушкина? Алиби у него есть, но есть за ним и криминальная угроза: «Тебя, твой трон я ненавижу,// Твою погибель, смерть детей// С жестокой радостию вижу». Максимализм молодости? Положим, так. Однако как же быть со слезинкой ребенка? Каляев, террорист, оглашенный, дважды подступал с бомбой к жертве своей, но в первый раз, заметив в карете великокняжеских детей, — отшатнулся...

Сторонники «ритуальной версии» указывают: над трупами царской семьи глумились; такое невподым крещеному человеку. Да, глумились. Не только расстреляли, а и горючим облили, и... Язык немеет. Кромешный, как черная дыра, ужас. А невдолге после екатеринбургской трагедии труп Фанни Каплан, облитый бензином, жарко пылал в железной бочке под сенью Александровского сада. Кремацию спроворил матрос, комендант Кремля П. Д. Мальков. Пособлял ему случившийся рядом пролетарский стихотворец Демьян Бедный. Оба, кажись, не инородцы. А куда было податься коменданту, ежели еврей Свердлов не хотел осквернить нашу землю погребением еврейки Каплан? Тут-то, надо полагать, матросу и вспомнилось, как в марте Семнадцатого заживо кремировали в корабельных топках кронштадтских офицеров.

Нет уж, граждане, плуг истории, ржавый от крови, вспахивал не этнические, а совсем иные сущности.

Если Пушкин «видел», то Лермонтов предвидел: «Настанет год, России черный год,// Когда царей корона упадет; //Забудет чернь к ним прежнюю любовь,// И пищей многих будет смерть и кровь; //Когда детей, когда невинных жен //Низвергнутый не защитит закон».

Бакунин, дворянин, и Желябов, крестьянин, не разногласили: в груди народной — лавина ненависти. Ой ли, всполохнутся ревнители корней и почвы, ведь когда эти-то, как их бишь, убили Александра Освободителя, опечалилась, пригорюнилась избяная Русь... Так точно, соотечественники, и опечалилась, и пригорюнилась, больше того — прокляла желябовых. Но вот почему: сочла желябовых за господ — царь нас от крепости избавил, царь бы и черный передел учинил, а господа-то и порешили царя.

Не так уж и много лет минуло, «чернь» сбежалась к месту происшествия: убит сын царя-освободителя, великий князь Сергей Александрович. При виде его останков, еще как бы дымящихся, никто не обнажил голову. «Все стояли в шапках», — сообщал в охранку уличный филер. Он же зафиксировал и похвалу злодеям: «Молодцы, ребята, никого стороннего даже и не оцарапали, чего зря людей губить». Какая-то салопница подобрала не то косточку, не то палец убитого, мастеровой прикрикнул: «Чего берешь, чай не мощи!» Кто-то пнул носком сапога студенистый комок: «Братцы, а говорили, у него мозгов нет!»

Что же это такое?

Известный в ту пору бунтарь, священник Григорий Петров предупреждал: «Николай Романов ни полушки права народу не даст. И тогда уже кровь. Море крови. Ожесточение». Так вот, ожесточение, пока еще огражденное частоколом штыков, но уже предвещающее екатеринбургское остервенение восемнадцатого года.

По поводу последнего — теперь, задним числом — все можно: и морализировать, и экранизировать, и тиражировать, и эпатировать. Но куда важнее владеть чутким сейсмографом, подмечающим работу закона исторического возмездия, пока она, эта работа, происходит в недрах вулкана. А футболисты, играющие в одни ворота после того, как игра сделана, мало чего стоят.

Если уж говорить о «ритуальности», то в розановском смысле: «дай полизать крови». В. В. Розанов писал об этом А. А. Блоку. Блок отвечал: «Страшно глубоко то, что Вы пишете о древнем «дай полизать крови». Но вот: Сам я не «террорист» уже по одному тому, что «литератор». Как человек, я содрогнусь при известии об убийстве любого из вреднейших государственных животных... И, однако, *так сильно озлобление* (коллективное) и так чудовищно неравенство положений — что я действительно не осужу террор *сейчас»*.

Летом девятьсот шестого года в тумане моря голубом белел одинокий парус, уносивший Бориса Савинкова, сорвавшегося с виселицы. А далеко на севере, в Гельсингфорсе, раздался клич: «Виселицу Николаю!» — на трибуне громокипящего митинга был Леонид Андреев.

Боевая организация изначально ощущала себя душеприказчицей Исполнительного комитета «Народной воли». И потому если народовольцы «устранили» Александра II, то эсеровские боевики помышляли об «устранении» его внука. Повторено стократ: в истории все приключается дважды — один раз как трагедия, другой раз как фарс. Социалисты-революционеры не были ни фарсерами, ни фразерами. Иное дело, не иллюзорной ли была преемственность?

Можно не мешкая выложить «пакет» с цитатами из высказываний политических оппонентов, как большевиков, так и меньшевиков. А можно прислушаться к сторонним голосам. И притом несколько неожиданным. Например, Лескова Николая Семеновича. К нему на сей счет никто, кажется, не обращался.

Многие боевики еще пешком под стол ходили, когда он, современник и отнюдь не сторонник народовольцев, горестно размышлял как раз о преемственности: «Сколько будет жертв, сколько самоотверженного мученичества!» Спрашивал: «Но верна ли сама тактика?» Отвечал: нет, ибо отзовется свирепой реакцией.

Позже именно о тактике высказался автор «Не убий». И не то чтобы менторски, а скорее деловито-практически. «Короли и императоры давно уже устроили для себя такой же порядок, как в магазинных ружьях: как только выскочит одна пуля, другая мгновенно становится на ее место». Но не на пулю, как таковую, возлагал Толстой ответственность, а на ружье, т. е. на «устройство общества».

«Нетеррористическая сторона революционной борьбы эсеров заслуживает и давно ждет специального исследования», — отметил в своем недавно опубликованном реферате студент Дмитрий Троицкий, трагически погибший в 1982 году. И верно, на прокрустовом ложе очень уж кратких курсов программе эсеров отрубили не ноги, а голову. Читателю времен перестройки и плюрализма было бы небесполезно познакомиться с их социально-экономическими концепциями.

Вернемся к тактике. Продолжая народовольческую, эсеры не замечали капитальное различие стратегической ситуации. Террор народовольцев — шаровая молния. Террор эсеров — спички, чиркающие во время грозы. Народовольцам досталась пора ледостава. Эсерам — досталась пора ледохода. Не будем иллюстрировать картинами общеизвестными. Спросим о частности: куда бы девался Леонид Андреев, выкликни он свой призыв в годины минувшие, а равно и нечто подобное в годины грядущие?

Но нет, эсеры не отрекались от тактики предшественников

А социал-демократы, признавая героизм народовольцев, писали и говорили: нам повторять их нельзя.

Этот решительный отказ от повтора весьма утешал охранку. Одним из первых спохватился жандармский генерал А. И. Спиридович. Читая по долгу службы «Искру», полную, по его собственному определению, «огня и задора», он, человек весьма неглупый, заключил, что «террор целого класса неизмеримо ужаснее группы бомбистов».

Тем временем, как уже говорилось, группа бомбистов ставила на повестку дня «центральный акт» — цареубийство. Он был сорван не столько потому, что в верхах партии нет-нет да и склонялись к пресечению террора, сколько потому, что был «центральный агент».

Заглавную роль сыграл случай, который не был случайностью, ибо всегда таится в лабораториях алхимиков революции. Маркс давным-давно предупреждал: заговорщики находятся в постоянном соприкосновении с полицией; небольшой скачок от профессионального заговорщика к платному полицейскому агенту совершается часто; заговорщики нередко видят в своих лучших людях шпиков, а в шпиках — самых надежных людей.

Именно так и произошло в Боевой организации. Лучшие люди, не выдерживая подозрений, накладывали на себя руки. А шпик-провокатор ходил в супернадежных.

Но вот что действительно поражает: он был вдохновителем и организатором всех побед. Он был нетороплив в поступках, и это казалось мудрой осмотрительностью. Он скупо ронял слова, и они казались весомыми. Он никого не любил, а казалось, что он любит всех. Низколобый и вроде бы сальный, он казался величественным.

В подполье его называли разными кличками. В департаменте полиции его подлинную фамилию — Азеф — держали под семью замками. Ни подполье, ни департамент не проникали до дна его «конспирации». Он плевал на теории правые и левые. Он обвел вокруг пальца охранку, спланировав убийства и своего шефа Плеве, и великого князя Сергея Александровича. Он околпачил Боевую организацию, отправив на эшафот многих боевиков. Кредит доверия и кредит денежный он черпал разом из двух корыт. Гибрид шакала и вепря? Зверь из бездны? Такие определения были бы в духе литературы черного романтизма, махровые цветы которой расцвели одновременно с азефщиной. Никакой бездны, никакого романтизма, ни красного, ни черного, никаких психологических сложностей и надрывов — циничный мерзавец с неисчерпаемым запасом мерзостей, и только.

Разоблачение Азефа кончилось публичным партийным признанием кровавых мерзостей столпа партии. Культ Азефа лопнул, распространилось зловоние.

Но важнее факта изобличения, важнее анафемы было то, что нашлись люди этим неудовлетворенные. Они сказали партии, кто она есть, их партия. Централизм породил верховников. Верховникам не прекословя внимали низы. Между первыми и вторыми возникла каста бюрократов. Искательство перед кастой называлось «любовью к партии», холопское подчинение касте — «партийной дисциплиной».

Это не было ни отступничеством, ни ликвидаторством, ни ренегатством. Мужественные критики, соединившие ее с самокритикой, не устранялись от борьбы за демократическую Россию. Но, справедливо говорили они, необходимо «помнить, что перед тем, как эмансипировать других, мы должны прежде всего эмансипировать себя — от своих заблуждений, от пережитков нравов, от пережитков мысли».

Все это происходило в девятом, десятом, одиннадцатом годах. Стало быть, принадлежит истории. Той самой, что повторяется дважды. Отчего же так плохо прослушиваются серьезные симфонии революции? Не потому ли, что на кандальной дороге, переименованной в шоссе Энтузиастов, их глушат бравурные марши?

Предательство Азефа словно бы расщепило и обуглило Савинкова. Как! Он — героический, неутомимый и несгибаемый, — он, в сущности, был «сделан» Азефом, точно гомункулус. Кровавый маклер, хоронясь за ширмой, дергал ниточки, а он, Борис Савинков, буревестник, черной молнии подобный, трепыхался над ширмой, словно чучело этой страшноватой птички.

Пытаясь разодрать нарывы самолюбия, он твердил о восстановлении престижа и чести партии. Сам же усомнившийся в методах «террорной работы» — устарели, несовершенны,— он тщился демонстрировать наличие пороха в пороховницах. Да вышел-то пшик. Без Азефа вышел пшик.

Это уж было совсем непереносимо. И кто знает, не служила ли беллетристика В. Ропшина спасительной соломинкой Б. Савинкову?

Годы спустя Сомерсет Моэм, знаменитый писатель и незнаменитый сотрудник британской разведки, в разговоре с Савинковым заметил, что террористический акт, должно быть, требует особого мужества. Савинков возразил: «Это такое же дело, как всякое другое. К нему тоже привыкаешь». Напускная бравада человека, носившего маску — сухое каменное лицо, презрительный взгляд безжалостных глаз.

Шесть лет кряду он не жил в эмиграции, а существовал. Существовал на руинах Боевой организации. Его воскресила весна Семнадцатого. Трон рухнул, Савинков ринулся в Россию.

Весна была бурной и краткой, как в тундре. «Караул устал», — объявил карнач. С Учредительным собранием было покончено. Так полагал матрос и ушел на гражданскую. Не так полагал Савинков и тоже ушел на гражданскую.

Он блокировался с направлениями любого оттенка, лишь бы антибольшевистское. Даже и с монархистами, полагая, что наши бурбоны чему-то научились. Савинков готов был признать любую диктатуру (включая, разумеется, собственную), кроме большевистской. Он верил, что любой победитель, кроме большевиков, реанимирует Учредительное собрание. Его энергия была из того разряда, что называют дьявольской. Он бросался за помощью к англичанам, французам, белочехам и белополякам. Он командовал отрядами карателей, бандами подонков, наймитами шпионами. Пути-дорожки «савинковцев» чадили пожарищами, дергались в судорогах казненных.

Уинстон Черчилль, лично знавший Бориса Савинкова, дал ему место в своей книге с выразительным заглавием: «Великие современники». Савинков, писал Черчилль, сочетал в себе «мудрость государственного деятеля, качества полководца, отвагу героя и стойкость мученика». Умный-то умный, да сильно ж хватил через край! Поневоле вспомнишь, что и на старуху бывает проруха...

Расшифрованная стенограмма савинковского судебного процесса взяла полтораста страниц убористого типографского текста. Едва ли не каждый пункт обвинительного заключения обеспечивал Савинкову «вышку».

На Лубянке его не корежили, не ломали душегубными пытками — еще до ареста он извелся в пытках душевных, что уже само по себе размывает клеймо оголтелого авантюризма. Снисхождения судей Савинков не испрашивал. Нет, объяснял, как медленно, шаг за шагом приблизился к роковому вопросу: а что, если я ошибся и русские рабочие и крестьяне действительно за н и х, действительно с н и м и?

Он не мог, не хотел вчуже скоротать остаток лет. Не думаем, что чекисты выманили его из-за рубежа, хотя «технически» так было: Савинкова «вели» на коротком поводке, он нелегально перешел границу, его без хлопот, без единого выстрела взяли в Минске. И все же, сдается, он пошел на зов иного манка: России, но не военного коммунизма, а нэповской.

И вот он в судебном зале.

— После тяжкой и долгой кровавой борьбы с вами, борьбы, в которой я сделал, может быть, больше, чем многие и многие другие, я вам говорю: я прихожу сюда и заявляю без принуждения, свободно, не потому, что стоят с винтовкой за спиной: я признаю безоговорочно Советскую власть, и никакой другой.

А в последнем слове добавил:

— Для этого нужно было мне, Борису Савинкову, пере-

жить неизмеримо больше того, на что вы можете меня осудить.

Осудили на расстрел с конфискацией имущества. За отсутствием имущества — конфискации подлежала жизнь, в сущности, уже прожитая.

Это было 29 августа 1924 года, в час с четвертью пополудни. Пять часов спустя ему вручили постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. Высшая мера наказания заменялась десятью годами лишения свободы.

Сонмы приговоренных получали нечто другое — девять граммов свинца. Получали, ни на унцию не совершив совершенное Савинковым. В чем тут дело? Где зарыта собака?

Смеем полагать, все решено было загодя. Иначе о смягчении наказания не стал бы ходатайствовать председатель суда В. В. Ульрих, столь же неумолимый, сколь и послушный.

Савинков обладал весом и престижем в эмиграции; даже в том узком сановном кругу, который брезгливо называл его «убийцей» за деяния дореволюционные, не отказываясь, впрочем, от сотрудничества с ним в деяниях послереволюционных.

Гласная капитуляция Савинкова перед Советами, продолженная в письмах из внутренней тюрьмы, могла в известной степени воздействовать на эмиграцию. Какова бы ни была эта степень, игра стоила свеч.

Нисколько не витийствуя, он убеждал и призывал бывших друзей прекратить борьбу с русским народом и российской компартией, возрождающих страну на путях новой экономической политики. Он, в частности, писал: «Не знаю, читали ли вы отчеты о заседаниях съездов ВЦИК и проч. Но я, читая их, был изумлен тем мужеством, с которым в них говорилось о недостатках советской власти». И далее: «Но допустим, что комунисты «врут». Я утверждаю, что если это даже на 3/4 так, то и тогда не подлежит никакому сомнению, во-первых, что советская власть делает все возможное для восстановления экономического положения России и, во-вторых, что ей это в значительной мере удается». И еще: «Запомните, коммунисты завоевали «середняка», т. е. огромное большинство крестьянского населения, — того «середняка», который испытал на себе прелести «белого» рая и «зеленой» борьбы и который спокойный пашет теперь свою землю».

Когда Савинков напечатал «Коня бледного», Егор Созонов был поражен выстраданностью каждого слова. Однако другие каторжане-читатели называли автора «отступником», «иудой». Теперь, когда письма Савинкова благополучно достигали зарубежных адресатов, одни говорили, что он попал в переплет и выкручивается, другие выжигали на его челе тавро второго Азефа, третьи, немногие, находили эти письма искренними.

Как бы ни было, один из тех, кто ни на понюх табаку не внял его голосу, признавал на страницах английской «Морнинг

пост»: Савинков «сознательно и безоговорочно перешел на сторону своих бывших врагов», помог им «нанести тягчайший удар антибольшевистскому движению и добиться крупного политического успеха, который они сумеют использовать как во вне, так и внутри страны». Мавр сделал свое дело. И теперь...

Он не «выкручивался», он верил в Россию нэповскую. Может, однако, показаться странным, если не чудовищным, одно обстоятельство: Савинков ни словом единым не порицал «террорную работу».

А ведь именно в этот — 1925 — год могикане революционного движения, не принадлежащие к правящей партии, доживая век на пенсионном покое, обратились в президиум ЦИК СССР с пространным заявлением. Кричащий документ, давно обнаруженный нами в архиве, дождался своего часа и должен быть опубликован полностью. Здесь же ограничимся выдержкой:

«Если расстрелы без суда, всегда несправедливые и страшные, возможны в исключительные моменты государственной жизни, когда открытая война, внешняя или внутренняя, уничтожает границы между нормальным государственным строем и полем битвы, то разве такое время мы теперь переживаем?» И далее: «Дело в том, что смертная казнь и административная форма ее применения вошли в нравы управляющих. Дело в том, что этот упрощенный и легкий способ управления сделался своего рода нормой, пропитал сверху донизу наш новый *бюрократический аппарат* и обесценил человеческую жизнь как в представлении управляющих, так и в сознании управляемых».

Ни звука об этом не проронил Савинков. Странно, чудовищно? Разумеется, если не брать на заметку то, что Савинков по сути своей как был, так и оставался террористом. В упомянутых письмах он говорил, что встретил на Лубянке «не палачей и уголовных преступников», а «убежденных и честных революционеров, тех, к которым я привык с моих юных лет». И еще: «Они напоминают мне мою молодость — такого типа были мои товарищи по Боевой Организации».

Савинков забыл, что в дорожном мешке истории немало зловещих сарказмов.

Сын Савинкова, Виктор, носил фамилию матери. Его мать, жена Савинкова, была дочерью писателя Глеба Успенского, великого мученика совести.

Виктор Успенский приезжал из Ленинграда на свидания с отцом. Савинков однажды сказал: услышишь, что я наложил на себя руки, — не верь.

В мае 1925 года он ходатайствовал об освобождении вчистую. Савинкову дали понять, что надежда слабенькая. Мавр, сделавший свое дело, вероятно, осознал, сколь жестоко он об-

манут. Нам неизвестно, получил ли Савинков ответ на свое ходатайство. Известно другое: в мае 1925 года газеты сообщили о его самоубийстве.

Варлам Шаламов, многолетний колымский каторжанин, поэт и прозаик, известный ныне всему читающему миру, рассказывал: Савинкова сбросили в пролет тюремной лестницы. Так, умирая, исповедуясь, шепнул Шаламову лагерный доходяга, бывший латышский стрелок.

И это савинковское «не верь», и этот рассказ В. Т. Шаламова передаем со слов здравствующей внучки Германа Лопатина, выдающегося демократа отдельно взятой страны, не имеющей демократических традиций.

А Виктор Успенский, добрый знакомый Е. Б. Лопатиной, погиб в кровавом потоке. В том потоке, что захлестнул многострадальный город после «террорной работы» в Смольном.

Зловещие сарказмы истории не выдумка историков.

Юрий Давыдов

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

Памяти М. А. П.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

За границей Андрей Болотов испытывал ту же тревогу, какую испытывает ревнивый хозяин, доверив в чужие руки хозяйство. Огромная, разбросанная по всей России, партия, со своими динамитными мастерскими, тайными типографиями, боевыми дружинами, областными и губернскими комитетами, крестьянскими братствами, рабочими группами, студенческими кружками, офицерскими и солдатскими союзами, со своими удачами, поражениями, стачками, демонстрациями, интригами и арестами, казалась ему большим и сложным хозяйством, требующим всегда прилежного глаза. Он не понимал, что и товарищам его, — старику Арсению Ивановичу, доктору Бергу, Вере Андреевне, Аркадию Розенштерну и многим другим, — партия тоже представляется цветущим хозяйством, но не его, Болотова, хозяйством, а любого из них. Но если б он это и понял, он бы не мог измениться. Он бы не мог перестать чувствовать то, что единственно давало силу работать и жить «нелегально», то есть работать и жить без семьи, без угла и без имени, и безбоязненно ожидать тюрьмы или смерти. Только затаенная уверенность, что партия — мать революции и что он, Андрей Болотов, самый верный, самый послушный, самый самоотверженный ее член, — уверенность, что без него, без хозяина, партия распадется и хозяйство его обнищает, давала ему эту силу. Поэтому он не только не отдыхал, но испытывал ту тревогу, какую испытывает каждый хозяин.

Когда Болотов закончил дела за границей и настало время возвращаться в Россию, тревога эта достигла крайнего напряжения. Он уверенно знал, что товарищи продолжают раздавать запрещенные книги, печатать

воззвания, устраивать забастовки и изготавливать бомбы. Он знал, что те люди, которые по самым разнообразным причинам собрались вместе и создали живое и многосложное целое, партию, продолжают, как муравьи в муравейнике, делать свою незаметную и необходимую им работу. И все же ему с жестокой отчетливостью казалось, что на этот раз, вернувшись домой, он найдет жалкие развалины того, что оставил: разрушенный и смятый дерзким врагом муравейник.

Уже давно прошло трудное время, когда он чувствовал страх. Как моряк привыкает к морю и не думает, что утонет; как солдат привыкает к войне и не думает, что будет убит; как врач привыкает к тифу или чахотке и не думает о заразе, — так и Болотов привык к своей безыменной жизни и не думал, что его могут повесить. Но где-то в глубине усыпленной души жило темное и многотревожное чувство, — то самое, которое не покидает ни моряка, ни врача, ни солдата. Повинуясь ему, Болотов безотчетно, по кучной привычке, следовал «конспирации» Он не прятался от родных и знакомых, а просто не мог бы понять, как можно без нужды, для развлечения видеться со знакомыми и родными. Он не умалчивал о партийных делах, а просто не мог бы понять, зачем говорить о них с посторонними. Он не чуждался каждого нового человека, а просто не мог бы понять, как можно верить первому встречному. Он не видел, что все его отношения с людьми, начиная с дворников и швейцаров и кончая матерью и отцом, построены на боязни, на усердном желании скрыть те подробности жизни, которые единственно занимали его. Но если б он это увидел, он бы не мог жить иначе. Он сказал бы себе, что эта ложь праведна, ибо только строгою тайною охраняется партия, то есть необходимое для революции, его хозяйство.

Еще у всех были в памяти убийство Плеве, кровавое воскресенье, взрыв 4-го февраля, и Ляоян, и Порт-Артур, и Мукден. Все старые и молодые, чиновники и рабочие, военные и студенты, сторонники правительства и социалисты одинаково чувствовали, что происходит что-то новое, небывалое и потому страшное: колеблется ветхий, привычный, веками освященный порядок. Но хотя все это чувствовали, все продолжали жить как всегда: своими ничтожными житейскими интересами. Так же, как все, жил и Болотов. Он читал в революционных листках и сам писал в партийных газетах, что

«народ пробудился», что «уже гордо поднято красное знамя» и что «недалеко то время, когда падут оковы самодержавия». Но он читал и писал это не потому, что понял величавый смысл совершавшихся в то время событий, а по многолетней привычке говорить и писать именно эти слова. Зоркий хозяин, он давно заметил рост своей партии и, заметив его, уверовал в неотвратимую и победоносную революцию. Победы правительства он предвидеть не мог; он думал, что восстанут крестьяне, сто миллионов русских крестьян. И, думая так, он был занят своим ежедневным хозяйским делом, и пока он был занят именно им, он действительно был полезен той революции, в которую верил.

В Берлине, накануне отъезда в Россию, он сбрил бороду, выбрал английское, темное, не бросающееся в глаза пальто, снял улику — широкополую шляпу — и надел котелок. Не отдавая себе отчета, он сделал это тщательно и обдуманно. Ему нужно было слиться с толпой; слиться с толпой и быть таким, как и все, — значило избежать досадного «наблюдения».

Уже сидя в вагоне, он купил не любимый социалистический «Vorwarts», а бульварную, чужую ему газету. По привычке закрывшись ею, он просмотрел телеграммы. На первой странице было крупными буквами напечатано: «Гибель русской эскадры».

Когда Стессель сдал Порт-Артур и потом, после рокового Мукдена, — Болотов не испытал ничего, кроме радости. Всякую войну он считал преступлением, во всякой войне видел бойню, всегда вредную и жестокую. Но если бы кто-нибудь спросил, что он думает о японской войне, он бы без колебания ответил, что японская «авантюра» хотя и жестока, но полезна. Он бы не мог ответить иначе. Он думал, что поражение России — поражение самодержавия, победа японцев — победа революции, то есть победа партии; то есть его, Болотова, победа. Противоречия этих двух мнений он не видел, как не видел никто, кто слушал на митингах его речи.

Но теперь, прочитав телеграмму, он не испытал радости — знакомого и немного стыдного чувства своей победы: в эскадре Рожественского служил его брат, лейтенант флота, Александр Болотов.

«Как только дым пронесло, — телеграфировал немецкий корреспондент, — бой возобновился с удвоенной силой. Все японские корабли сосредоточили огонь на броненосце «Ослябя», и скоро «Ослябя», весь в пламени,

вышел из строя. Пожары начались и на «Суворове», и на следовавшем за ним «Александре». Потом загорелось «Бородино» и другие суда. Все японские силы были в полном составе, и так продолжался бой до 2 ч. 20 м. пополудни. В 2 ч. 50 м. «Ослябя» пошел ко дну».

Болотов закрыл глаза. Он попытался вообразить, как идет ко дну броненосец. Однажды, в океане, у французского берега, он заметил затонувшую шхуну: вершины двух сиротливых мачт. И теперь, воображая «Ослябю», он невольно видел перед собою этот неизвестный корабль. Он знал, что на затопленном броненосце погибло в море несколько сот молодых и здоровых людей. Как социалист и революционер, он должен был возмутиться, — возмутиться тем, что он называл преступною бойней. Но не было возмущения: он не мог представить себе ни разгрома эскадры, ни разбитых, горящих судов, ни гибели «Осляби», ни простой и страшной матросской смерти. Газетная телеграмма оставалась сухим клочком печатной бумаги.

«Когда вышли из строя «Суворов» и «Александр», — читал Болотов дальше, — корабли повел броненосец «Бородино», оставшийся головным. «Суворов», охваченный пламенем, все еще продолжал бой, но вскоре, под японским огнем, потерял переднюю мачту и обе трубы. Находившийся на «Суворове» главнокомандующий адмирал Рожественский еще в начале боя был ранен осколком и передан на дестройер «Буйный». Командование перешло к адмиралу Небогатову. В 7 ч. вечера начался сильный пожар на «Бородине», и он, весь в пламени и дыму, пошел ко дну».

Болотову вспомнился его брат, невысокий, широкоплечий молодой офицер во флотском мундире. О брате он думал редко. Он знал, что брат на войне, на Дальнем Востоке, и не сочувствует революции. Этого было довольно. Было некогда думать о том, что непосредственно не касалось возлюбленной партии. Но теперь стало жутко: «Не убит ли... Кто?.. Брат?.. Саша?.. Не убит ли Саша там, в Цусимском бою?..»

И отчетливо, во всех подробностях, ясно, как иногда бывает во сне, встала перед его глазами картина боя. Вот тяжелый, черный, израненный броненосец. Расстреляны трубы. Разбиты пушки. Раздроблены мачты. Но еще вьется Андреевский флаг... А вот бледный, в изорванном мундире, весь в крови Саша. Даже видно, где он лежит: на горбатой и мокрой железной палубе, навз-

ничь, у правой кормовой башни. Даже показалось, что качнуло корабль и через полузатопленную корму с плеском бьют волны. Даже был слышен этот гремучий плеск.

«Адмирал Небогатов, — уже не понимая слов, читал Болотов, — поднял сигнал о сдаче, и четыре русских броненосца: «Николай I», «Орел», «Апраксин» и «Сенявин», 16 мая в 10 ч. 30 м. утра сдались японской эскадре».

«...Саша убит... Неужели Саша убит?..» И снова четко вспомнился брат, каким он видел его в последний раз в Петербурге на Невском в осенний холодный и солнечный день. Спокойные, молочно-голубые глаза и насмешливая улыбка: «Прощай, Андрюша, нам с тобою не по дороге...» Вспомнился и свой жестокий ответ. И захотелось вернуть этот солнечный день, свои озлобленные слова, и обнять, и забыть, — как казалось теперь, — напрасную рознь.

Поезд, свистя, загремел буферами. Блеснули мутные фонари. Мелькнули серые шинели жандармов. В вечернем воздухе странно прозвучали русские голоса. Граница. Александрово.

Болотов бросил газету. Стараясь не думать ни о Цусимском бое, ни о Небогатове, ни о брате, ни об «Ослябе», он пошел к дверям таможенной залы. Высокий, бритый, худой, с сигарой в зубах, он напоминал англичанина. И действительно, у него в кармане был английский паспорт: Генри Мак-Мюк. В тесной, полной жандармов, зале было жарко и скучно ждать. И его доброе и твердое, с такими же, как у брата, голубыми глазами, лицо, не выражало ничего, кроме брезгливой скуки.

Утром, уже из Варшавы, он дал телеграмму в Берлин: «Alles bezahlt», что значило: «проехал благополучно».

II

Приехав с утренним поездом в Петербург, Болотов в тот же день под вечер, когда стемнело, позвонил в пятом этаже громадного дома на Лиговке. Еще из прихожей, снимая пальто, он услышал сухой и резкий, надтреснутый бас Арсения Ивановича. Отвечал ему чей-то другой, взволнованный голос.

— Да нет, что же тут страшного? — внушительно говорил Арсений Иванович. — Страшного, кормилец, я

не вижу тут ничего: вода не на их, а на нашу мельницу. Третьего дня — Порт-Артур, вчера — Мукден, сегодня — Цусима. Кто в барышах? Японцы? Не одни только японцы... Я — человек старый, а я вам скажу: к осени армия будет наша. Вы думаете, у нас там нету людей? Есть, кормилец, найдутся. Наши люди всюду пройдут... где прыжком, где бочком, где ползком, а где и на карачках... — прибавил он весело и засмеялся.

Болотов уже много лет знал Арсения Ивановича. Арсений Иванович, бодрый, белый как лунь старик, был один из основателей партии. Он гордился тем, что отец его был крестьянин и что сам он в юности пахал землю. Но от этого былого крестьянства остались только мудреные поговорки, слово «кормилец», густая, лопатою борода да незыблемый авторитет человека, не из книг, а из жизни знающего деревню. «Мое слово — олово», — часто говаривал он, и его слову верили и ценили его.

— Что значит?.. Я не о том, — горячился молодой, незнакомый голос. — В этом я с вами согласен... Я спрашиваю: как можно служить? Разве социалист может служить в войсках?.. странно... Когда это прин-ци-пи-ально недопустимо...

И вдруг тут, в полутемной, чужой прихожей, между грязными шляпами и пальто, перед Болотовым снова в мельчайших подробностях ясно встала картина бесславного боя. Вот тяжелый, черный, четырехтрубный корабль. У правой кормовой башни, навзничь, в крови, лежит Саша, и через полузатопленную корму лениво плещут шумящие волны.

Арсений Иванович говорил прописи, партийные истины, именно то, что на его месте сказал бы сам Болотов. Но на этот раз эти затверженные слова показались неправдивыми и ненужными. «...Саша... Где Саша?..»

Но дважды ангел вострубит,
На землю гром небесный грянет,
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет...

«Брат от брата побежит...» — вспомнил Болотов забытые стихи Пушкина. «Вот и Саша ушел... А Арсений Иванович смеется... Да что это я? Разве Арсений Иванович не прав? Разве армия скоро не будет наша? Разве Цусима не откроет солдатам глаза?.. Что это

со мною?..» — опомнился он и сильно толкнул скрипучую дверь.

В свинцовых волнах табачного дыма тонули Арсений Иванович, доктор Берг и неизвестный Болотову молодой человек, товарищ Давид. Вера Андреевна, высокая, еще не старая женщина с изнуренным, желтым лицом, по-тюремному торопливо шагала по комнате. Два раза в неделю собирались они для своего ежедневного партийного дела, и это ежедневное дело казалось им тяжким бременем управления партией. Как каменщик, роя фундамент, разгружая кирпич и поднимая ведра с цементом, исполняет скромную и полезную работу строителя, так и они, долготерпеливо и скромно, камень за камнем, строили партию. Но как каменщик не властен разрушить дом или недостроить его, а властен в этом только нанявший его хозяин, так и они были не властны над революцией, и попытки их руководить ею были всегда и неизменно бессильны.

Когда Болотов окончил доклад о своей заграничной поездке, доктор Берг сухо изложил важнейшую цель заседания. Товарищ Давид, «военный организатор», член партии, «работающий» исключительно в войсках, приехал в Петербург сообщить, что в городе N волнуется пехотный полк, что в полку этом готово вспыхнуть восстание. Члены местного комитета, и в том числе он, Давид, не решились что-либо предпринять, не испросив дозволения старших товарищей.

И сейчас же, в накуренной, душной комнате, они перешли к делу, то есть заговорили о том, следует или нет начинать восстание. Они говорили в уверенности, что от их разговоров зависит судьба двух тысяч солдат. Они забывали, что если люди решаются на убийство, на бунт и на смерть, то, конечно, не потому, что пятеро неизвестных считают это хорошим, полезным и нужным и что решение этих людей зависит от неисчислимого множества непредвидимых и случайных причин. Главное же, они забыли, что никто над чужою жизнью не властен и что люди в минуту смертельной опасности руководствуются не запретами и приказами, и даже не чувством долга, а своими тайными, им одним понятными, интересами. И седому Арсению Ивановичу, и доктору Бергу, и измученной Вере Андреевне, и самому Болотову казалось естественным и законным, что товарищ Давид, близкий десятку солдат, приезжает от имени всего пол-

ка спросить у них, неизвестных, когда именно нужно всему полку начать убивать и умирать. И Давиду это тоже казалось естественным и законным.

Давид, болезненный, тщедушный, с белокурой бородкой, еврей, стоя посреди комнаты, говорил, заикаясь и в волнении размахивая руками:

— В полку сорок процентов сознательных унтер-офицеров. В каждой роте кружок. Вся учебная команда наша... Ну... В полку недовольство... Восстание вполне возможно, а главное, понимаете, главное, солдаты этого требуют... Пропаганда поставлена с осени... Арестов не было... Полковой командир зверь... Когда я уезжал, товарищи, представители рот, решили единогласно... И если вы не позволите, восстание все равно будет... — почти закричал он, не видя, что этими словами уничтожает всякий смысл разговора.

Доктор Берг, потирая белые тонкие руки, поверх очков посмотрел на него и небрежно спросил:

— Позвольте узнать, товарищ, сколько в городе гарнизона?

— Что значит гарнизон? — смутился Давид. — Когда я вам говорю...

— В партийных делах точность необходима, — заметил холодно доктор Берг, — не откажите сообщить, сколько в городе гарнизона?

— Ну, хорошо... Ну, стоят еще казаки и батарея... Но что такое казаки?..

— Присоединится батарея к восстанию?

— Странно... Вы спрашиваете... Разве я знаю?..

— А казаки?

— Казаки? Нет... Вероятно, нет...

— Вероятно или наверное?

— Ах, Боже мой... Ну, хорошо... Ну, наверное...

— Больше ничего. Благодарю вас, товарищ, — сказал с усмешкой доктор Берг.

Закрыв глаза, он откинулся на спинку замасленного дивана, точно хотел показать, что он, деловой человек, уже решил вопрос о восстании и что все остальное не важно и ему, доктору Бергу, неинтересно.

— Ах, да разве дело в казаках? — краснея багровыми пятнами, окончательно смутился Давид. — Я же вам говорю, полк непременно восстанет...

При последних словах Вера Андреевна перестала ходить и остановилась прямо против Давида.

— Но если полк непременно восстанет, — с раздра-

жением сказала она, — зачем же вы приезжали? Если полк не подчиняется комитету, то о чем говорить? Вы уверяете, что комитет работал... В чем же его работа? Я не вижу.

— Не в том дело... Ах, Боже мой!.. — плачущим голосом воскликнул Давид. — Я же вам говорю: что мне делать?.. Если солдаты восстанут... Ну?..

— Мое мнение такое, — примирительно начал Арсений Иванович, — если, конечно, ребята хотят восстать, удержать их трудно, но, однако, не невозможно. В городе стоят казаки и батарея. Если они не присоединятся, восстание будет опять неудачно. Нужно избегать неудачных восстаний... Нужно, — меняя внезапно тон, мягко и ласково продолжал Арсений Иванович, — нужно, кормилец, повременить, удержать пока нужно... Глубже пашешь, веселей пляшешь... Так-то, кормилец... Осенью — дело другое, а теперь не по делам, кормилец, не по делам...

— Что значит удержать?.. Да как же я могу удержать?.. Научите... Ах, Боже мой, Боже мой... Странное дело... Разве я могу удержать? Когда они говорят, что восстанут... Вот вы говорите: не по делам... А что я могу? Что комитет может? Мы работали. Для чего? Для восстания... Ну, они и хотят восставать... Что же мне делать? Ну?.. Боже мой, Боже мой...

Давид в отчаянии забегал по комнате. Вера Андреевна отошла в угол к окну и скрестила на груди руки: она не желала вмешиваться, как казалось ей, в безнадежное дело. Доктор Берг, прислонившись к спинке дивана, по-прежнему не открывал глаз.

Болотов смутно почувствовал тяжелую бесплодность этого разговора. Он почувствовал, что Давид, вернувшись домой, непременно пойдет в казарму и неизбежно погибнет. И ему стало ясно, что вопрос даже не в том, чтобы Давид не погиб, ибо и это было уже не в их власти, а единственно в том, чтобы он, погибая, знал, что смерть его светла и прекрасна и что партия благословила его. И, еще сам не зная зачем, Болотов, с неожиданными слезами на добрых глазах, быстро встал со своего кресла и крепко поцеловал Давида.

— Поезжайте, голубчик, назад... Вы там нужнее, чем здесь. С Богом, голубчик...

Просиявший Давид ушел. Доктор Берг еще долго и деловито говорил о своем: что опять вовремя не доставлены прокламации, что на заводе Коровина стачка, что

арестован студент Никандров, что вчера получено письмо от крестьянского братства и что завтра необходимо потолковать о передовой статье для газеты «Рассвет».

III

В грязном трактире «Волна», на Выборгской стороне, Болотова ожидал Ваня, черноволосый, скуластый юноша лет двадцати двух, с калмыцкими, узкими, как щели, глазами. Было угарно и душно. Пахло пивом. Хрипел подержанный граммофон.

— Вы хотели видеть меня?

Ваня слегка привстал.

— Да... Я просил... Только я уж не знаю... С чего и начать, не знаю... Я, главное, работаю тут, на заводе...

— Вы слесарь?

— Да-с, слесарь... Работаю тут, на заводе... Только, безусловно, больше я не могу...

— Чего не могу?

Ваня замялся.

— Так что возьмите меня в террор...

Болотов никогда не «работал» в боевых «предприятиях» и никогда никого не убил. Он видел в терроре жертву и не задумывался над тем, что террор, кроме того, еще и убийство. Он не спрашивал себя, можно и должно ли убивать. Этот вопрос был решен: партия давала ответ. Он нередко писал и всегда подчеркивал на собраниях, что «товарищи с душевной печалью прибегают к кровавым средствам». Но печали он не испытывал. Наоборот, когда взрывалась удачная бомба, он был счастлив: был убит еще один враг. Он не понимал, что чувствует человек, когда идет убивать, и простодушно радовался тому, что в партии много людей, готовых умереть и убить. И оттого, что таких людей было действительно много, и оттого, что на партию он смотрел как на свое наследственное хозяйство, он постепенно привык, что в партии убивают, и мало-помалу перестал выделять террор из всякой другой «работы».

— Господи, как свеча перед Истинным, — говорил Ваня быстро, изредка вскидывая на Болотова черные застенчивые глаза, — я перед вами как на духу... Разве можно иначе? К такому делу надо в чистой рубашке... Может, я еще недостоин за революцию умереть... Вы судите, как знаете, а только я вам все расскажу. Нужно

вам знать, я допрежь главнее в хулиганах состоял. Как отец мой был черносотенец, что я дома мог видеть? Брань, пьянство, безусловно, одни побои... Ну, стал пить, хулиганом сделался... Подлости во мне этой — море... И очиститься как, не знаю. Если откажете, как же мне быть? Потому что иначе я, безусловно что, не могу...

— Не можете? — улыбнулся Болотов.

— Не могу. Бросил я, знаете, пить, из хулиганов вышел... Книжки разные стал читать, про землю, например, или Михайловского сочинения... Жил это тихо... Случалось, в день целковых три зарабатывал... Да...

— А почему бросили пить?

— Как вам сказать?.. Безобразие одно. Что я, балчужник, что ли?.. Ну, и бросил, конечно. Вы только не сомневайтесь, я теперь, безусловно, не пью. Разве можно в партии, например, пить? Уж лучше вовсе тогда этим делом не заниматься, а опять в хулиганы пойти... Я так полагаю, если ты за народ, за землю или за волю, так ты должен себя соблюдать, чтобы ни Боже мой, и всегда готов к смерти... Ну, так вот... Живу я этаким манером, даже женился. Проходит, знаете, время... Работал я тогда в Нижнем. На заводе у нас забастовка. Приехали казачишки. Туда-сюда, туда-сюда... Мы, знаете, камней накидали, заборы — в щепы, вот тебе и есть баррикада. Готово дело. А казачишки, безусловно, стрелять... Между прочим, жена подвернулась... Ну, значит... Ну... убили ее казаки... — закончил он глухо и замолчал.

Болотов знал наизусть эти чистосердечные исповеди рабочих, стыдливо-искренние рассказы студентов, юношей, девушек, стариков, — тех бесчисленных рядовых террора, которые умирали за революцию. Но теперь, слушая Ваню, видя его доверчивые глаза, он почувствовал беспокойство. «Вот он верит мне, — думал он, — верит, что и я в любую минуту готов сделать то, что так просто, без размышлений сделает он, — готов умереть. Веря мне, он убьет и умрет, конечно. А я?.. почему я до сих пор жив?.. Потому, — тотчас же мысленно отвечал он себе, — что я нужен всей революции, всей партии, и еще потому, что необходимо разделение труда...» Но, сказав себе так, то есть сказав себе те лишенные смысла слова, которые товарищи всегда повторяли, на которых особенно настаивал доктор Берг и с которыми он в глубине души желал согласиться, он на этот раз не поверил им. «Ведь и Ваня мог бы так рассуждать... Ведь и Ваня уверен, что нужен всей партии... Чем я лучше его? А ведь он

так не скажет... У него убили жену, и он тоже убьет, если уже не убил... А я?» Усилием воли отогнав эти мысли, он повернулся к Ване и, наливая пива, сказал:

— Так что дальше-то было?

— Так вот, значит, убили жену... Хорошо-с... Прошло малое время, я и говорю заводским ребятам: «Слышь, ребята, я Гаврилова убить порешил...» А Гаврилов у нас надзиратель, пес цепной, а не человек... Мне ребята и говорят: «Брось, Ваня, что есть такое Гаврилов? Рук не стоит марать». — «Нет, говорю, и жук — мясо. Почему Гаврилову жить?..» Ну, однако, отговорили... Безусловно, я тут загрустил. Вот ноет что-то во мне, и ноет, и ноет, и ноет, совсем покоя решился, не ем и не сплю. Думал, знаете, — я ведь вам как на духу говорю, — думал, да и решил: тот — господин, кто может сделать один. Был у меня фельдшер знакомый, Яша. Пошел это я к Яше и говорю: «Яша, говорю, друг сердечный, дай ты мне, пожалуйста, сделай такое одолжение, яду». — «Зачем, говорит, тебе яд?» — «Как, говорю, зачем? Я крыс травить буду». — «Крыс? — говорит. — Та-ак-с...» Усмехнулся он, ну, однако же, ничего, говорит: «Ладно». — «Только, говорю, дай такого яду, который покрепче, чтобы, безусловно, ошибки не вышло». — «Хорошо, говорит, будь покоен». Дал он мне яду. Поехал я тут домой, к себе, значит, в деревню. А на деревне стоят казаки. Тоже бунт был: мужики бунтовали. Матери у меня нет. Отец спрашивает: «А где же, спрашивает, Авдотья, жена моя, значит?» — «Авдотья, говорю, так и так, приказала вам долго жить». Рассказал ему все, как было. О Рождестве напекли пирогов, невестки пекли: братья у меня тоже женаты, в Москве. Я говорю: «Иди, отец, позови, говорю, казаков. Пирогами я их угощу». Подивился отец. «Что ты рехнулся, что ли?» Я говорю: «Зови». Посмотрел он на меня, ничего не сказал. Приходят казаки, четверо их пришло. Помолились Богу, сели за стол. Вина выпили. Господи благослови, за пироги принялись. Я говорю отцу: «Лучше не ешь». Не стал отец есть. Я гляжу: что будет? Съели по пирогу... Ничего... Неужто, думаю, Яша надул? Не может этого быть... Уж и не знаю, право, как вам рассказать?.. — остановился в смущении Ваня и покраснел.

— Почему?

— Грех большой вышел.

— Ничего. Рассказывайте, как было.

— Ну, ладно... — Ваня вздохнул. — Думаю, безусловно, ошибка. Одна, значит, комедия. Только гляжу: зашатался один, голову на стол опустил, будто пьяный напился... «Так, думаю, значит, верно...» Другой тоже, гляжу, помутнел весь, молчит. А я угощаю: «Кушайте, говорю, на здоровье... Мы вам рады всегда...» Что ж? Все четверо поколели...

Болотов с изумлением смотрел на Ваню. Трудно было поверить, что этот серый, с калмыцким лицом и доверчивыми глазами рабочий решился на такое страшное дело. Еще труднее было поверить, что он один, без помощи и совета сумел задумать и выполнить такой лукавый и вероломный план. «Если бы все так мстили, у нас давно бы не было ни виселицы, ни казаков, ни розог... Разве я умею так мстить?.. — спросил себя Болотов и сейчас же нашел ответ: — «Я не умею так мстить, потому что это злодейство. Это не революция и не террор, а я член партии и революционер...» Но и эти слова не успокоили его.

— Ну, — взглянув исподлобья на Болотова, продолжал Ваня, — ну, ушел я, конечно... Розыск делали... Начальства разного понаехало... Однако меня не нашли...

Ваня умолк. Трактир был полон гостей. Не переставая, без отдыха, хрипел граммофон. Ругались пьяные голоса. Звенела посуда. Половые шмыгали между столами. Болотов, положив голову на руки, думал: «Что я скажу? Что могу я сказать? Где у меня право с ним говорить?.. Ах! все вздор... Он ждет моего слова, и я обязан его сказать. А остальное — суета, малодушие... И не надо думать об этом...»

— Так могу я надеяться? — робко спрашивал Ваня. — Я ведь и сам понимаю, каких я делов наделал... Только сделайте милость, дайте мне послужить... Не могу я всех этих безобразий видеть... — со злобой ударил он кулаком по столу.

Болотов поднял голову. Он хотел сказать Ване, что товарищи ценят его преданность и решимость. Но вместо этих казенных слов он, забывая свою, как казалось ему, обязанность перед партией, побледнев и не глядя на Ваню, сказал:

— Я не занимаюсь террором.

— Чего-с?

Резко повысив голос, Болотов повторил:

— Вам не со мной говорить: я не занимаюсь террором.

Не давая Ване опомниться, он встал и вышел на ули-

цу. Он почувствовал, что, быть может, впервые осмелился сказать правду. Это новое, странное чувство было так сильно, что он даже остановился. «Зачем я сказал?— встревожился он. — Разве я не занимаюсь террором? Разве я не обязан был выслушать Ваню? Разве я не отвечаю за кровь? За кровь вот этих казаков, которых Ваня убил? За его, Вани, кровь?.. Так разве не хуже теперь? Ведь он ничего не понял... Зачем я смутил его?..» На этот раз ответа он не нашел. Налево безмолвно и величаво катила свои глубокие воды Нева. На другой стороне, за Невой, чернел громадный, неосвещенный Зимний дворец. Накрапывал дождь.

IV

С того дня, как Болотов прочитал о Цусимском бое, им овладело непонятное беспокойство. Докучная «конспирация» по-прежнему не утомляла его: он давно отвык понимать и любить бестревожную, мирную, или, как он говорил, «буржуазную», жизнь. Но теперь иногда ночью он не мог уснуть до утра. Заветное, крепкое, давно и твердо решенное стало казаться неясным и нерешенным. Точно наезженный и широкий путь привел в бездорожную глушь.

Этою ночью опять не спалось. День был полон забот: арестовали студенческий комитет, и Болотову вместе с доктором Бергом пришлось восстанавливать утраченные знакомства, «связи». Поздним вечером он вернулся домой и, не зажигая огня, разделся и лег. Он настойчиво старался не думать о том, что занимало его в последние дни. «Что за вздор! — говорил он себе. — Разве не верно, что войну ведет не народ, а правительство? Верно, конечно... Значит, если японцы нас победили, то кого же они победили? Очевидно, правительство... Так». На улице неярко мигал желтоватый рожок, и скудные паутинки-лучи тянулись от окна к потолку и на потолке потухали. «Главный враг наш — правительство. Значит, если японцы победили правительство, то кто в барышах?.. Нет, не хочу, не хочу думать об этом...» — прошептал он, пытаясь уснуть. Но по булыжникам мостовой грузно прогромыхал ломовик. Опять забились бессвязные мысли: «Мы в барышах... Вот и Арсений Иванович говорит... Арсений Иванович... Вода на нашу мельницу... Так. Значит, радоваться?.. Нет, не так?.. Кто виноват в гибели этих людей? В гибели Саши?..

И брат от брата побежит;
И сын от матери отпрянет...

Радоваться?.. Чему?.. Да о чем это я? Всякий народ достоин своего правительства... Кто это сказал? В этих словах нет смысла... Значит, виноват народ?..»

Вспомнилось Болотово, отцовское имение в Орловской губернии, старая дворянская усадьба, где он родился и вырос: господский с красною крышей и александровскими колоннами дом. За узкой, поросшею лозняком, речкой деревня — Новые Выселки. Вот староста Карп, вот Тихон Хромой, корявый мужичонка в рваной рубахе, вот босоногий Ванька, пастух. Вспомнился знойный воскресный день. Садится солнце. Он, Болотов, на лавочке, у запруды, а на плотине алые, зелено-желтые, бирюзовые пятна — деревенские бабы... «Так вот кто виноват... Староста Карп виноват, виноват Ванька-пастух или ключница Маланья Петровна. Виноваты в чем? Что у нас такое правительство? Виноваты в войне?.. Староста Карп виноват в войне с Японией, виноват в Цусимском разгроме. Смешно...» Но через минуту он думал: «А если бы староста Карп не захотел, ведь не было бы войны? Если бы Карпы не шли на войну, ведь не было бы Цусимы? Почему же они идут? Почему они — рабы Плеве и Стесселя?.. Ну, а если староста Карп не захочет и революции? — мелькнула болезненно-злая мысль. — А если?.. Вот вздор... Господи, какой вздор... Что давеча сказал Арсений Иванович? Пехотный полк и Давид... И Ваня... Ваня и староста Карп... Нет, не думать, не думать, не думать...» Болотов утомленно закрыл глаза. Фонарь на улице мигнул и погас.

Восток побледнел. В тощих яблонях на дворе несмело защебетали птицы. Далеко, у Знаменской церкви, зазвонили к ранней обедне. Болотов встал. Все та же нищая комната, стол, покрытый бумажной скатертью, тускло-желтый на столе самовар и по стенам олеография из «Нивы». В первый раз он почувствовал скуку. Все то же, всегда все то же. Те же мысли, те же слова, тот же Арсений Иванович, тот же Берг, та же «работа», та же опасность, тот же постылый враг — охранное отделение. А главное, все неясно. Теперь он уже знал, знал наверное, что где-то в его жизни кроется ложь. На столе, среди побуревших окурков, белели мелко исписанные листки: передовая статья для газеты «Рассвет». Он взял ее в руки и перечел: «Речь идет о политическом терроре,

как об одном из средств борьбы, как об одном из элементов тактики организованной партии. Только такая террористическая система, методическая, согласованная с другими элементами тактики, сообразованная с целью и общими условиями борьбы, может быть предметом нашего обсуждения...» Он читал эти строки, и они казались холодными, равнодушными и жалкими своим лицемерием. Стало стыдно. «Неужели это я написал? Методическая система террора... Террор эксцитативный... Террор дезорганизующий... террор самодовлеющий... Ученическое рассуждение. О чем? Да, о чем?.. О крови. О Ване. О живом человеке Ване, который пойдет и убьет другого живого человека... А мы? А я?.. Он убьет, а я сочиню ученую и глубокомысленную статью о революционном инициативном меньшинстве, я буду доказывать, что террор отчаяния, террор мщения, террор запальчивости не подлежит никакой оценке, я буду говорить еще другие неправдивые, праздные, вялые слова... А товарищи отпечатают эту статью... А староста Карп прочитает ее... Прочитает и, конечно, пойдет за нами...» Он усмехнулся. Вспомнился доктор Берг, лысый, высокий, прямой, в воротничках до ушей. Вспомнился его самодовольно-самоуверенный голос: «В партийных делах необходима точность, товарищ?..» Вспомнилось красное, взволнованное лицо Давида... «А ведь Давид погибнет, и Ваня погибнет... Их обоих повесят. Они умрут... А я напишу в партийной газете: «Товарищи честно и мужественно взошли на эшафот...» Как же быть? Где же правда? Ведь не в том правда, что я радуюсь, когда тонут в Японском море десятки тысяч русских людей, когда тонет Саша... И не в том правда, что Ваня идет на смерть, а я хвалю или порицаю его... И не в том, наконец, правда, что староста рвет на цигарки мои легкоязычно написанные статьи... Так в чем же?..»

Рассвело. За Охтой вспыхнуло веселое пламя, и пурпурно-огненные, золотые лучи брызнули в комнату. И стало еще мертвее, еще неприютнее, точно солнечный блеск обнажил дряхлеющие морщины старчески изжитого лица.

Чувствуя, что он осуждает свою, как казалось ему, беспорочную жизнь, Болотов в последний раз попытался отогнать неугомонные мысли. «Почему Арсений Иванович спокоен? Для него все просто и ясно. Революция — арифметическая задача. Ваня идет, умирает. Хорошо. Слава партии! Разделение труда... И Берг тоже спокоен.

А ведь они, как и я, отвечают за кровь. Или, может быть, нет? Может быть, Ваня один отвечает за все? Кто же прав?.. «Я перед вами как на духу...» Ваня передо мною как на духу... А я перед ним? А мы перед ним? Для нас он либо «герой», либо «фанатик террора», либо — и это хуже всего — «поклонник бомбочки», «неразумный бомбист»... Так где же, наконец, правда?..»

V

Точно так же, как Болотову, Давиду было близко знакомо тревожное хозяйское чувство. Но не партия казалась ему хозяйством. О партии он знал очень мало: то шутливое и неважное, что пишут в партийных газетах. Он знал, что во всех концах великой России есть люди, дорогие товарищи, которые ненавидят то же, что ненавидит и он, и требуют того же, чего требует он. Он знал также, что во всех городах «работают» комитеты и что этими комитетами, их, как он думал, «государственными делами», ведают в Петербурге достойные, многоопытные и умные люди. Этим людям он верил на слово. Он не посмел бы спросить, кто они и кто им дал их неограниченные права. Было достаточно успокоительного сознания, что на свете есть кто-то: Болотов, Арсений Иванович, доктор Берг и что этот державный «кто-то» неусыпно блюдет партийные интересы и ущерба их не допустит. Так как он не знал партии, то она представлялась ему сильнее, значительнее и чище, чем на самом деле была. Сложным и цветущим хозяйством казался ему его город, уездный, маленький комитет. Его не смущало, что в городе почти не было революционеров. Он думал, что этот именно комитет — исключение, что в других, более счастливых городах тысячи самоотверженных партийных людей и что, случись на месте товарищей, — вольноопределяющегося Сережи, солдата Авдеева и акушерки Рахиль, — Болотов или Арсений Иванович, хозяйство пошло бы иначе, еще удачливее и лучше. Он думал, что тогда не три десятка солдат, а весь озлобленный полк присоединился бы к партии и не несколько рабочих кружков, а все фабрики в полном составе слушали бы ученые лекции о Марксе. Но даже и такое хозяйство доставляло много забот. Дни безрадостно уходили на мелкую пропаганду, на печатание комитетских листков, на мышиную беготню по партийным делам. Погруженный в

эти заботы, он не видел, что кругом была горемычная уездная жизнь, чужая и темная жизнь попов, купцов, чиновников и крестьян той невидимой и всемогущей толпы, от которой и зависит последнее, побеждающее усилие — исход революции. И он слепо верил в несокрушимую силу партии и точно так же, как Болотов, ждал с упованием «грозного дня», как он говорил «возмездия и гнева».

Вернувшись из Петербурга домой, Давид прямо с вокзала пошел к своему другу, вольноопределяющемуся Сереже.

Он миновал Московскую улицу и уединенную Соборную площадь. Потянулись длинные пустыри, пространные огороды, убогие, вросшие в землю дома. Слезилось тусклое небо. Хмурились, намокнув, березы. В городском саду распускалась сирень. День был вялый. Стоял июнь, но пахло осенью, сентябрем.

Давид не замечал ни дождя, ни уездных будней. «Какой Болотов славный, — думал он, стуча сапогами по мокрым мосткам, — и Арсений Иванович славный, и все... А вот я, Давид Кон, я исполню веления Божии, я погибну за революцию, погибну за партию, за землю и волю... Как славно... Как хорошо... И, конечно, восстание будет удачно, иначе Болотов бы не разрешил...» Ему казалось теперь, что Болотов разрешил и что разрешение это — закон. И еще казалось, что один Болотов знает, что он умрет и что он один жалеет и ценит его. И хотя он напрасно старался представить себе свою казнь, свою виселицу, своего палача, свои предсмертные дни в тюрьме, и хотя смерть была для него только словом, лишенным значения, ему все-таки стало жалко себя. «Ну, что ж; двум смертям не бывать, а одной не миновать», — тряхнул он русыми, курчавыми волосами. «Прекрасны шатры твои, Иаков, и жилища твои, Израиль...»

— Что хорошего? — встретил его Сережа.

— Ура! Разрешили!

Сережа, высокий, загорелый солдат в расстегнутой белой, с малиновыми погонами рубахе, посмотрел на него с удивлением.

— Чему же ты рад?

— Как чему? — всплеснул руками Давид. — Странно... А если бы не разрешили? Что тогда? Ну?..

Сережа взял со стола папиросу, не спеша зажег спичку, закурил и, наконец, спокойно ответил:

— В лес дров не возят.

— Что значит?
— А значит то, что и без Петербурга решили.
— Без Петербурга?
— Ну да.
— Кто решил?.. Как?..
— Солдаты решили...
— Что? Что?.. Да говори, Бога ради...
— Ничего... Завтра...
— Завтра?
— Да, завтра.
— Не может этого быть...

Сережа пожал плечами.

И, как это всегда бывает, когда страшное, но еще далекое становится неотвратимым и близким, Давид почувствовал, что все, что он думал раньше о смерти, не имеет цены, как не имеют цены досужие и безответственные слова. Он почувствовал незнакомую и неодолимую тяжесть, точно кто-то пригнул его плечи низко к земле. «Завтра... — опомнился он. — Не через месяц, не через неделю, а завтра... Господи, дай мне силы... Господи, завтра...»

— А комитет? — промолвил он глухо.
— Что комитет?
— Комитет решил?
— Конечно, решил.
— Странно...
— Что странно?
— Да как же так, без меня?
— Без тебя? Прапорщик Воронков вчера на карауле ударил Авдеева.
— Ну?
— Авдеев дал ему сдачи.
— Ну?..
— Ничего... Расстреляют Авдеева.

Давид бессильно опустился на стул. Звонко пел потухающий самовар.

За окном, сквозь мутную сетку дождя, зеленели уныло-дряблые огороды.

— А ты? — спросил, наконец, Давид.
— Что я?
— А ты за восстание... Что ж ты молчишь... Ну, чего ты молчишь?
— Все это зря, — сказал Сережа тихо, — зря люди погибнут... Но наше дело не рассуждать...

— Наше дело не рассуждать, — повторил, как эхо, Давид.

— А идти, — докончил Сережа.

— А идти, — повторил Давид.

— Да, идти. Я и ты наденем офицерскую форму. Утром, рано, до поверки, пойдем в четвертую роту. Меня там знают. Попробуем поднять полк. Солдаты, если не врут, поддержат.

— Та-ак... — нерешительно протянул Давид.

— Понял?

— Да, понял... Та-ак... Послушай...

— Что?

— Послушай, ведь я — еврей...

— Ну?

— Хорошо ли мне офицером?

— Как хочешь.

Оба примолкли. Все так же звонко пел самовар. И вдруг Давид неожиданно почувствовал пьяную радость. Точно совершилось желанное, то, что снится только во сне. «Да, да, я умру... Умру за партию... Да...» — думал он. Его серые, встревоженные глаза потемнели... Он вскочил и в волнении забегал по комнате. Остановившись перед Сережей и, по обыкновению, заикаясь и махая руками, он заговорил пылко, в каком-то самозабвении:

— Велик Бог отцов наших... Помнишь у Некрасова, Сережа:

Средь мира дольнего
Для сердца вольного
Есть два пути...
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую,
Каким идти.

Вот мы и идем, и дойдем, и умрем... И дух наш не будет уныл, и сердце наше не онемеет... Не так? Не так ли, Сережа?.. В прошлом году я был на погроме... Была у нас оборона, человек двадцать. В первый день вечером наш отряд — я в первом отряде был — на хулиганов наткнулся. Темно. Слышим: погром. Чей-то дом грабят. Кто-то кричит, дети плачут... Саша Гольденберг был. Командует: пли!.. В ответ пули свистят. Саша опять: пли!.. Разбежались громилы. На другой день, суббота была, я и Саша Гольденберг в штабе отыскали квартиру, один адвокат дал, заперлись в ней и ждем. Первый отряд пошел на базар, второй — за Заставу, а третий с нами

остался. Ну... Ну, сидим мы у адвоката. Ждем. Две ночи не спали. Сон клонит. Скучно... Хочется кушать... К окну подойти нельзя: того и гляди казаки подстрелят. Оборона, кто где: на стульях, на полу, на кроватях, дремлют себе. Час так проходит. Ну, два... Ну, может быть, три... Нового ничего... Тишина... Стало смеркаться. Огня не зажгли, чтобы с улицы не было видно. С утра не ели, хочется спать... Хозяин войдет, посмотрит, вздохнет... Тоска... Вдруг, уже совсем вечер был, телефон. С Кирилловской улицы, купец, ребе Фишель. А Кирилловская, знаешь, совсем на отлете, и наших там ни души. Я телефону: «Что вам, реб Фишель?» По голосу слышу: трясется. «Давид, говорит, это вы?» Я говорю: «Я». — «Давид, милый Давид, громилы идут...» — «Далеко?» — «Уже на Кирилловскую завернули...» Я говорю: «Ша... Ничего... Ждите...» Обернулся я к обороне: «Вставать!» Кто и спал, тот сразу вскочил. Через минуту уже никого, только хозяин вздыхает. Телефон все звонит. «Что надо?» — «Давид, ради Бога, Давид... если вы хороший еврей...» Я говорю: «Оборона выслана. Обождите». — «Благословен Господь, буду ждать...» Через пять минут телефон: «Давид...» — «Что надо?» — «Давид, где оборона?.. Громилы за пять домов... Жгут... У меня дети...» Знал я его хорошо, Фишеля этого. Толстый, красный такой купец, деньги нам иногда давал. Знаю: стоит он там, бедный, трясется... Ну, что ты скажешь?.. У него дети... Я говорю: «Детей и супругу запрячьте куда-нибудь, ну, на чердак или в погреб...» Повесил я трубку, думаю: а вдруг оборона да опоздает?.. Что тогда? Выйти в поле и выть?.. Через минуту звонок: «Боже, Боже... добрый, сердечный, милосердный Господь Израиля!..» — «Где дети?» — спрашиваю. А у него и голоса нет: «Дети в... в... в... погребе... де-ти...» — «Ждите, говорю, и надейтесь: оборона в пути». А сам думаю: да, в пути, а если встретят... Ну?.. Что тогда?.. Опять телефон: «Погром уже рядом, через два дома...» Что скажешь делать? Заметался я, совсем голову потерял... А телефон все звонит, звонит, звонит, звонит... Взял я трубку: «Ну, что?..» Слышу, лает он по-собачьи: «Авв... авв... авв-ва... Давид... Велик Господь!.. Давид... авв... Господи... Помогите!..»

— Ну?

— Ну, Бог его спас. Совсем было горе ему. Вот-вот подожгут. Еще вот маленькая, самая маленькая минутка — и быть ему на том свете... А тут как раз наши и подошли. Молодцы были, все на подбор... Ну, знаешь, вот

эти четверть часа, пока телефон звонил, а наши там где-то шли, знаешь, я всю жизнь не забуду... Вот так и вижу этого Фишеля, стоит он у телефона, бледный, трясется, а в погребе дети... Жена и четверо малых ребят...

Давид сел за стол и залпом выпил стакан холодного чаю. И тотчас же опять вскочил. Он теперь был уверен, что умереть не страшно, а радостно и что умереть за партию — завидная и редкая честь. Он теперь был уверен, что он, избранный, родился единственно для того, чтобы бескорыстно и беспечально отдать свою жизнь. И, блестя серыми широко раскрытыми глазами, он выкрикивал в восторженном вдохновении:

— Я счастлив, я горд, что завтра конец!.. Я горд!.. Неужели ты не веришь в удачу?.. Вот ты опять молчишь... Почему?.. Ну, скажи, ты веришь в удачу?..

— Божья воля, Давид.

— Ах, ты вот так всегда... Что значит: Божья воля? Я Бога не знаю... Отцы наши знали, а я не знаю... По-моему:

Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую...

Не Бог землю устроит, а мы... Мы устроим ее, своею кровью устроим. Не Он, а мы себе помощь. Не Он, а мы себе щит. Не Он, а мы низложим врагов наших!..

Сережа улыбнулся. Улыбка у него была кроткая, как у девушки.

— Бога-то в тебе, пожалуй, больше, чем во мне, — сказал он спокойно.

— Странно... А почему?

— Ты вот Фишеля спас.

— Я Фишеля спас?

— А кто же?

— Не я. Оборона.

— Все равно... Ты Фишеля любишь.

— Я люблю Фишеля? Я?

— Конечно.

— Нет, Фишель не с нами: он враг...

— Ты и врага своего любишь.

— Что значит — любишь?.. А по-твоему, пусть громят?

— Послушай, — так же спокойно сказал Сережа, — вот мы завтра с тобой пойдем в казарму. Ты говоришь, умрем. Случится, что же? Умрем... ведь не только умрем, ведь еще, быть может, убьем?

— Вот... вот... Странное дело... Ну, конечно, убьем... А ты был на погромах? Ты был? Ты видел? А я вот видел... Что Фишель?.. Фишель ходит себе живой и снова углем торгует, и хлеб с маслом кушает, и деньги на оборону дает... А я вот старика одного видел. Лежит голый старик, ноги тонкие, синие, в волосах, кожа в морщинах, а в глазу гвоздь... Это как? Что ты скажешь на это? А?.. Это Бог разрешил? Твой Бог? Его воля?.. Или видел я женщину, молодую, косы разметаны, а живот у ней вскрыт... Убьем ли?.. Конечно, убьем... Я с радостью их убью... Слышишь ли? С радостью...

— Кого «их»?

— Ах, не все ли равно? Офицеров, министров, жандармов, городовых...

— С радостью? Ты?

— Да, да, да... я, Давид Кон!.. Нужно мстить: око за око и зуб за зуб.

Сережа, не отвечая, распахнул настежь окно. В комнату заглянула теплая, влажная, предрассветная ночь. Дождь отшумел, и давно растаяли волнистые облака. Широко раскинувшись по небу, торжественно сияла Медведица, и, бледно и часто, многозвездно сверкал Млечный Путь.

VI

Полковые казармы были расположены за чертой города, на пыльной, плохо вымощенной дороге. В полку уже третий месяц бродили темные слухи о бунте. Люди открыто поговаривали о том, что «начальство ворует», что «все офицеры — собаки» и что их «нужно перестрелять». Тайно созревшее, неизлитое недовольство нарастало неудержимо. Причины его были слепы. Тяжелая государева служба была всегда ненавистна, но солдаты мирились с нею, как их деды мирились с палкою и кнутом. Теперь та же самая служба казалась непереносной. Как потревоженный улей, многоязычно жужжал пробужденный полк. По вечерам проворные «вольные» украдкой пробирались в казармы. Они говорили речи, малопонятные, но горячие, о «земле», о «социализме» и о «вооруженном восстании». И, пожалуй, можно было поверить, что при первом мятежном крике зазвенят в солдатских руках винтовки и переколют и перестреляют господ офицеров и что вместо полкового шитого золотом

знамени взовьется красный флаг революции. Но никто не знал, когда это будет. Офицеры слышали о солдатской смуте и пугались ее. Пугались, когда подметная прокламация грозила им смертью или когда доброволец шпион в угоду начальству осторожно докладывал о соблазнительных толках. Тогда росло уважение к вездесущему и таинственному врагу, который называется партией, но росла и ненависть — бессильная злоба. Случилось, что офицер ударил в лицо рядового. Хотя это было обычно, на этот раз все согласно и громко заговорили о неизбежном восстании. Комитет решил, что настал срок, и назначил день.

Когда утром Давид и Сережа вышли из дому, летнее солнце стояло высоко. Умытые вчерашним дождем, болтливо шептались листья. Еще не высохли лужи. В них серебром сверкали утренние лучи. День обещал быть безоблачно-знойным.

В офицерском мундире Давиду было неловко. Особенно было неловко, что шашка постоянно задевала за сапоги и ее то и дело приходилось придерживать левой рукой. Кроме того, было жутко: точно редкие встречные, базарные мужики и бабы, угадали и знают, что он вовсе не офицер, а переодетый еврей. И еще было жутко: точно так же каждый городовой остановит и арестует его. Сережа шел быстро, уверенно и спокойно.

Так прошли они город, и пока они шли, Давиду казалось, что сонным улицам и заборам не будет конца. Но вот, вдалеке, на запыленной дороге, выросло мрачное кирпичное здание. У ворот стоял часовой. «Ну, теперь, наверное, остановят, — подумал Давид, — наверное, не пропустят...» И опять будто кто-то пригнул его к земле, будто на плечи сзади навалилась неодолимо грузная тяжесть. Но часовой, рослый солдат, с добрым и круглым мужицким лицом, стукнул винтовкой и вытянулся во фронт. На квадратном, мощеном дворе не было солнца. Кое-где, сквозь булыжник, пробивалась трава. Налево, в дальнем углу, сушилось на веревках белье. Из облупленных стен глядели мутными бельмами окна. Стоял говор и шум, стоголосый пчелиный гул. Какой-то нестроевой, без шапки, в заплатанных казенных штанах, пробежал через двор с ведром. Щеголеватый писарь на ходу отдал честь и хлопнул дверью с вывеской «Канцелярия». Сережа быстро, тем же уверенным шагом, направился к ротному помещению. «Неужели пропустят? — подумал Давид. —

Ах, все равно... Только скорей бы... скорей...» Но и здесь не остановили их часовые.

Длинная узкая комната была густо полна людьми. В ружейных козлах, у стен, мирно дремали винтовки. Солнце изредка искрами перебегало по их гладким стволам. Крепко пахло махоркой и щами, — смрадом жилой и тесной казармы. Давид почувствовал страх: казалось невероятным, что можно выйти отсюда. Но уже было поздно. Приложив руку к фуражке и покачиваясь тучным, затянутым в мундир телом, к ним молодцевато подходил чернобородый фельдфебель с благообразным и строгим лицом. «Вот и конец», — похолодев, подумал Давид.

Увидев фельдфебеля, Сережа нахмурился и решительно вышел навстречу. Глядя ему прямо в глаза и не давая сказать ни слова, он отрывисто и резко спросил:

— Где у тебя револьвер?

«Господи, что он делает? — пронеслось у Давида. — Ну, теперь конец, теперь уже, наверное, конец... Не отдаст он револьвера... И чего это солдаты как истуканы?..» И хотя он был твердо уверен, что уже все и безвозвратно погибло и что только чудом можно спастись, он, невольно заражаясь Сережей, выпрямился и повторил:

— Где у тебя револьвер?

Фельдфебель, видимо, не понял вопроса. По привычке вытягиваясь во фронт, он с недоумением смотрел на незнакомых ему офицеров. В казарме все смолкло. Было тихо, как в поле.

— Я спрашиваю, где у тебя револьвер? — возвысил голос Сережа.

— Ваше...

— Молчать!

Сережа протянул руку и хладнокровно, не торопясь, начал отстегивать на груди у фельдфебеля длинный красный шнурок с кобурой. Шнурок запутался о погоны, и фельдфебель сам нагнул голову и послушно снял кобуру.

— А теперь выводи роту на двор...

— Ваше благородие...

— Молчать!.. — внезапно побагровев, закричал Сережа. Давид видел, в руке у него блеснул короткий черный револьвер.

Солдаты, не ожидая приказания, один за другим разбирали винтовки, надевали подсумки и, молча и торопливо, не глядя ни на кого, выходили на двор. Сережа, рас-

ставив крепкие ноги и засунув руки в карманы, стоял в сенях, у дверей, и, все так же хмурясь, пропускал их мимо себя. Когда рота построилась у стены, он поправил шашку и медленно вышел вперед. Солнце скользило теперь по камням и играло на стали штыков. Давиду казалось, что протекли долгие годы с той несчастной минуты, когда он вошел в казарменный двор. Захотелось вернуться. Захотелось бежать, бежать из этой ловушки, от этих каменных стен и оцепенелых винтовок, от того неизбежного страшного, что, — он знал, — сейчас должно совершиться. Но он знал также, что бежать невозможно.

— Смирно! — крикнул Сережа.

И, повинуясь этому крику, — точно командовал не Сережа, а жестокий и взыскательный офицер, — рота затихла. Вдоль кирпичной стены забелело два ровных, однообразных ряда рубах. Одинаково были примкнуты ружья, одинаково сдвинуты набок фуражки, одинаково подняты головы, и одинаково бледны напряженные лица солдат. На правом фланге, впереди роты, недалеко от Давида, часто моргая растерянными глазами, неподвижно застыл чернобородый фельдфебель.

— Товарищи!..

«Неужели дадут говорить, — удивился Давид, — неужели послушают?..» Казалось теперь, что он все видит во сне: и казарму, и солдат, и Сережу, и что стоит только проснуться — и он будет опять в своей уютной студенческой комнате, и все снова пойдет по-старому, по-хорошему, как оно шло до сих пор.

— Товарищи!.. — еще громче сказал Сережа.

И вдруг, тотчас же, сзади раздался размеренно гулкий и твердый шаг. Давид обернулся: слева, со стороны канцелярии, мимо веревок с солдатским бельем, медленно подвигались люди. Люди эти шли прямо на них. В ту же минуту Сережа вынул револьвер. Рота, не шевелясь и не подымая винтовок, смотрела, окаменев, на него. Так же белели рубахи. Так же были сдвинуты на́бок фуражки. Так же вытягивался во фронт чернобородый фельдфебель. На солнце блестели золотые погоны приближающихся людей.

Сережа побагровел, как тогда, когда говорил в казарме. Еще не понимая причины, но уже безошибочно чувствуя, что восстание не удалось, он широким, решительным шагом, не оборачиваясь и не обращая внимания на роту, пошел прямо наперерез офицерам. Теперь они были близко, и каждого из них мог легко разглядеть Давид.

С краю мелко семенил короткими ногами одутловатый, толстый поручик в очках. Было видно, как дрожит у него в руке большой, тяжелый казенный револьвер. Рядом с ним, подняв голову, выступал высокий, в поношенном кителе и нечищеных сапогах, офицер. Он держал револьвер дулом книзу, к земле. Остальные в глазах Давида сливались в живую, многолюдную стену. Он понял только, что их много, больше десятка. И когда он понял, что их так много и что бороться с ними нельзя, он опять почувствовал ту желанную радость, которая вспыхнула накануне. «Пусть умру... За землю и волю!.. — думал он, догоняя Сережу и радуясь, сам не зная чему. — Вот оно... вот...» Но он не смел обернуться назад. Не смел посмотреть, что делает рота, что делает чернобородый фельдфебель. «Только бы не стреляли сзади... Только бы не сзади, чтобы честно... за революцию... Прекрасны жилища твои, Израиль...»

Сзади звякнуло что-то. Давид зажмурил глаза. Когда он их снова раскрыл, он увидел, что от рядов отделился и бегом примыкает к ним его товарищ и ученик, ефрейтор Григорий Габаев. Красный, с горящими, черными восторженными глазами, с винтовкой наперевес, он, тяжело дыша, пошел с ними рядом. Их окружала пустыня каменного двора. Было слышно, как толстый поручик что-то сказал. Но они трое, не замедляя шагов и не оглядываясь назад, быстро, в ногу шли к недоступным, еще далеким воротам. Идти было трудно: Давиду казалось, что надеты не сапоги, а стопудовые гири.

— Пли... — невнятно долетела команда.

Выстрелов Давид не услышал, но зазвенели и, жужжа, засвистали над его головою пули. Из толпы офицеров поднялось и растаяло прозрачное голубое облако. Давид понял, что стреляли в него.

Сережа остановился. Над самым ухом Давида грянул неожиданный выстрел. Габаев стрелял из винтовки. И сейчас же, не отдавая себе отчета, Давид поднял револьвер и поспешно взял на прицел. Курок был тугой и дрожал вместе с блестящим дулом. И когда, наконец, на секунду мушка уперлась в чью-то круглую, в белом кителе, грудь, Давид опять зажмурил глаза и дернул. Дернув однажды, он уже не мог перестать. Он стрелял зря, не целясь, даже не понимая, что он стреляет, пока не щелкнул последним, пустым патроном затвор. Тогда сквозь полуопущенные ресницы он увидел желтый огонь. Пахло порохом. Толстый поручик сидел на земле, опи-

раясь правой рукой о камни. Фуражка его слетела, и у ног медленно расползалась густая и липкая лужа. Давид не понял, что убил человека.

Сережа шел дальше, не оборачиваясь и не стреляя. В ногу с ним, опустив голову, так же быстро, как он, шел Габаев. Давид бегом бросился вслед за ними. У самых ворот часовой загородил им дорогу. Тот же рослый солдат, который недавно отдал им честь, теперь с хмурым и злобным, налитым кровью лицом угрожал им винтовкой. Стиснув зубы и побледнев, Габаев широко размахнулся, и не успел еще Давид сообразить, что он делает, как часовой зашатался, схватился рукой за трехцветную будку и ничком рухнул в мягкую пыль. Давид, уже не чувствуя ничего, не понимая, где он и что с ним, зная только, что случилось что-то непоправимо ужасное, заботился об одном: как бы не отстать от Сережи. Не было ни комитета, ни восстания, ни революции. Было рыхлое, взбороненное поле, в котором вязла нога и которое надо было перебежать. За полем, вдалеке, синел лес. В лесу, он верил, было спасение.

VII

Когда Миша Болотов, только что окончивший опостылевшие экзамены, краснощекий, восемнадцатилетний гимназист, проехал рано утром последнюю станцию перед Мятлевом, им овладело веселое нетерпение. Высунув коротко остриженную голову из вагона и жмурясь на солнце, он с любовью смотрел на приветливые, с детства родные места. За Можаровским лесом блеснул золоченый крест — Свято-Троицкий монастырь. За болотцами вырос и побежал широкий темно-зеленый большак, — дорога в Орел. Мелькнула деревня Чишмы. А вот, наконец, и захолустное, Богом забытое Мятлево. Вот кирпичный, крытый жестью вокзал, железная водокачка, вихрастый телеграфист и постоялый двор купца Блохина.

Застоявшаяся тройка побрякивала бубенчиками. Кучер Тихон, рыжий, бородатый мужик в бархатной безрукавке и в низкой шляпе с павлиньим пером, не спеша подтягивал расписанную цветами дугу. Завидев Мишу, он улыбнулся. Мише казалось, что улыбается не только Тихон, — улыбается и горячее солнце, и махровый, колосистый, проросший полынью овес, и бело-лиловые, тончай-

шего шелка березы. Кончился каменный город. Кончилась гимназическая страда.

— В корню Чалый ходит, а Звездочка где? — разочарованно сказал Миша, подходя к лошадям. Чалый, тяжеловесный, крепкий на ноги коренник, гнул запотелую шею и позвякивал большим серебряным колокольчиком. Левая пристяжная гнедая Голубка, подняв точеную голову, похрапывая и раздувая розово-нежные ноздри, нюхала воздух. Миша обнял ее и прижался щекой к ее теплой с тонкими жилами морде. Целуя ее и вдыхая знакомый и острый запах лошадиного пота, он шептал ей ласковые слова:

— Здравствуй, милая... Здравствуй, Голубка... А где же Звездочка? — обернулся он к Тихону.

— Звездочка? — нараспев переспросил Тихон. — Звездочка захромала... Заместо ее Золотой теперь ходит. Только не конь, Михаил Николаич, а шельма...

Шельма Золотой, опустив вспененную морду, часто перебирал передними стройными, с короткими бабками, ногами. Миша с грустью посмотрел на него. Прошлым летом он выездил Золотого под верх, и ему было жалко, что он испорчен: ходит теперь в пристяжных. Он вздохнул и погладил жесткую и косматую золотистую гриву. Тихон угадал его мысль.

— Летошний жеребенок от Звездочки каким конем нонче стал... Вот бы под верх, Михаил Николаевич...

Проехали Выползово, Чемоданово, Сухолом. Всюду, сколько хватал зоркий глаз, колыхалась, волнуясь, зыбкая, желтая, еще неспелая рожь, — необозримое море русских, склоненных долу хлебов. Миша видел потную спину Тихона, широкий зад Чалого, пыльную ленту дороги и глубоко-голубое небо. Было знойно. Таяли белые облака. Пахло полем, травою. Пофыркивал Чалый. Однозвучно звенела тройка.

Проехав Можаровский лес, свернули на Орловский большак. И сейчас же Чалый, потряхивая расчесанной гривой и высоко выбрасывая сильные ноги, прибавил рыси. Под дугою мерно и быстро закачались его большие, настороженные уши. Пристяжные изогнулись в дугу, и вдруг враз запели и зазвонили малиновым звоном бубенчики и колокольцы. Мелко и сильно, вскачь, забирала ногами Голубка, и широким раскидистым махом, не отставая, скакал Золотой. Замелькали полосатые версты, голые столбы телеграфа. «Так-так-так-так... — думал в такт Миша, глядя на раскачивающуюся шею коренника и

замирая от нетерпеливого ожидания. — Милый, еще... Еще, милый». Но Тихон натянул вожжи, и Чалый, переменив ногу, сразу убавил ход. Уже виднелась Болотовская усадьба: красная крыша и зеленый сад.

Николай Степанович Болотов, старый отставной генерал, стоял на высоком, выбеленном крыльце и, заслоняясь морщинистою рукою от солнца, смотрел на липовую аллею. Когда тройка миновала ворота с потрескавшимися каменными львами и солнечные лучи, сквозь листву, пятнами затрепетали на спинах лошадей и плечах Тихона, Миша не выдержал, выпрыгнул из коляски и, перегоняя ее, бегом побежал к отцу. Но не успел он поздороваться с ним, как его сзади обняли чьи-то руки, и Наташа, сестра, звонко поцеловала его. Из сеней послышались легкие женские шаги, и Миша еще не увидел, но уже почувствовал, что вошла его мать.

После бесконечного праздничного обеда Миша вышел в сад. Разлука была долга. Надо было все заново осмотреть, поздороваться с каждым деревом, с каждым камнем, с каждой тенистой аллеей. На дворе и в саду все было по-старому. По-старому, перевертываясь через себя и виляя лохматым хвостом, подкатился шершавый шоколадно-лиловый Шарик и понюхал Мишины сапоги. Почуяв Мишу, легавая красно-пегая сука Веста взвизгнула и лизнула его, как всегда, прямо в губы. Те же горничные: Лукерья и Даша, потупив глаза, поклонились ему. Та же ключница, Маланья Петровна, в том же синем платке, прошла на погреб за смородиновою водой. И так же буйно зарастали дорожки репейником, дикой коноплей и крапивой. И так же пышно распускалась сирень. И так же вкусен был зеленый крыжовник. И так же мирно в конюшне кони жевали овес.

Двор через околицу выходил в лес. В лесу было тихо и сильно, до духоты, пахло валежником и смолою. У заросшего мелкой осокой тинистого ручья Миша присел. Наташа, приминая руками гибкие стебли папоротника, придвинулась к брату и, заглянув в его счастливое лицо, робко сказала:

— Мы думали, что Саша убит... От него не было писем. Папа все плакал...

— А мама? — с живостью повернулся Миша.

— Мама, ты знаешь, молчит.

— А теперь?

— Теперь получили письмо. Пишет, что в плену...

Слава Богу... — Наташа перекрестилась. — И зачем это люди воюют?..

Миша знал о Цусимском бое. Но он ни разу не вспомнил о брате, о том, что брата могли убить. Он не огорчился и не обрадовался словам Наташи. В плену так в плену. Незаметно и постепенно, от товарищей, из брошюр, из газет, из намеков, из значительных умолчаний, он в свои восемнадцать лет уже капля по капле впитал то всеобщее равнодушие к русским несчастьям, которое считалось тогда заслуженным и уместным. «Так им и надо...» — думал он, хотя не мог бы сказать, кто такие «они» и почему надо, чтобы «они» тонули, погибали или сдавались в японский плен. Не отвечая Наташе, он спросил:

— А почему мама в черном?

— Мама теперь всегда в черном... Ты знаешь что-нибудь об Андрюше?

— Нет. Ничего.

— Почему он не пишет?

— Не знаю.

Наташа задумалась. Слабо и сухо, нехотя долбил дятел в чаще.

— Послушай, Миша, скажи... Я давно хотела тебя спросить... Миша, скажи, что он делает там, Андрюша? Где он?.. Я знаю, что ему худо... Ему очень худо... Миша, правда, что он социалист?

Миша молча кивнул головой.

Наташе было семнадцать лет. У нее были голубые глаза, почти льняные белокурые волосы и длинные узкие руки. Она училась дома: зимою в Москве и летом у себя в Болотове. О партии она знала только по слухам. Но, сама не понимая почему, она привыкла считать революционеров самоотверженными и замечательными людьми. Партия казалась ей тайным монастырем со строго отшельническим уставом. Ее смущало только одно, — что революционеры убивают, бросают бомбы и дерутся на баррикадах. И теперь было жутко, что тот самый, почти чужой ей Андрюша, портрет которого стоял у нее на столе, Андрюша, высокий, сильный, непонятный мужчина и брат, — революционер, то есть мученик и убийца. Стало ясно, почему он не пишет. «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и всей жизни своей, тот не может быть Моим учеником», — вспомнились ей слова из любимого евангелиста Луки.

Мише было не жутко, ему было радостно знать, что

его брат — член партии и революционер. О партии он знал мало, немногим более, чем сестра. Иногда в гимназии он украдкой прочитывал запрещенные книги. По этим книгам жизнь революционеров казалась доблестным подвигом и нелицемерною жертвой. Он плохо понимал, чего именно добиваются социалисты, но верил, что все, чего они требуют, справедливо и хорошо. Он не раз слышал, что только социалисты честные люди и что уважающий себя человек в России не может не быть революционером... И, не зная ни партии, ни социализма, ни революции, не отдавая себе отчета, что такое террор, и даже не задумываясь над этим, он вдохновенно, по-юношески решил, что обязан служить народу. И когда он это решил, незнакомая и далекая партия стала близкой, родной и любимой. И уже не за народ, за партию, за Андрюшу и за таинственный комитет он был искренно готов отдать свою жизнь.

— Миша... — негромко позвала Наташа.

— Что?

— Миша... а ты тоже думал об этом?

Понимая ее без слов, Миша опять кивнул головой.

— Ну, и что же, Миша?

Миша не отвечал.

— Миша...

— Что?

— Миша, тебе не страшно?

— Что страшно?

— Тебе не страшно... убить?

Миша заволновался.

— Ах, Наташа, убить... — подымаясь с измятой травы, возбужденно заговорил он. — Зачем ты спрашиваешь?.. А они?.. Разве они не убивают?.. Разве не вешают?.. Разве не расстреливают рабочих? А девятое января?.. Разве кругом не «насилие и зло безраздельно царят»?.. Наташа, я этого не могу... Понимаешь ли, не могу...

— А все-таки, Миша... убить.

— А Андрюша?

— Что же Андрюша?

— Разве Андрюша не убивает?

Наташа умолкла. Ей вспомнились другие слова того же евангелиста Луки: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас».

VIII

Отставной генерал Николай Степанович Болотов был человек твердых правил. «Отечество», «церковь», «царь» были для него не только торжественными словами. В этих словах он полагал смысл своей жизни, как его сын Андрюша полагал смысл своей в словах противоположных: «республика», «революция», «социализм». Точно так же, как все, Николай Степанович чувствовал, что в России совершается что-то новое, но уразуметь значения этого нового, конечно, не мог. Он знал, что «отечество» в опасности: каждое утро газеты сообщали о поражениях на театре войны. Но он не спрашивал себя, не авантюра ли эта губительная война и кто за нее ответствен? Россия воевала с Японией, и Япония побеждала Россию. Перед таким беспримерным позором должны были умолкнуть все разногласия: при кораблекрушении не судят виновных, а спасают корабль, и при пожаре не ищут причины, а заливают огонь. Он думал, что в несчастьях России виноваты и те, кто сумасбродно затеял войну, и те, кто бездарно командовал войсками, и те, кто высмеивал армию, и те, кто боролся с правительством, и Куропаткин, и Плеве, и Алексеев, и интенданты, и студенты, и евреи, и поляки, и финны, — словом, все русские граждане, вся Россия. Он не замечал, что подписывал «отечеству» приговор еще более суровый, чем тот, который подписали японцы под Мукденом и при Цусиме. Но если бы победила Россия, если бы Япония была разбита, он бы порадовался войне. Он не задумывался над тем, насколько каждая война жестока и преступна. Он смотрел на войну послушными глазами солдата, как на нерушимый закон, освященный от века, о котором рассуждать кощунственно и бесплодно. Если кто-нибудь спорил с ним, он отвечал не убедительным, но исполненным для него проникновенного смысла словом: «Несть власть, аще не от Бога». Он был горд своим сыном Сашей: Саша честно служил «отечеству» и «царю».

«Отечество» было в опасности. Он знал это еще потому, что те же газеты приносили тревожные вести об убийствах, расстрелах, забастовках, крестьянских волнениях, о заговорщицкой партии, о военных судах и бомбах. Эти вести его волновали. Он думал, что если в России и случаются беззакония, то единственно оттого, что царь о них ничего не знает, и что если бы царь узнал, он уничтожил бы их своею, Богом данною, властью. Когда

средний сын его Андрей Болотов был арестован впервые, он принял этот арест за печальное недоразумение, за ошибку презираемых им жандармов. Он поехал немедленно в Петербург, хлопотал у министра и грозил бесстыдной охране. Он не мог допустить, чтобы сын его, умный и честный Андрюша, стал «преступником», вредным для «отечества» человеком. Но когда Андрюша без согласия отца бросил технологический институт и скрылся из Петербурга, он заподозрил горькую правду. С упрямой надеждой он верил в сыновнее покаяние и утешался притчей о блудном сыне. «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

Жене Николая Степановича Татьяне Михайловне было безразлично, будет ли в России демократическая республика, конституционная монархия или самодержавие. Всякая война казалась ей, как и сыну ее Андрею, кровавым перед Богом и людьми преступлением, японская же война в особенности, быть может потому, что в ней участвовал и жертвовал своей жизнью ее первенец Саша. Своим женским инстинктом, изощренным инстинктом матери, она чувствовала, что главное вовсе не в том, в чем его полагают мужчины. По ее мнению, главное было в чем-то другом, чего она не умела бы высказать, а когда начинала высказывать, то говорила простосердечно, что «надо жить по любви». Что это значит, она и сама не знала. Ей казалось, что оба сына ее живут по любви, хотя оба убивали людей. Оба делали свое полезное дело. Оба были в опасности. Обоих она помнила еще в те далекие годы, когда они плакали у нее на руках и, ворча, сосали материнскую грудь. И она молилась об обоих их вместе смиренной молитвой о сохранении им жизни.

Когда приехал меньшой ее сын, Михаил, она одна заметила в нем перемену. Она заметила, как огрубел его голос, как неуловимо похудело юношеское лицо и как иногда тревогою загорались голубые глаза. Хотя теперь, когда он был с нею, ей казалось, что старших детей она любит больше, она безотчетно окружала его беспрестанной, нежной и робкой, прощальною лаской. Она поняла, что он своим полудетским, восемнадцатилетним умом уже что-то решил. Она знала, что это решение источник нового горя. Она знала, что и он, ее третий, последний сын, становится понемногу мужчиной, то есть уходит к трудному, непонятному ей мужскому делу. Она знала, что она не в силах его удержать. И к молитве о старших детях она прибавила молитву о сохранении и ему жизни.

В середине июля пришло от Саши письмо. Все собрались в бильярдной, высокой, прохладной комнате с коврами по стенам и семейными портретами в позолоченных рамах. Бильярдная выходила в сад, и старые липы, посаженные дедом Николая Степановича, трепетали зелеными ветками и бились об окна клейкими листьями. Николай Степанович, гладко выбритый, крепкий старик, со старческим румянцем на полных щеках, вынул из бокового кармана военного сюртука и бережно развернул только что полученное от Саши письмо. Надев золотые очки и строго оглядев жену и детей, точно желая удостовериться, что они хотят и готовы слушать, он торжественным голосом начал читать. Саша ясно и коротко, без жалоб и запоздалого осуждения, писал про Цусимский бой. Его спокойные, точные строки напоминали Мише их автора, спокойного, с холодными глазами, широкоплечего молодого офицера. И пока Николай Степанович читал, Миша испытывал то странное чувство, которое владело им, когда он видел старшего брата: смешанное чувство любви, уважения и страха. «Когда японские офицеры взошли на корабль, — голос Николая Степановича дрогнул, — они спустили Андреевский флаг, подняли свой, восходящего солнца, расставили часовых. Наша команда, истомленная бессонною ночью и боем, бросилась на цистерны с вином. Было множество пьяных. Я видел, как один из наших матросов покачнулся и упал лицом наземь. Японский часовой положил винтовку, подошел, вытер ему лицо и, вернувшись на свое место, продолжал отбывать вахту...» Николай Степанович приостановился и поднес к глазам белый платок.

— Что сделали... — прошептал он, снимая очки, — Господи, что они сделали...

— Слава Богу, Саша не ранен... — сказала Татьяна Михайловна. Она слушала чтение, наклонив несколько набок свою седую, еще красивую голову и боясь проронить хоть бы одно ничтожное слово. Из письма она поняла и запомнила только, что Саша жив и находится вне опасности.

— Что они сделали... — всхлипывая, повторял Николай Степанович.

Миша, все время молчавший, густо, пятнами покраснел.

— Кто сделал, папа?

— Кто сделал?.. — сердясь и размахивая черешневым мундштуком, ответил Николай Степанович. — Все виноваты... И вот эти... волосатики эти... Не учатся, по-

литикой занимаются, революцию затеяли, конституцию им подавай... Словно, прости Господи, немцы какие-то... А отечество гибнет... Андреевский флаг спустили, японский флаг подняли... А у нас рады... Так, мол, и надо... Не понимают того, что позор!.. позор!.. позор!.. — крикнул он, стуча мундштуком, и таким гневным голосом, точно кто-нибудь ему возражал. — Говорят, жестокость — военные суды... Как, помилуйте, не жестокость? Война, льется кровь, а тут, изволите видеть, бомбы, забастовки, помещиков грабят... Вот, пишут в газетах, в Саратовской губернии мужики усадьбы жгут... Значит, надо прощать? Нет, вешать надо... Вешать! — опять застучал он по ручке кресла.

Наташа не возражала. Она давно привыкла к этим неистовым вспышкам отцовского гнева. Ей было жалко отца. Она чувствовала, что это не его мысли и что угрозы его не страшны. Но для Миши речь Николая Степановича прозвучала незаслуженным оскорблением. Показалось, что его долг доказать, что отец ошибается, что Андрюша и революционеры не «волосатики», а именно те Минины и Пожарские, которые спасут Россию от позора и разорения. Мельком взглянув на Наташу, он прерывающимся голосом сказал:

— Кого надо вешать, папа?.. Вешать надо не тех, о ком ты говоришь, а...

Николай Степанович побледнел.

— Вот, вот, вот как ты их воспитала! — трясясь от гнева и задыхаясь, обратился он к Татьяне Михайловне. — Мальчишка смеет спорить!.. С кем?.. Со мною!.. С отцом... Смеет рассуждать!.. Смотри, Михаил, и ты туда же... Смотри!.. — погрозил он костлявым пальцем. — Не допущу!.. Не позволю!.. Довольно позора... Бери пример с Александра, не с других...— опять намекнул он на сына Андрея, мысль о котором мучительно не давала ему покоя. — Родителей не уважают, отечество не любят, царя не чтут, в Бога не веруют... Негодяи!.. — прохрипел он и, хлопнув дверью, вышел из комнаты.

— Нет, воля твоя, а я не понимаю, — заговорил Миша, волнуясь и избегая смотреть на мать. — Герои отдают свою жизнь за народ, за общее счастье, а говорят, что их нужно вешать... Происходят возмутительнейшие насилия, и все их переносят... А когда находятся люди, которые хотят спасти... их вешать?.. Что же это такое?..

Татьяна Михайловна с горестью смотрела на сына. Он был очень хорош в своем гневе. Высокий, голубогла-

зый, как все ее дети, с раскрасневшимся от негодования лицом, он ходил по комнате большими взволнованными шагами. Татьяна Михайловна вздохнула.

Миша обернулся к ней. Она сидела по-прежнему на диване, наклонив немного набок свою старую голову и перебирая тонкими пальцами концы вязаной черной косынки. Мише стало вдруг стыдно. Захотелось объяснить матери, что он больше не в силах терпеть, что он любит партию, верит Андрюше и хочет послужить народу и революции. Но неясное чувство удерживало его. По склоненной седой голове, по покорно-грустным глазам и, главное, по тому, как печально молчала мать, он почувствовал, что она понимает его и что слова здесь бессильны. Он медленно подошел к окну и заглянул в сад. Шумели липы. Работник Кузьма из длинношейной зеленой лейки поливал грядки петуний, вербены, резеды и левкоев, — любимого цветника Николая Степановича. В комнате стало тихо. Нарушая молчание, Татьяна Михайловна сказала:

— А о нас ты, Миша, подумал?

Миша ничего не ответил. Он не знал, что ответить. Чтобы скрыть малодушные, как он думал, слезы, он закрыл руками лицо и выбежал в сад. Он добежал до реки. В прибрежной, влажной траве пахло камышом и водою. Прямо над ним, догоняя друг друга, плыли узорчатые, изжелта-белые, беспокойные облака. И от их бесследного бега становилось еще беспокойнее и грустнее.

IX

Прошло лето 1905 года с убийствами, стачками, демонстрациями и зловеще-яркой зарницей — дерзновенным мятежом на броненосце «Князь Потемкин Таврический». Наступила осень и с нею великая всероссийская забастовка.

Хотя и Арсений Иванович, и Болотов, и Ваня, и Сережа, и Давид, и все бесчисленные товарищи ожидали каждый день революции, верили в ее неотвратимую близость и надеялись на ее обновляющую победу, они не поняли, что их желания сбылись и революция уже совершается. Еще вчера они озабоченно делали свое тайное партийное дело. Одни спорили в комитетах, другие готовили бомбы; третьи «организовали» крестьян, рабочих, солдат; четвертые писали воззвания; пятые воззвания эти печатали; шестые говорили пылкие речи, — сло-

вом, еще вчера хлопотливо жужжало прочно налаженное, хозяйственное веретено, и никто бы не мог догадаться, что революция уже на дворе, уже стучится в ворота. Но не только партию революция застала врасплох. И жандармы, и сыщики, и чиновники, и министры, хотя и боялись ее, хотя и чувствовали ее приближение, не могли верить, что то небывалое, что происходит у них на глазах, и есть та страшная революция, которую они тщетно пытались предотвратить. Но вот настало так долгожданное и все-таки внезапное «завтра». Сверкнула молния: разразилась великая забастовка. Наяву свершился сказочный сон.

Как это произошло, никто не знал и никто бы не сумел объяснить. Какое именно из распоряжений правительства переполнило чашу? Какой именно революционер подал пример отваги? Чья невинная кровь растопила Северный полюс?.. Так Нева, полноводная и большая река, спит зимой в своей каменной колыбели. Но вот, резвясь, соскользнул с тюремного бастиона апрельский живительный луч. Снег засверкал алмазными искрами, но не побежали ручьи и не тронулся лед. За первым лучом брызнул второй. Над Петропавловской крепостью засияло петербургское солнце,— бледный, немощный и все-таки всемогущий Дракон. И невидимкою, тайно, на дне, на морозных невских глубинах, омывая Алексеевский равелин, зазвенели, журча, гремучие ручейки. К ним понеслись говорливые воды. С тяжким грохотом вскрылась Нева, и пошел весенний, звонкий и ломкий, всесокрушающий лед.

Когда вышел манифест 17 октября, Андрей Болотов не сразу понял его значение. Он со вниманием читал широковещательные страницы о созыве Государственной думы, о свободе печати, совести, союзов, собраний, но, читая эти слова, не мог освоиться с ними. Тогда, когда он встретил на Невском мальчишку, продающего карикатуры на Витте, когда он купил одну из этих карикатур и прочел остроумно-грубую подпись под ней — насмешку над всесильным министром, — он понял, что в России что-то переменилось, что, каково бы ни было новое, старое, дряхлое и ветхозаветное вернуться не может. Первый раз в жизни он испытывал счастливое чувство освобождения: падали все неразгаданные вопросы, те вопросы, которые удручали его в последнее время. Можно было забыть о терроре, о Ване, о смерти, о своем праве на жизнь. Все опять было ясно. Казалось, достигнуто главное, то неоспоримое главное, в чем заключалась сокро-

венная цель всех усилий: казалось, открылся путь в обетованную землю — к справедливому и свободному устроению России. Но это чистое и светлое чувство пришло не одно. Его отравило недоумение: как приспособиться к жизни, как жить вне подполья, вне комитета, вне конспирации, как отвыкнуть от партийных привычек, как устроить не мир, а свою муравьиную жизнь? Спрашивая себя впервые, что он знает и на что он способен, Болотов с удивлением признавался себе, что, кроме революционного опыта, у него нет богатства и что, кроме навыков конспирации, он не вынес из партии ничего: многотрудная жизнь миллионов серых людей была ему неизвестна, непонятна и недоступна. И становилось жаль, что так скоро все кончено, что революция уже победила, что он, как поденщик после расчета, бесприютен и сир. С горечью вспоминались когда-то слышанные от Арсения Ивановича затейливые слова: «Сатана гордился — с небес свалился, Фараон гордился — в море утопился, а мы гордимся — куда годимся?..» Третье чувство, которое он испытывал, наиболее сложное, рождавшее в нем одновременно и надежду и озлобление, было неискоренимое доверие к возвещенной манифестом свободе. Он видел еще недавно измученное, а теперь умиротворенное лицо Веры Андреевны; видел самодовольную улыбку доктора Берга, точно именно доктор Берг руководил забастовкой, слышал старческий бас Арсения Ивановича: «Теперь, кормилец, шабаш... рычагом не выворотишь, жерновом не вымелешь...» Он видел и слышал все это и все-таки не мог успокоить горького, взращенного годами, сомнения. Его смущала не капитуляция правительства, а единственно то, что она наступила так скоро, без упорной борьбы и почти без жертв. Видя, как внезапно, помимо его желания и воли, вспыхнула великая забастовка, как широко она разлилась, как глубоко потрясла всю Россию, он понял и с сокрушением признал, что не партия со своими комитетами «сорганизовала» ее и что не в ее, партии, власти остановить, ускорить или замедлить величавый ход надвигающихся событий. И это, очевидное для всей России, бессилие возлюбленной партии было источником для него непрестанного и тяжкого огорчения.

Колебания его продолжались недолго. Однажды, торопясь в редакцию партийной, разрешенной новым законом, газеты, он проходил по нарядной Адмиралтейской набережной. Омраченная осенним ветром, Нева сердито вздувала свои свинцовые воды. Воздух был влажен. Таял

желтый, волнистый, петербургский туман. В Александровском, голом, усеянном ржавым листом, саду теснился народ. Серая, сдержанно-молчаливая, точно делающая свое важное, кровное, всем одинаково близкое дело, толпа выливалась темными брызгами на Адмиралтейский проспект и редела на Исаакиевской площади. Кое-где уныло, как тряпка, висели красные флаги. На черных сучьях деревьев и на чугунных столбах решетки гнездились галчата — голодные уличные мальчишки в надвинутых на уши шапках и в тяжелых подкованных сапогах. Какой-то, совсем еще юный технолог, в расстегнутой, несмотря на туман, тужурке, несмелым тоненьким голоском говорил обычную речь: «Товарищи!.. Манифест!.. Свобода!..» — сквозь холодную мглу долетали до Болотова обрывки знакомых слов. Болотов видел густое море людей, над этим безмолвным морем безусое лицо говорящего речь студента. Уйти было некуда: всюду — спереди, сзади, слева и справа, его сжимали чьи-то мокрые, широкие спины, чьи-то плечи, чьи-то стесненные груди. Вдруг студент крикнул что-то, чего Болотов не успел разобрать. Толпа вздрогнула, потом тихо, как бы в раздумье, поколебалась. Потом опять вздохнула сильнее, глубже. И вдруг сразу, как стадо перепуганных коз, давя и толкая друг друга, спеша, волнуясь и задыхаясь, шарахнулись стены смятенных человеческих тел. Кричали дети, плакали матери, мужчины с побледневшими лицами, сжав кулаки, силой пробивали себе дорогу. Стоял топот и рев и придушенный, сдавленный отчаянием стон. Болотов поднял голову. На пустынном Адмиралтейском проспекте, загораживая выход из сада, сплошною цепью протянулись солдаты в измокших, грязно-серых шинелях. Почему-то именно эти шинели, их твердое и унылое однообразие, вселяли суеверный, нерассуждающий страх. «Неужели будут стрелять? — мелькнуло у Болотова, но эта мысль показалась смешной. — Стрелять? Да у нас ведь свобода...» — с облегчением подумал он. Но в ту же минуту раздался странный, короткий, неожиданный треск. О решетку сада защелкали пули. Болотов видел, как с оголенной, чахоточной липы, ломая ветви, покатился маленький, невзрачный комок. На потемневшей сырой дорожке, неудобно подвернув под себя правую руку, лежал ничком мальчик лет десяти. Он лежал так спокойно, точно не он упал сверху, а кто-то другой, а он лег сам, по своей охоте. Издали можно было подумать, что он крепко спит. Болотов наклонился. Из-под ушастого, должно быть, тятькиного картуза виднелась тонкая шея

с завитками нежных светлых волос. Плечи были худые и торчали углами. К слабому тельцу, к узкой детской спине прилипла розовая, в рваных заплатах, рубашка. Не отдавая себе отчета, Болотов осторожно тронул мальчика за плечо, но тотчас, отдернув пальцы, встал и медленно мимо солдат вышел на Невский. «Обернуться?.. Не обернуться?.. Бежать?.. — думал он, чувствуя легкий и неприятный озноб. — Что это? Неужели я трус?..» — кольнула обидная мысль, и, выпрямившись во весь свой высокий рост, он нарочно замедлил шаги и пошел по Невскому, прямо по мостовой. Он шел один. Кругом не было никого.

X

В начале декабря, когда крепко стал санный путь и мороз зачертил узоры на окнах, в Петербурге упрямо заговорили о неминуемых баррикадах. Хотя Болотов и его товарищи знали, что никакими постановлениями нельзя заставить людей бунтовать, если они этого не хотят, они все-таки думали, что их долг перед партией разрешить вопрос «государственного значения»: быть или не быть забастовке, то есть всероссийскому вооруженному, как им казалось, непременно победоносному восстанию.

Заседание было назначено в 11 часов вечера на Каменноостровском проспекте, в уединенном особняке купца Валабуева. Внизу, у резного, в русском стиле, подъезда ливрейный лакей бесшумно отворял дубовые двери. Товарищи, раздевшись и отряхнув мокрый снег, подымались по мраморной лестнице во второй этаж, в кабинет хозяина дома. Там их встречал Валабуев, рыхлый, с обрюзгшим сытым лицом господин, остриженный под гребенку. Он был одет по английской моде: в узкие брюки, просторный черный сюртук и цветную жилетку. Он не знал никого, кто должен был явиться к нему, но здоровался дружелюбно, как добрый знакомый: библейская борода Арсения Ивановича внушала ему уважение и страх.

Когда Болотов вошел в кабинет, все товарищи были в сборе. Недоставало только Аркадия Розенштерна да приезжего из Москвы Владимира Глебова, или, как в партии называли его, «Володи».

В полутемном, дальнем углу, на диване, под большим, писанным во весь рост, портретом Толстого, Вера

Андреевна разговаривала со старым, густо заросшим курчавыми волосами евреем. Болотов знал этого человека — фамилия его была Залкинд, — знал, что он всю свою долгую жизнь томился по тюрьмам и, как умел, служил революции. Но Болотов его не любил. Не любил за зеленоватое, золотушное, в красных прыщах лицо, за воспаленные, оловянные глазки, за неопрятный пиджак и за преувеличенную товарищескую развязность. Он стыдился этой своей нелюбви, упрекал себя в несправедливости и пристрастии и старался быть с Залкиндом изысканно предупредительным и любезным. Завидев Болотова, Залкинд приветливо закивал головой и, не вставая, протянул холодную и сырую руку:

— Здравствуйте... Что нового? Как поживаете?..

— Благодарю вас. А вы? — с принужденной улыбкой проговорил Болотов и сейчас же почувствовал то хмельное и злобное раздражение, которое мучило его минувшее лето. «Ну, зачем этот здесь? — подумал он, глядя с ненавистью на Залкинда. — Что он знает? Что он умеет? Что он может решать?» — с внезапной тоской спросил он себя.

Вера Андреевна, в неизменном черном, без всякого украшения, платье, положив ногу на ногу и то и дело чиркая спичкой, что-то длинно рассказывала. Болотов прислушался к ее усталому однообразному голосу. Она говорила о том, как ее однажды арестовали в Полтаве и как она сидела в полтавской губернской тюрьме. Залкинд слушал ее и сокрушенно вздыхал.

— Вы знаете, — зажигая потухшую папиросу, сказала Вера Андреевна, — ...книг мало, только духовного содержания... Свиданий нет... Скучно...

— Вы что? Вы долго сидели? — опять вздохнул Залкинд.

— Двадцать шесть месяцев...

Болотов не стал слушать. «Господи, — думал он, — о чем они говорят?.. Одно и то же всегда, всегда, всегда, и у всех одно и то же...» За круглым чайным столом за серебряным самоваром сидели в креслах Арсений Иванович, Валабуев и доктор Берг. Болотов подошел к столу. Арсений Иванович, размешивая ложечкой чай и поглядывая с лукавой улыбкой на Валабуева, говорил надтреснутым басом:

— Незачем нам, кормилец, калину ломать... Дело ясное... Что ж, что они совет рабочих депутатов арестовали?.. Вода путь найдет... Вот погодите, Учредительное

собрание отдаст землю народу. Теперь мы на полушке помириться не можем. Не-ет, теперь либо все, либо ничего, — улыбнулся он, накладывая себе варенья, — если народ восстанет, тогда как? Что они могут поделать?.. Нет, кормилец, теперь наша взяла, теперь мы силой усилились, теперь им не устоять... куда-а!..

Арсению Ивановичу хотелось убедить Валабуева в значении и силе партии, но Валабуев молчал, слегка покачивая круглой стриженой головой, и невозможно было понять, соглашается он или не возражает только из вежливости. Доктор Берг зевнул, посмотрел на свои золотые с монограммой часы и с досадой перебил Арсения Ивановича:

— Черт знает что! Половина двенадцатого... Всегда кто-нибудь опоздает. Вечная неаккуратность российская...

Доктор Берг считал себя самым практичным и потому самым полезным и ценным из всех членов партии. По его мнению, половина неудач революции происходила от русской, славянской лени, от неумения, как он говорил, «написать простое деловое письмо». Он любил точность и ставил себе в достойную награды заслугу, что никогда не забывал адресов, никогда не опаздывал на свидания и никогда не смешивал «паролей» и «явок». «Les affaires sont les affaires...» [1] — повторял он по-французски и с презрением относился к тем из товарищей, которые «суетятся» и «зря суются в опасность». У него были тонкие, белые руки. Он носил высокие воротнички и разноцветные галстуки. Он был членом партии много лет, но арестован не был ни разу.

— Так-то, кормилец, — продолжал Арсений Иванович, ласково похлопывая Валабуева по плечу, — расскажу я вам случай. Помню, было это в тысяча восемьсот семьдесят седьмом году, нет, постойте... — он задумался, — нет, не в семьдесят седьмом, а в семьдесят восьмом...

Он не успел окончить рассказ, как заколыхалась тяжелая занавеска и без доклада раскрылась дверь. Вошел молодой человек, лет двадцати шести, громадного роста, с кудрявою черною бородой и со множеством глубоких рябин на лице, и молча остановился. Одет он был в синюю, грубого сукна, поддевку. Его можно было принять

---

[1] Дело есть дело... *(фр.)*

за приказчика, артельщика, молодого старообрядца-купца, но никак не за революционера. Это был Глебов, легендарный «Володя», знаменитый на Волге своей отчаянной отвагой. Валабуев мельком взглянул на нового гостя и, потупясь, вышел из комнаты. Володя небрежно кивнул головой и сел у окна подле гипсовой статуи Венеры Милосской.

Арсений Иванович кашлянул:

— Что ж, начнемте, кормильцы?..

И опять точно так же, как полгода назад, когда обсуждался вопрос о военном восстании, они заговорили в непоколебимой уверенности, что от их разговоров зависит если не исход революции, то, по крайней мере, ее начало. Болотов слушал и с гневом ловил себя на злых, надменных, несвойственных ему мыслях. «Неужели они не научились еще? — думал он, не замечая, что вместо «мы» поставил разделяющее «они». — Неужели не довольно примера Давида?.. Неужели они не знают, что говорить об убийстве имеет право единственно тот, кто сам готов умереть, кто видел ее?» Он с беспокойством оглянулся на Глебова. Он слышал о нем, как о прямодушном и смелом революционере, и боялся теперь, что и он будет говорить бесконечно бесплодные речи. Но Володя, свесив на грудь лохматую, черную, как у жука, голову и равнодушно закрыв глаза, казалось, дремал. Тогда Болотову захотелось громко сказать, сказать так, чтобы слышали все, вся партия, все товарищи, что разговоры эти — игрушки и что от них ничего зависеть не может. Захотелось сказать, что если вспыхнет восстание, то только по воле тех, кто сам возьмет в руки оружие, по воле тех безвестных рабочих, которые, не спросясь позволения, выстроят баррикады. Но он промолчал. Он предчувствовал, что его не поймут и что доктор Берг непременно скажет те значительные слова, на которые не хватит духу ответить. Доктор Берг холодно спросил его: отрицает он влияние партии или нет и если отрицает, то зачем состоит ее членом, а если нет, то как может он относиться с пренебрежением к ее «директивам»?

Говорил Арсений Иванович, как всегда, веско, внушительно роняя слова:

— Что греха таить?.. Силы наши не собраны, а разбросаны... Оружия мало. До сих пор войско не с нами. Рабочие истомились. Объявить сейчас забастовку значит... Что, кормильцы, то значит?.. Значит — призывать к революции, к восстанию всем миром... Ну, а готовы ли

мы? Эх, послушайте меня, старика... Ржаной хлебушка — калачу дедушка... Обождать надо. Приезжал по весне тут один, как его?.. Давид?.. Или как?.. Машет руками, кричит: восстание... В полку восстание!.. И не послушался нас... — с укоризной взглянув на Болотова, упрекнул Арсений Иванович: он считал Болотова виновником неудачи Давида. — Что же вышло хорошего? И восстания-то не было, и сам еле-еле ноги унес. Я вот и думаю: обождать. Лучше мала, да нивка, чем велико, да болото... Не время теперь восстания-то делать... Надо терпеть... До весны потерпеть; там видно будет, а пока что — нельзя, нельзя и нельзя...

Слова Арсения Ивановича были благоразумны и осторожны. Но почему-то Болотову казалось, что Арсений Иванович не прав, что в его рассуждениях скрыта тонкая, ему самому незаметная ложь. Он хотел говорить, но Володя предупредил его. Нехотя поднявшись со стула, он, точно спросонья, медленно обвел всех глазами, усмехнулся зелено-желтому галстуку доктора Берга и, обращаясь к одному Арсению Ивановичу, начал громко, по-московски растягивая слова:

— Вздор говорите, Арсений Иванович... Для чего мы здесь собрались? Для решения философического, — он так и сказал «философического», — вопроса о судьбе революции? Ну, так лучше взять шапки и по домам: не в коня корм... Не для словопрений я приехал сюда... Вопрос вовсе не в том, следует или нет объявить забастовку — не нам ее объявлять, — а вот в чем, и только в этом: если в Петербурге, Москве или где-либо в России вспыхнет восстание, что намерена делать партия? Я спрашиваю: чем партия поможет ему?.. Случилась первая забастовка. Где мы были?.. Ну, так это — позор! — Володя помолчал. — Нужно дать денег, оружия, людей... Да и самим идти нужно... А не баклуши бить, — твердо договорил он и сел.

При этих словах Арсений Иванович забарабанил пальцами по столу. Вера Андреевна покраснела. Залкинд часто заморгал воспаленными глазками и с негодующим изумлением уставился на Володю.

— По-вашему, значит, товарищ, — потирая белые руки, заметил холодно доктор Берг, — если только я верно вас понял, выходит так: если где-либо, кто-либо, по своему усмотрению, не испросив дозволения партии, выстроит баррикаду, мы обязаны оказать ему помощь... Так я вас понял?

— Так, — неохотно ответил Володя и закурил.

— Хорошо-с, оказать ему помощь, то есть истощить средства партии? Так?

— Так.

— Хорошо-с, и не только истощить средства партии, но и самим неизбежно погибнуть?

— Да, если нужно, погибнуть.

— Хорошо-с. Значит, если завтра будет восстание в Москве, надо ехать в Москву.

— Надо ехать в Москву.

— И бросить все дела в Петербурге?

— Какие, к черту, у вас дела? — вдруг, сдвинув брови и быстро вскакивая со стула, загремел Володя. — Языком трепать? Суждения постановлять? философические вопросы решать?.. Какие, к черту, дела, когда завтра восстание?..

— Эх, молодость, молодость! — мягко, вкрадчивым голосом вмешался Арсений Иванович. — И туда и сюда... И восстание... И поскорее... И чтобы не иначе как завтра... А кто будет кашу расхлебывать, и горюшка мало... Вот поживете с мое — поймете.

— Вам, конечно, и книги в руки... — возразил с усмешкой Володя, — вы наши отцы... Только я из Москвы не за поучениями, а за делом приехал... Даете денег? Да или нет? Даете оружие? Да или нет? Есть у вас люди? Да или нет?..

Когда он, все еще красный от гнева, вышел на мраморную, устланную малиновым ковром лестницу и Валабуев в модном жилете и длинном английском сюртуке, кланяясь, жал ему руку, Болотов, все время молчавший, нерешительно подошел к нему:

— Послушайте, Глебов...

— Чего? — спускаясь с лестницы, недовольно бросил Володя.

— Постойте... Я поеду с вами в Москву.

Володя остановился и подозрительно, сверху вниз, посмотрел на него.

— Вы?..

Болотову стало обидно. Он не уловил презрения в словах Володи: он не мог бы поверить, что кто-нибудь может его презирать, — такой осмысленно-сложной и самоотверженно-трудной казалась ему его жизнь. Но он понял, что для Володи он не любимый партией, известный революционер Андрей Болотов, достойный доверия и уважения, а человек, мужество и решимость которого

требуют доказательств. Он хотел рассердиться, но угрюмое лицо Володи внезапно просветлело улыбкой.

— Ну, что же? В Москву?.. Правильно... Хочешь есть калачи, не лежи на печи... — засмеялся Володя и сильно стукнул дубовою дверью.

С ближайшим поездом они вместе, в одном вагоне, выехали с Николаевского вокзала.

XI

— Ответьте мне на один вопрос, — сказал Болотов, когда поезд тронулся и закачались вагоны, — почему вы удивились, что я хочу ехать в Москву? Что же вы думаете, мы не способны на то, на что способен любой член вашей партии?

Володя ответил не сразу. Когда он думал, он высоко подымал брови, и от этого его бородатое лицо теряло обычную строгость и становилось простым и добрым, обыкновенным русским лицом.

— Как вам сказать? — заговорил он, снимая потертый картуз и кладя его в сетку. — Точно, я мало верю тем, кто языком треплет. Ну, да ведь есть исключения... Меня не это смущает. Главное вот в чем: не можешь идти, — не иди, не иди, не надо, никто на веревке не тащит, но зачем слова разные говорить?.. Помалкивали бы в тряпичку, а то мы-ста, да мы-ста, мы — соль земли, мы — интеллигенты, мы — партия, мы — революция, мы мир переделаем... Вот один такой, я где-то читал, — так тот так прямо и жарит: «мы — строители Сольнесы, мы на каменных фундаментах строим воздушные замки». Каково? Вот уж поистине стыда нет... Ведь когда дело до дела дойдет, до настоящего дела, — где они, эти строители? Днем с огнем не сыскать... Если и сделано что, то ведь не ими, не теми, кто решения постановляет и канцелярские циркуляры пишет... Ложь это все. И большая... Я-то ведь понимаю, меня на вороных не объедешь, а вы посмотрите, рабочий им верит, каждому слову... А они? Эх!.. — с сердцем махнул Володя рукой и стал скручивать толстыми пальцами папиросу.

«Точь-в-точь я и Ваня...» — подумал Болотов, но как только он это подумал, ему стало досадно. Разве Арсений Иванович не готов умереть? Разве доктор Берг не готов умереть? Или Вера Андреевна? Или Залкинд? Или он сам? Ведь вот он едет в Москву. «Зачем, в самом де-

ле, я еду в Москву?» — спросил он себя и, не найдя ответа, поморщился и сказал:

— Как вам не стыдно думать, что они... что мы, — поправился он, — лжем?.. Случится, мы сумеем умереть не хуже других...

— Улита едет, когда-то будет... Вы вот что мне объясните, — выпуская кольцами дым, возразил спокойно Володя, — я философ плохой и разных там ваших штук не знаю. А что вижу, то говорю. Партия признает террор? Да? А кто бомбы бросает? Вы? Как бы не так. Из вас никто никогда бомбы в руках не держал. Партия призывает к восстанию? Да? А кто дерется на кораблях, в казармах, на баррикадах? Вы? Нет, не вы. Из вас никто и пороху-то не нюхал. Вот вы слышали, как этот ваш немец Берг испугался: «Бросить все дела в Петербурге!» И ах, и ох, и опять ах... Вот, изволите видеть, и так каждый раз. Каждый раз «государственные дела» мешают. Почему они мне не мешают? И какие такие, скажите, «государственные дела»? Добро бы действительно делали дело, а то ведь празднословие одно. Вы говорите: «случится». Не смею, конечно, спорить, но когда же и как «случится», если за семью замками сидеть, всю жизнь в перманентных, черт их дери, заседаниях звонить? Я так рассуждаю: если ты — член партии, признающей террор, ты должен уметь в любую минуту выйти с бомбой в руках. А у нас? Из десятка... Да что из десятка?.. Из сотни идет один, а куда деваются остальные? Вы скажете: пропаганда, агитация, организация и всякая штука... Прекрасно. Но скажите вы мне, на кой черт агитировать за восстание, если сам поджимаешь хвост? Вы подумайте только, — пишут статьи о терроре, призывают, вопят, а сами в террор не идут, да и верят еще, что правы: мы-де голова партии, ее мозг, или у нас-де «специальных способностей» нет. «Специальных способностей»?.. Для чего? Для того, чтобы умирать? Какие, к черту, способности тут нужны? Не трусь, не трусь, и еще раз не трусь. Вот вам и вся наука. Противно смотреть, ей-богу... Сидит вот этакий хлюст, воротничок до ушей, галстук, как у павлина, и цедит сквозь зубы: «Принимая во внимание»... «каковой»... «поелику»... или циркуляры строчит, а циркуляров-то этих никто знать не хочет, прочтут — и в корзинку... Ему оправдание: я-де в террор не иду потому, что я партии нужен... Или еще вот «разделение труда» придумали. Ну-с, будьте же справедливы. Убить Плеве, скажем. Обыватели

радуются. Так им и Бог ведь велел; на то они обыватели, чтобы либо на радостях глотку драть, либо ругаться. С них взятки гладки. Они и не лезут в герои. Шпана, так и есть шпана. Ну, а орлы? Ну, а партия? Да ведь, дорогие товарищи, господа члены партии, прочитав телеграмму о взрыве, от радости пьяны вповалку. Тут со стыда сгореть, что не я Плеве убил, от зависти лопнуть... Куда... Ничуть не бывало. Мы — террористы, конечно, только прошу извинить, на словах. Выпили, пропели «отречемся от старого мира», и баста. Террор, мол, Созоновы сделают, а мы будем книжки о пользе террора писать да за границей печатать. Ну, поймают, посадят на год в Кресты или в Якутку сошлют. Только и всего. Очень покойно. Тьфу!..

— Что же, по-вашему, делать?

— Что делать? Да вот что: всякий, способный носить оружие, обязан его носить, а младенцев и хилых, трусов и празднословов — по шее. Тогда выйдет толк. А теперь толку нет. Канцелярия какая-то всероссийская и ничего больше. Агитация, пропаганда... Прекрасно. Да время ли теперь языком трепать? Ведь у нас революция. Поймите: уже революция. Не будет, а есть, уже есть. Не готовиться надо, а делать. Ведь это все равно как если бы на нас немцы напали, а мы вместо того, чтобы крепости защищать, грамоте бы солдат стали учить. Побеждают не книжкой, а кулаком, не тем, что нюнят, Лазаря поют, а бомбами, пулеметами, кровью. Ну-с, а теперь рассудите так: всех членов партии, скажем, ну, сколько?.. Ну, десять тысяч человек. Бросьте вы книжки в печку, вооружите вот этих людей, пусть все идут в бой. Сила?.. Не так ли? И ведь каждый из них на словах за террор и о баррикадах толкует... А у нас что делается? Что?.. Срамота... Готовы идти сотни две. Ну, сотни две и идут... без вашего разрешения. А вы, ручки сложив, поощряете: идите, голубчики, бейтесь, а мы дома скромненько посидим, чайку на досуге заварим, философические вопросы обсудим либо съезд соберем, докладов глубокомысленных наготовим, речей назвоним. И что ведь самое скверное: никто этого знать не хочет, никто этого позора не замечает. Так, мол, и хорошо. Так, мол, и надо. В этом, мол, правда. Ведь, помилуйте, туда же о морали толкуют... Наша-де мораль высока, выше буржуазной морали. Мы-де социалисты, и еще разная ахинея... Позор!..

От слов Володи у Болотова неприятно туманилась

голова и трудно было дышать. Возлюбленная, белоснежно-чистая партия становилась грязной, замаранной, точно чужие цепкие пальцы прошлись по ней. И если вчера у Валабуева в доме ему хотелось ответить Арсению Ивановичу, хотелось крикнуть, что слова его — ложь, то теперь им овладело злобное чувство. «Нет, он не прав, — стараясь не смотреть на Володю, с негодованием твердил он себе. — Не в этом правда... Не в этом...»

— А главное, вот в чем беда, — продолжал спокойно Володя, сплевывая и скручивая новую папиросу, — мешают! Ну, лежали бы на печи и молчали. Так нет. Суются. Сентиментальность их одолела. Того нельзя, то безнравственно, это непозволительно. Хотят революцию в белых перчатках сделать. Не понимают того, — вдруг загремел он, — что кровь — всегда кровь, как там ее ни размазывай, как ручек ни отмывай. «Поменьше, мол, крови...» Да ведь это же иезуитство... Не в церковь, — на баррикады идем. Какие уж тут молитвы! А по мне, стесняться нечего: нету денег — воруй или, как в ваших салонах выражаются, «экспроприируй»... Я на Волге недавно был. Господи, что там творится!.. Жалко смотреть. Парень под виселицей, поймают — шабаш, а он без паспорта, без сапог, трое суток не евши. Ну, что ему делать? Разобьет казенную лавку, деньги украдет — спасен. Так, извольте видеть, — нельзя, а если и можно, то, извините, без жертв, а уж частных лиц ни-ни, невозможно, не тронь!.. Конечно, не тронь!.. Сидит буржуа толстопузый, господин коммерции советник Карманников, или помещик, благодетель крестьян, какой-нибудь генерал Забулдыгин, или паук Удавков. Нельзя, сохрани Бог: частные лица. Ну, значит, парню — на крюк. Чепуха! — стукнул он кулаком. — На войне, так не в гостиной, а на войне. Чего тут миндальничать? С нами не поминдальничают небось. Нас за ушко и на солнышко, дозвольте вам галстук надеть, а мы — и нашим и вашим, и капитал приобрести и невинность девичью соблюсти. Все это глупость одна... Сидят-сидят, как Симеоны-столпники, по тридцати лет свою святость высиживают, а в это время нас бьют мордой об стол да в кровь... Дерзай! На все дерзай, только тогда ты и человек. Червяки... И никаких вопросов тут нет, все позволено, слышите: все... Лишь бы добиться, только бы победить... С вопросами этими, с философиями, с белыми ручками, черта с два, далеко не уедешь... Ну, разболтался я с вами, — резко оборвал Глебов, —

не охотник я до этих разговоров... интеллигентских. Не осудите. Завтра будем дело делать в Москве, а доказывать предоставим философам, вот этим, в манишках, черт их дери!.. Покойной ночи...

Володя скинул поддевку, положил ее под голову, повернулся к стене и сейчас же уснул. Должно быть, в поле шумела метель: сквозь грохот колес слышался тонкий, едва различимый, жалобный вой. Болотов, опустив голову на руки, не мигая, смотрел на просаленную обивку дивана и с усилием думал: «Прав Володя? Нет, конечно, не прав. Правда не здесь. Но где же? — в сотый раз спросил он себя. — Обязан каждый член партии в момент революции носить оружие? Да, конечно, обязан... Значит, и Арсений Иванович, и доктор Берг, и я, и тысячи таких, как и я, — лжецы и трусы... Но ведь мы не лжецы... Ведь я не лжец и не трус... Я-то ведь знаю, что я не трус... Я ведь знаю, что могу быть солдатом... да, да, да... именно, незаметным солдатом партии. Я-то ведь знаю, что каждый из нас готов умереть... Нужно партией управлять? Нужно. Значит, и Арсений Иванович, и я, и Вера Андреевна, и доктор Берг делаем хорошее и умное дело. Но что же мы делаем?.. Разве не правда, что мы призываем к убийству и сами не убиваем? Разве не правда, что мы говорим, говорим, говорим, а как до дела дойдет, где мы? И разве разговаривать значит руководить?.. — покачиваясь в такт поезда и чувствуя, что запутался в мыслях, мучительно думал Болотов. — Но тогда Арсений Иванович, и я, и доктор Берг — лжецы, и нас надо выбросить вон, как негодный ни на что сор, дать нам волчий билет...»

— Ваш билет, — раздался заспанный голос. Сонный кондуктор, с фонарем на поясе, прощелкнул маленький желтый кусок картона и, возвращая его, сказал:

— В Москву едете? Как бы греха не вышло.

— А что?

— Да дай Бог доехать. Говорят, пошаливают в Москве.

Поезд остановился. Двери были открыты, и из коридора тянуло морозом. На шапке, пальто и на сапогах кондуктора налип тающий снег: должно быть, метель разыгралась вовсю. На станции слышались голоса, чересчур громкие, звучные в ночной тишине. «Давай третий»... «Дава-ай»... Пискнул далеко впереди паровоз. Поплыли станционные фонари. Болотов, не раздеваясь, бросился на диван.

XII

В Доброй Слободке, у калитки двухэтажного каменного дома купца Брызгалова стояло три человека. Двое были одеты по-русски, третий, болезненный и бледный еврей — в осеннее драповое пальто. Невдалеке от них, шагах в сорока, несколько молодых рабочих, оживленно переговариваясь, возились с извозчичьими санями. Тут же, поперек улицы, валялся негодный хлам: подгнившие доски, срубленный телеграфный столб, желтый, рассыхающийся комод, оконная рама и широкие, звенящие на ветру, куски листового железа. Мороз щипал щеки. Блестел серебряный, выпавший за ночь, неизъезженный полозьями снег. У церкви Воскресения в Барашах звонили к обедне.

Один из молодцов, в полушубке, невысокого роста, скуластый, с калмыцкими, узкими, как щели, глазами и мозолями на иззябших руках, с любопытством следил за тем, что делалось у саней.

— Слышь, Сережа, потеха... Ей-богу, распречь не умеет, — сказал он и засмеялся.

— Распряжет... — лениво заметил Сережа.

— Извозчик ругается... Или пойти взглянуть? — помолчав, возразил первый. Не спеша передвигая ногами, он медленно подошел к кричавшим и ругавшимся людям.

— Ну, чего, товарищи, стали? — возвысил он голос. — Чего?

Дряхлый, в полинялом синем халате, извозчик, кряхтя, тянул к себе седую, тоже дряхлую лошадь. Увидев нового человека, он выпустил вожжи из рук и, кланяясь в пояс, слезливо забормотал:

— Ох-ох-ох... Батюшка... Ваше благородие... Прикажи отпустить... Лошадь-те не моя, вот-те Христос, лошадь хозяйская и сани хозяйские, хозяин-те спросит... Ох-ох-ох... Яви Божескую милость, прикажи отпустить...

— Замолчи, старый хрен!.. А вы что стали? Эй, товарищи, вам говорю!..

Пять или шесть румяных заводских парней и какой-то широколицый малый в овчинном тулупе, смеясь, указывали на тощего господина в пенсне. Господин этот тщетно пытался размотать туго стянутые гужи. Непослушные, тонкие, покрасневшие на морозе пальцы бес помощно хватались за узел, но только крепче связыва-

ли ремень. Малый в тулупе закрыл рукавом лицо и фыркнул в кулак:

— Так что вот, значит, они хвалились распречь...

— Экий безрукий какой, руки — как крюки... — с негодованием сказал человек в полушубке, проталкиваясь вперед и быстро и ловко снимая дугу. — Ну, теперь выводи...

Господин в пенсне сконфуженно взялся за вожжи. Разбитая, нетвердая на ноги лошадь, тяжело раздувая боками, понурив голову и опустив шею, сделала два шага и стала как вкопанная. Извозчик, сосредоточенно наблюдавший, как распоряжаются хозяйским добром, порывисто сдернул шапку и с силой бросил ее о снег:

— Пущай... Пропадать... Бери, ребята, бери... И лошадь бери и сани... Чего там?.. Ох-ох-ох... Дело ваше такое... Дай вам, Господи!.. Царица Небесная!.. Чтобы, как следовает: свобода!.. — И, повернувшись лицом к далекому, поблескивающему на солнце, золоченому куполу, он закрестился трясущимися руками.

— Ваня... — громко позвал Сережа.

— Чего?

— Поди сюда, Ваня.

— Зачем?

— В Машковом переулке кто-то идет.

Ваня бросил оглоблю и, увязая по колено в рыхлом снегу, побрел обратно к калитке. Пошептавшись с товарищами, он бегом побежал в Машков переулок. По безлюдному тротуару, не торопясь, шло двое людей. В одном из них, по черной бороде и громадному росту, он сразу узнал Володю. Другой был тоже будто знакомый: высокий и бритый, с голубыми глазами.

— Господи, вы ли это, Владимир Иванович?.. А мы вас заждались, — радостно здоровался Ваня, стараясь припомнить, где он видел эти голубые глаза. Болотов протянул ему руку.

— Не узнаете?

— Виноват. Не признал... — смутился Ваня и покраснел.

— Что делаете, ребята? — весело крикнул Володя. — Баррикаду? Хорошее дело... Будет им на орехи!.. А, Давид, и вы тут? — кивнул он головою еврею.

Давид засуетился и, отвечая за всех, заговорил заикающейся скороговоркой:

— Да, да... баррикаду, Владимир Иванович... Знаете, в Париже, во время коммуны... Ах, и вы с нами, Боло-

тов?.. Как чудесно... А, знаете, Владимир Иванович... Ах, как все это чудесно... Мы ведь вчера дрались... Вчера с вечера в Москве баррикады... Революция, Владимир Иванович!.. А в Петербурге что?.. Ничего?.. Что значит?.. Ведь в Петербурге тоже восстание?.. Да, так я говорю: ведь вчера, знаете, мы недалеко отсюда, на Чистопрудном бульваре, отбили атаку. Вы не верите? Ей-богу, отбили... Вот спросите Сережу... Теперь я знаю: будет Учредительное собрание, теперь, наверное, будет республика... Как вы думаете, Андрей Николаевич?.. Что?..

Та «атака», о которой рассказывал Давид, была атакой только в его сознании. Он искренно верил, что накануне было сражение, окончившееся его, Давида, победой. На самом же деле, когда на бульваре дружинники и случайные прохожие люди — лавочники, извозчики, разносчики, босяки, — торопясь и волнуясь, построили первую в Москве баррикаду и Давид, задыхаясь от счастья, поднял над ней красное знамя, казачий разъезд, из шести человек, на рысях выехал со стороны Маросейки. Заметив баррикаду и на баррикаде вооруженных людей, казаки остановились. Постояв в нерешительности и переглянувшись между собой, они разом все вместе, точно по пугливой команде, повернули круто назад и, взрывая пушистый снег, ускакали обратно. Вдогонку им, сам не понимая зачем, только потому, что у него в кармане был браунинг, Давид выстрелил много раз, но никого не убил и не ранил. Ему было обидно теперь, что Володя слушает его с неохотой. Хотелось еще говорить, хотелось рассказать Болотову, как он и Сережа смело явились в казарму, как в них стреляли, как они и солдат Габаев шли по двору, как Габаев был потом арестован в Одессе, а они скрылись в Финляндию, разыскали знаменитого Глебова и вступили в его дружину. Но, взглянув на неулыбающееся лицо Володи, он вздохнул и ничего не сказал.

— Работаете? — не глядя на Давида и обращаясь к людям, строившим баррикаду, спросил Володя.

— Работаем, Владимир Иванович... — отозвалось несколько голосов. Малый в тулупе поднял красное, обветренное на морозе лицо, подумал, почесал у себя за спиной и снова фыркнул в кулак. Володя подошел к распряженным саням и проворным, неожиданно легким для его громадного тела, движением шутя приподнял их на аршин от земли. Точно пробуя свою медвежью силу, он секунду их держал на весу и вдруг, размахнувшись, бро-

сил в нагроможденную, уже политую водой и почти обледенелую баррикаду.

— Вот так, — широко улыбнулся он.

Болотов со все возраставшим волнением смотрел на него.

По обезлюдевшей, опустелой Москве, по занесенным ночною метелью улицам, по заколоченным окнам, по запертым наглухо железными болтами лабазам и лавкам, по отсутствию городовых и казачьих разъездов и по этой, строящейся на Чистых прудах, баррикаде он воочию увидел, что в Москве совершается что-то торжественно-важное, что-то такое, что не зависит ни от его, ни от чьей бы то ни было отдельной воли. Он увидел, что не власть партии всколыхнула многолюдную, богатую, деловую и мирную Москву, и петербургские заседания показались ему жалкими и смешными. Он пытался понять и не мог, какая же именно скрытая сила движет теми людьми, которые в Лефортове и в Кожевниках, на Миусах и на Арбате одновременно начали строить баррикады, одновременно решились умереть и убить. И теперь, стоя под лучами морозного солнца, среди не городского белого снега и веселых, здоровых, вооруженных людей, бойко делающих незнакомое и опасное дело, он испытывал счастливое и бодрое чувство. Казалось, что Москва поднялась, как один человек, всей своей веками накопленной русской силой, и сознание новой, тяжкой ответственности, ответственности не перед партией и Арсением Ивановичем, а перед потрясенной революцией Россией, волновало его. И еще казалось, что именно он, Андрей Болотов, — тот избранный вождь, который приведет восставший народ к победе. Он приветливо улыбнулся Ване:

— Как же это вы меня так скоро забыли?

— Безусловно, забыл... — тоже с улыбкой ответил Ваня. — А помните, как вы меня напугали?

— Напугал?

— А то нет?.. Я ведь думал, не шпион ли какой?..

Болотов рассмеялся. «Так вот как он понял меня... Разве не все равно?.. Разве важно?.. Важно, что солнце, что снег, что баррикады и что он и я вместе на баррикаде... неужели вправду на баррикаде? — с изумлением спросил он себя. — Да, я в Москве... И в Москве восстание... В России восстание... И это превосходно... И все превосходно», — почти вслух прошептал он, точно желая проверить, что не спит и что все действительно пре-

восходно. Ему вспомнился доктор Берг. «Ну и пусть он там решает свои дела...» — беззлобно подумал он.

— Вот что, ребята, — громко сказал Володя, — баррикада окончена... Чего без дела толкаться? Вы, Василий Григорьич, покараульте здесь, у крепости нашей, — повернулся он к господину в пенсне. Господин этот все время не спускал с него влюбленно-восторженных глаз. — А мы зайдем на минуту в Брызгаловский двор... А ты кто таков? — заметил он малого в полушубке.

— Я-с?

— Да, ты. Ты откуда взялся такой?

— Я-с?.. Я брызгаловский дворник-с...

— Что ж ты тут делаешь? — нахмурил брови Володя.

— Так что дозвольте, ваше благородие, — замялся дворник и робко снял шапку, — уж очень занятно...

— Занятно?

— Так точно.

— Ну, если занятно, черт с тобой, оставайся и карауль.

Володя открыл калитку и быстро прошел во двор. Двор был запущенный, узкий, усаженный молодыми березами. Обремененные инеем пушились голые ветви. На дорожках и на прошлогодней траве великолепным ковром лежал серебряный снег, еще более целомудренно-чистый, чем на уличной мостовой. Когда все собрались, Володя сказал:

— Слышь, ребята, смелым Бог владеет, а пьяным черт качает... Баррикада — дело хорошее, только ведь стоянием Москвы не возьмешь... Нечего ждать, когда начальство пожалует, самим надо жаловать... Вы, Сережа, что думаете?

— Что думаю? Да нечего думать, — закуривая папиросу, ответил Сережа, — нужно делать террор...

— Как? Как? Что значит?.. Как делать террор? — заторопился, перебивая его, Давид.

— Как? — нахмурился снова Володя. — Ну, это дело десятое, там видно будет, как его делать... Маузеры у всех? Ладно. А вы, Болотов, с нами?..

Хотя Болотов не знал, куда приглашает его Володя, и не мог бы сказать, что значит делать террор в восставшей Москве, он согласился без колебания. Он чувствовал, что потерял власть над собою, что он послушный слуга Володи, что чья-то высшая, непреложная воля, одинаково владеющая и Володей, и Давидом, и Сережей,

и им, толкает его к чему-то страшному и решительному и что он не в силах не подчиниться ей. И сознание, что он не принадлежит себе, что он — игрушка в чьих-то руках, было приятно ему.

Темнело зимнее небо, и под ногами по-вечернему похрустывал снег, когда они вышли на Чистопрудный бульвар. Они шли по двое в ряд, и оттого, что их было много, и что у каждого было оружие, и что впереди шел Володя, и что кругом молчаливо раскинулась необозримая, темная, восставшая для смертного боя Москва, Болотов испытывал бодрящее чувство своей неистраченной силы и ожидающей его благословенной победы.

XIII

Был шестой час утра, и на дворе была еще ночь, когда Володя остановился у подъезда небольшого деревянного дома в Грузинах. «Здесь», — шепотом сказал он и, нашарив пуговку электрического звонка, позвонил протяжным и долгим звонком. Невыспавшиеся, угрюмые, неотличимые в ночной темноте дружинники несмело жались друг к другу. Было морозно и звездно. Прямо над головой на иссиня-черном декабрьском небе сверкала Медведица. «Зачем я здесь, с ними?» — с тревогой подумал Болотов. Того светлого чувства, которое владело им накануне, он не испытывал более. Даже казалось, что Володя делает ненужное, злое, быть может, вредное дело. Но не было силы уйти. За стеклянною дверью, в сенях, вспыхнул огонь, и толстый, босой, в длиннополом, грязном халате швейцар загремел ключами.

— Кто тут? — недовольным голосом проворчал он, осторожно приоткрывая двери и запахивая халат. Сквозь освещенные стекла Болотов ясно увидел близорукие, ищущие во тьме глаза, опухшее заспанное лицо и взлохмаченную спросонок голову. Сзади на тротуаре кто-то, должно быть Ваня, негромко сказал:

— Кого Бог полюбит, тому гостя пошлет.

— Оглох?.. Отворяй!.. — крикнул Володя, и сейчас же один из дружинников, Константин, рыжий, веснушчатый малый, лет девятнадцати, налег плечом на дверную раму. Дверь подалась, и зазвенели осколки стекол. Швейцар поднял руки. В ту же минуту, не давая ему времени вскрикнуть, Константин навалился всей тяжестью на него и изо всех сил сдавил ему горло. Болотов

видел, как напружилось и посинело белое, искаженное испугом, лицо швейцара.

— Связать! — отрывисто приказал Володя. — Константин и Роман Алексеевич! Останетесь здесь. Поваренков и Лейзер — на улице. Никого не впускать! Поняли? Никого! Кто бы ни позвонил — связать!

Согнувшись громадным и гибким телом и стараясь не стучать сапогами, он по-юношески легко взбежал по лестнице вверх. Во втором этаже, направо, была прибита дощечка: Евгений Павлович Слезкин. Володя обернулся к дружине.

— Вот что, — полушепотом сказал он, — ты, Ваня, пройдешь на кухню и станешь у черного хода. Да, смотри, ворона, убью!..

Не ожидая ответа, он позвонил. Стало тихо. В тишине было слышно дыхание многих людей. Теперь Болотов уже знал, знал наверное, что они делают что-то страшное и жестокое. Опять захотелось уйти, — захотелось не видеть того, что будет. Но та же непонятная сила, которой он радовался вчера, удерживала его. И сознание, что он не принадлежит себе, что он бессловесный и послушный солдат, теперь не только не было приятно ему, но вызвало смущение и страх. Казалось, что не Давид, не Володя, не Ваня решили ночью, как воры, напасть на этот запертый дом, что за них решила дружина, партия, Москва, вся Россия. И еще казалось, что остановиться они не вправе, что их бесславное отступление будет тяжким позором и непрощаемою изменой. И он понял, что не уйдет и беспрекословно, не рассуждая, исполнит все, что ни прикажет ему Володя.

Давид, еще на улице дрожавший как в лихорадке, искоса посмотрел на него и вздохнул:

— Что-то не отворяют?.. А?..

Болотов нервно повел плечами. Внизу, в швейцарской, затихли шаги, внезапно погас огонь. Володя позвонил еще раз. В прихожей резко задребезжал заглушенный звонок.

— Кого надо? — прошамкал из-за дверей старушечий голос.

— От генерала! — тотчас ответил Володя.

— От генерала?

— Да... Да... Очень важное... Отворите скорее...

Что-то заворочалось за обитой желтой клеенкой дверью. Заскрипел под ключом замок. На пороге стояла старуха, сморщенная, простоволосая, в ночной белой

кофте, должно быть, нянька. Она доверчиво подняла голову, но, увидев толпу вооруженных людей, закрестилась, затопталась на месте и, раскрыв старый, беззубый рот, приседая и кивая тощей косичкой, начала задом отступать от Володи.

Внося с собой запах мороза и неоттаявшие сосульки на бороде и бровях, Володя вошел в квартиру. Поколебавшись секунду, он несильно толкнул закрытую дверь. Дверь вела в темную, душную, очевидно, жилую комнату. Поискав пальцами по стене, он зажег электричество. Болотов, повинуясь все той же необъяснимой силе, вошел вслед за ним.

Посреди комнаты стоял тяжелый письменный стол. В правом углу, под небогатою образницей, на кожаном широком диване спал человек. Человеку этому на вид было лет сорок. У него были черные с проседью волосы и такого же цвета закрученные кверху усы. Вероятно, он услышал во сне шаги или яркий свет потревожил его. Он лениво полуоткрыл глаза и, как бы не веря тому, что увидел, думая, что все еще снится сон, опять опустил ресницы. Но сейчас же, точно кто-то сзади ударил его по голове, быстрым движением откинул ватное одеяло и потянулся рукой под подушку. Володя схватил его за плечо:

— Попрошу встать.

Человек, стараясь освободить руку, молча, потемневшими, испуганно-злыми глазами, смотрел на Володю. Он не замечал, что Василий Григорьевич целится в него из дрожащего маузера и что у самого уха, в затылок ему, направлен тоже дрожащий револьвер Давида.

— Господин Слезкин? — спросил Володя.

— Да, Слезкин, — чувствуя, что не может освободиться, прерывающимся, густым баритоном произнес человек.

— Полковник отдельного корпуса жандармов Евгений Павлович Слезкин?

— Ну да... Евгений Павлович Слезкин... Пустите руку...

— Попрошу встать.

Полковник Слезкин опустил на ковер одну голую волосатую ногу. Подумав, он опустил и другую, и, сидя так на диване, свесив босые ноги, в одной короткой рубашке, он надтреснутым голосом, но все еще громко, сказал:

— Вам собственно что угодно?

— Узнаете своевременно.

Слезкин стал одеваться. Болотову казалось, что все, что он видит, происходит не наяву и не с ним, до такой степени было странно смотреть на эти чужие голые ноги, на эту обнаженную, красную, с торчащим кадыком шею, на то, как здесь, среди них, незнакомых и враждебных людей, одевается пожилой, вероятно, женатый и семейный человек. «Точь-в-точь как жандармы...» — мелькнуло у Болотова. Лакированных высоких сапог Слезкин без помощи денщика натянуть не умел, и пока он возился с ними, тащил за ушки и, гремя шпорами, стучал пяткою о пол, все неловко молчали. Надев наконец синие с кантом рейтузы и сапоги, он снова сел на диван и, подняв по-детски высоко плечи и беспомощно разводя руками, вздохнул:

— Что же это такое?..

— Где ваш револьвер? — строго спросил Володя.

— Револьвер?.. — Слезкин провел рукою по лбу. — Под подушкой револьвер...

— Сядьте сюда, за стол.

Слезкин не двигался.

— Прошу сесть за стол.

— За стол?.. За стол?.. Нет... Нет... Я не хочу за стол... — провожая глазами Володю, едва слышно пролепетал он и дернул шеей.

— Господин Слезкин.

— Нет... Нет... Ради Бога, нет... Я не сяду...

Болотов видел, как Давид приставил к стриженому седому виску револьвер. Он видел, как тряслись у Давида пальцы и как у Слезкина, у носа и около скул, проступили багровые пятна и задрожала нижняя челюсть. Давид, не опуская револьвера, заговорил быстро, заикаясь и глотая слова:

— Что значит?.. Если вам велят, то есть приказывают, то вы обязаны садиться, куда сказано, то есть куда велят...

Володя поморщился:

— Господин Слезкин!

Слезкин встал и, с усилием волоча ноги, опустился в низкое плетеное кресло. Сев за привычный письменный стол, по привычке спиною к двери, увидев на привычных местах привычно знакомые, всегда одни и те же предметы: сафьянный черный портфель, чернильницу, пресс-папье в виде подковы, он внезапно притих и, стараясь быть твердым, сказал:

— Что же вам, наконец, нужно?..

— Узнаете своевременно... — Володя отвел револьвер Давида. — Вот что, господин полковник, Евгений Павлович Слезкин, даю вам пять минут сроку...

Володя не кончил. Слезкин с минуту остановившимися глазами в упор смотрел на него, и вдруг, не отрывая глаз от лица Володи, медленно приподнялся с кресла, и также медленно, прямой, высокий и белый как скатерть, начал пятиться задом к дверям. Пятясь, он постепенно подымал руки, точно прося пощады, и, подняв их до уровня плеч, закрывая лицо, широко расставил толстые пальцы. И тут Болотов услыхал то, чего долго потом не мог забыть, что долгое время спустя заставляло его в холодном поту, ночью, вскакивать с койки. Он услышал прерывистый стонущий заячий лай. Было невозможно поверить, что эти визгливые, непохожие на человеческий голос звуки выходят из горла вот этого крепкого, пожилого, в синих рейтузах и белой рубашке, человека. Слезкин, не опуская поднятых пальцев, и все так же не отрывая глаз от Володи, и все так же пятясь назад, и все так же визгливо лая, шаг за шагом отступал в угол, как будто в углу было его спасение. Болотов отвернулся.

Но внезапно, заглушая этот заячий лай, из прихожей поднялся и, наполняя низкие комнаты, повис в воздухе другой, еще более неожиданный звук: пронзительный женский щемящий вопль. И, расталкивая дружинников и кидаясь грудью на них, в комнату ворвалась женщина, с нездоровым цветом лица, полная, в папильотках, видимо, прямо с постели. Не умолкая ни на минуту, не понимая, что с ней и что она делает, зная только, что ее муж умирает, она бросилась на колени и, ловя ноги то Володи, то Сережи, то Болотова, хватаясь за них и целуя их сапоги, снова целуя и захлебываясь от плача, повторяла одно, лишенное смысла, слово:

— Спасите!.. Спасите!.. Спасите!..

Болотов видел, как Василий Григорьевич уткнулся носом в занавески окна и как Давид, отшвырнув свой револьвер и закрыв руками лицо, выбежал вон. Володя, бледный от гнева, решительно подошел к женщине. Он поднял ее на руки, как ребенка, и угрюмо забормотал:

— Успокойтесь, сударыня... Успокойтесь...

Женщина продолжала биться. Ее полное мягкое тело в длинной ночной сорочке сотрясалось от плача. Вырываясь из твердых объятий Володи, она, забыв все другие слова, выкрикивала одно и то же, подсказанное отчаянием, слово:

— Спасите!.. Спасите!.. Спасите!.. Спасите!..

Болотов почувствовал, что не может больше молчать и что у него сейчас брызнут слезы. Боясь этих слез, он повернулся к Володе:

— Пощадите его...

Володя ему не ответил. Крепко держа женщину на руках и зажимая ей рот платком, он быстро, уверенным шагом, вышел в прихожую.

— Прозевали! — сквозь зубы сказал он. — Вороны!

Слезкин стоял теперь в левом углу, у двери. Он стоял неподвижно, плотно прижавшись спиною к стене и не говоря ни слова. Сухими, блестящими, неестественно расширенными глазами он по-прежнему беспокойно следил за Володей, не пропуская ни одного его шага, ни одного движения его больших рук. Володя, вернувшись и заперев двери на ключ, со вниманием, пристально взглянул на него и отчетливо и громко сказал:

— Ну-с, господин Слезкин, по постановлению московской боевой дружины вы приговорены к смертной казни... через повешение, — понизив голос, прибавил он. — Эй, кто там?.. Веревку!..

Никто не пошевелился. Володя нахмурился. Болотов, чувствуя мелкую, неудержимую дрожь в ногах, пониже колен, опять подошел к нему:

— Владимир Иванович...

— Чего?

— Владимир Иванович...

— Ну, чего?

— Пощадите, Владимир Иванович...

— Как? Жандармского полковника Слезкина? Пощадить?.. Эх вы... Так зачем было петрушку валять?.. Зачем?.. Тьфу!..

— Пощадите, Владимир Иванович...

Слезкин не шелохнулся, точно не за него просил Болотов. Он все так же, не отрываясь, в упор смотрел на Володю. Лицо Володи перекосилось. На правой щеке под густою черною бородой, около сжатого рта, запрыгали судороги. И, не глядя на Болотова, он хриплым голосом крикнул:

— Убирайтесь все к черту! Все!..

Болотов, не помня себя, вышел из комнаты. В прихожей не было никого. Только у выходных запертых на цепочку дверей с бесстрастным лицом и с браунингом в руке дежурил незнакомый Болотову рабочий. Когда Болотов поймал его равнодушный, почти скучающий взгляд,

ему стало страшно. Он понял, что Слезкин неизбежно будет убит, что нету той власти, которая бы могла спасти его жизнь. «С нами не поминдальничают, за ушко да на солнышко... — неожиданно вспомнил он. — В самом деле, незачем было петрушку валять... Ведь этот Слезкин — мерзавец, ведь он перевешал десятки, ведь у него нет совести, как у зверя...» — ища оправдания, подумал он, но думать дальше не мог. Кто-то, всхлипывая, рыдал в углу. Закрывшись жандармской шинелью, весь мокрый от слез, в прихожей за вешалкой притаился Давид. Незнакомый дружинник взглянул на него и презрительно скривил губы.

В комнате Слезкина, кроме Володи, остался один Сережа. Когда Болотов вышел, он тронул Володю за рукав и тихо сказал:

— Бог с ним, Владимир Иванович...

Володя задумался. Опустив голову и расставив широко ноги, он думал секунду. Сережа закрыл глаза. Вдруг Володя дернул вверх головою.

— Трусы! Все трусы!.. — пробормотал он, и, избегая глаз Слезкина, незаметным проворным движением выхватил из кармана маленький тускло-синий револьвер, и, сжав зубы, почти не целясь, выстрелил в угол. Комната густо наполнилась клубами едкого дыма. На ковре, закинув высоко голову и опираясь затылком о стену, лежал смертельно раненный Слезкин.

XIV

Когда Давид вышел на улицу, уже рассвело. Утро было ненастное. Хмурые, низкие облака холодной мглой нависли над городом, над белыми крышами и голыми фабричными трубами. Снег не хрустел под ногами, а вился мутными хлопьями и налипал на подошвы, сырой и скользкий. Опустив голову и поеживаясь в своем осеннем пальто, Давид торопливо, без цели, шагал по бульварам по направлению к Замоскворечью. Раушская набережная была пустынна, точно вымерла вся Москва. На другом берегу реки, за Каменным мостом, в белых летучих хлопьях тонули зубчатые Кремлевские стены. После бессонной ночи в жандармской передней, после плача, криков и суеты, после властных приказаний Володи казались новыми и неожиданно странными и эта вялая тишина, и этот мокрый, забивающийся за иззябшую шею,

снег, и это нависшее небо, и туманный купол Христа Спасителя. Но страннее и неожиданнее всего было равнодушие прохожих: никто не знал, да, может быть, и не хотел знать, что случилось что-то ужасное, что убит человек, Евгений Павлович Слезкин, и убит именно им, Давидом.

На Балчуге, возле единственного незапертого лабаза, заполняя всю улицу, растянулись громоздкие, покрытые заскорузлой рогожей возы с мукой. Сытые кони, тяжеловозы, опустив заиндевелые шеи и подрагивая боками, понуро стояли в снегу. У коней также понуро стояли извозчики, тоже заиндевелые и замерзшие, ожидая очереди, чтобы проехать во двор. Один из возов застрял у ворот, и лабазные молодцы в холщовых передниках подталкивали его и ругались. На истоптанном грязном пороге стоял рыжебородый хозяин и, глядя на них, тоже ругался. Давид остановился перед лабазом. Он с тупым любопытством смотрел на однообразную вереницу нагруженных мукою возов, на залепленных снегом людей, на рыжебородого ругающегося купца, точно действительно было важно узнать, как протиснутся застрявшие сани во двор. И когда наконец, поскрипывая полозьями, сани скрылись в воротах, и за ними медленно тронулся весь тяжелый обоз, и приказчики, притоптывая ногами, разошлись по лабазу, Давид долго еще стоял неподвижно и все так же тупо смотрел на опустевшую улицу и железные болты лавок. Он очнулся от холода. Лицо его было мокро, и нестерпимо мерзли красные, закоченевшие руки. Засунув их глубоко в карманы и подняв воротник пальто, он быстро перешел Каменный мост. На Волхонке он споткнулся о занесенный снегом бочонок — о совсем готовую, заледенелую баррикаду, оставленную дружиной, — и чуть не упал. Потерев ушибленное колено, он свернул в переулок, но за углом была выстроена другая, невидимая с улицы, баррикада, и на ней трепалось красное знамя. Из-за вала кто-то окликнул его.

Давид мельком взглянул на знамя и, махнув рукою, повернулся на каблуках и побрел назад к Боровицким воротам. Его сейчас же догнал какой-то молодой с задорными глазами дружинник, подпоясанный извозчичьим гарусным кушаком. Он, запыхавшись, подбежал к Давиду и, дыша ему в щеку, заглянул прямо в лицо. Давид приостановился и, покраснев, с глазами полными слез, забормотал, заикаясь:

— Что значит?.. Сегодня ночью... начальника охраны... убили...

Чувствуя, что сейчас зарыдает, и отчаянным усилием воли сдерживая себя, он визгливым фальцетом крикнул:

— А убил его я!..

Потом, приподняв для чего-то свою студенческую фуражку, он, не оглядываясь, бегом побежал к Кремлю. Молодой рабочий с недоумением пожал плечами, сплюнул и лениво поплелся на баррикаду.

Снег, не утихая ни на минуту, белыми мутными хлопьями засыпал улицы, тротуары, деревья, церкви, дома, баррикады дружинников и Давида. В Александровском саду он глубоким ковром замел все дорожки. Давид присел на скамейку и с тем же тупым любопытством, с каким смотрел на обоз, стал рассматривать летающие снежинки. Они неслышно падали ему на плечи, на руки, на колени, и, когда их скоплялась большая груда, он осторожно, одним пальцем, стряхивал их на землю. Он не мог бы сказать, сколько времени он так просидел. Его знобило. Он не думал ни о чем — ни о Слезкине, ни о восстании, ни о Володе. Он видел снежные хлопья, каменную стену Кремля и в лихорадочном забытьи считал замедленные удары на Тайницкой башне. Но вдруг с тою же беспощадной отчетливостью, как и вчера, в ушах неожиданно зазвенел знакомый пронзительный заячий крик, тот крик, которому он был не в силах поверить, хотя и слышал его. «А-а-а-а-а...» — замычал он и схватился за голову. «А-а-а-а-а...» — повторил он, сжимая до боли виски. Его фуражка свалилась в снег, но он не поднял ее. Он ясно видел перед собой потемневшие, немигающие, остановившиеся глаза. Он встал и, не опуская рук, в расстегнутом мокром пальто, без шапки, побрел на Арбатскую площадь. На площади, у Арбата, валялись обломки раскиданной баррикады и потрескивал на углу веселым огнем костер. У костра грелись люди в темных шинелях. Их было много. Давид, опять почувствовав холод, не понимая, где он и что это за люди, пошел прямо на них, к огню.

— Кто идет? — услышал он хриплый окрик. Он не понял его и только ускорил шаги, но что-то острое, твердое загородило ему дорогу. Перед ним стоял невзрачный солдат в башлыке, навернутом на уши, и в неуклюжих засыпанных снегом сапогах. Продолжая держать винтовку наперевес, он низко нагнулся к Давиду и тот-

час, вытягиваясь, как на параде, сказал заученным голосом:

— Так что жида поймал, ваше благородие. — Несколько человек в таких же обмотанных кругом головы башлыках и в серых шинелях окружили Давида. У всех были в руках винтовки, и все, недружелюбно и откровенно, разглядывали его. Подошел молодой, с бледным и хмурым лицом и с родинкой на щеке, офицер и тоже недружелюбно, с ног до головы, осмотрел Давида. Солдат весело повторил:

— Так что жид, ваше благородие.

— Обыскать! — сказал офицер и брезгливо поморщился.

И сейчас же Давид почувствовал, как по его телу, по спине, по груди и под мышками зашарили чужие и грубые неловкие руки. От их прикосновения стало как будто еще холоднее. Давид съежился и глубоко спрятал лицо в воротник.

— Револьвер, ваше благородие.

Давид не сознавал, что именно с ним происходит. В ушах, мешая думать и понимать, все еще звенел заячий лай. Почему-то Давид был твердо уверен, что обыскивают его по недоразумению, что недоразумение скоро рассеется и что его, конечно, отпустят. Он не мог поверить, что его, свободного человека, который только что свободно ходил по Москве и свободно мог выехать в Петербург или за границу, его, Давида, здесь, на Арбате, силою задержали какие-то неизвестные люди и что эти люди вправе сделать с ним все что угодно. Это было до такой степени нелепо и непонятно, что он не почувствовал ни беспокойства, ни страха и равнодушно следил за шарившими по его телу руками. Один из солдат, черноусый ефрейтор, толкнул его легонько прикладом:

— Ну, айда... Марш!

Четверо вооруженных людей, с такими же бесстрастными лицами, как у того дружинника, который дежурил в прихожей у Слезкина, повели его вверх по Арбату. Он шел послушно, по привычке размахивая руками. Только теперь он заметил, что потерял шапку. Его русые волосы мокли. По дороге он думал, что без шапки легко простудиться, и напрасно напрягал ослабевшую память, чтобы припомнить, где ее обронил. Только когда солдаты остановились возле казенного грязного здания в незнакомом ему переулке, он понял, что его ведут в полицейскую часть. В первой, холодной, с казарменным запахом ком-

нате у дверей стояло два часовых и, согнувшись на лавочке, дремал старый с серебряными медалями околоточный надзиратель. Пока он ходил с докладом, Давид лениво осматривал комнату. Под ногами его, на полу, расползалась черная лужа талого снега.

Через минуту надзиратель вернулся. Опять кто-то толкнул Давида в плечо. В светлой, просторной комнате с забеленными окнами, за казенным красным столом, под портретом царя в гусарском мундире, сидело два офицера. Один из них, обрюзгший толстый полковник с длинными седыми усами что-то быстро писал. Другой, помоложе, с адъютантскими аксельбантами на груди, просматривал какие-то розовые бумажки. Давид стоял у дверей, рядом с околоточным надзирателем. В комнате было тепло, в левом углу трещали в печке дрова, и он с удовольствием чувствовал, как отогреваются его мокрые, озябшие пальцы. Прошло долгое время, пока полковник поднял наконец голову и, прищурясь, устало посмотрел на него. Адъютант наклонился и что-то почтительно зашептал.

— Да, да... конечно... конечно... — сказал полковник, не глядя на адъютанта, и, обращаясь к Давиду, строго, барским ворчливым басом спросил:

— Твой это револьвер?

Давид ничего не ответил.

— Ты из него стрелял? — сказал полковник и положил белую, в кольцах руку на браунинг. — Фамилия?.. Отвечай, когда я тебя спрашиваю.

Но Давид, если бы и хотел, уже был не в силах ответить. Внезапно, с беспощадною точностью, с той нерассуждающею уверенностью, которая исключает ошибку, он понял, что его ни за что не отпустят и что не по недоразумению он здесь. Он понял, что для полковника, для адъютанта, для задержавших его солдат, для полицейского надзирателя, который мирно дремал на лавке, для этих голых казарменных стен он не живой человек, Давид Кон, с прекрасной и бессмертною жизнью, а бездушный номер, никто, один из тех безымянных людей, которых десятками арестуют, вешают и ссылают в Сибирь. Он понял, что полковник его не поймет, — не сможет и не захочет понять, что нет его вины в том, что восстала Москва, что строятся баррикады и что убит жандарм Слезкин. Он понял, что его будут судить и осудят единственно по уликам, — но лживым и нестоящим мелочам. И он вспомнил, что стрелял на Мясницкой и что этого

скрыть нельзя, потому что револьвер закопчен и в обойме недостает пяти пуль. И как только он это вспомнил, он уже знал, знал не разумом, а всем своим слабым, продрогшим и утомленным телом, что сегодня, сейчас, через десять минут, вот в этом полицейском участке, в этой казенной комнате, произойдет что-то страшное, что-то такое, чего с ним никогда еще не бывало, что не должно и не может быть, что будет более ужасно, чем даже крик и смерть Слезкина. И неожиданно для себя он затрясся всем телом мелкой, трепетной, все нарастающей дрожью. Он хотел унять эту дрожь, но зубы не повиновались и громко стучали, и тряслась челюсть, и пальцы прыгали по груди. Адъютант опять наклонился к полковнику. Полковник еще раз взглянул на Давида и кивнул одними глазами.

Давид плохо понимал, что с ним было дальше. Он заботился и думал только о том, как бы остановить противную, малодушную дрожь. Как сквозь сон он *увидел, что он* снова в сенях, что его опять окружают солдаты, и понял, что его выводят во двор. Мелькнули хлопья мутного снега, серые шинели, желтая, истрескавшаяся стена и бритое лицо адъютанта. Сухой и жесткий, горячий комок подкатился к горлу. Давид зашатался, но кто-то сзади бережно поддержал его. Пришел он в себя уже у стены, с завязанными руками. В десяти шагах темнело что-то неясное, чего он не мог различить. Он понял, однако, что это солдаты. Справа от них, сгорбившись, стоял офицер. И тут на мгновение, на короткий, как молния, миг, Давиду стало вдруг ясно, что этот снег, эти винтовки, этот кусочек хмурого неба, этот бритый, с твердым лицом адъютант именно и есть то неведомое, что называется смертью и чего он боялся всю жизнь. Дрожь сразу утихла. Он поднял вверх голову, но сейчас же опять опустил: снег, падая, щекотал щеки и забивался за ресницы, в глаза. Больше он уже ничего не увидел. Блеснуло желтоватое пламя. На том месте, где только что стоял у стены Давид, беспомощно свернулось жалкое, скорченное, никому не нужное тело. Снег валил не переставая.

XV

На улицах Москвы уже много дней происходило сражение, и исход его колебался. Ни одна из враждующих армий — ни правительство, ни революционеры — не ос-

меливалась перейти в открытое наступление. Те несколько сот московских рабочих, приказчиков и студентов, которые строили баррикады, не были в силах ни завладеть Китай-городом и Кремлем, ни заставить войска положить оружие. Но и те немногочисленные полки, на которые правительство могло положиться, усмиряли восстание вяло и неохотно, отбывая казенную, обременительную повинность. Торговая и деловая Москва, Москва биржи, банков, амбаров и лавок, миллионный город купцов и попов, не участвовала в сражении. Она растерянно выжидала, на чьей стороне будет победа, то есть твердая власть. Войска разрушали и жгли покинутые дружинами баррикады, но при первых же выстрелах в беспорядке возвращались в казармы. Вместо разрушенных баррикад дружинники строили новые и легко, без борьбы, оставляли их, когда видели, что силы не равны. В конце недели по Москве прошел слух, что из Петербурга по Николаевской незабастовавшей дороге прибывает царская гвардия. Стало ясно, что одинокое, бессильное, нерешительное восстание должно погаснуть так же быстро, как вспыхнуло.

Но ни умиравшие на баррикадах дружинники, ни притаившиеся в страхе чиновники и купцы, ни те министры, которые посылали Семеновский полк, ни сами «семеновцы» не видели этого. Им казалось, что восстала вся Москва, вся Россия, и только что, истощив последние средства ценою бессчетных жертв, можно залить бушевавший пожар — всероссийскую, великую, победоносную революцию. Так думал и Болотов. Он сражался без отдыха уже вторую неделю. Не наступая, но и не избегая столкновений с войсками, дружина Володи медленно описывала дугу вдоль Садовой, от Чистых прудов, через Сретенку, Драчевку и Самотеку, к Пресне! Она, естественно, как перед охотником зверь, отодвигалась перед сильными отрядами войск к той части Москвы, которая всецело была в руках революционеров. Брошенные ею и разрушенные казаками баррикады немедленно восстановлялись другими дружинами. Эти дружины точно так же, как и она, двигались по Москве без цели и руководящего плана, то приближаясь к Кремлю и давая сражения у стен Страстного монастыря, то отступая опять в удаленные окраины города. За эти дни число дружинников возросло, но это не был тот стремительный и могучий рост, который знаменует собой народную революцию. У Володи было теперь до тридцати человек, почти

сплошь заводских рабочих. В этой вооруженной толпе затерялся и приставший в первый же день восстания брызгаловский дворник Пронька. Этот Пронька, широколицый, веселый малый, с громадными волосатыми кулаками, плохо понимал, кто сражается и зачем. Если бы Болотов заговорил с ним о республике, об Учредительном собрании или социализме, он бы, почесав в затылке и ухмыльнувшись, ответил, что это не его, а барское дело и что господам лучше знать. Но, пристав случайно к дружине, он уже не мог оставить ее. Он видел, что дружинники убивают начальство, а так как всякое начальство, начиная с городового и кончая министром, казалось ему самозваным и противоестественным злом, то он и считал, что они делают хорошее и полезное дело. Кроме того, ему было необычно и потому весело — «занятно», как он говорил, — бродить с револьвером по безлюдной Москве, ломать гнилые заборы, переворачивать вагоны трамваев, рубить столбы и деревья, охотиться на казаков и своим длинноствольным маузером неизменно повергать в ужас сердобольных купчих Хамовников, Лефортова и Плющихи. Сперва дружинники смотрели на него косо, как на чужого, случайного человека. Но однажды Пронька, по приказанию Володи, взялся через линию войск прошмыгнуть на Тверскую и там, по записке, получить в комитете пятьсот рублей. Он действительно, без обмана, побывал на Тверской и принес все, до последней копейки, деньги. С этого дня он стал товарищем, неоспоримо полноправным дружинником. Когда прошел слух, что из Петербурга в Москву выслана гвардия, только один Володя понял истинное значение этого слуха. Он понял, что восстание раздавлено, что Семеновский полк без труда сметет зыбкие, боязливые баррикады и что дешевая победа его будет смертельным ударом для революции. И он решил во что бы то ни стало помешать «семеновцам» приехать в Москву и, не видя другого исхода, попытался взорвать полотно железной дороги. Не ожидая ничьих дозволений и не спрашивая ничьих советов, он уехал с этой целью в Тверь. Командование дружиной он передал не Болотову, а Сереже.

За эту неделю Болотов изменился так, что Арсений Иванович наверное бы его не узнал. Он похудел, его голубые глаза ввалились, и побледневшие, неумытые щеки обросли густой и жесткой щетиной. Ватное, щегольское пальто, в котором он приехал из Петербурга, разорвалось в клочки в первый же день, когда пришлось отди-

рать от брызгаловского забора доски, таскать на плечах пустые бочонки и перерезывать телефонные провода. Кроме того, в пальто ему было неудобно и тяжело. Он скинул его, надел полушубок и подпоясался кушаком. На ногах у него были валенки. Первый раз в жизни он узнал не из разговоров и не из книг, что такое восстание, баррикада, убийство и смерть. Он с удивлением увидел, что все это гораздо проще, обыденнее и легче, чем пишут в романах, но зато и гораздо страшнее. Первый раз в жизни он узнал также то, что обыкновенно называют лишениями и что всегда казалось ему отяготительным и несносным. Он узнал, что значит не есть двое суток подряд, не умываться и спать не раздеваясь где-нибудь на задворках в нетопленом, нежилом сарае. Но непривычное ощущение голода, холода и грязного тела не только не смущало его, но даже было приятно. Он с детскою гордостью рассматривал свои изрезанные, в мозолях, руки, и ему было радостно сознавать, что он такой, как и все, как Ваня, Константин или Пронька, и что он может исполнить какую угодно работу, как бы она ни была черна: может нарубить дров, натаскать на морозе воду для баррикады или раздуть потухающий на ветру костер. Он с удовольствием замечал, что дружинники постепенно привыкают к нему, постепенно перестают видеть в нем барина, члена неуловимого комитета, те белые руки, которые не знают труда, и он старался еще теснее сблизиться с ними. Это было не искусственное, хорошо знакомое сближение пропагандиста с учениками, не та поверхностная, словесная связь, которая зарождается от келейного чтения брошюр и разговоров «о положении рабочего класса», о «деспотизме» и об «эрфуртской программе». В рабочих кружках, среди полуграмотных заводских парней, он чувствовал себя навязчивым пришлецом, незваным школьным учителем, а не другом и не товарищем. Здесь, на баррикадах в Москве, когда все одинаково несли тяжкий труд, все одинаково мерзли, голодали и подвергались опасности, мало-помалу стерлась эта обидная грань, и он незаметно для самого себя стал неотделимою, не менее ценною, чем всякий другой, частью рабочей дружины. В первые наивные дни баррикад он искренно верил, что наступит час, когда именно он, многоопытный революционер Андрей Болотов, поведет за собою народ. Но чем ярче разгоралось восстание, тем ничтожнее казались эти самоуверенные мечты. Он увидел, что в Москве нет начальства, что если завтра погиб-

нет Володя, баррикады не опустеют и не прекратится братоубийственная неистовая, не Володей объявленная война. Он увидел, что «вести за собою народ» смешно и не нужно и что об этом можно разговаривать в комитете, но здесь, когда на улицах идет бой, эти праздные мысли лишены значения и силы. Он не только понял, но и на деле узнал, что нет таких слов, которые могут заставить людей убивать, если они этого не хотят, и нет той власти, которая может запретить умереть, если человек бесповоротно решил отдать свою жизнь. Из дружинников его внимание привлекали три человека: Василий Григорьевич, фармацевт по образованию и по фамилии Скедельский, которого ему было жаль, — жаль за узкие плечи, за слабосильные руки, за землистый цвет впалых щек и за безличную покорность не только Володе, но каждому из товарищей, даже Проньке; девятнадцатилетний, веснушчатый и кудреватый мальчишка, слесарь Константин, который удивлял его своею бесшабашною, чисто русскою удалью, и пожилой ткач Роман Алексеевич. Роман Алексеевич говорил и стрелял очень редко, но когда стрелял, то не тратил «зря» драгоценных зарядов, и сердился на Проньку за то, что Пронька не умеет стрелять. При отступлении Роман Алексеевич последний уходил с баррикады и, как бы ни был силен огонь, не забывал захватить с собой знамя. Болотов не мог бы сказать, почему после убийства Слезкина он не расстался с Володей, но он знал, что делает хорошо, что не следует расставаться и что в чем-то будет неправда, если он уйдет из дружины. Та первородная, кровная связь, которую он почувствовал на первой же баррикаде, связь не только с Володей, но и со всей восставшей Москвой, та сила, которая привела его к дому Слезкина, то сознание ответственности, которое овладело им в эту ночь, подсказали ему его решение. Но осмыслить это решение, уразуметь его скрытый источник он при всем желании не мог.

В субботу 9 декабря дружина, под командой Сережи, оставляя свои баррикады на Миусах, отошла за Пресненские пруды и заняла Глубокий, Верхний и Нижний Предтеченский переулки, отгораживаясь цепью небольших баррикад от Прудовой и Пресненских улиц. Правым крылом она упиралась в обсерваторию, левым — в церковь Иоанна Предтечи. Сзади себя, в тылу, она укрепила двухэтажный домик городского училища, забаррикадировав все окна и двери и поставив своих часовых. Миус-

ские, покинутые ею, баррикады немедленно заняла соседняя с нею дружина студентов межевого института и университета. Со стороны Миус долетали нечастые револьверные выстрелы.

— Ишь ты, господа студенты палят... — подмигнул одним глазом Пронька и громко захохотал.

— Нечего на чужую поветь вилами указывать, — сурово возразил Константин, вскарабкиваясь на баррикаду и укрепляя красное колеблющееся и хлопающее на ветру знамя. День был бессолнечный, но морозный. Снег вздымался сухою пылью и колючими иглами кружился по воздуху. Константин потоптался на баррикаде, спрыгнул вниз, окинул взглядом крутой и скользкий, обледенелый вал и промолвил с гордостью, любуясь своей работой:

— Ладно... Не страшны лягушке никакие пушки...

Шагах в пятидесяти за баррикадой, почти у крыльца городского училища, дружинники разложили костер. Около баррикады остались одни часовые. По ее валу уныло взад и вперед шагал Пронька, изредка останавливаясь и с нескрываемой завистью поглядывая на потрескивающий огонь. Вдруг он насторожился, обернулся лицом к Прудовой улице, несколько секунд постоял неподвижно и весело крикнул:

— Казачишки приехали!

Болотов привык к этим ежеминутным, скоропреходящим тревогам. Он вскочил на ноги и, вынимая на ходу заряженный маузер, побежал к баррикаде. Пронька был уже на земле и, вытягиваясь на цыпочки и цепляясь однию рукою за вал, другою указывал вдаль Сереже. На Конюшковской улице, за Пресненскими прудами, четко видные с баррикады медленно, верхом подвигались драгуны в грязно-бурых шинелях, с винтовками наготове. Болотов стал считать. Драгуны по трое в ряд огибали пруды и мелкою рысью направлялись к обсерватории. Болотов насчитал девяносто шесть человек.

— Безусловно двухсот шагов не будет... — заметил Ваня, прищуривая глаз. — Из маузеров хорошо бы хватить.

— Пущай ближе доедут... — сумрачно возразил Роман Алексеевич и закашлялся сухим, чахоточным кашлем.

— Вот... глянько-ся... глянь... Его благородие господин офицер... — опять захохотал Пронька, тыкая пальцем на конного офицера, который, оставив своих людей,

один, на вороной лошади, выезжал в улицу. — Ах, шут те дери... Какой прыткий, скажи на милость... Сергей Васильевич, дозвольте стрельнуть... — улыбаясь, попросил он Сережу.

Сережа не отвечал, пристально разглядывая драгун. Обогнув пруды, они начали спешиваться. Пронька нетерпеливо мотнул головой:

— Сергей Васильевич, ведь, ей-богу, же в самый раз...

Болотов посмотрел через плечо Проньки. Ему показалось, что не следует терять ни минуты, — что именно сейчас, когда драгуны слезают с коней, удобно и нужно открыть огонь. Он уже привык хладнокровно, без волнующей радости, видеть войска и ждать их атаки. Он был уверен заранее, что никакая пехота в Москве не устоит против огня баррикады и что никакой офицер не сумеет принудить солдат идти на бессмысленную и несомненную смерть. Быть может, поэтому в нем давно зародилось и выросло волчье, охотничье чувство, то чувство, которого он раньше не знал и которого втайне стыдился. По напряженному лицу Проньки, по его блестящим глазам и, главное, по сосредоточенному молчанию дружины он видел, что это чувство владеет не только им, но что все с нетерпением ожидают приказа Сережи, чтобы начать стрелять и, если удастся, убить именно офицера. За себя Болотов не боялся. Ему и в голову не приходило, что его могут ранить или убить: за долгие дни восстания дружина, не считая Давида, потеряла только одного человека, да и то случайно, единственно потому, что он вышел на улицу и стал стрелять без укрытия, на виду у солдат. Сережа молчал, точно испытывая послушание дружины. Наконец, он нехотя отдал команду:

— Раз... Два... И... пли!

Он не успел произнести последнего слова, как Пронька и Константин, угадывая его разрешение, одновременно выстрелили из маузеров. И сейчас же наперебой затрещали все револьверы и винтовки дружины. Болотов тоже стрелял. Он выбрал себе усатого рыжего вахмистра, первого в первом ряду, и стал целиться долго и тщательно, стараясь точно рассчитать расстояние и попасть непременно в цель. Он не думал о том, что целится в человека. В эту минуту вахмистр был для него не человек и даже не враг, а тот неодушевленный предмет, та мишень, в которую он обязан стрелять и в которую промахнуться нельзя. Когда он спустил наконец курок, и

потом, когда рассеялся дым, он увидел, что драгуны поспешно вскакивают на лошадей и что вахмистр не ранен. Вскочив в седла, толкаясь и расстраивая ряды, они галопом поскакали обратно. Вся дружина короткими, уже безвредными залпами стреляла им вслед. На расплющенном, утоптанном копытами, снегу осталось два человеческих тела, и тут же, около них, породистая вороная лошадь, задрав морду, подпрыгивала на трех ногах, странно сгибая четвертую, переднюю, перебитую выше колена. Константин торжествующе крикнул:

— Братцы, а офицер-то убит... Ей-богу... Сбегаю посмотрю... — Он проворно перескочил через вал и, не обращая внимания на остановившихся за Пресненскими прудами драгун, не торопясь пошел к убитым солдатам. Пронька грудью перевесился через баррикаду и тоненьким голосом испуганно закричал:

— Кенсентин, вернись!.. Вернись, Кен-сен-тин...

Болотов вернулся обратно к костру.

XVI

Вечер прошел спокойно: драгуны больше не тревожили баррикады. Дружина на ночь отошла в городское училище и заняла классы. В неуютной, некрашеной комнате, на полу, среди ученических парт, храпели дружинники. Было душно. Тускло, чадя керосином, мерцала лампа. Пахло махоркой, потом и влажной овчиной, — запахом нераздетых, спящих в тулупах людей. Болотов не мог спать. В третьем часу он не выдержал, встал и, шагая через товарищей, вышел на улицу.

К утру мороз окреп. Вызвездило. Большая Медведица сильно склонилась к востоку и опустила свой звездный хвост. На темном валу баррикады застыла тоже темная, недвижимая тень: на часах стоял Константин. Костер догорел, но дрожащее, тощее, голубоватое пламя, все еще не сдаваясь, боролось с ночью. У костра, на корточках, обняв колени руками и не сводя глаз с багровых углей, сидел Сережа. Огонь, вспыхивая, освещал его руки и смазные мужицкие сапоги. Плечи, грудь, лицо и белокурые волосы были черны и тонули во тьме. Болотов подошел к нему. Сережа молча подвинулся и сейчас же, точно волшебством, потерялся во мраке.

У костра было жарко лицу и ногам, но спина и заты-

лок мерзли. Болотов бросил докуренную папиросу в огонь и сказал:

— Я вот чего не понимаю, Сережа... Нас расстреливают, вешают, душат... Так. Мы вешаем, душим, жжем... Так... Но почему, если я убил Слезкина, — я герой, а если он повесил меня, он мерзавец и негодяй?.. Ведь это же готтентотство... Одно из двух: либо убить нельзя, и тогда мы оба, Слезкин и я, преступаем закон; либо можно, и тогда ни он, ни я не герои и не мерзавцы, а просто люди, враги...

— Володя вот говорит, — продолжал думать вслух Болотов, — что все это сентиментальность и что на войне нужно убивать без пощады... «A la guerre comme á la guerre» [1], — зачем-то перевел он по-французски. — Ну, конечно, нужно... Мы вот и убиваем... Но скажите мне вот что: допускаете ли вы, что этот убитый Слезкин не из корысти, а по убеждению преследовал нас? Допускаете ли вы, что он не для себя, а для народа, именно для народа, заблуждаясь конечно, считал своим долгом бороться с ними? Допускаете вы это? Да?.. Ведь может же быть, что из сотни, из тысячи Слезкиных хоть один найдется такой? Ведь может быть? Да?.. Ну, тогда где же различие между мною и им? Где? И почему он мерзавец? По-моему, либо убить всегда можно, либо... либо убить нельзя никогда...

С баррикады сполз невидимый в темноте Константин. На мгновение багровый от света, он, позевывая, прошел мимо костра. Сережа, рассеянно провожая его глазами, сказал ему вслед:

— Ты чего, Константин?

— Смена, Сергей Васильевич.

— Смена?

— Так точно, смена.

— Сколько раз тебе говорил, — с досадой заметил Сережа, — не смей без позволения оставлять баррикаду. Чей черед-то?

— Роман Алексеича.

На крыльце глухо покашливал Роман Алексеевич, высокий, сутулый, худой, похожий ночью на заморскую длинноногую птицу. Слышно было, как в его руках щелкнул маузер.

— Роман Алексеич! — ласково окликнул Сережа.

---

[1] На войне как на войне *(фр.)*.

— Чего?

— Вы бы спали, Роман Алексеич, я ведь не сплю... все равно...

— Что вы?.. Как можно... Чай мне нетрудно.

Кашляя и кряхтя, он с трудом взобрался на вал и долго ворочался на снегу. Когда он наконец успокоился и замолк, Сережа покачал головой:

— На ладан дышит... Экая жалость...

Болотову было обидно, что так грубо прервана нить, как казалось ему, значительных и глубоких мыслей. Помолчав, он задумчиво начал опять:

— Значит, нельзя и надо?.. Так где же закон?.. В партийной программе? В Марксе? В Энгельсе? В Канте? Да ведь это все чепуха, — взволнованно прошептал он, — ведь ни Маркс, ни Энгельс, ни Кант никогда не убивали людей... Слышите? Никогда, никого... значит, они не знают, не могут знать то, что́ знаю я, что́ знаете вы, что́ знает Володя. Что бы они ни писали, от них останется скрытым, можно убить или нет. Это известно нам, только нам, только тем, кто убил... Я вот знаю, знаю наверное, что Слезкина невозможно было убить, ни в каком случае невозможно, какой бы он ни был, какой бы я ни был, что бы я ни думал о нем...

По мере того как Болотов говорил, он все более изумлялся себе, своей смелости, своим дерзким вопросам. Его немощные, скупые, рожденные той несчастною ночью мысли еще никогда не выливались в слова, и теперь, когда он громко их произнес, ему стало страшно: он почувствовал, что обманывает себя. Но в чем именно был обман, он понять не умел.

— А мы убили его... — с тоской докончил он и умолк.

— Слезкина убить нельзя... Так... — скучно, точно спросонок, сказал Сережа. — А драгуна можно убить?

— Драгуна?

— Да, драгуна. Почему вы говорите только о Слезкине?

— Драгуна тоже нельзя...

— Ну вот, нельзя... А ведь вы убьете его, как муху, и ваша совесть будет молчать... Кто вчера убил офицера? Вы?.. Я?.. Константин?.. Почему вас эта смерть не волнует? Ведь этот офицер не виновен ни в чем: приказ исполнял... Так почему же? — новым для Болотова, надломленным голосом продолжал Сережа. — Не потому ли, что стреляли мы все и нельзя разобрать, чья именно пуля убила его, и еще потому, что офицер не кричал, а если и

кричал, то не было слышно? Вы говорите: нельзя... Вы и на самом деле, пожалуй, так думаете... Но смерти драгуна вы ведь не чувствуете, вы не видели его смерти, для вас он просто свалился с седла... А у Слезкина вот жена рыдала...

— Вы правы, — задумался Болотов. Он почему-то не удивился, что Сережа не только угадывал его мысли, но и решался оспаривать их. — Но ведь тем хуже... Я тогда ничего не пойму... Вы знаете, раньше, пока... пока мне не пришлось убивать, я думал, что все это просто: партия велит убить — и убил... А кто убьет, тот герой: жизнь, мол, свою в жертву принес. Я ведь долго так думал... А теперь вижу: ложь... Нельзя и надо... Объясните, я не пойму...

— Эх, объяснить, — горько улыбнулся Сережа, — разве я возьмусь объяснить? Разве я знаю? Разве нам дано знать?.. Я знаю одно: идешь, так иди до конца либо не иди вовсе... И еще знаю, — прибавил он тише, — «поднявший меч от меча и погибнет»...

На крыльце жалобно скрипнула дверь. К костру медленно подошел Ваня. Он сунул руки прямо в огонь, погрел их и, подняв вверх свои раскосые, узкие, калмыцкие глаза, посмотрел на небо.

— Не спится? — спросил Сережа.

— Не спится... — зевая и крестя рот, ответил Ваня. — Должно, шестой час. Эка, как вызвездило. — Он присел в снег и стал заботливо свертывать папиросу. — Безусловно, к морозу... Давеча Константин убитого офицера смотрел, — доставая пальцами тлеющий уголек, сказал он через минуту. — Сказывает, белый такой господин офицер, кровь с молоком, отъелся на барских харчах... Пуля-то, безусловно, сквозь сердце прошла... Зубаст кобель, да прост, — со злобой прибавил он.

— Вот видите, — сказал Болотов, кивая головою на Ваню, — для него и вопроса нет: на барских харчах отъелся... кобель... никто...

Светало. На востоке забелели бледные, мутно-серые полосы, и звезды тотчас затуманились и поблекли. Костер, догорая, вспыхнул в последний раз. Горсточка раскаленных углей осветила оттаявший полукругом снег, черную, отмерзшую землю и невозмутимое, точно высеченное из камня, лицо Сережи.

— Кобель и есть. А то нет? — зевнул Ваня.

— Да ведь не кобель, Ваня, а человек.

— Безусловно, что человек... Ну а как же иначе?.. Что же, смотреть нам на них?

— Да ведь грех, Ваня.

— Знаю, что грех... — помолчав и не подымая глаз, возразил Ваня. — Только что же делать?.. Назвался груздем, полезай в кузов... А грех Бог рассудит.

— Бог?

— Никаких я этих слов знать не желаю... — вдруг вспылив и краснея, закричал Ваня. — Знаю: за землю и волю! Вот и все, и вся недолга... Да, за землю и волю! — повторил он спокойнее и, обращаясь к Сереже, сказал:

— А что, Сергей Васильич, вам невдомек, когда Владимир Иванович приедет?

Сережа ничего не ответил. Он повернул голову к Прудовой улице и чутко прислушался. В утренних сумерках он казался весь серый: серое лицо, серая шапка, серый полушубок и сапоги. На баррикаде закашлялся и грузно зашевелился Роман Алексеевич. Было видно, как он приподнялся, приставил широкую ладонь к уху и замер. Вставала чахлая, морозная декабрьская заря. В прозрачном и чистом холодном воздухе долго и гулко стоял каждый звук. Где-то далеко, за Пресненскими прудами, погромыхивали колеса. Болотов вздрогнул. Через минуту был уже явственно слышен топот копыт по взбитому снегу и звенящий железный лязг. Первый пришел в себя Ваня.

— Никак артиллерия, Сергей Васильич...

Из училища выбежал сонный, опухший от сна Константин и таинственно, наспех зашептался с Сережей. Потом он нерешительно подошел к баррикаде, подумал и вдруг, легко перепрыгнув вал, неслышно и быстро заскользил вдоль домовых стен. Хмурая, недоумевающая, вздрагивающая на морозе дружина собиралась вокруг Сережи.

— Безусловно, семеновцы, — сказал громко Ваня.

«Значит, Володя погиб», — мелькнуло у Болотова, и впервые за всю неделю он почувствовал страх. Он не отдавал себе отчета, что значит слово «семеновцы», но ему уже смутно казалось, что все, что произошло до сих пор, еще не самое тяжкое и что самое безысходное и кровавое ждет его впереди. Ему казалось теперь, что кругом не восставшая, живущая с ним одной жизнью воскресающая Москва, а груда жалких развалин — выжженная пустыня. Он понял, что Петербург изменил, что московская революция предоставлена своим слабым силам, что дружина, а значит, и он покинуты партией, покинуты

всей Россией. Но как только он это понял, им овладело горделивое и гневное чувство. «Мы не сдадимся», — подумал он, и сейчас же все его мысли об убийстве и смерти, о Слезкине и драгунах показались малоценными и пустыми. «Разве нам дано знать?» — вспомнил он поразившие его слова Сережи. И когда через десять минут вернулся взволнованный Константин и прерывистым шепотом сообщил, что Поварская полна пехотой и артиллерией, Болотов выслушал его уже без тревоги. «Идешь, так иди до конца...» — опять вспомнил он. И ему было не страшно, а радостно знать, что этот безвременный и славный конец неизбежен.

XVII

Когда взошло солнце и холодные, розовые лучи засверкали на белом снегу, Болотов увидел за Пресненскими прудами, на том месте, где вчера спешивались драгуны, две пушки. Солнце искрилось на их блестящих стволах и на окованных железом колесах. На Прудовой улице не было никого и все ставни были заколочены наглухо, только в многоэтажной кирпичной коробке — в доме купца Чижова, с пивной лавкой внизу — мелькали в окнах солдатские шапки и поблескивали штыки. Болотов понял, что на этот раз не будет пощады. «Мы не сдадимся», — стиснув зубы, повторил он себе и оглянулся на смущенную, примолкшую в ожидании дружину. У всех, даже у Проньки, лица были угрюмы и строги. Только один Сережа был такой, как всегда. По его неторопливой походке и по уверенному, негромкому голосу можно было подумать, что он все предвидел заранее, что ничего страшного случиться не может и что войска, конечно, будут разбиты. «Куроки», — с восхищением подумал Болотов. Ему давно уже не было жаль, что не он, член комитета и известный революционер, а этот юноша, беглый солдат, командует баррикадой и что не ему, любимому партией Болотову, а неведомому Сереже послушна преданная дружина, начиная с оторопевшего Проньки и кончая непроницаемым Романом Алексеевичем.

Около пушек озабоченно суетилась прислуга. Вольноопределяющийся фейерверкер, освещенный косыми утренними лучами, помахивая рукой, отдавал какие-то приказания. Он стоял справа и немного сзади орудий, у заколоченных дверей пивной лавки. Рядом с ним горели

на солнце золотые пуговицы офицерской шинели. Франтоватый длинный поручик в бинокль рассматривал баррикаду. Константин, вскинув поспешно маузер, быстро прицелился. Одинокий короткий выстрел гулко прорезал тишину утра. Болотов ясно видел, как пуля шлепнулась в стену, не задев фейерверкера, как посыпались красные отбитые куски кирпичей. Он видел также, как поручик хладнокровно опустил свой бинокль, посторонился и, наклонив голову, с любопытством посмотрел на обломки. Было странно видеть этих людей, спокойно занятых своим делом. Не верилось, что именно они, вот этот франтоватый офицер и высокий, с добрым лицом вольноопределяющийся, хотят убить и, может быть, убьют его, Болотова, и что дело их состоит только в том, чтобы стрелять по почти безоружным людям из пушек. «Убьют?— прицелился Болотов.— Да, конечно, убьют...» Он не заметил, как нажал курок пальцем, но по сильной отдаче в плечо и по удаляющемуся заунывному звуку понял, что выстрелил. Фейерверкер и офицер стояли рядом по-прежнему.

— С Богом не спорь, — сказал насмешливо Ваня. — Сергей Васильевич, чего дожидаемся?

Сережа молча кивнул головой.

В морозном воздухе грянул и раскатился жидкий, разноголосый, нестройный залп. Последним, отдельно от всех, стрелял Пронька. Он стрелял, зажмурив глаза и с таким испуганным видом, точно лез в холодную воду. Болотов улыбнулся, так неузнаваемо было его скуластое, круглое, всегда беззаботное и теперь перекошенное страхом лицо. На этот раз фейерверкер упал, но не успел еще рассеяться над баррикадою дым, как от орудий поднялось и на морозе застыло волнистое белое облако. Над головой Болотова прозвенела никогда не слышанная им раньше первая, предостерегающая, шрапнель. Он не понял угрозы этого звука и опять улыбнулся: Пронька и за ним Василий Григорьевич, как по команде, нырнули в снег.

— Чего кланяетесь? Знакомы? — грубо сказал Константин.

Потом было то, чему Болотов не мог бы поверить, если бы сам не пережил этого дня. Ни одно из ожесточенных столкновений с войсками, ни одна из тех «кавалерийских атак», которые ежедневно отражала дружина, даже отдаленно не напоминала этих долгих и медленных, быстро бегущих минут. Болотов привык видеть, как

после первых же залпов войска, бросая убитых, растерянно, в беспорядке отступали в казармы. Он видел это еще вчера. И хотя он понимал, что револьверный огонь — игрушки, что дружина бессильна бороться и что артиллерия сметет баррикаду, в глубине души он не верил, что «семеновцы» не отступят. Он не мог верить, что все усилия, все жертвы, все бессонные ночи были напрасны, что восстание раздавлено и что Москва опять в руках войск. Он не мог верить, что партия не пришла и не могла прийти к ним на помощь, что Петербург действительно предал их, и то, что было ясно вчера, теперь в это зимнее утро, перед гремящими жерлами пушек, казалось неправдой, беспримерною ложью. «Они отступят... Отступят», — убежденно твердил он себе, чувствуя, как пробуждается озлобление и опять воскресает несбыточная надежда. Но прошло уже четверть часа, а все так же трещали винтовки, все так же посвистывали гранаты, все так же разрывалась шрапнель. Второй снаряд не долетел шагов десяти. От взрыва его брызгами раскололся лед, обнажилась крыша перевернутого вагона и погнулись железные, набросанные поперек баррикады, листы. Но после третьего выстрела один из дружинников, часовой подмастерье Лейзер, черномазый, курчавый еврей, которого Болотов заметил еще на квартире у Слезкина, охнул, бросил револьвер и схватился за грудь. Он медленно отошел от дружины, потупился, постоял, точно раздумывая о чем-то, и не свалился, а лег лицом в снег. Изо рта его показалась густая алая пена. Вскоре весь переулок, баррикаду, дружину, Пресненские пруды, пивную лавку и пушки заволокло грязно-белым узорчатым пологом дыма. Болотов, слушая немолчный треск пуль, видя перед собой едкую, дымную стену, уже без прицела, без смысла, не уставая, стрелял из револьвера. Он решил, что будет убит, и, как только он это решил, им овладело тупое и тяжелое равнодушие. Он не думал больше о революции. Было не важно, восстал или нет Петербург, было не важно, взята или нет войсками Москва. Было важно одно: он знал, что обязан стрелять, обязан не сойти с баррикады, обязан ценой своей жизни, до конца, до последней минуты отстаивать партийное знамя. Но он не смел оглянуться кругом. По глухому падению тел и по придушенным плачущим стонам он знал, что в дружине много раненых и убитых, и боялся, что если посмотрит, то не выдержит и побежит без оглядки. Маузер его накалился, горячая сталь жгла ему руку, но он не

чувствовал боли и, не жалея, выпускал последние, оставшиеся в кармане патроны. Но вот в частый, короткий винтовочный треск и в гулкие раскаты орудий ворвался новый, тоже короткий и частый, но более четкий и торопливый, рокочущий звук.

— Батюшки, из пулеметов пужают!.. — отчаянным голосом завопил Пронька и, отшвырнув далеко револьвер, повалился всем телом в снег. Болотов сбоку робко взглянул на него. Он лежал, растянувшись, уткнув лицо в землю и надвинув шапку на брови. Из-под шапки был виден крепкий, остриженный в скобку затылок. Болотов решил, что Пронька убит наповал. Но Пронька зашевелился и дернул его за пояс.

— Ложись, — сдавленным шепотом сказал он.

— Ты ранен? — спросил его Болотов.

Пронька приподнял лохматую голову и замахал ею. Губы его дрожали. По правую его руку, нахмуренный и закопченный дымом, облокотившись о баррикаду, сосредоточенно стрелял Ваня. Он обернулся на слова Болотова и, осмотрев со вниманием Проньку, толкнул его сапогом в бок.

— Безусловно, не ранен... Ах, сукин сын!.. Да вставай, вставай же, подлец!..

Пронька осторожно встал на колени и грязным, корявым пальцем молча указал Болотову на лежавшую рядом с ним бесформенную мягкую и мокрую груду. Болотов наклонился. Он увидел обрывки платья, окровавленные ноги, черные на шнурках башмаки и на размякшем снегу бурую лужу. По барашковой шапке и по разбитому черепаховому пенсне он понял, что это Василий Григорьевич. Он не испугался и даже не удивился. Теперь казалось, что так и должно быть и что нет ничего страшного в том, что убит какой-то дружинник. Ваня снова начал стрелять, и Болотов, обходя издали Проньку, подошел к нему. В тающих, разорванных клочьях дыма, в неширокой просвете мелькнула знакомая улица и на тех же знакомых местах возле чижовской лавки те же орудия и тот же франтоватый офицер около них. Болотов быстро прицелился в офицера, но кто-то сзади ударил его по плечу.

— Болотов, не слышите? Отступать... — над самым ухом крикнул Сережа. Между училищем и разрушенной баррикадой было пятнадцать — двадцать сажен. Снег на этих пятнадцати саженях был глубоко изрыт шрапнелью и изборожден солдатскими пулями. Это расстояние надо

было перебежать. Пронька, не подымаясь с колен, защищенный разбитым валом, зорко, как кошка, осмотрелся кругом и первый, согнувшись и приседая, зигзагами побежал к крыльцу. Но до крыльца было еще далеко, когда он, слабо взмахнув руками, упал ничком в снег. Дружина, безмолвно следившая за его бегом, поколебалась. Но за Пронькою выбежал Константин и счастливо скрылся за дверью. За Константином ползком пополз Ваня.

Болотов и Сережа продолжали стрелять. Они, без слов понимая друг друга, решили уйти не раньше, чем вся дружина сберется в училище. И когда последний дружинник взбежал на крыльцо, Болотов, чувствуя, что на него обращены все глаза, выпрямившись и умышленно замедляя шаги, двинулся в путь. Сердце его стучало. Эти пятнадцать сажен показались длиннее пятнадцати верст, но у него ни разу не явилось желания бежать, точно он действительно не дорожил жизнью. Потом, много позже, когда он вспоминал об этой минуте, он никак не мог себе объяснить, было ли это мужество, спокойное презрение к опасности или то наивное равнодушие, когда смерть не страшна только потому, что она неизбежна? Взойдя на крыльцо, он обернулся. Густой, теперь сизый дым все еще заволакивал переулок. На развалинах разбитой, расстрелянной баррикады, на высоком древке развевались лохмотья — красное знамя. Около них, в дыму, возился кто-то темный, сутулый и длинный. Болотов узнал Романа Алексеевича. Схватив знамя, Роман Алексеевич неловко, по-стариковски, соскочил вниз, но сейчас же, точно так же, как Пронька, беспомощно поднял руки и грузно опустился на снег. Кусок красной материи остался лежать на белом снегу.

Тогда от сумрачной, сбившейся в кучу, поредевшей на две трети дружины неожиданно отделился Константин. Подергивая, точно шел дождь, плечами и перепрыгивая через простертые по дороге тела, он побежал к Роману Алексеевичу. Болотов видел, как он нагнулся над знаменем и высоко поднял его над своею головой. «Не добежит», — равнодушно подумал Болотов, но Константин, прижимая красные лохмотья к груди, уже взбегал на крыльцо.

Потянуло холодным ветром, и дым начало проносить. В другом конце переулка серые шинели солдат растянулись между домами и медленно, непрерывной и угрожающей цепью, подвигались к покинутой баррикаде.

Миновав баррикаду и не доходя до училища, они внезапно остановились. Болотов взял маузер на прицел.

— Не стреляйте, — удержал его руку Сережа.

Болотов видел, как Ваня с восторженным и злобным лицом и с испугом в калмыцких глазах высунулся далеко из окна и, подняв над головой блеснувшую на солнце коробку, с силою бросил ее в толпу. И сейчас же, покрывая гром пушек, раздался оглушительный гул, точно кто-то ударил чугунным молотом по чугунной плите. От земли взвился узкий, высокий, воронкообразный столб грязно-желтого дыма. Когда он упал, на снегу валялись винтовки, шинели, фуражки и разорванные, растерзанные, неузнаваемые человеческие тела. По раздробленным взрытым камням растекались темно-красные пятна.Три десятка солдат в беспорядке отбегали по переулку.

Из дружинников никто не сказал ни слова. Еще чаще затрещали револьверные выстрелы. Как долго продолжалась эта стрельба — Болотов не мог бы сказать: он утратил счет времени. Все та же острая мысль, все то же настойчивое желание, помимо воли и разума, безраздельно владели им. Он не мог бы уйти, если бы даже и захотел. Он не спрашивал себя, бежать или нет, так чужда была мысль о спасении, до такой степени было ясно, что он умрет здесь, в этом училище, под изорванным красным знаменем. Он как в тумане помнил потом, что стрелял, пока хватало зарядов, что в столы, стены и двери без перерыва звонко щелкали пули и что пахло порохом и трудно было дышать. Он помнил также, что когда он, прячась за рамой окна, еще раз целился в артиллерийского офицера, за спиною его что-то ухнуло, затряслось и сразу бросило его на пол. Когда он встал, комнату застилали голубовато-белые волны. Он понял, что взорвалась шрапнель. Он помнил также, как загорелось училище, и как еще труднее стало дышать, и как буйные желтые языки зашумели по стенам. И он помнил, как Сережа схватил его руку и как он, и Сережа, и Константин, и белый как снег, с алыми струйками на щеках Ваня, второпях перескакивая через ступени, сбегали по обожженной, полной удушливой гари, лестнице. Внизу был пустынный и мирный, залитый солнцем училищный двор. Но как они перелезли через каменную ограду и вышли в дальние улицы и как к вечеру очутились за Москвой, в Сокольничьей роще, Болотов никогда вспомнить не мог.

XVIII

Миша провел лето в деревне. В конце августа, когда тронутые первыми утренниками пожелтели молодые березы и зарделись поля уже красной гречихи, он начал собираться в Петербург, в университет. Две недели без роздыха сеял лукавый осенний дождик. Когда он переставал и сквозь рыхлые облака проглядывало горячее солнце, воздух вдруг наполнялся прозрачной и влажной свежестью, а на отдыхающих отъезжих полях серебрились тонкие волосы паутины. Лес изменился давно. По оврагам и между деревьями, в перегнившей пахучей хвое, увядали опавшие, омертвелые листья. Птицы умолкли. Иногда подымался ветер, гнул обнаженные сучья и кружил ржавый лист. В фруктовом саду и на огородах запестрели румяные яблоки, светло-зеленые кочаны капусты и желтые огурцы. Запахло хмелем, укропом и мятой. Проселочные дороги тонули в черной глубокой жиже, и терпеливые кони, пофыркивая, с трудом вытаскивали тяжеловесный дедовский. тарантас. Стояла ранняя, но уже прощальная, ущербленная осень.

Миша скучал все лето. Ему казалось, что он обязан быть в Петербурге, что он нужен Андрюше, что он опоздает на баррикады и что каждый день, прожитый здесь, в безвестной глуши, потерян им без возврата. Он испытывал печальное чувство вынужденного безделья. С каждым днем его нетерпение росло. Он стал избегать докучных расспросов матери, разговоров с сестрой и задорно спорил с отцом, понимая всю обидную бесплодность раздражительных споров. Но только в первых числах сентября Николай Степанович согласился на его отъезд в Петербург.

Миша поднялся в этот день с зарею и сейчас же побежал в конюшню напомнить Тихону, что пора запрягать. Ночью шел дождь. По небу плыли остатки разорванных туч. Полуголые, ощипанные березы бессильно никли мокрыми ветвями. Миша, шлепая по жидкой грязи и прыгая через лужи, прошел на конюшенный двор. Тихона не было. Сильно пахло конским навозом, опилками и соломой. На звуки его легких шагов Голубка повернула точеную голову и напряженно скосила черный, блестящий и умный глаз. В соседнем деннике Золотой, нюхом почуяв Мишу, начал мелко перебирать ногами; Миша обнял Голубку, и сразу вся радость исчезла. Стало грустно. Близкий отъезд не казался более желанным.

Голубка, похрапывая, жалась боком к деревянной перегородке и, скрутив шею, переставляла стройные ноги. Миша бросил ее и выбежал на порог. На мокрой, черной, изъезженной и размытой земле валялись пучки соломы и кем-то оброненная, заржавленная подкова. Миша по привычке поднял ее на счастье. Через двор, на другой стороне, краснели кирпичные, крытые тесом, службы. За ними хмурились зеленые сосны. Миша, задумчиво помахивая сорванной веткой, побрел назад, к дому. Ему казалось теперь, что незачем уезжать. Дома, в полутемных сырых сенях, стоял Николай Степанович и, пыхтя папиросой, разговаривал с пожилым, с детства знакомым, управляющим Алексеем Антоновичем. Алексей Антонович, наклонив набок лысую голову, выставив огромный живот и заложив за спину пухлые руки, слушал барина с едва уловимой улыбкой и изредка вставлял короткие, как будто случайные замечания.

— В Курбатовской роще, — говорил, сердясь, Николай Степанович, — всего-навсего двадцать пять десятин. Стало быть, какой же расчет, если я отдаю по четыреста?.. Посуди сам. Ты скажи ему, какая же это цена?

— Да ведь осинник-с, ваше превосходительство, — сказал Алексей Антоныч и, подняв глаза к потолку, вздохнул.

— Ну, что ж, что осинник?.. Можаровы продали вон по четыреста пятьдесят... Для чего же нашему добру пропадать?

— Это точно-с, — опять вздохнул Алексей Антоныч.

— Ну вот, видишь, так ты ему и скажи... Так и скажи, что генерал не согласен...

— Сказать можно-с... Отчего не сказать?.. Да только...

— А, Миша, — обернулся Николай Степанович к сыну. — Пройди, Миша, в бильярдную: от Саши письмо.

Миша поморщился. Письма брата вызывали бурные и недостойные ссоры. Показалось, что в доме стало вдруг неуютно и мрачно и что разговоры о лесе, о ценах, о Можарове, о продаже неуместны и мелочны. Опять захотелось уехать. Он прошел через высокую с колоннами залу, бросился на диван и, не обращая внимания на мать и сестру, угрюмо стал ждать отца.

Через минуту раскрылись двери, и Николай Степанович, усевшись в любимое мягкое с резною спинкою кресло и вынув письмо, торжественным голосом начал читать. Письмо было из Киото, и в нем Саша с солдатской

точностью, без пояснений, приводил речь японского генерала к русским военнопленным.

«Находясь здесь, — читал Николай Степанович, — вы должны дружески относиться друг к другу и воздерживаться в поведении, так как примерное поведение возвышает достоинство воина, помня, что соблюдение этого пленными есть услуга отечеству, а пока следует ждать заключения мира».

Николай Степанович опустил письмо и затрясся:

— Как... Как... Как?.. Какой-то японец... японец, — задыхаясь и багровея, повторял он, — смеет учить... учить... офицеров русского флота!.. Смеет учить!.. Смеет!.. О, Господи, Господи!..

Мишу речь японского генерала не тронула. Было неприятно и скучно, что отец взволновался. «К чему эта торжественность, этот гнев? Ну, Саша в плену... Ну, конечно, в плену не легко, японцы не уважают пленных... Но ведь сами пленные виноваты... Они должны были знать, куда и на что идут и за кого будут сражаться... Да, наконец, почему японцам и не читать наставлений? Разве наш флот не доказал в Порт-Артуре и при Цусиме, что ему грош цена? Разве японцы не умнее, не образованнее, не культурнее нас? Разве в Японии творится что-нибудь похожее на то, что мы видим ежедневно в России? И почему папа не думает о тех, кто погибает за революцию...» Так рассуждал Миша, с раздражением слушая отца и думая о своем, о том, что засиделся в деревне, что, слава Богу, уезжает сегодня и что в Петербурге непременно разыщет Андрюшу.

— Господи, унижение какое!.. — всхлипнул вдруг Николай Степанович.

Миша не выдержал:

— Унижение? В чем унижение? Разве наши офицеры не заслужили?

Татьяна Михайловна с упреком взглянула на Мишу. Эти сварливые ссоры опечалили собою все лето, и от них семейное, неуступчивое непонимание не уменьшилось, а выросло еще более. Татьяна Михайловна не спрашивала себя, кто виноват и кто прав: она жалела мужа и боялась за сына. Предчувствуя, что и этот, последний, день омрачится неразрешимою рознью, она робко сказала:

— Не судите, да не судимы будете, Миша.

Но Николай Степанович уже встал со своего кресла.

— Нет, нет, нет... Это немыслимо... Сил моих нету... Ты, матушка, не мешайся, а ты, сударь мой, еще из пеле-

нок не вышел... Еще молоко на губах не обсохло... В чем унижение? Не можешь понять?.. Смотри, Михаил!..

Наташа подошла к отцу и, прижимаясь к колючей, небритой щеке, поцеловала его.

— Вот, Бог даст, скоро приедет Саша, — ласково шепнула она.

— Приедет Саша... Приедет, — успокаиваясь, забормотал Николай Степанович. — Срам!.. Поношение!.. Позор!..

Наступил час отъезда. Буйный, порывистый ветер вихрем носился по саду, шумел верхушками лип и взметал покоробленные, увядшие листья. Свинцовые, мягкие по краям, облака заволокли небо. На дворе было холодно. Когда перед дорогою все, по обычаю, присели на стулья и Миша в последний раз увидел косынку матери и ее заплаканное лицо, голубые глаза Наташи, старческий румянец отца, почернелые по стенам портреты и турецкие пуховые, обитые клетчатой материей диваны; когда он в последний раз услышал ворчливый и любящий голос Николая Степановича, убеждавший не «якшаться с волосатиками и усердно учиться, чтобы потом честно послужить родине»; когда он поймал беглые, полные затаенной тревоги взгляды сестры, — ему опять стало жаль расставаться с тем, что так долго казалось докукой: и с садом, и с матерью, и с отцом, и с Наташей, и с рощей, и с речкой, и с конюшней, и со всей бесхитростной деревенской жизнью. Стало жаль старого, огорченного и растерянного отца и безответную, без ропота покорную мать. На секунду мелькнула мысль, что он задумал неправдивое и недоброе дело и что его никто не ждет в Петербурге. Но эта мысль сейчас же угасла. «Если я социалист и революционер, — сказал он себе, уверенный, что он действительно революционер и социалист, — то я не вправе жалеть: мой долг смело, без сожаления, отдать свою жизнь». Он встал и подошел к матери. Татьяна Михайловна обняла трясущимися руками его кудрявую голову и долго, не отрываясь, смотрела в его юношеские глаза. Потом, подняв руку, быстро закрестила его. Николай Степанович отвернулся и, всхлипнув, с дрожью в голосе сказал:

— Ну, прощай, Михаил!.. Дай Бог в добрый час... Не навеки прощаемся...

Ветер утих. Побрякивала у крыльца тройка. Тихон, в коричневом армяке, прямо, как палка, сидел на козлах. Горничная Даша, подоткнув подол ситцевой юбки и ста-

рательно, чтобы не замочить ноги, обходя лужи, подошла к тарантасу и застегнула кожаный фартук. Миша махнул платком, и лошади тронулись. Замелькали болотца, версты, перелески и черные распаханные поля. Свернули на Орловский большак и въехали в побуревший Можаровской лес. С еще зеленых листьев орешника брызнули крупные, холодные капли. Скрылась болотовская усадьба. И как только она скрылась вдали, Миша с легкомыслием юности тотчас забыл о тех, кого он оставил. Он с облегчением вздохнул и беззаботно стал думать о том, что он — студент, независимый человек, что он едет в Петербург, что он увидит Андрюшу и что много прекрасного и нежданного ожидает его впереди. И когда тройка остановилась у Мятлевской станции, ему уже никого и ничего не было жаль.

XIX

Только в начале декабря Мише удалось разыскать партийную «явку». В хмельные дни забастовки он, в мятежном и радостном опьянении, в пьяном чаду недолговечной свободы, бегал на митинги, исступленно хлопал ораторам, пел «Вставай, подымайся...», кричал «ура» и требовал Учредительного собрания. Он научился книжным словам и теперь бойко говорил о партии, о «программе-minimum» и «программе-maximum», «о трудовой республике» и «о социализации земли». Но в глубине души он не верил, что эта буйная суета и есть революция. Только Андрюша и таинственный комитет были в его глазах «настоящими революционерами», то есть теми призванными людьми, которые по своей воле устроят светлый и справедливый мир. Но как их найти, он не знал. И когда, наконец, его случайный приятель, бородатый и волосатый технолог, взялся указать ему «явку», он почувствовал такую горячую благодарность, точно исполнялось заветное желание всей его жизни. Технолог сдержал слово, и Миша уже за неделю начал готовиться к высокоторжественному событию. «А вдруг они скажут, что я не годен?.. Вдруг скажут, что я еще молод?» — в страхе спрашивал он себя. Но эта мысль казалась такой обидно-несправедливой, такой незаслуженной и жестокой, что он не мог верить ей и, успокаиваясь, начинал мечтать о той желанной минуте, когда увидит Андрюшу и комитет. «Я войду и прямо скажу: «Товарищи, я готов

умереть за революцию...» И больше ничего... Они увидят и спросят, кто я такой и сколько мне лет. Тогда я скажу, что мои годы ничего не значат, потому что я все равно решил умереть... Или так: я войду и скажу: «Возьмите меня в боевую дружину...» Или еще лучше: я могу сказать им: «Хотя я и молод, но молодость не помешает мне умереть за землю и волю...» А о том, что Андрюша — мне брат, я не скажу ни одного слова... Андрюша будет в это время в соседней комнате. Ему доложат о молодом студенте. Он пожелает познакомиться с ним и выйдет, чтобы пожать ему руку. И увидит меня...»

В назначенный день Миша одевался с ученическим прилежанием и тщательно, мокрою щеткою приглаживал каштановые, непослушно падавшие на лоб волосы. Сперва он решил надеть форменный сюртук с гербовыми пуговицами, но потом испугался, что в этом наряде его могут принять не за революционера, а за «маменькина сынка». После долгого колебания, он надел синюю, вышитую Наташей, косоворотку и, поверх нее, студенческую тужурку. Он заметил в аудиториях, что так, с голой шеей, ходит много студентов, а теперь, любуясь на себя в зеркало, находил, что этот костюм изящен и прост и демократичен. Хотя свидание было назначено вечером, он в шесть часов дня вышел на Невский и степенно, как в церковь, отправился на Пески, на «явку».

На несмелый Мишин звонок немолодая, в очках, с плоскою грудью, девушка торопливо открыла двери и, не спрашивая его ни о чем, сказала: «Пройдите». В небольшой, очень похожей на приемную врача, комнате ожидали несколько человек. Миша присел в уголок и робко, исподлобья, начал разглядывать своих партийных товарищей. За круглым столом, накрытым плюшевой скатертью, сидел господин, тощий, мрачный, с лимонным цветом лица и с прямыми, длинными волосами. Он, зевая, перелистывал «Ниву». Еще двое скучали на бархатном, протертом диване: молодой, коренастый парень, судя по рубашке и сапогам, рабочий, и морщинистый, с утомленным лицом, старик. Старик этот, свесив голову на руки, мирно дремал. В комнате было тихо. Сухо шуршали перелистываемые листы. Мише хотелось курить, но он не смел зажечь папиросу. Минут через двадцать распахнулась закрытая занавескою дверь, и на пороге ее появился бритый, одетый с иголочки, в высоких воротничках, товарищ. Следом за ним, надевая перчатки, шел щеголе-

ватый студент в сюртуке. Миша мотнул голой шеей и пожалел, что не решился надеть мундир.

— Так я рассчитываю на вас... — подавая студенту руку, сказал бритый товарищ. Бегло оглядев комнату, он тем же скучающим голосом, каким на приеме говорят доктора, равнодушно спросил:

— Товарищи, чей черед?

Мрачный господин встал и, застегиваясь, прошел в кабинет. Молодой малый закурил и бросил спичку на пол. Глядя на его мозолистые, узловатые руки, рваный картуз и растрепанную прическу, Миша испытывал чувство боязливого уважения. Ему очень хотелось заговорить, но рабочий не обращал на него никакого внимания. «Этот старик, — думал Миша, прислушиваясь к безмятежному храпу, — должно быть, знаменитый революционер, террорист или шлиссельбуржец... Если бы им обоим сказать, зачем я пришел сюда, они, конечно бы, удивились и пожелали познакомиться со мной ближе...» Далеко, в глубине квартиры, кто-то неистово забарабанил на фортепиано. Эти шумные звуки показались Мише оскорбительно-непристойными, как оскорбительно-непристоен бывает громкий разговор в церкви. Старик недовольно пошевелился и проворчал себе что-то под нос. Молодой малый потянулся, зевнул и сплюнул:

— Уж скорее бы отпустили... И чего, в самом деле, тянуть?..

Когда, наконец, после многочасового ожидания Мишу пригласили войти, он увидел за письменным массивным столом того же товарища в высоких воротничках — доктора Берга. Одинокая лампа под абажуром скупо освещала зеленое сукно на столе. По мягкому, заглушающему шаги, ковру, не переставая, взад и вперед ходила Вера Андреевна. Миша, увидев министерский, внушительный кабинет, холодное лицо доктора Берга и одетую в монашески скромное платье высокую и сухую Веру Андреевну, совсем растерялся. Он забыл все заготовленные с такой любовью слова и не знал, с чего начинать. Он бы охотно ушел, но уже было поздно. Доктор Берг, рассерженный отъездом Болотова в Москву, невыспавшийся после ночного совещания у Валабуева и раздраженный длинным приемом, лениво, поверх очков, посмотрел на него и угрюмо сказал:

— Вам что угодно, товарищ?

Миша еще не пришел в себя. Он в смущении, испуганными глазами смотрел на доктора Берга. Теперь ему

казалось непростительной дерзостью, почти преступлением, что он осмелился потревожить людей, погруженных в государственные заботы, — в высокоответственные дела революции. Доктор Берг, поигрывая серебряным карандашиком, повторил:

— Что же вам угодно, товарищ?

Миша, чувствуя, что на этот раз нельзя промолчать, мучительно покраснел и, выдавливая по капле слова, забормотал, не глядя на доктора Берга:

— Я... я... я собственно... я хотел бы работать...

— Так, — сказал доктор Берг. — Ну-с?

— Я... я... хотел бы...

— Ну-с?

— Я хотел бы... в боевом деле...

Вера Андреевна перестала ходить. Доктор Берг, продолжая вертеть карандашом и нисколько не удивляясь, точно речь шла о ежедневном, обыкновенном, давно и до скуки известном, сухо сказал:

— Почему же именно в боевом?

В дверь постучались. Вошел мрачный, с прямыми, как у дьякона, волосами, товарищ, которого Миша видел в приемной. Он безмолвно поманил к себе доктора Берга. Доктор Берг с досадой повел плечами:

— Я сейчас. Извините, товарищ.

Миша остался с глазу на глаз с Верой Андреевной. Он чувствовал, что она за ним наблюдает. Вся затея казалась ему уже не только преступной и дерзкой, но и смешной. Он не понимал, как смел он надеяться, что достоин служить революции, как смел не заметить, что смешно, когда восемнадцатилетний мальчик просит принять его в боевую дружину. Кроме того, ему было неловко: он стыдился своей шитой косоворотки и боялся, что Вера Андреевна находит ее неприличной.

— Вы студент? — спросила, помолчав, Вера Андреевна.

— Да, студент, — прошептал Миша.

— Сколько вам лет?

«Провалился», — мелькнуло у Миши, и он чуть слышно ответил:

— Девятнадцатый год.

Вера Андреевна с состраданием смотрела на Мишу. Его свежее, румяное лицо было так юно, голубые глаза так чисты, сам он был так полон молодой, неистраченной силы, что ей стало жутко. С непривычною, почти ма-

теринскою лаской она, присев на стул рядом с ним, осторожно сказала:

— Послушайте... Почему вы хотите работать в боевом деле? Почему именно в боевом? Разве мало другой работы? Ведь вы можете быть полезны везде. Везде гнет и насилие, — вздохнула она, — везде нищета... Займитесь с рабочими, идите к крестьянам, учитесь... А боевое дело от вас не уйдет...

Миша, тронутый, готовый от волнения заплакать, с благодарностью взглянул на ее худое лицо:

— Я, собственно, что ж?.. Я ведь, как комитет...

В комнату быстро вошел доктор Берг.

— Черт знает что!.. В Москве баррикады... Надо кому-нибудь съездить... — сердито обратился он к Вере Андреевне, точно она была виновата в московском восстании, и вдруг вспомнил про Мишу:

— Да, да... Хорошо... Мы наведем справки... Сегодня некогда. Зайдите в субботу.

Он кивнул головой, давая понять, что аудиенция кончена.

Миша встал. «В Москве баррикады... Вот она революция, — мелькнуло молнией у него. — Он говорит съездить... Кому-нибудь съездить... Господи... Господи, если бы мне... Почему же не мне?..» И, виновато, смущенно, больше всего на свете опасаясь отказа, он с мольбою в голосе попросил:

— Извините... Я хотел бы...

— Что?

— Я... быть может, я могу... съездить в Москву?

Доктор Берг внимательно посмотрел на него и задумался:

— Вы? Гм... Как ваша фамилия?

— Михаил Болотов.

— Болотов? Вы не брат Андрея Николаевича?

— Да, да... конечно... я его брат... — заторопился Миша.

Берг и Вера Андреевна переглянулись.

— Когда вы можете ехать?

— Ехать?.. Как когда?.. Сию минуту, сейчас...

Вера Андреевна вздохнула и промолвила нерешительно:

— Ну, зачем именно он? Да и будет ли доволен Андрей Николаевич? Ведь и без него кто-нибудь найдется...

— Нет, нет... Пожалуйста... Андрюша будет очень,

очень доволен... Уж пожалуйста... Нет, я уж поеду, — залепетал, не давая ей договорить, Миша.

Когда через час, получив партийные «пароли» и «конспиративное» поручение к брату, Миша вышел на улицу, была поздняя ночь. На многолюдном, сверкающем Невском ослепительно сияли голубые электрические шары. Над ними небо было черное, чернее чернил, и не было видно звезд. «В Москве баррикады, — восторженно повторял Миша, — в Москве Андрюша, и я поеду в Москву... с поручением от комитета... Да, с поручением от комитета... Как великолепно все вышло... Вот она, великая революция!..» Он взглянул на часы и побежал к Николаевскому вокзалу.

XX

По совету доктора Берга Миша из «конспирации» вышел на станции Лихославль и пересел на вяземский поезд. Прождав на вокзале в Вязьме пять бесконечных часов, он выехал в Москву ночью. Рано утром в Голицыне поезд внезапно остановился.

— Господа, поезд не идет дальше... Господа, попрошу выходить... — проходя по вагонам, говорил облепленный снегом кондуктор.

— Как? Почему не идет?.. — догнал его Миша, холодея при мысли, что и сегодня не будет в Москве.

— Так что не идет... — ответил кондуктор и взялся за ручку двери.

— Нет... ради Бога... Ведь мне, ей-богу, необходимо... — взмолился Миша.

Кондуктор боязливо оглянулся кругом.

— Забастовочный комитет не велел.

Немногочисленные полусонные пассажиры, ворча и ругаясь, вылезали из темных вагонов. От дыхания многих людей в морозном воздухе висело белое облако пара. В Голицыне все было обычно и мирно, точно не было баррикад в Москве. В буфете звонко позвякивала посуда. За окном, склонившись над аппаратом, мерно стучал неугомонный телеграфист. Молодой начальник станции, пощипывая бородку, расхаживал по платформе.

— Господин начальник!.. Господин начальник!.. — бросился к нему Миша. — Как же мне проехать в Москву?

Начальник станции с раздражением махнул рукой:

— А я почем знаю? Оставьте меня в покое... Разве я виноват? Получена телеграмма по линии: вся дорога бастует...

«Как же быть? — с отчаянием думал Миша, толкаясь в холодном буфете и проглатывая безвкусный, обжигающий горло чай. — Я же должен проехать в Москву... Ведь не могу же я вернуться обратно... Ведь это позор... Товарищи, Андрюша дерутся в Москве, а я сиди тут, в этом проклятом Голицыне. Нет, невозможно... Я должен ехать. Но как? Не идти же пешком?.. А если нанять лошадей?»

— Господин начальник!.. — наскоро расплачиваясь и выбегая опять на мороз, закричал он, заметив красный околыш.

— Чего вам? Ведь я уже сказал вам...

— Господин начальник, мне совершенно необходимо... Бога ради, посоветуйте что-нибудь... Нельзя ли лошадей?.. Я могу заплатить...

Начальник станции в недоумении развел руками.

— Лошадей?.. До Москвы... н-не знаю... Погодите, — сжалился он. — На запасном пути стоит паровоз... Идет в Москву... Попроситесь. Может быть, и возьмут... Только вряд ли... — И, повернувшись круто на каблуках, он ушел в дежурную комнату.

Миша, прыгая через рельсы и оставляя на пушистом снегу следы, побежал на запасный путь. Тяжелый, курьерский, десятиколесный паровоз с тендером, без вагонов, стоял под парами. На площадке его работали двое, густо закопченных сажей, людей. «Господи, не возьмут!» — со страхом подумал Миша.

— Чего надо? — неприветливо сказал черный, как негр, кочегар, когда Миша, запыхавшись, остановился у паровоза.

— Господа, паровоз идет в Москву?

— Много будешь знать, скоро состаришься.

— Как же?.. А мне сказали... — оробел Миша и голосом, полным слез, подымая вверх к паровозу румяное и взволнованное лицо, заговорил быстро:

— Мне очень нужно в Москву... Очень... Одна надежда на вас...

— А какие такие дела у тебя в Москве?

Миша смутился. Он не смел доверить постороннему человеку, — что он — член партии и едет по революционному поручению, придумать же невинный предлог было трудно. Кочегар молча, пристально и недружелюбно,

ожидая ответа, смотрел на него. «Эх... была не была... Все равно пропадать...» — тряхнул Миша кудрявою головой и срывающимся голосом сказал:

— В Москве восстание...

— А у тебя там кума?

— Ради Христа, довезите...

— Довезти?.. Очень ты прост... Ну, проваливай, пока цел...

Пронзительно свистнул свисток. Миша понял, что паровоз сейчас тронется. Чувствуя, что теряет невозвратимую, единственную надежду, и боясь даже думать о станции, он крепко вцепился в поручни паровоза.

— Ради Бога... я... я... из боевой дружины...

Пожилой, с седыми усами, машинист свесился вниз и с любопытством, с ног до головы, оглядел Мишу.

— Из дружины?

— Да, да... из дружины...

— Ты?.. А револьвер у тебя есть?

— Револьвер? — сконфузился Миша.

— Ну да, револьвер.

— Револьвера нет...

Машинист насмешливо улыбнулся.

— Эх ты... горе-дружинник... Ну, Бог с тобой, полезай, — вдруг ласково сказал он и протянул Мише руку. Миша, не веря от счастья ушам, вскарабкался наверх и скромно сел на кучу углей. Он не сомневался уже, что паровоз комитетский и что машинист, и его помощник, и начальник станции, и кондуктор — великолепные люди, революционеры, может быть, террористы. «Они увидят, что я не хуже других. Они увидят, что и я — верный член партии...» — думал он, с трепетом ожидая свистка. Кочегар положил руку на блестящий, с отполированной ручкой, рычаг.

— Ехать, Егор Кузьмич?

— А то чего же? Капусту садить?..

Опять пронзительно свистнул острый свисток. Паровоз плавно, медленно, точно нехотя, тронулся с места. Пробежало Голицыно, красный околыш, платформа, железнодорожный буфет и склоненный над аппаратом телеграфист. Впереди, между досиня белых сугробов, зазмеились узкие рельсы. Запахло горячим дымом. Морозный ветер захлестал в щеки. Мише было холодно, но он крепился и терпел молча, опасаясь рассердить машиниста. «Как Андрюша удивится, когда я расскажу о своей поездке, и как обрадуется, что дорога забастова-

ла... Как хорошо... И какой смелый, прекрасный этот Егор Кузьмич!» — думал он, хлопая руками, чтобы согреться.

— Холодно? — улыбнулся ему кочегар.

— Нет, ничего... — стуча зубами, бодро ответил Миша.

— А ты к топке сядь. Нам вот не холодно.

Миша пересел к топке. Стало жарко. Через четверть часа, под гром железных колес и неумолкающие свистки паровоза, Миша рассказывал все, известные ему, партийные тайны: и кто он, и зачем едет в Москву, и как в Москве разыщет брата и комитет. «Это ничего, что у меня нет револьвера, — делая серьезное лицо, объяснял он, — я все равно буду на баррикадах, потому что я так решил... А если решил, то и сделаю... По-моему, нужно сперва обдумать, можешь сделать или не можешь... Ведь революция — не шутки шутить... Если не можешь, то и нечего браться. Я думаю, что это даже и недобросовестно...»

Егор Кузьмич, не отрывая глаз от бегущих рельсов и изредка поглядывая на стрелку манометра, внимательно слушал Мишу, и нельзя было понять, одобряет он его или нет. Мише очень хотелось спросить, зачем паровоз один, без вагонов, идет в Москву? В глубине души он не сомневался, что Егор Кузьмич торопится тоже на баррикады.

Паровоз полным ходом проскочил мимо Филей, отчаянно взвизгнул в последний раз и остановился в поле, в полуверсте от Москвы.

— Ну, будь здоров, молодец, — ударил по плечу Миши Егор Кузьмич, — да смотри, раньше отца в петлю не суйся... Приехали. Вылезай...

Миша, жалея, что расстался с друзьями, и втайне страшась одиночества, спрыгнул прямо в сугроб, упал на руки и, грязный и мокрый, черный от угольной пыли, обсыпанный снегом, побрел мимо Ваганьковского кладбища к Звенигородскому пустому шоссе. К его огорчению, на шоссе не было баррикад. Было очень морозно, прохожих встречалось мало, но лавки не были заперты, и патрулей не было видно. По инструкции доктора Берга, Мише надо было найти Гагаринский переулок. Где находился этот Гагаринский переулок, Миша не знал. Он не посмел никого спросить и долго путался по Москве, удивляясь и негодуя, что нигде не видит революционеров и красных знамен. Уже смеркалось, когда он

вышел на Сивцев Вражек. Проплутав еще с полчаса, он случайно нашел указанную квартиру.

Он позвонил. Он ждал долго, но за дверью все было тихо. Он позвонил еще раз. То же безмолвие. Наконец после третьего безнадежного Мишиного звонка на пороге появилась вертлявая горничная, в чепце и белом переднике:

— Уехали... Все уехали... И звонить нечего.

У Миши упало сердце: кто уехал?.. Куда уехал?.. Как же так? Ведь это партийная явка... Как же я отыщу Андрюшу?.. Не может этого быть?.. Он несмело взглянул на горничную:

— Не может быть... Мне очень нужно...

— Вот новости... Мало что нужно. Сказано: все уехали... Много вас нынче шляется.

Она с сердцем хлопнула дверью. Миша медленно, грустно отошел от подъезда. «Что же мне делать теперь?» — с отчаянием думал он, бродя по Москве без цели. На бульваре березы — сказочные деревья — снежными искрами сверкали на солнце. Миша, раздавленный неудачей, искал хотя бы обломков разрушенных баррикад, ничтожных следов восстания. «Ведь дорога забастовала... Ведь в Москве восстание...» — твердил он, готовый расплакаться оттого, что поручение не выполнено, что Андрюша не найден и что в Москве не дерутся. Но, свернув на Тверскую, он услышал справа, со стороны Сретенки, далекий, жидкий, негромкий треск. Он не поверил себе и прислушался, затаивая дыхание. Но опять, на этот раз четко, по ветру, точно тут же рядом с ним, за углом, раздался короткий залп. «Ох-ох-ох... Грехи!..» — сказал прохожий купец и, сняв шапку, перекрестился. Марш-маршем пронесся казачий разъезд. «Слава Богу, вот они баррикады», — решил, не колеблясь, Миша и счастливый, бегом, бросился к Сретенке. На Петровке и Дмитровке не было ни души и магазины были закрыты. Миша бежал посреди улицы, по снегу, боясь опоздать, боясь, что выстрелы внезапно умолкнут, и он не найдет баррикады и не успеет ее защитить. Перебежав широкий бульвар, он выбежал в Головин переулок и остановился как вкопанный. В конце переулка, всего шагах в двадцати, кучка людей в полушубках, лепясь за снежною баррикадой, стреляла по Сретенке. Забывая, что у него нет оружия и что дружинникам он чужой, помня только, что перед ним боевое, красное знамя, он бросился по переулку вперед. Вдруг дружина

сразу, точно по уговору, перестала стрелять. Миша увидел бегущих тесной толпою людей. Он с изумлением и страхом, не понимая этого бегства, смотрел на них. «Господи, отступают...» — мелькнула ужасная мысль. И не умея понять, почему они отступают, не зная сам, что он будет делать, зная только, что баррикада остается за войсками, он звенящим голосом крикнул: «Вперед!.. За землю и волю!» — и, не переставая кричать, побежал навстречу дружине. Не оборачиваясь и не справляясь, бежит ли за ним хоть один человек, он с разбегу вскочил на вал. Со стороны Сретенки затрещало несколько выстрелов. Один из бегущих обернулся назад. Он увидал, что на расстрелянной баррикаде, на ее разбитом валу, свесив руки, навзничь лежит румяный студент, без шапки. Лицо студента было поднято вверх, и открытые голубые глаза пристально и чуть-чуть удивленно смотрели в небо... Дружинник, не пытаясь узнать, кто этот убитый чужой, поспешно завернул за угол и стал догонять дружину.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Московское восстание было раздавлено. Совет рабочих депутатов арестован, военные бунты залиты кровью. Правительство одержало победу. Но вера в революцию была еще так сильна, недоверие к правительству так глубоко, предчувствие грядущих событий так остро, что ни члены партии, ни министры, ни дружинники, ни рабочие, ни солдаты, ни один из тех, кто участвовал в неистовой и беспощадной войне, не сомневался, что завтра хлынет заветный девятый вал: всенародное, всероссийское вооруженное восстание. Смерть Плеве, Кровавое воскресенье, взрыв 4-го февраля, мятеж на броненосце «Потемкин», октябрьская забастовка и московские баррикады казались только величественным началом, торжественною прелюдией к тому неотвратимому и победному, что должно было теперь совершиться. И правительство тайком обдумывало «мероприятия», стягивало войска, покупало шпионов, наполняло тюрьмы и строило виселицы. И революционеры открыто печатали книжки, готовили бомбы. раздавали оружие, «организовыва-

ли» крестьянское войско и требовали Учредительного собрания. И никто не замечал, что революция уже разбита.

Еще осенью комитет сочинил и отпечатал воззвание и разослал агентов по всей России. Агенты эти, заслуженные революционеры, разъясняли на сходках значение общепартийного, призванного решить судьбу революции, съезда и приглашали товарищей выбирать депутатов. В объединенной комитетом и связанной кровавою связью партии не было внутреннего единства, того единства, которое сообщает силу тайному обществу. Три «направления» боролись между собой, и борьба эта была источником озлобленных споров. Одни, изучив крестьянский и рабочий вопрос и хозяйственные отношения России, требовали социализации земли. Другие, опираясь на те же ученые книги, требовали социализации заводов и фабрик. Третьи не требовали ни того ни другого, а соглашались на принудительный выкуп земель. И «умеренным», и «правым», и «левым», и комитету, и партии, и Арсению Ивановичу, и доктору Бергу, и Вере Андреевне разногласия эти казались решающе важными. Они не видели, что революция побеждена и что не им суждено стать у власти. Они не видели, что если бы даже они стояли у власти, то не только от их сознательной воли зависело бы устроение России, а еще от тысячи неизвестных, непредвидимых и неустранимых причин. Они искренно верили, что партийные разговоры, как разделить по совести землю и распорядиться судьбою России, умножат силу и ускорят шествие революции и определят будущее стомиллионной страны. И этот съезд, который с неисчислимыми затратами, опасностью и трудом созывала партия, в ряду других «государственных» дел, должен был решить и всероссийскую земельную тяжбу. Это было похоже на то, как если бы люди, плывущие в бурю на корабле, бросив руль, опустив паруса и погасив сторожевые огни, забывая о тяжкой участи утлого корабля, начали буйно спорить о том, в какую именно гавань направить бег, когда утихнет ветер и успокоятся волны. Но никто из товарищей не понимал бесплодности безрассудных раздоров, и все с надеждой и нетерпением ожидали исторического события — общепартийного съезда.

Съезд был созван «конспиративно» в партийной гостинице, в одном из дачных поселков под Петербургом В укромной комнате, оклеенной розовыми обоями, гряз

ной, с кислым запахом по углам, приютилось «бюро». В этом «бюро» Залкинд и двое его помощников, молодых людей со строгими лицами, кропотливо проверяли «мандаты» — полномочия прибывших товарищей. Там же составлялись «маршруты, руководства для незаметного отъезда на родину». Во дворе и в лесу, на морозе, день и ночь караулила стража, вооруженная маузерами дружина, наблюдавшая за полицией. Когда Болотов, истомленный, продрогший, одетый в тот же изорванный полушубок, в котором дрался в Москве, вошел в холодные сени, он невольно остановился и от неожиданности зажмурил глаза. Четыре тусклые керосиновые лампы, повешенные под закопченным потолком, освещали, мигая, большую, полную людей, комнату. Был перерыв. Десятки голосов гудели одновременно, и от этого в спертом воздухе стоял густой и тяжелый, многоязычный гул. Налево, в углу, чахоточный, лысый, с курчавой бородкою господин горячо спорил с доктором Бергом. Болотов узнал известного в партии «агитатора», Геннадия Геннадиевича. Направо, у простуженного, с поломанной крышкой рояля, сидел белокурый, очень юный товарищ и с чувством стучал по истертым клавишам, закидывая вверх голову и выбрасывая высоко пальцы.

«Сами набьем мы патроны,
К ружьям привинтим штыки...» —

гремел нестройный, разноголосый хор. Болотов заметил бледную, тонкую, с черной косою девушку. Глядя прямо вперед потемневшими, восторженными глазами, она не пела, а всею грудью выкрикивала ветхие, но не утратившие для нее живительной силы слова.

«В царство свободы дорогу
Смело проложим себе», —

отчаянно, в последний раз, заколотил руками белокурый пианист и с шумом поднялся со стула. В соседней комнате дребезжал неумолчный звонок. Перерыв кончился. Заседание открылось.

И сейчас же несколько десятков человек, уполномоченных несколькими сотнями таких же, как они, революционеров, приступили к решению им недоступных и заведомо неразрешимых вопросов. Они забывали, что самоотверженность, готовность умереть и преданность революции еще не дают права управлять судьбою России, как не дают этого права пулеметы, молебны и вер-

ность самодержавию. Они забывали, что не поддержанные народом постановления их неизбежно останутся на бумаге, как не поддержанные штыками остаются на бумаге постановления министров. Но главное, они забывали, что они не хозяева ее, а покорные и слабые слуги. И, собравшись за сотни и тысячи верст, они наивно уверяли себя, что от большинства голосов, поданных на партийном съезде, от поражения «левых» или победы «правых» может измениться судьба России, может замедлиться величавый ход революции, может иссякнуть ее неиссякаемое русло. И никто из них не догадывался, что в этом они бессильны, как бессильны слова изменить жизнь.

На очереди стоял вопрос о восстании. Хотя каждый мог видеть, что вопрос этот праздный и что не съезду, не партии и не комитету дано вызвать народную революцию, а тем более назначить ей срок, и хотя каждый у себя, на своей муравьиной «работе» видел и знал, что народ не хочет или не смеет восстать, — все с жаром принялись спорить, и немедленно образовалось два мнения. И товарищи искренно верили, что, доказывая, волнуясь, раздражаясь и голосуя, они приносят неоценимую пользу партии и России.

Первым говорил Геннадий Геннадиевич. Выпрямившись во весь свой небольшой рост и сразу став стройнее и выше, он начал речь твердым голосом человека, знающего правоту своих продуманных слов:

— Товарищи! Здесь, в этом полномочном собрании, мы призваны решить вопрос исключительного значения. Мы обязаны спросить себя, какая судьба может постигнуть вооруженное восстание, если, конечно, таковое будет? Я думаю, что имеются налицо и шансы к успеху, и причины к пессимизму. Присмотримся к конкретной обстановке готового разразиться боя. Государственная машина совершенно расстроена, буржуазия отчасти еще не сорганизовалась, отчасти дезорганизована; в широких слоях населения — недовольство; в среде обнищавшего крестьянства — отчаяние и голод. С одной стороны, слабость силы сопротивления, с другой — готовность к самым решительным действиям и огромная величина силы нападения.

Геннадий Геннадиевич сделал паузу и, отчетливо разделяя слова, взволнованным голосом продолжал:

— Но, товарищи, нельзя не обратить внимания и на отрицательную сторону дела... Организация движения

есть главное условие его успешности в полном объеме поставленных им задач. Крестьянство ждет аграрного взрыва, и мы, сознательное меньшинство, мы вправе, мы в силах, мы обязаны приложить нашу творческую работу к почве, подготовленной стихийным движением. Мы обязаны немедленно приступить к практической подготовке, к организации всенародного, вооруженного восстания. В этом, именно в этом, насущная, глубочайшей важности, задача момента...

Стоявший рядом с Болотовым юноша лет двадцати, депутат с Волги, краснощекий и круглолицый семинарист, при последних словах бурно захлопал в ладоши:

— Браво! Верно! Немедленно!

Геннадий Геннадиевич кашлянул и, воодушевляясь аплодисментами, уже уверенный в привычном и блестящем успехе, загремел, потрясая руками:

— Наша первая практическая задача — приобретение специальных военных знаний возможно большим числом товарищей. Наша вторая практическая задача — образование военных кадров на местах... Задачи этих кадров, в свою очередь, заключаются в следующем: во-первых, они должны научить...

Геннадий Геннадиевич говорил искренно, и все, что он говорил, было дорого и понятно участникам съезда. Болотов верил, что и сам Геннадий Геннадиевич, и Вера Андреевна, и доктор Берг, и краснощекий семинарист, и каждый, кто слушал ответственные слова о восстании, готов в любую минуту, с оружием в руках, защищать баррикаду и, защищая ее, умереть. И все-таки стало скучно. Почему-то вспомнились разговоры австрийского Hochkriegsrath'a [1] и ученые рассуждения Пфуля: «Die Kolonne marschiert...» [2] Разве Москва разгромлена потому, что мы не умели сражаться? Разве нас победили потому, что я не военный?.. Разве Пронька убит потому, что не знал тактики и стратегии? Разве нужно обучать Константина специальным наукам? Разве дело в том, чтобы здесь, вот в этой гостинице, сочинить наилучший рецепт, как делать народную революцию, сочинить руководство к баррикадному бою?.. Нас дралось несколько сот человек... Почему не восстала Москва, вся Москва? Потому что не было «кадров»?..

---

[1] Высший военный советник *(нем.)*

[2] Колонна марширует... *(нем.)*

— В-четвертых, эти кадры должны взять на себя инициативу восстания, выделив из своей среды военно-революционный штаб. Тогда, с одной стороны...

«Die zweite Kolonne marschiert» [1], — горестно, сам себе, улыбнулся Болотов и, опустив низко плечи, вышел в пыльный и узкий, покрытый суконною дорожкою, коридор. По дорожке, неслышно, взад и вперед ходил член «бюро» Залкинд, старый, сморщенный, с золотушным лицом, но оживленный и радостный.

— Ну, что скажете? Съезд!

Болотов молча сверху вниз посмотрел на него.

— Что? Что значит? Разве не хорошо?.. А Геннадий-то?.. Вот это оратор! Дантон!

Залкинд приоткрыл дверь и с жадностью приник ухом к щели.

— Браво! Браво! Прекрасно! — обернулся он к Болотову.

Болотов, так же горбясь, тяжело вышел на улицу. Серебром светился матовый снег. Оснеженные, никли ели. У крыльца дремал усталый дружинник. И на ясном, морозном небе равнодушно сверкала Большая Медведица.

II

На партийном съезде Андрей Болотов испытывал ту же тревогу, какую испытывает член сплоченной и дружной семьи, зная, что братья его заблудились слепою ночью. Московские баррикады выжгли глубокий и острый, неисцелимый след, — точно там, в сожженном училище, среди простертых по снегу тел, он потерял частицу своего «я», своей раздвоенной жизни. Ревнивое хозяйское чувство, которое владело им за границей, властная взыскательность человека, которому дано право решать, бережливость скупого хозяина исчезли бесповоротно. Было странно вспомнить теперь, что было наивное время, когда партия, с ее съездами, баррикадами, комитетами, казнями и террором, казалась ему цветущим хозяйством. Было странно подумать, что он считал себя самым верным, самым полезным, самым самоотверженным из ее бесчисленных членов. Было странно при-

---

[1] Вторая колонна марширует *(нем.)*.

знаться, что он судил, решал и постановлял словесные приговоры. Было странно поверить, что он, скупец, рассчитывал свои силы и во имя «дела» берег свою жизнь. Но страннее всего было то, что он увидел на съезде. Он увидел, что депутаты, молодые и старые «боевики» и «массовые работники», «умеренные» и «крайние», делают то же, что всю свою жизнь делал он и что теперь казалось ошибочным и ненужным. Он увидел, что они решают, судят и милуют, и во имя партии берегут свои силы, и во имя народа пытаются руководить революцией. Он не мог признать полноценным их труд. Точно винтовки и пулеметы, бомбы и кровь дымом застилали ему глаза.

Так же как все, он не понял, что правительство победило. Так же как все, он поверил, что завтра разгорится всероссийский пожар и настанет последний и доблестный бой. Но, разделяя эти розовые мечты, он не скрывал от себя жуткой правды. Московские баррикады научили его тому, о чем он смутно догадывался и что теперь не только уразумел, но и почувствовал всей душою. Они научили, что значит убийство и смерть. Вступая в партию, он задумался, как решить вопрос о насилии. Книга дала ответ. И ответ этот, устраняющий все сомнения, удовлетворял его, как удовлетворял Володю, доктора Берга, Арсения Ивановича и Веру Андреевну. Он не спрашивал себя, что такое террор. О терроре говорили газеты, к нему призывали восстания, его утверждала одобренная общепартийным съездом программа. Как член партии и революционер, он не мог и, быть может, не считал себя вправе пересматривать давно решенный вопрос. И поэтому смысл террора, сокровенный и страшный смысл дозволенного людьми насилия, ускользал от него. Но теперь было жалко себя, жалко тех, кто, не понимая убийства, призывает на «бой кровавый». И еще баррикады научили его, что нельзя управлять революцией, что те люди, которые думают ею руководить, в действительности не руководят ничем, а послушно и робко исполняют непререкаемые веления народа. Отдавая «конспиративные» приказания, видя преданность подчиненных товарищей, не сомневаясь в их готовности умереть, он незаметно, мало-помалу, свыкся с мыслью, что именно он, Андрей Болотов, и в его лице комитет, и в лице комитета вся партия, управляет всероссийскою революцией. Он поверил, что именно он, Андрей Болотов, строитель светлого будущего, что восставший народ услышит именно его голос и пойдет по

им начертанному пути. И ему было грустно теперь, что так глубоко было его заблуждение.

Изменившись наружно, похудев, огрубев и скинув воротнички и пиджак, он изменился и внутренне. Присутствуя на торжественном съезде, слушая страстные речи Геннадия Геннадиевича, холодные рассуждения доктора Берга, слезные жалобы Веры Андреевны, он уже твердо, без колебаний, знал, что разговоры эти — глухая дорога. Он уже знал, что товарищи будут спорить либо о справедливом, но им недоступном устроении России, либо о ничтожных хозяйственных мелочах. Он понял, что от этих шумных дебатов, речей и голосований не расцветет партия и не увенчается революция. Он вспоминал о Володе, и его слова теперь не казались достойными размышления. Он увидел, что Володя тоже не понимает смерти, тоже не чувствует неразделимо-тяжкой ответственности. И если Арсений Иванович, доктор Берг и Вера Андреевна ограничиваются воинственными словами, то Володя, презирая «интеллигентские» разговоры, не смущается кровью. И, думая так и скорбя за товарищей, Болотов одновременно испытывал чувство радости, чувство светлого душевного мира. Точно он наконец отыскал ключ к решению вечной и неразрешимой загадки.

Ночевал Болотов в той же партийной гостинице, где происходил съезд, в крохотной комнате с дощатой перегородкой вместо стены. В комнате пахло лампадным маслом и еще чем-то затхлым и горьким, чего нельзя было определить. Сквозь дверную щель на полу пробивался из коридора желтый, изнеможенный луч. В соседнем номере слышался медленный разговор. Болотов неохотно стал слушать. Чей-то однотонный, долбящий голос говорил неторопливо и скучно:

— Дело такого рода... Да-с... Приближаются выборы в Думу. Да-с... Как ты думаешь, Санька, того... дадут выбирать или нет?

— Черта лысого... — злобно заговорил невидимый Санька. — Старших дворников выберут.

— Гм... Ну, уж и дворников?

— А то нет?

За перегородкой заскрипела кровать. Кто-то вздохнул и заворочался на постели. Через минуту снова задолбил тот же неторопливый голос:

— Дело такого рода... Да-с... А я, того... думаю, что... того... крестьяне выберут левых.

— Левых? Ну, это, брат, дудки.

— А я все-таки думаю.

— Почему же ты думаешь?

— Так.

— Так? Экий мудрец, прости Господи!.. Ну, если левых, то Думу твою разгонят.

— Разгонят? Дело такого рода... Того... Пусть ее расстреляют... Чем хуже, тем лучше... Да-с...

За перегородкой опять кто-то вздохнул. «О чем они? — лениво раскрыл глаза Болотов. — Пусть расстреляют... Чем хуже, тем лучше... Что лучше? Лучше, если перевешают депутатов?.. Тогда, мол, крестьяне поймут... Крестьяне поймут... Но я ведь понял уже... Или один в поле не воин?..»

По гулкому коридору, разговаривая и стуча каблуками, прошли двое товарищей. Болотов услыхал громкие среди ночной тишины голоса:

— Арсений Иванович знает... Уж я тебе говорю... Уж ты слушай меня... Он говорит: восстание...

— Когда?

— Да весною, конечно.

— Весною?

— А ты думал?.. У нас, батюшка, только и ждут... Я тебе вот что скажу... У нас... Да, Господи... Да прикажи комитет, так...

— Комитет-то дозволит?

— Арсений Иванович говорит: как же иначе?.. Да ты слушай... У нас...

«Весною восстание... Прикажи комитет. Ждут бумаги из комитета, — улыбнулся невольно Болотов. — Ну, а если вспыхнет восстание?.. «Военно-революционные кадры?» «Штаб?» «Die erste Kolonne marschiert?..» [1] Если вспыхнет восстание, всенародная революция, тогда и в нас, пожалуй, нужды не будет. Зовем проливать кровь... А сами?.. А я?..»

В коридоре потух огонь. Приподнявшись на жесткой койке и откинув грязное одеяло, Болотов долго, встревоженными глазами, смотрел в темноту. И вдруг те дерзкие мысли, которые предчувствием назревали в нем и которых он втайне страшился, с неудержимой силой заговорили в душе. Стало ясно, что он не призван управлять партией, что он не смеет беречь свою жизнь. Ста-

---

[1] Первая колонна марширует?.. *(нем.)*

ло ясно, что он не только обязан погибнуть, но и не властен, не в силах жить. Стало ясно, что та кровь, которая струилась на баррикадах — кровь Скедельского, Проньки, Романа Алексеевича, кровь Слезкина и драгунского офицера, кровь тех безымянных солдат, которых Ваня взорвал своей отмщающей бомбой, — требует не скудной, не бережливой, а вдохновенной и просветленной жертвы. Стало ясно, что, отвечая перед комитетом, перед партией, даже перед Россией, он вправе жить, вправе ждать неминуемого восстания, вправе «подготавливать революцию» и вершить хозяйственные дела, и спорить, и решать, и голосовать. Но если есть высший, неложный суд, суд не Арсения Ивановича, не доктора Берга, не партийного съезда, если есть несказанная, молитвенная ответственность, то он, слуга революции, может и должен отдать народу себя: свою бессмертную жизнь. И как только ему это стало ясно, он почувствовал благоговейный восторг, точно с плеч свалилось тягчайшее бремя, точно он обрел спасительную свободу. «Пусть ожидают восстания. Пусть надеются, что Думу разгонят, — счастливо думал он, — я знаю, что делать. Я не могу и не вправе жить. Пусть террор. Пусть убийство. Пусть преступление. Пусть кровь. Если есть на земле правда, если в жизни не все неразумие и ложь, то призрак истины, тень справедливости в моей, свободно избранной, смерти».

И, повернувшись к тонкой, пропахшей клеем, перегородке, он заснул бестревожным и радостным сном.

III

В отдаленном конце коридора, в грязном номере с кисейными занавесками и двухспальной пуховою кроватью происходило «пленарное» заседание комитета. Недоставало только Аркадия Розенштерна, опоздавшего случайно на съезд. Последние месяцы Розенштерн «работал» на Волге и урывками, изредка наезжал в Петербург. Арсений Иванович и доктор Берг громко жаловались на его долговременный «отпуск»: любимый партией, Розенштерн поддерживал незыблемый вес их решений и сообщал значительность их словам.

Рассмотрев несколько неотложных дел — о покупке оружия, о докладе на международном конгрессе, о казенных «экспроприациях», об издании новой газеты и об

убийстве московского губернатора, — товарищи в двенадцатом часу ночи приступили к последнему по порядку вопросу: об «инциденте» между военной организацией и военным союзом. «Инцидент» этот очень занимал высокие круги партии и служил пищею для неумолкаемых разговоров. Сущность его состояла в том, что военная организация напечатала без ведома военного союза воззвание, тогда как право редакции всех «военных» листков принадлежало, согласно уставу, не ей, а только союзу. Принципиальное, волнующее значение этого дела и заключалось в юридической его стороне: вправе ли военная организация самостоятельно, без цензуры, печатать листки?

Когда Болотов постучал в закрытые на ключ двери, представитель военной организации, молодой, красивый студент, с завитыми усами, робея и горячась, доказывал Арсению Ивановичу правоту своих действий.

— Да помилуйте, Арсений Иванович. Да что же это такое?.. Да позвольте вам объяснить... Почему мы не вправе издавать прокламаций?.. Организационное бюро вправе, военный союз вправе, любой уездный комитет вправе, а мы не вправе?.. Позвольте же вам объяснить... Разве в нашем воззвании усмотрено что-нибудь непартийное? Будьте добры, сделайте милость, потрудитесь сами взглянуть... Очень нехорошо, если товарищи придираются к мелочам...

— Эх, кормилец, — внушительно возражал Арсений Иванович. — Любишь смородину, люби и оскомину... Так-то... Ну-ка, что в уставе-то сказано?

— Да что устав?.. Нет, позвольте, при чем тут устав?.. Я по совести говорю...

— Извините, Арсений Иванович, — поправляя желто-зеленый галстук и несмотря на студента, холодно вмешался в разговор доктор Берг, — если вы ссылаетесь на устав, то моя обязанность указать, что параграф этот может иметь двоякое толкование. По точному смыслу примечаний к пункту седьмому...

«Господи, неужели все это важно?» — думал Болотов, рассеянно оглядывая тесную, накуренную, полную товарищей комнату. В углу, у окна он с удовольствием увидел приезжего с юга своего приятеля Алешу Груздева. Груздев был тоже член комитета, но редко участвовал в совещаниях: он «работал» в деревне как рядовой, партийный работник, не брезгуя никаким, даже черным и мелочным делом. Высокий, с пушистыми светлыми во-

лосами и открытым русским лицом, он старательно избегал резких споров. Болотов знал его и любил.

Толкований седьмого пункта Болотов не услышал. Заметив его, Арсений Иванович приветливо улыбнулся и, обращаясь к студенту, сказал:

— Вот что, кормилец, мы это дело обдумаем... Да... Да... Обдумаем... Нельзя же так, сразу... А со временем и вас пригласим... Надо, кормилец, с умом... С большим умом надо... Хлопот у нас полон рот... Не углядишь... Знаете, небось, поговорку: пшеничка кормит по выбору, а рожь — всех сплошь...

С того дня, как стало известно, что Болотов дрался на баррикадах, уважение к нему товарищей выросло еще более. Даже доктор Берг, откровенно негодовавший на его поездку в Москву, не скрывал теперь своей радости. Мужество Болотова, его отвага и та удивительная случайность, что он наравне с незаметными членами партии, рабочими и студентами, подвергался смертельной опасности, давали товарищам законное право уверить себя и других, что комитет если и не руководил московским восстанием, то принимал в нем участие. И, как это всегда бывает, члены комитета не сомневались, что они не только разрешили Болотову поехать в Москву, но и уполномочили именем партии. И если бы Болотов им сказал, что это не так, что он уехал без разрешения, даже вопреки их желанию, они бы искренно удивились и не поверили бы ему.

— Ну, ну, кормилец, да расскажите же нам, что там такое было? — говорил Арсений Иванович, звонко целуя Болотова в небритые щеки. — Заждались мы вас, да и грех утаить, сердце тревожилось: что, мол, Андрей Николаевич?.. А узнать, спросить негде...

Болотов крепко жал руки, улыбался, целовал бороды и усы, но ни на минуту не мог забыть о своем, о том, что он дерзко решил накануне ночью. Здесь, в душном номере, после споров и бесплодных речей, среди товарищей, погруженных в хозяйственные заботы, было неловко и трудно говорить о своем решении. Точно вымолвив невысказанные слова, он умалил бы их торжественный смысл.

— А мы вот думаем, придумать не можем, как нам быть с господами военными?.. Ей-богу, озорники... — обнимая Болотова за плечи, говорил Арсений Иванович. — В чужом пиру похмелье... Беда!

Болотов отошел к окну. За двойными, замерзшими

рамами притаилась тихая, как уголь черная, ночь. Теперь Болотову казалось, что его гордые мысли чужды Арсению Ивановичу, чужды всем, неискушенным смертью, товарищам. Казалось, что никто из них не сумеет его понять и что слова его прозвучат обидой и горьким обманом. Он вдруг понял, что убийство Слезкина, гибель дружины, отчаянный бой за училище — дни жестокой и незабываемой правды — для них, не переживших восстания, только интересная повесть о баррикадах, короткий рассказ случайного очевидца. Он понял, что у него нет пламенных слов, чтобы рассказать о своей потрясенной жизни, чтобы заставить перечувствовать то, что с такою острою силой чувствовал он. Он хотел промолчать. Но застарелая, взращенная годами привычка — ничего не утаивать в комитете, взяла верх над сомнением. Все ожидали, когда он заговорит. Слегка побледнев, он громко сказал:

— Арсений Иванович...

— Слушаю, кормилец, слушаю...

— Арсений Иванович, я хотел заявить...

Арсений Иванович всем телом повернулся к нему и мягко, ласково, поощрительно закивал головою.

— Я хотел заявить... что я... что я... решил поступить в боевую дружину...

Доктор Берг поднял узкие брови и с изумлением посмотрел на него. Вера Андреевна нахмурилась. Залкинд заморгал воспаленными глазками. Воцарилось томительное молчание. Нарушил его Арсений Иванович:

— Что же?.. Дело хорошее... Дело очень хорошее... Террор необходим, и в терроре такие люди, как вы, нужны... И я вас не могу не одобрить... То есть желания вашего не одобрить... Только... Только, кормилец, кто же из нас этого не желает, кто об этом из нас не мечтает?.. — Голос Арсения Ивановича неожиданно дрогнул, и затряслась белая, длинная борода. — А вот не идем... Не идем... Да, кормилец... А почему?.. Потому что пересолишь, хлебать не станешь... Потому что ответственность приняли, бремя трудное подняли... Потому что партией надо же управлять... — Арсений Иванович вздохнул. — Эх, голубчик, Андрей Николаевич, желание ваше великолепно... А только... Только послушайте вы меня, старика... Не время... Погодить надо, голубчик... Да... Да... Погодить.

Был поздний час ночи. Оплывшие свечи догорали смрадными языками. По углам сгущалась зыбкая тень,

и в ней тонули силуэты товарищей. Плавал сизый теплый табачный дым. Болотову стало досадно. «Разве комитет властен мне запретить?.. Властен сказать: не убий?.. Властен сказать: умри?» Он медленно встал и, высокий, бледный, худой, с горящими голубыми глазами, подошел к закапанному стеарином столу.

— Я, Арсений Иванович, этот вопрос решил...

— Нет... Нет... Нет... Что вы это? Позвольте! — заволновался Геннадий Геннадиевич. — Как это так: решил? Тут, дорогой мой, партийные интересы, высшие... Тут, серебряный мой, вы единолично решать не вправе... Этот вопрос подлежит обсуждению... Как же так можно?..

— Вы меня извините...

— Не извиню, золотой, не извиню, мой жемчужный... И никаких об этом не может быть разговоров... Помилуйте!.. Задеты высшие интересы партии!.. Caveant consules!..[1] Да!.. И заранее вам говорю: я не согласен... Вы нужны нам в комитете... Что же это будет?.. Сегодня уйдете вы, завтра — Арсений Иванович, послезавтра — я? Ведь хочется всем! Кто же останется? Нет... Что вы?.. Разве так можно?..

— Я бы предложил поставить этот вопрос на голосование, — потирая тонкие руки, сухо сказал доктор Берг. — Надеюсь, вы подчинитесь большинству? — обратился он к Болотову.

Болотов ничего не ответил. «Неужели будут голосовать? Голосовать? Что? Жить мне или умереть?» Эта мысль показалась такой смешной, нелепой и ни на что не похожей, что он даже не рассердился. Но уже доктор Берг считал голоса.

Болотов не верил глазам. «Так, действительно, комитет властен дозволить и запретить? Так, действительно, смерть и убийство решаются большинством голосов?» Отстранив руку доктора Берга, он пристально, гневно посмотрел на Арсения Ивановича.

— Вы меня извините; я сделаю так, как решил.

— Шутки, кормилец, шутки... — засмеялся Арсений Иванович. — Неужто не подчинитесь комитету?..

— Нарушение дисциплины влечет за собою... — наставительно начал доктор Берг, но Болотов не дослушал. Не говоря более ни слова, он большими шагами вышел

---

[1] Бойся консулов!.. *(лат.)*

из комнаты. В полутемном, пустом коридоре его догнал смущенный Груздев.

Болотов круто повернулся на каблуках:

— И вы голосовали, Груздев?

— Конечно. А что?

— Ничего.

И хотя Груздев весь вечер молчал и был неповинен в голосовании, Болотов с непривычной, нерассуждающей, внезапно вспыхнувшей злобой, изливая тоску своих сумрачных дней, начал горько упрекать его в лицемерии:

— Да вы... Да вы понимаете, что вы говорите? Понимаете, что вы сделали? Понимаете или нет?.. Почему товарищи умирают? А вы? Почему я живу?.. Или у нас нет стыда? Нет совести? Как вам не стыдно?

Груздев робко пожал плечами. Его открытое, доброе, обиженное лицо покраснело. Он застенчиво улыбнулся.

— Ну что вы?.. Все это так... Да...

— Что да?

— Да ведь не в терроре же дело... Разве трудно погибнуть? — Он покраснел еще гуще. — Вы мне верите?.. Да?.. Ну, так вы знаете: есть другая работа. Она, пожалуй, еще труднее... Пропаганда среди крестьян, среди рабочих, среди солдат, среди масс... Разве она не нужна? Разве только тот революционер, кто выходит с бомбой в руках? Кто дерется на баррикадах? Разве я не служу революции? Разве мой труд не приносит пользы? Скажите мне, не приносит?..

— Ах, Груздев, да ведь я не про то.

— А про что же?.. Послушайте, Болотов, я вам скажу... Ну, Арсений Иванович старик... На него не нужно сердиться... Ну, доктор Берг... Э, да что доктор Берг!.. Вы меня знаете? Да?.. Я не могу вас понять... Ведь террор — только средство, одно из многих хороших средств... Слава и честь тому, кто идет по этой дороге! Я не иду. И не пойду. Слышите: сознательно не пойду, потому что дело не в том: умереть или нет... Дело в том, чтобы принести возможно большую пользу. Нас так мало... Так мало людей, которые знают, чего хотят, твердо знают; для которых революция — не только восстание, а глубокий идейный переворот... А вот вы уходите... Слушайте, пойдем со мной к крестьянам, в деревню... Там живая работа... Там не слова говорить... — Груздев замолчал и с несмелой надеждой заглянул Болотову в глаза. Болотов усмехнулся:

— Вы не понимаете меня... То, что вы делаете — полезно, я всю жизнь свою это делал... Только...

— Что только?..

Болотов не ответил. Безнадежно махнув рукой, он побрел к себе в номер. В комнате еще долго, недоумевая, говорили о нем.

IV

В Твери Володе не посчастливилось. Чтобы разжечь догорающее восстание и остановить Семеновский полк, он решил взорвать полотно железной дороги. Но он не нашел динамита и, сам не зная зачем, вернулся в Москву. Дружина была разгромлена, последняя баррикада расстреляна. На Кудринской площади, у костров, дымились обугленные столбы, развороченные заборы, бочонки, доски, оконные рамы — жалкое наследие обессиленного восстания. Пресня была занята войсками, в Грузинах погромыхивали орудия, и у Страстного монастыря дворники показывали купцам следы винтовочных пуль. Понимая, что сражение проиграно, Володя в тот же день вечером выехал в Петербург.

Московская неудача возмутила его. Он видел причину ее в малодушии. Он негодовал, что Залкинд пожалел денег, что Арсений Иванович не дал патронов, что доктор Берг не «сорганизовал» партийных дружин. Он винил комитет в позорном бездействии, партию — в небрежении. Он искренно верил, что рабочие могли овладеть Петербургом, но что товарищи испугались. Он думал, что, если бы нашлось всего пять кило динамита, Москва была бы в руках Сережи. Он думал, что, распоряжайся не Арсений Иванович, не доктор Берг, не Вера Андреевна, а другие, дальновидные и отважные люди, судьба России бы изменилась. Он не понимал, да и не мог бы понять, что не от их сознательной воли зависел успех восстания и что каждый член партии был по-своему прав. Прав был Пронька, умирая на баррикадах; прав был Ваня, бросая бомбу; прав был Берг, радея о комитете; прав был Болотов, защищая Москву. Каждый делал именно то, что мог и должен был делать по мере своих, дарованных ему сил. И если слабых сил не хватило, если восстание было раздавлено, то не отдельные люди, не Болотов, не Берг и не Арсений Иванович были тому виною. Но Володя не видел этого. Возмущенный горестным поражением,

убежденный, что виновен в нем комитет, озлобленный напрасною жертвой, он горько каялся в легковерии. Он не поехал на съезд. Партийные съезды, конференции и советы казались ему пустою забавой, болтовней досужих «интеллигентов». Он давно решил все вопросы. Он думал, что говорить уже не о чем, решать более нечего, колебаться нельзя и что нужно мстить, а не «трепать языком». И он думал еще, что в революции нет заповедей, что террор не есть преступление и что один человек неизбежно властен над жизнью другого, как он, Володя, властен над своею дружиной. И, так же как Болотов, он тяжко чувствовал свое одиночество.

«Трусы... Жалкие трусы...» — злобно, сквозь зубы, твердил он себе, шагая по Измайловскому проспекту. С моря дул свежий ветер, моросила мокрая пыль. Таял жидкий, заплаканный снег. В дождевом, неверном тумане тонула медная колонна Победы. Был четвертый час дня, но уже мутно маячили электрические огни. Володя, спрятав в поднятый воротник кудрявую черную, как у жука, голову, быстро шел по скользкому тротуару: в Пятой роте, в устроенной им «конспиративной» квартире, жила Ольга, его товарищ и друг, и чем ближе он подходил к Пятой роте, тем спокойнее становились мысли. Он думал теперь об Ольге, о ее лукавых глазах, о том, что сейчас, через десять минут, он услышит дружеский голос и сожмет любимую руку. Он приехал в Петербург для Сережи, для Вани и Константина, но почему он прямо с вокзала не пошел на партийную «явку», он бы не мог объяснить. И если бы кто-нибудь заподозрил, что им владеет любовь, он бы недоверчиво засмеялся.

Он нашел знакомый хмурый пятиэтажный дом и, миновав грязный двор, поднялся по лестнице. Ольга, высокая, гладко причесанная, в простом черном платье женщина, сама открыла ему. И хотя они не виделись целый месяц, и целый месяц она ожидала и плакала и боялась за его жизнь, они встретились так, точно расстались вчера. Володя, громадный, широкоплечий, не здороваясь и не снимая пальто, сел на диван.

— Ольга.

— Что?

— Ольга...

— Что, милый?

— Ольга, что же делать теперь?

Она потупилась. Он в нетерпении пожал плечами.

— Что ты думаешь, Ольга?..

— Что я думаю? Да?..

— Ах, Боже мой, не тяни...

Ее круглое, почти бабье лицо стало вдруг холодным и некрасивым.

— Володя, я тебе вот что скажу... Ты спрашиваешь, что делать? Не знаю, что делать... Но, слушай, есть люди... Их огромное большинство... Они ничего не могут, ничего не смеют, ничего не понимают, они от неудач приходят в отчаяние... Слабые дети...

— Ну?

— Ну, а есть и другие...

Она неожиданно наклонилась к нему и упругим, почти кошачьим движеньем обняла его шею.

— Слушай, Володя, скажи... Если человек решился на все, если он все перенес, все понял, все пережил, если он заглянул в самый низ, в черную бездну, в жуткую-жуткую тьму... И если ему не сделалось страшно... Если он взглянул и у него не кружится голова... Скажи, как ты думаешь, он такой, как и все? Он — слабый ребенок? Или, может быть, у него есть власть над людьми? Власть над жизнью и смертью?..

Володя с недоумением, не понимая, о чем она говорит, посмотрел на нее. Она мягко, всей грудью, прижалась к нему, и ее глаза, лукавые, серые, стали желанно и непривычно близки. Он стесненно вздохнул.

— Не надо бояться, милый... Такому человеку позволено все. Слышишь ли? Все. Для него нет греха, нет запрета, нет преступления. Только надо быть смелым. Люди говорят: ложь, и боятся ее. Люди говорят: кровь, и боятся ее... Люди боятся слов... Пусть бездна низа... Разве нет бездны верха?.. Счастлив, кто их обоих узнал. Я думаю так: вот мы решились на великое, на страшное, какое страшное!.. Мы решились на революцию, на террор, на убийство, на смерть. Кто может вместить, тот вместит... Вместит и ложь, и кровь, и свое страдание. А кто не может, тот... тот, конечно, погибнет... И туда ему и дорога! — жестоко, с презрением договорила она.

Володя почти не слушал ее. Оттого, что она была здесь, рядом с ним, и оттого, что рассыпались ее косы, и что ровно, под абажуром, горела неяркая лампа, и что в комнате было тихо, — он чувствовал себя не большим и сильным, знаменитым «Володей», а пригретым маленьким мальчиком. Угадывая это тайное чувство, Ольга на ухо шепнула ему:

— Милый, как ты устал...

И как только она это сказала, Володя, впервые за долгие месяцы, понял, как глубоко он утомлен, утомлен своей бездомною жизнью, безжалостно-ожесточенной борьбой. Он закрыл глаза и, склонив лохматую голову, забывая о партии, о дружине, о революции, забывая даже о ней, об Ольге, жадно, как пьяный, пил заслуженный и короткий отдых. Не было жизни, не было крови, не было смерти, не было баррикад, террора, жандармов и комитета. Было темное и блаженное, беспредельное чувство покоя. Ольга, не отрываясь, с улыбкой смотрела ему в лицо. Всклокоченный и немытый, с рябинами на побледневших щеках, заросший вьющейся бородой, он казался ей светлым красавцем. Но это длилось недолго. Володя, точно спросонок, тряхнул волосами и повторил свой вопрос:

— Так что же делать теперь?

— Что делать? — Ольга недовольно подняла брови. — Не мне, Володя, решать, а тебе...

Володя молчал, вертя в руках потухшую папиросу.

— Слушай, Ольга, — наконец начал он. — Это все чепуха... Я философии не знаю... Какие там бездны?.. Но знаю, что примириться я не могу... Нет, не могу... Ненавижу их... Понимаешь ли, ненавижу... Есть две дороги. Одна — с партией, с доктором Бергом. Дорога съездов, уставов, программ, комиссий и, черт их дери, канцелярий... По этой дороге я шел... К чему она привела? Восстание раздавлено, террор прекращен... Может быть, партия и растет, но революция погибает... да... да... погибает... Есть другая дорога, Ольга... Слушай меня. Война так война... Понимаешь ли? Я решил. Пусть я сегодня один... Завтра нас будет много... Не хочу белых ручек, благоразумных советов... Не хочу бумажных угроз... Не умею и не буду прощать...

Он оттолкнул ее руку и встал. Он уже не чувствовал утомления. Он испытывал ту напряженную, звенящую, как струна, решимость, которая пробудилась в нем в доме Слезкина и за динамитом бросила его в Тверь. Ему казалось, что нет казни, нет жертвы, нет испытания, которые бы смутили его. И еще казалось ему, что такова верховная воля народа, что не он, революционер Глебов, говорит восторженные слова, а устами его вещает народ, — нищий, смиренный, вольнолюбивый и страшный русский народ.

— А деньги?

— Какие деньги? Что деньги?.. Деньги даст комитет.

Ольга покачала задумчиво головой.

— Комитет денег не даст.

— Не даст?.. Ну, и черт с ним тогда! — Володя стукнул кулаком по столу. — Я найду деньги! Я!

— Но где же, Володя?..

— Где? Нет денег — убей! Я миллионы достану! Я открою решетки банков, я взломаю чугунные сундуки! Я с оружием в руках возьму деньги. Слышишь? Ты мне поверишь? Что мне берговский комитет? Я один в поле воин! О, будет им на орехи! Запылают дворянские гнезда! Вспомнят они Степана Тимофеевича!.. Да!

Бородатый, кудрявый, черный, с блестящими, как искры, глазами, Володя во весь свой огромный рост встал перед нею. Теперь она с гордостью, с ликующим восхищением смотрела ему прямо в глаза. Она верила, что он сделает, как сказал. Она верила, что такова его и ее — да, и ее — непреклонная воля. Не нужно Болотовых и Бергов, Залкиндов и дряхлеющих стариков, не нужно размеренно-рассудительной мещански расчетливой партии. Все дозволено! Все! Во имя народа нет колебаний, нет беззаконий! И он, ее черный витязь, Володя — царственный вождь. Он покажет народу освободительный путь, он спасет погибающую Россию. И счастливая, с горячим румянцем на щеках, она безмолвно склонилась к нему.

V

Володя разыскал комитет и сообщил ему о своем решении. Уговоры, просьбы, мольбы и даже слезы Арсения Ивановича не имели успеха. Володя поехал на юг, с юга на Волгу и месяца через два стоял во главе навербованной им «железной» дружины. Сережа и Ваня не последовали за ним. Оба они наотрез отказались выйти из партии. Отказался и Болотов, хотя Володя настойчиво звал его. Зато к дружине примкнул уволенный за беспорядки студент, известный всему Петербургу, Эпштейн.

Рувим Эпштейн считал себя высокодаровитым ученым. Он страстно и, как казалось ему, научно критиковал одобренную общепартийным съездом программу. Он верил, что от ошибок ее и бедственных заблуждений искажается смысл революции и что, вскрывая эти ошибки, он нелицеприятно исполняет свой долг. Он доказывал, что демократическая республика — обветшалая по-

лумера и что партия должна стремиться не к власти, а к свободному устроению анархических общин. Он доказывал, что во имя этой великой цели допустимы сильнейшие средства. Он советовал грабить купцов, жечь помещиков, «экспроприировать» в пользу народа имущество частных лиц. Он утверждал, что опаснейший враг революции — не правительство, а «буржуазия» и что нельзя и не надо щадить «презренного буржуа». Его темно-голубые очки и зелено-бледные щеки мелькали на всех сходках, митингах и собраниях. Он говорил много, возражал пылко и неизменно заканчивал свою речь громовым призывом «к оружию». Когда он услышал, что знаменитый «Володя» рассорился с комитетом, он, радостный, явился к нему и долго и горячо убеждал расширить дружину и попытаться создать боевую «истинно революционную» партию. Он в подробностях изложил свою, проверенную научно, программу и разработанный им безошибочный план борьбы. Володя, позевывая, смотрел на его слабые руки, на жидкую грудь, равнодушно слушал самоуверенно-резкий голос и терпеливо ожидал конца длинной речи. «Кулик не велик, а свистит громко», — решил он в душе. Но так как Эпштейн высказывал знакомые мысли и так как он мог «трепать языком», то есть при случае защитить «платформу» дружины, Володя принял его. Эпштейн был счастлив. Он думал, что Володя разделяет крайние убеждения и что в истории ветхозаветной и еретической, сбившейся с пути революции развертывается блистательная страница — выступление новой, несомненно, победоносной, по его, Эпштейна, теории, построенной партии.

Володя верил в свою звезду. Он чувствовал в себе полноводный источник неистраченных сил: силы мужества, ненависти, воодушевления и веры. Он не сомневался, что избранный им одинокий путь разумен и неизбежен. Но, потрудившись месяца два над созданием крепкой дружины и готовясь к первому шагу — к большой и сложной «экспроприации», — он иногда со страхом думал, что будет, если первое дело окончится поражением? Пока он был членом партии — не было этой заботы. Он знал, что следом за ним идут сотни товарищей и что они завершат не завершенное им. Пусть даже эти товарищи будут доктора Берги, посеянное зерно не умрет, и вскколосится веселое поле. Но теперь, оглядываясь на мятежных «боевиков» — на Эпштейна, на Константина, на мальчика-гимназиста Митю, на кузнеца Прохора, на

конторщика Елизара, на всех, увлеченных его отвагой людей, — он с горестью видел, что, если завтра его повесят, никто не станет у покинутого кормила. Он упорно гнал эти мысли, говорил себе, что не может быть неудачи, жадно слушал вдохновенные слова Ольги и все-таки не мог заглушить сердечной тоски. В Одессе ходила молва об одиночке-революционере, беглом матросе «Мухе». После недолгого колебания Володя решил повидаться с ним. Он втайне надеялся, что найдет наконец достойного друга. Свидание он назначил в Москве. Стянув рассеянную по всей России дружину в Тверь и приказав ожидать своего возвращения, он, не советуясь с Ольгой, выехал в уже успокоенную Москву.

В Сокольниках пахло весной. Разбух и зажурчал белый снег, и на проталинах обнажилась земля, сырая, вязкая, черная, истомленная весенней жаждой. В еще холодном, но уже пряном воздухе празднично чирикали воробьи. Муха, стройный, молодцеватый, точно вылитый из одного куска стали, парень лет тридцати, с оловянной серьгою в ухе, шел вразвалку, не торопясь, легко покачиваясь на сильных ногах; Володя, огромный, рядом с ним еще более неуклюжий и грузный, шлепая по талому снегу, искоса, внимательным глазом посматривал на него. Муха рассказал свою жизнь. Говорил он бойко, развязно, видимо щеголяя деланным равнодушием: Володя был для него удалой атаман, охотник на красного зверя.

— Начал я, стало быть, тихо жить. Домишко у меня был, жена... Только вскорости примечаю: жена моя, то есть супруга моя превосходная... извините... шу-шу-шу да шу-шу-шу... с господином урядником. И понять невозможно, то ли дело у них политическое, то ли, попросту говоря, амурное... Ну-с... Не стал я тут долго ждать. Чего в самом деле?.. Осенью это было. Ночка темная. Ни зги. Снял я с гвоздя двухстволку, вышел на улицу. На улице темно, в окнах, стало быть, свет. Сидит это жена, на швейной машине Зингера шьет, лампа при ней на столе. Всю ее во как видно. Ну я, Господи благослови, двухстволку к плечу, нацелился, постоял... Раз, раз-раз... Вот в это место пуля попала... — указал он пальцем повыше виска.

— Убил?

— Так точно. Убил.

Володя нахмурился.

— А за что ты в дисциплинарном батальоне сидел? — сурово спросил он через минуту.

— В дисциплинарном?

— Ну да.

— Квартирмейстера в запальчивости и раздражении ударил, — пренебрежительно сказал Муха, сплюнул и закурил. В синем воздухе завился тонкой струйкою дым.

— Ну?

— Что прикажете?

— Говори.

— Да что говорить-то, Владимир Иванович? Речь коротка, а веревка длинна. Ну, желаете знать, высекли меня в дисциплинарном... начальники благосклонные. Да.

— Высекли?

— Как же-с. Два раза высекли-с.

— За что?

— А за табак. За курение недозволенных папирос.

— А ты?

— Я?.. Что же я? — Муха усмехнулся, оскалив белые, как молоко, зубы. Его острое с ястребиным носом лицо стало еще острее. В суженных карих глазах забегали быстрые огоньки и потухли. — Надо полагать, я им попомнил потом... Я, чай, до сих пор не забыл.

— Убил?

— Так точно. Убил. Его благородие господина начальника батальона... — Муха бросил окурок. — Ну, стало быть, на нелегальное положение перешел. С комитетом, извините, я не поладил. «Разбойник ты...» — говорят. То есть это они, благородные члены губернского комитета, господа студенты так выражаются. «Так точно, отвечаю, разбойник». — «Нам таких, говорят, не нужно». — «Как вам, говорю, будет угодно. И мне такие, как вы, не очень с руки»... Ушел. — Он усмехнулся опять. — Дозвольте еще закурить?

Пока он зажигал спичку, Володя с любопытством смотрел на него, — на баранью набекрень шапку, на короткую меховую куртку, на уверенно-ловкие, круглые движения небольших рук.

— Пьешь? — неожиданно спросил он.

— Так точно. Пью... — не смутился Муха и поднял глаза.

Володя промолчал.

— Ну?

— Да что же?.. Не расскажешь всего... Ушел. Живу в Одессе. Слышу: хозяин лавки табачной, Михаил Ефи-

мович Жижин, — шпион... Ах ты, думаю, сволочь... Ну, погоди... Выбрал я время, знаете, после обеда, когда хозяин-то спит. Прихожу. То есть в лавку, стало быть, прихожу. Выходит хозяйка. «Дайте, говорю, мне, хозяйка, папирос «Голубка», десять штук, пять копеек». — «Голубки, говорит, у нас нет». — «Как, говорю, нет?.. Не может этого быть... Я давеча покупал. Поищите». Стала она искать... «Нет, говорит, не имеется». — «В таком случае побудите хозяина». Пошла она за перегородку будить, а я дверь на замок щелк. Выходит хозяин. «Вам, говорит, голубку?» — «Да, говорю, дозвольте голубку». Повернулся он спиною ко мне, ищет на полках. Я вынул револьвер, наган у меня был, казенного образца. Раз-раз... Очень просто.

— Убил?

— Так точно. Убил.

— Дальше.

— Дальше? Дальше я филеров стал бить.

— Филеров?

— Именно. Охранников то есть...

— И много ты их?

— Да что бы вам не соврать, штук восемь, а то и больше.

— Только филеров?

Муха сощурил глаза и быстро покрутил головой.

— Всякое было...

— Да ты говори.

— Нет, что уж?.. Не на духу я, Владимир Иванович... Что старое вспоминать? Да и не все ли одно? Все одним миром мазаны. Жандарм ли, купец, господин ли помещик... Чего там? Я так понимаю. А вы-с? — смело, лукаво поигрывая глазами, уставился он на Володю.

Володя не отвечал. Муха небрежно сунул руку в карман и, подождав немного ответа, как бы про себя начал опять:

— Вот тоже винные лавки... Беда...

— Один грабил?

— Никак нет. Не один. Товарищи были. Да что? Не стоит приятного разговора. Разве это дела? Так, баловство, скуки ради... Грязью играть, только руки марать...

— А деньги куда девал?

— Деньги?.. Да много ли их?.. А нужно мне жить или нет... Вы как на этот счет полагаете? — спросил он, посмеиваясь. — На партию отдавал.

Володя не сомневался, что Муха сказал неправду и что на партию он не пожертвовал ни копейки. Но он опять промолчал. Муха мельком взглянул на него:

— Присядемте на минуту, Владимир Иванович.

Они сели на влажный, холодный, еще не оттаявший пень. Муха лениво скручивал папиросу. «Разбойник... Разбойник и есть... — думал Володя. — Э! да не разбирать же мне... Ведь не с Бергом кашу варить. Пусть разбойник... По крайней мере, не выдаст...» С голых ветвей звонко шлепались капли, голубело весеннее небо. Муха закинул вверх голову и долго, задумчиво, сощуренными глазами, смотрел на прозрачные облака. Вдруг он глубоко вздохнул.

— Хорошо, Владимир Иванович.

— Что хорошо?

— Весна.

Когда они через час прощались у пламеневших закатом Триумфальных ворот, Муха, удерживая в своей руке руку Володи и больно, будто шутя, ломая ее, сказал:

— Владимир Иванович?

— Чего?

— Дозвольте мне с вами...

— Со мной? — сам не понимая почему, заколебался Володя.

— Так точно. Желаю к вам поступить... Так что до смерти надоело по свету колотиться. Уж будьте великодушны, примите... — Муха, не разжимая руки, дерзко, почти вызывающе посмотрел на Володю, точно не сомневаясь, что он счастлив его предложением, не может, не смеет ему отказать. «Атаман-то ты атаман, да ведь такой же, как я, разбойник...» — говорили насмешливые глаза. Володя понял его. Краска гнева залила ему щеки. Он хотел вырвать руку, но сейчас же раздумал. «Ну что же, плевать... Война так война. Полюбите нас черненькими... Он прав...» — овладел он собою и приказал Мухе немедленно ехать в Тверь.

VI

К концу февраля боевая дружина выросла и окрепла. Володя решил приступить к покушению. На выбор было два «предприятия». Один из дружинников, исключенный гимназист Митя, сын артельщика банка, сообщил, что в субботу второго апреля пятьсот тысяч казенных денег

будут доставлены из банковских кладовых на Варшавский вокзал. Митя в точности выяснил число конвойных казаков и маршрут правительственной кареты. Володю смущал дерзкий план. Он не сомневался, что довольно одной, удачно брошенной бомбы, чтобы завладеть желанными деньгами. Но бросить бомбу надо было на улице, среди белого дня, в Петербурге. Значит, без потерь уйти было трудно, почти невозможно. Второй план был гораздо проще, но денег было немного — всего двадцать тысяч, и принадлежали они московским купцам Ворониным. Было удобно «экспроприировать» их контору в Москве у Хапиловского пруда. Об этом «нищенском» предприятии Володя узнал от конторщика Елизара, служившего раньше писцом на воронинской фабрике. Хапиловские «копейки» соблазняли Володю: на пустынной московской окраине дружина могла отступить, не потеряв ни одного человека. Неудобство заключалось единственно в том, что приходилось начинать — Володя понимал это — с неприкрашенного разбойного грабежа.

С тех пор как Володя стал во главе мятежной дружины и почувствовал себя полновластным хозяином, с ним произошла перемена. Он по-прежнему верил, что во имя народа позволено все, и по-прежнему был согласен с Эпштейном, что купцов нужно грабить, а помещиков жечь. Но глубокий и скрытый инстинкт, неясное чувство ответственности удерживали его от безрассудных шагов. Он стал осторожен, взвешивал каждое слово, десятки раз проверял каждый план и иногда, поглядывая на ястребиное лицо Мухи, чего-то тайно пугался в душе. Изменился Володя и в отношении к партийному комитету. Он понял, что дряхлость Арсения Ивановича, расчетливость доктора Берга, неспособность Веры Андреевны — преходящие и ничтожные мелочи и что, каковы бы ни были эти мелочи, за членами комитета остается одна незабываемая заслуга: они несут ответственность перед партией. Ранее, сражаясь на баррикадах, арестовывая полковника Слезкина, замышляя взорвать Семеновский полк, Володя наивно думал, что он, солдат, не отвечает за кровь, что за нее отвечает вся партия, вся революция, всякий, кто соглашается с ним. Он заметил и удивился, что, порвав с комитетом, он стал родственно близок ему, — близок новой, хозяйской заботой, сознанием долга перед послушной дружиной. И не знавший никогда колебаний, он мучительно колебался теперь и не мог понять, что ему делать. Из затруднения его уверенно вы-

вела Ольга. Она сказала, что пожертвовать людьми в Петрограде на полумиллионном, блестящем деле — не ошибка, а завидная честь и что, ограбив Воронинскую контору, он завтра, волей-неволей, решится на большую «экспроприацию». Эти слова убедили Володю. Он вызвал дружинников в Петербург. Прохор и Елизар купили лошадей и пролетки. Володя стал готовиться к покушению.

За два дня до второго апреля он назначил у Ольги свидание Эпштейну и своему товарищу и помощнику, как он шутя говорил, «начальнику штаба» — студенту-путейцу Герману Фрезе. Фрезе, сын остзейских помещиков, уже кончал институт, когда внезапно, к испугу родителей, скрылся из Петербурга. Он явился к Володе и попросил принять его в боевую дружину. Он явился не в комитет, не к Болотову и не к Арсению Ивановичу, а именно к Владимиру Глебову, ибо холодно, как казалось ему, рассудил, что рисковать своей жизнью стоит только за что-либо крупное, поистине полезное революции. Он, как Эпштейн, слепо верил в террор и думал, что бомбой можно запугать «буржуа». Он знал Бакунина наизусть, но не любил высказывать своих мнений. Он и сам не мог бы сказать, какой непроезжей дорогой он пришел к непримиримому анархизму, почему он, независимый и обеспеченный человек, возненавидел «буржуазию». Но он действительно ненавидел ее и действительно был готов умереть за свой неписаный символ веры. Это был молчаливый, одетый с иголочки немец, с длинным и узким бледным лицом и резко очерченным, точно срезанным подбородком. Судя по путейской тужурке, по золотым перстням на руках и по расчесанному пробору на голове, никто бы не посмел заподозрить, что он убежденный экспроприатор и террорист.

Фрезе, всегда аккуратный, пришел с Эпштейном, когда Володи еще не было дома. Сняв пальто и перчатки и как будто не обращая внимания на Ольгу, он развернул подробный план Петербурга. Ольга, подперев кулаками щеки и опираясь грудью о стол, несколько минут молча смотрела на Фрезе. Уже давно, с первых дней, у нее со всеми дружинниками установились особые, полудружеские, полулюбовные, сложные и нежные отношения. И Эпштейну, и Мите, и Константину, и Прохору, и Елизару, и даже Мухе было приятно, что среди них, в «железной» дружине, есть молодая с крепким телом и бабьим лицом женщина и что женщина эта им товарищ и друг. При ней, в ее даже безмолвном присутствии, станови-

лось веселее и легче, и не верилось, что могут повесить. И теперь Фрезе, чувствуя ее лукавый пристальный, как он думал, значительный взгляд, испытывал эту волнующую и бодрую радость.

— Фрезушка, вам не страшно? — улыбаясь и не переставая разглядывать его худое лицо, спросила Ольга.

Фрезе поднял глаза и наморщил белый, начинающий лысеть лоб. Он хотел ответить правдиво и точно, как правдиво и точно отвечал не только Ольге, но и всем, о чем бы ни спрашивали его.

— Что страшного, Ольга Васильевна? — очень правильно, с едва заметным акцентом, помолчав, сказал он и не спеша налил себе чаю. — Ежели вы спрашиваете о том, страшно ли мне за мою жизнь, я вам скажу: нет, вовсе не страшно. А ежели вы спрашиваете о том, боюсь ли я за успех нашего дела, то я вынужден ответить вам: да, я боюсь.

Ольга вздохнула:

— Ах вы, Фрезушка, Фрезушка... Все «ежели», да «о том»... Все обдуманно и благоразумно, все по-немецки... А я вот русская, я ничего не боюсь... — засмеялась она глазами.— Вы знаете,— она понизила голос,— я ведь сегодня гадала. Загадала на картах и вышло: все будет чудесно... Вы верите? Нет?

— Я в гаданье не верю, — без улыбки, серьезно ответил Фрезе. И хотя то, что сказала Ольга, было лишено всякого смысла, и хотя Фрезе, и Эпштейн, и сама Ольга в этом не сомневались, всем троим были приятны ветреные слова. Так хотелось им верить в удачу.

— Не верите, а я верю... — нараспев протянула Ольга. — Вот что, Фрезушка, что я хотела у вас спросить, — ее лицо стало холодным и некрасивым, как тогда, когда она говорила с Володей, — можно, по-вашему, поступить в охранное или нет?

Фрезе снова нахмурил лоб и изумленно, близорукими, выпуклыми глазами взглянул на нее. Убедившись, что это не шутка, он медленно, точно проверяя себя, спросил:

— Поступить в охранное отделение?

— Ну, да. Чего же вы испугались?

— Я не совсем понимаю... То есть как в охранное отделение?

— Ах, Боже мой, да так... Очень просто... Вот Эпштейн говорит, что для пользы террора можно.

Эпштейн, хмурый, сердитый на Ольгу за то, что она разговаривает не с ним, начал громко и раздраженно:

— Одного еврея спросили: «Что ты делаешь с деньгами?» Так он ответил: «На три части делю: треть в землю зарываю, треть в сундук запираю, треть в оборот пускаю». Ну а мы только треть в оборот пускаем. Почему нас могут обманывать, а мы нет? Почему мы, бараньи головы, должны давать себя стричь? Я вас спрашиваю. Во имя террора позволено все? Так? Вы с этим согласны? Вы, может быть, согласны и с тем, что все, что полезно для революции, то хорошо, а все, что ей вредно, дурно? Или, может быть, нет?.. Вот я и говорю: вопрос только в том, есть польза от этого или нет? Есть польза, если вы зароете деньги в землю? Ну, а разве это вопрос? Разве не ясно, что если бы я, например, или вы служили в охранке, мы бы знали все, что там делается?.. Ну, а тогда... Ясно? Что? — закончил он таким тоном, точно перед ним был тупой и нелюбознательный ученик, которому нужно повторять простейшие вещи.

Фрезе, длинный, строгий, в путейской тужурке, сидел прямо, не шевелясь, и с недоумением, не веря ушам, посматривал то на Эпштейна, то на Ольгу. Круглое лицо Ольги было спокойно. Она задумчиво улыбалась.

— Во имя революции?.. — наконец опомнился Фрезе.

— Странное дело... Во имя революции?.. А то во имя чего? — загорячился Эпштейн. — Нужно делать террор или нет? Глупые люди говорят: того нельзя, этого нельзя, это нехорошо, это дурно, это безнравственно... Что значит? Бабские россказни! Я — свободный человек, авторитетов не признаю, и я повторяю: почему мы, бараны, должны давать себя стричь?

— Я никогда не думал об этом... — нерешительно, растягивая слова, сказал Фрезе. — Но мне кажется, что вы не правы... Ведь ежели поступить в охранное отделение...

— Опять «ежели», — перебила шутливо Ольга. — А по-моему, можно... Только не всякому... Нет, не всякому... Вам вот нельзя... А есть такие, которым можно... — лукаво посмеиваясь и избегая глаз Фрезе, договорила она.

— Что можно?

На пороге стоял Володя, громадный, черный, в шубе и смазных сапогах. Фрезе облегченно вздохнул, точно Володя спасал его от опасности.

— Я говорю, — смутился Эпштейн, — что для пользы террора можно поступить в охранное отделение...

Володя сдвинул угрюмо брови.

— Чего?

— Я говорю, как Клеточников...

— Ну, замолол... Чепуха!.. — с сердцем махнул рукою Володя и, повернувшись к Фрезе, спросил:

— Видели Елизара?

— Видел.

— А бомбы?

— Бомбы готовы.

— А маузеры?

— Маузеры у всех.

Володя кивнул головой. Он теперь был уверен в победе. Откуда родилась эта радостная уверенность, он не мог бы сказать, но в последние многотревожные дни выросло счастливое чувство, что не может быть поражения. Никогда еще, ни на баррикадах в Москве, ни ранее, во время работы, ни потом, когда он рассорился с комитетом, он не ощущал столько сил. Точно напряглись все мускулы огромного тела и стали тверже, круглее и гибче. Он знал, что все осталось как было, что те же Константин, Муха, Митя, Прохор, Эпштейн выйдут завтра с оружием в руках, что так же трудно, почти невозможно унести деньги на улицах Петербурга, что так же легко погубить дружину и самому погибнуть без пользы. Но, зная это, он не испытывал страха. Он с благодарностью улыбнулся Фрезе. «Все предвидел, все проверил, ничего не забыл... Золото, а не парень», — подумал он. Фрезе склонился коротко остриженной головой над планом и опять, как будто не замечая Ольги, делал циркулем неторопливые вычисления:

— Ширина Большой Подьяческой сорок шагов, ширина Измайловского — девяносто. Кратчайшее расстояние от Крюкова канала до Подьяческой — по Садовой. Значит, Прохор с пролеткой должен стоять на Садовой, Елизар на Никольской... Вы слушаете меня, Владимир Иванович?.. Первый метальщик, Константин, встретит карету за Екатерингофским проспектом, второй метальщик, Митя, в десяти шагах от него. Не так ли, Владимир Иванович?

Все внимательно слушали. Стало так мирно, так тихо, так привычно стучали стенные часы, так уверенно, точно о малом, житейском говорил Фрезе, что ни по спокойной широкой спине Володи, ни по темным очкам Эпштейна, ни по бабьему лицу Ольги, ни по блеску быстрого циркуля нельзя было подумать, что и Володя, и Фре-

зе, и Эпштейн, и Ольга завтра убьют и что все они, быть может, погибнут. Но никто из них не думал о смерти. Им казалось, что все решено, все расценено, все позволено и что вопрос единственно в том, кто останется победителем. И во имя желанной победы каждый из них, не колеблясь, был готов отдать свою жизнь.

VII

Второго апреля Володя в седьмом часу вышел на улицу: в семь часов Прохор должен был ожидать его на Фонтанке. Вставало раннее утро. Жалобно гудел на Неве пароход, звонили первые конки, тротуары были пустынны, и магазины закрыты. Володя шел по нарядному, еще безлюдному, Невскому, и ему казалось, что покушения не будет. Казалось, что денег не повезут, что Константин пропустит карету, что не взорвется Митина бомба и что тщательно обдуманный план — мальчишеская затея. Это жуткое, незнакомое ранее чувство было так сильно, так не верилось, что именно сегодня, именно здесь произойдет то торжественно-страшное, чего он дерзко желал, — что он шел медленно, почти лениво, точно вышел на утреннюю прогулку. Он дошел до Фонтанки и не заметил, как повернул к реке. По зеркальному блеску воды он понял, что день солнечный, прозрачно-весенний. Стало жарко. Он расстегнул тяжелую шубу и равнодушно, все так же лениво, стал искать глазами пролетку. Когда он наконец увидел ее, он долго не мог поверить, что вот этот толстый, туго стянутый лихач тот самый Прохор, которого он знал по Уралу и вывез с собой в Петербург. «Зачем он здесь?.. Ведь все равно ничего не будет», — суеверно подумал он. Прохор, в синем халате, стоял спиною к нему и метелкой смахивал с фартука пыль. Его чистопородный, серый в яблоках жеребец слегка похрапывал носом и боязливо поводил настороженными ушами. Володя знал эту лошадь. Вместе с Прохором он выбрал ее на Конной: только на призовом рысаке была надежда увезти деньги.

— Извозчик!

— Вот, барин, резвая...

Володя подошел к Прохору и заглянул ему прямо в лицо. Он увидел мужицкие светлые озабоченные глаза и застенчивую улыбку. И когда он увидел эту улыбку и по заражающей, скрытой тревоге понял, что Прохор боится

и ждет, стало легко и спокойно, как бывало на квартире у Ольги. Он понял, что сомнения напрасны, что недаром трудился Фрезе, недаром Прохор — лихач, недаром заготовлены бомбы, недаром розданы маузеры и что поздно теперь колебаться. Он глубоко вздохнул всею грудью:

— Сейчас придет Ольга... Не прозевай.

Прохор ничего не ответил. Володя вынул часы. Он долго помнил потом, как ослепительный солнечный луч золотом заблестел на стекле. Было четверть восьмого. Рассчитав время, он свернул на Крюков канал. Теперь, после встречи с Прохором, упрямая, холодная, как камень, решимость радостно овладела им. Он знал это чувство, знал и верил, что в такие мгновения никто не страшен ему и всегда бывает удача. Ускорив шаги и уже боясь опоздать, он вышел к Подьяческой. У открытой казенной лавки, на тротуаре, под фонарем он заметил одного из метальщиков — Константина. Константин, веснушчатый, рыжий, в офицерском черном плаще, неподвижно, как на часах, стоял на назначенном месте. Володя быстро пошел вперед. Но не успел он сделать пять шагов, как сзади, часто и звонко, весело застучали копыта и значительно раньше срока размашисто-четкой рысью промелькнула карета. Володя хорошо запомнил ее; темно-гнедые кони, кучер с окладистой веером бородой и рядом с ним сухощавый, с иконописным лицом, артельщик. Справа и слева у самых колес, приподнимаясь на седлах, такой же рысью трусили казаки. Их было шесть человек. Володя остановился. Он не видел теперь Константина: карета закрыла его. Но он знал, что Константин тут, рядом, на улице, у дверей винной лавки и что у него в руках бомба. И не знанием, не мыслью, не чувством, а безошибочно острым чутьем, всем своим напряженным телом Володя понял, что сейчас, через полминуты, здесь, на Подьяческой, неизбежно начнется то, чему он все еще не смел верить. На секунду, на мучительно долгий миг, он почувствовал страх. Захотелось, чтобы не было покушения, чтобы Константин пощадил карету, чтобы сегодня было так, как вчера. Но вот среди спокойствия улицы, среди мирного стука копыт, властно нарушая тишину утра, прозвенел полный, огромный, оглушительный звук. Что-то звонкое ухнуло тяжелее, чем пушка, чем грохот близкого грома. И, вырастая до крыш, ширясь и расплываясь бурым пятном и наполняя гарью всю улицу, от земли вихрем взвился воронкообразный, желтый, по краям черный столб. Этот столб был так

стремителен, так внезапен и так высок, так громок был потрясающий гул, так жарко пахнуло дымом, так сильно затряслась мостовая, так жалобно звякнули стекла, что у Володи захватило дыхание. Но, овладевая собой, он бегом бросился к Константину.

На бегу он увидел, как на другой стороне, по опустевшему тротуару, не к карете, а от нее бежал Эпштейн, без шапки и без очков, в разорванном длиннополом пальто. Он был бледен и суетливо махал руками. Боясь, что карета уедет, что конвой оружием защитит деньги, и все еще не веря, что началось, Володя, бледный как скатерть, остановился на месте взрыва. Две окровавленные лошади, запутавшись в постромках, бессильно бились на мостовой. Одна молодая, почти жеребенок, с полуоторванным искалеченным крупом, с обожженными клочьями мяса, припав мордой к камням и вздрагивая израненным телом, тяжело дышала боками. Другая, приподымаясь, и падая, и вытягивая длинную шею, пыталась встать на колени, и из брюха ее горячей струей текла кровь. Карета была цела. Кучера не было. Слева, шагах в десяти, лежал убитый казак. Он был в серой шинели и залатанных синих штанах. Его загорелое, крепкое, окаймленное темной бородкой лицо было спокойно, точно его застигли врасплох, и он не успел понять, что случилось. Справа валялись куски шинелей, осколки стекол, перебитое дышло, распоротое седло и еще что-то мокрое и большое. Володя, не оглядываясь, распахнул у кареты дверцы. В углу, среди холщовых, доверху набитых мешков, плотно прижавшись к подушкам, сидел бледный, лет 25-ти, с черными усиками, артельщик. Он смотрел на Володю перепуганными, жалкими, ничего не понимающими глазами. «Вот они, деньги...» — молнией пронеслось у Володи. Он схватил один из мешков и с размаху бросил его на землю. В ту же минуту, сзади, у самой щеки, обжигая и оглушая его, грянул короткий выстрел. Володя испуганно обернулся. Муха с хищным, как у птицы, лицом, сжав тонкие губы, стрелял в упор в молодого артельщика. Карета переполнилась дымом. «Зачем это он?» — подумал Володя. Артельщик не шелохнулся, только голова его в каракулевой шапке упала на грудь. Володя и Муха быстро и молча, торопясь и толкая друг друга и неловко задевая артельщика, выбрасывали мешки. Мешков было десять. Один, очень громоздкий, должно быть, с медью и серебром, они оставили на сиденье в карете.

Когда они выбросили последний мешок, Володя осмотрелся кругом. Полиции не было. Крупной рысью, во весь свой широкий мах, уходил по Подьяческой серый в яблоках рысак Прохора, и из-за верха пролетки мелькала женская шляпа. Володя понял, что это Ольга увозит деньги. «Слава Богу, — подумал он, — слава Богу...» По направлению к Фонтанке отбегало два человека. Володя по походке узнал Фрезе и Митю. Муха с перекошенным, все еще злым лицом схватил его за плечо:

— Уходить, Владимир Иванович...

Володя послушно повернулся за ним, но тут впервые заметил то, чего раньше не видел. В трех шагах, у запыленного тротуара, почти у дверей винной лавки, опираясь затылком о чугунный фонарь, полулежал Константин. Его круглое веснушчатое лицо, всегда румяное и задорное, было иссиня-серо. Глаза были мутны. Шапка свалилась. Володя понял, что Константин ранен своею же бомбой.

— Уходите... — повторил Муха.

Володя с силой оттолкнул его и большими, решительными шагами подошел к Константину. Он наклонился над ним. Он увидел обнаженную белую грудь, залитую кровью рубашку и мутный взгляд неживых глаз. «Убит...» — подумал Володя, но Константин медленно, с тяжким усилием приподнял ресницы и глубоко вздохнул. Володя ниже наклонился к нему. И вдруг здесь, после удачного покушения, среди растерзанных тел и раненых лошадей, над умирающим Константином, он неожиданно, первый раз в жизни, почувствовал, что горло болезненно сжалось и глаза стали влажны от слез. Он хотел уйти. Но за спиною раздался громкий, отчаянно-пронзительный крик:

— Держи! Держи!

И сейчас же Володю схватили сильные руки. Володя понял, что в опасности жизнь, и, как только он это понял, та же жестокая, не знающая преграды, решимость овладела внезапно им. Он знал, знал наверное, что его, Владимира Глебова, не могут, не вправе, не смеют арестовать. Широко, по-медвежьи, развертываясь плечами и напрягая гибкие мускулы рук, он рванулся всем телом. Зная, что нужно себя защищать, чувствуя, что от его силы зависит спасение, и в глубине души не сомневаясь в этом спасении, он, не видя ни Константина, ни казаков, ни хрипящих на мостовой лошадей, видя только незнакомых молодцов в полушубках, отступая и пятясь к сте-

не, вынул револьвер. Он не сомневался, что одинок, что Мухи нет и что ниоткуда не придет к нему помощь. Но это сознание не пугало его. Почему-то его особенно занимал один из наступавших людей, толстый лабазник с испуганным, рыхлым лицом и солдатскими подстриженными усами. Закусив нижнюю губу, бородатый, громадный, с опущенной вниз головой, похожий на рассерженного быка, Володя по привычке, почти не целясь, выстрелил в этого человека. Лабазник рванулся, откинулся грудью назад и как мешок ничком свалился на землю. Но уже бежали городовые, свистели свистки, мчались казаки, и через минуту стальное, неразрываемое кольцо окружало Володю. Он сам потом не мог рассказать, как вырвался из этого заколдованного кольца. Он помнил только, что бежал, бежал так, как никогда в своей жизни не бегал, и что настигала погоня. Он знал, что на Никольской должен стоять Елизар со своим рысаком, и втайне, не смея признаться, надеялся, что он еще не уехал. Навстречу ему, по Садовой, из полураскрытых ворот, кругло расставив руки, выбежал дворник в картузе и белом переднике. Володя не растерялся. Не глядя на дворника и далеко обегая его со стороны мостовой, он выстрелил два раза подряд. Дворник упал. Потом, как во сне, Володя увидел встревоженное лицо Елизара и высокую вороную лошадь. Он увидел, как Елизар схватился за браунинг, и услышал треск выстрела. А потом закачались рессоры и один за другим замелькали фонари и дома. Только на Невском, когда взмыленный, загнанный, исхлестанный Елизаром рысак, храпя и роняя белую пену, замедлил бешеный бег, Володя понял, что Елизар спас ему жизнь.

VIII

Не ожидая закрытия съезда, Болотов «конспиративно», кружным путем, через Гатчину, выехал в Петербург. В Петербурге, на Сергеевской, у адвоката Иконникова, он условною телеграммой назначил свидание Аркадию Розенштерну. Он с нетерпением ожидал этой встречи. Ему казалось, что именно Розенштерн, «работавший» раньше в терроре, поймет и одобрит его и поможет советом.

Адвокат Иконников, толстый, лысый, с изношенным бритым лицом и синими жилками на щеках, принял Болотова, как старый знакомый.

— Рад очень... Душевно рад... Все ли в добром здоровье?.. Аркадий Борисович еще не пришел... надеюсь, батюшка, обедать будете у меня? — хрипло, с одышкой, говорил он, пожимая Болотову обе руки. — Слухом земля полнится, — понизил он голос, — молва такая идет, будто вы на баррикадах чудеса делали, Георгиевский крест заслужили... Ну, ну, вот уж и рассердился... экий характер какой... Не буду, ангел, не буду... Простите, батюшка, мое любопытство: что именно съезд решил? Еще не кончился? А?.. Живем, знаете, как кроты: в суд, да в палату, да к мадам Дуду на Крестовский... Вот и вся наша жизнь... Ха-ха-ха... Хотите сигару?..

Болотов курил и с удовольствием слушал. После мучительных дней баррикад, после шума партийного съезда, после вагонной грязи и духоты было приятно чувствовать себя в чистой комнате, было приятно видеть чисто одетого, пахнущего сигарами и вином, далекого партии человека. Иконников был пьяница и игрок, но у него были «связи», и он много жертвовал на террор. Болотов удивлялся ему: этот немолодой, полупьяный, истощенный всеми болезнями человек жил под вечной угрозой ссылки и, несмотря на эту угрозу, не отказывал в помощи никогда. Не отвечая на нескромный вопрос, Болотов улыбнулся и лениво сказал:

— Как это вы не боитесь?

— А кто вам сказал, что я не боюсь? — рассмеялся Иконников и поправил золотое пенсне. — Боюсь, батюшка... Труса праздную... Да и как же не праздновать? Поймают, так не посмотрят, что уважаемый член «сословия», — фюить!.. Упекут, куда Макар телят не гонял... Всех боюсь: швейцара, дворника, городового, даже вас... Ха-ха-ха... Что поделаешь? Ничего не попишешь...

— Так зачем вы нас принимаете?

— Зачем? Ей-богу, шутник... А что прикажете делать? За печкой сидеть? Неприкосновенность свою высиживать? Шестую кражу в окружном суде защищать? По векселям взыскивать? Или на банкетах кадетские речи произносить?.. И произносим, батюшка, произносим... Язык у нас без костей... Вникаем и разбираем... Революцию делаем... в клубе... Знаете, у Глеба Успенского один купец говорит: «Время с утра до ночи, — вот в этом самом все наше дело и заключается... Мотаемся всю жизнь вокруг да около, пес его знает чего... так вот

и врем...» Эх, ангел мой, je m'en fiche [1], и ничего больше... Пускай арестуют... — Он помолчал и опять поправил пенсне. — Все там будем, конечно... А вот и его превосходительство, Аркадий Борисович...

Розенштерн был человек лет 32-х, невысокого роста, с густою, жесткой бородкой и черными, юношески-живыми глазами. Одет он был во все новое, с затейливым вкусом заезжего коммивояжера: в длинный светло-серый пиджак и пестрые брюки. Его наружность была обыкновенная, обычно-еврейская. Только в крепкой, короткой шее и в широких круглых плечах чувствовались упорство и сила. Завидев Болотова, он протянул ему руку и, обращаясь к Иконникову, шутливо, с деланным акцентом, сказал:

— Cher maitre [2], вы нас оставьте вдвоем... Вы понимаете, свиданье друзей после долгой разлуки... Чего-нибудь особенного? Нет?

Но когда Иконников вышел, он тотчас перестал улыбаться, подошел к двери и запер ее на ключ.

— Вот что, Болотов, — начал он, — я слышал, вы не поладили с комитетом. Скажите мне, это правда?

— Да, правда, — смутился Болотов.

— Можно узнать, почему?

— Я хочу работать в терроре...

— Гм... В терроре... — Розенштерн, пощипывая бородку, со вниманием взглянул на него. — В терроре... А почему именно в терроре?

Болотов встал. Его охватило то же тягостное волнение, которое он испытывал в комитете. Он понял, что не сумеет, не отыщет целомудренных слов рассказать то, что тревожило его целый год. Розенштерн спокойно сидел в мягком кресле и, положив ногу на ногу, наклонив голову набок, все так же пристально, проницательным взглядом, смотрел на него.

— Вы спрашиваете... — волнуясь и густо краснея, наконец заговорил Болотов... — Хорошо... А вы задумались, можно ли быть в комитете и не работать в терроре? Задумались или нет?.. Скажите, ведь комитет распоряжается чужой жизнью? Ведь он посылает на смерть? Ведь он подписывает смертные приговоры? Где его право? Или Арсению Ивановичу это право дает его ста-

---

[1] Я плюю на это *(фр.)*.
[2] Дорогой учитель *(фр.)*.

рость? Доктору Бергу — его практичность? Вере Андреевне — годы тюрьмы? Груздеву — его работа?.. Почему Давид, Ваня, Сережа, какой-нибудь слесарь с Путиловского завода идет и с бомбой в руках умирает, а я, скрестив руки, благословляю его? Ведь это поп обязан благословлять, а мы не попы... Скажите, как могу я быть в комитете, если не жертвую жизнью, если не проливал, боюсь пролить кровь?.. Скажите, как могу я, где мое право хладнокровно смотреть, как умирают другие?.. Ну, скажите, где мое право?.. — Он умолк и дрожащими пальцами зажег папиросу. Теперь ему с уверенностью казалось, что Розенштерн его не поймет, как не поняли доктор Берг и Вера Андреевна.

— Вот у меня брата-мальчишку на баррикадах убили... — прерывающимся голосом продолжал он через минуту. — Партия строит будущее, справедливое и светлое будущее, Царствие Божие на земле... Не так ли?.. Каждый из нас его строит. В этом смысл, в этом и оправдание бесчисленных жертв... А в работе нашей кроется ложь... Командование какое-то... Начальство и подчиненные. Солдаты и генералы... Одни приказывают, другие безропотно умирают... Какой-нибудь адвокат Иконников, и тот ищет правды... А мы?.. — с негодованием договорил он, и сам удивился резкости своих слов.

Розенштерн слушал молча. Когда Болотов кончил, он негромко сказал:

— Ну, а как же, по-вашему, быть?

— Как быть? Не знаю... За всю партию решать не берусь... Я могу решать единственно за себя. Я не хочу и не буду думать того, что, по моему мнению, дурно: я не буду посылать на смерть людей...

— Я не буду делать того, что, по моему мнению, дурно... — медленно, как бы взвешивая ответственные слова, повторил Розенштерн. — Прекрасно... А убивать хорошо или нет? — внезапно спросил он и усмехнулся. И от этой усмешки его лицо стало твердым и острым, точно перед Болотовым вырос другой человек, не заезжий приказчик, а властный и знающий свою правоту, самодержавный хозяин.

— Убивать?.. Убивать тоже дурно.

— Так... — усмехнулся опять Розенштерн. — А вот вы решились-таки на террор, то есть решились убить... Вы видите, вопрос не так прост. Очень легко сказать: это дурно, значит, этого делать нельзя... Иногда — дурно, а делать все-таки нужно... Не только нужно, но и хо-

рошо... Иногда хорошо делать дурное. Это не парадокс... Убить дурно? Не так ли? А ведь делать террор хорошо... Вы можете спорить? Конечно, не можете... Что? Ну, так вот... Я, вы знаете, работал раньше в терроре. Я ушел и работаю в комитете... Что же, по-вашему, я поступил дурно?..

— Вы дело другое. Вы были в терроре... Вы имеете право...

— Я — дело другое? Почему — другое? Почему вы думаете, что я сейчас готов к смерти? А если не готов? Ну, предположим, что не готов... Значит, я поступаю дурно?.. Послушайте же меня минутку... Что мы делаем? Ведь мы делаем революцию, всероссийскую, всенародную, великую революцию... Ну, так как же, нужно кому-нибудь писать книги, печатать их, пропагандировать, агитировать, организовывать массы? Нужно или нет? Что?

— Конечно, нужно.

— Прекрасно... А партией нужно управлять или нет?..

— Партией?

— Да, я говорю: партией, я не говорю: революцией...

— Ах, Боже мой, нужно.

— Может быть, не только нужно, но и хорошо?.. Ну, так как же нам быть? Вы говорите: нельзя управлять партией, если сам не можешь убить, если сам не убил. Но вы говорите также, что нужно ей управлять. Кто же будет ей управлять? Террористы? Но ведь жизнь террориста — неделя, да и не всякий достоин быть в комитете. Ну, слушайте, я говорю очень серьезно. Я знаю. Я сам работал в терроре. Трудно, никто не знает, как трудно отдать свою жизнь. Еще труднее убить. Но труднее всего, поверьте мне, неизмеримо труднее всего, — Розенштерн сделал паузу и посмотрел Болотову прямо в глаза, — распоряжаться судьбою других... Для этого нужны огромные силы, большие, гораздо большие, чем для террора. Нужно иметь мужество принять ответственность, ответственность крови, крови товарищей. Да, нужно видеть, как люди идут на смерть, и самому не идти... Вы говорите, послать. Нет. Кто может вас послать? Кто смеет другого послать? Разве террорист идет потому, что вы его посылаете, потому, что комитет его посылает? Нет, он идет свободно, один на один со своей совестью, потому что не может иначе, потому что во имя народа должен идти... Подумайте те-

перь, почему вы идете в террор? Не от слабости ли?.. Подумайте... Не оттого ли, что не хватает сил?

Розенштерн остро, чуть-чуть улыбаясь, еще раз заглянул Болотову в глаза. Но теперь Болотов не смутился. Он уже знал, где ошибка.

— Оставим вопрос об убийстве. Мы с вами его не решим. Убить — грех, но в убийстве нет лжи. Я убил, и меня убили. Правдиво и ясно... А здесь кроется ложь. Партия построена на обмане. Если ты школьный учитель, учи азбуке в школе, но не зови обнажать меч... Если ты не видел никогда смерти, не благословляй другого на бой. Я не про вас, не про Арсения Ивановича, не про доктора Берга, я про себя... Только тот делает революцию, только тот поистине творит будущее, кто готов за други своя положить душу свою. Слышите? Душу... Все то, что вы говорите, очень верно, очень благоразумно, но совесть моя не может принять ваших слов. Понимаете, совесть... Надо отдать все, уметь отдать все. Только в смерти — ценная жертва...

— Мы и отдаем все... — тихо сказал Розенштерн.

— Вы, но не я... Я до сих пор не жертвовал жизнью.

Розенштерн с досадой пожал плечами.

— Знаете, Болотов, ваша точка зрения — плохая, да, плохая. Это точка зрения тех, кого побеждают. Я скажу: точка зрения романтиков.

— Романтиков? Пусть... Послушайте, Аркадий Борисович, в сущности что же вы говорите? Вы говорите: во имя партии позволено все.

Розенштерн встал и рядом с Болотовым прошелся по комнате.

— Да, если хотите... Ну, однако, не все...

— Не все?.. А чего же нельзя?.. «Частных экспроприаций?..»

— Да, и «частных экспроприаций».

— Но ведь вы говорите «нельзя» не потому, что дурно убивать людей, а потому, что экспроприации роняют достоинство партии, потому что нарушается дисциплина, потому что деньги — соблазн, потому, одним словом, что экспроприировать вредно для революции. Скажите мне, разве не так?

Розенштерн круто остановился. Он нагнул голову, и от этого напряглась его шея и кругло поднялись широкие плечи. Он был недоволен, что Болотов упрямо возражает ему и говорит странные и, как он думал, недо-

стойные партийного человека слова. Глядя вниз, на ковер, он с нескрываемым раздражением сказал:

— Не совсем так, конечно...

Он хотел продолжать, но за дверью послышался сиплый голос Иконникова:

— Обедать, господа конспираторы, обед на столе...

Когда Болотов вечером вышел на Дворцовую набережную, куранты в крепости доигрывали «Коль славен». Было холодно и темно.

IX

Неделю спустя после встречи с Аркадием Розенштерном, Болотов от Арсения Ивановича узнал боевую «явку». Он съездил в Москву и в условленном переулке, в Замоскворечье, у церкви Пятницы-Параскевы, нашел знаменитого в партии боевика Ипполита. Об Ипполите ходили легенды. Передавали, что он сын сенатора, лицеист, что свое миллионное состояние он целиком пожертвовал в комитет и что только Володя может равняться с ним в хладнокровии. Стройный и тонкий, хрупкий, как девушка, Ипполит недомолвками намекнул, что готовится убийство главного военного прокурора. Ни слова не говоря о дружине, он спросил, не возьмется ли Болотов как извозчик «наблюдать» в Петербурге? Болотова обидела эта чрезмерная «конспирация», но он все-таки дал согласие. Ипполит назначил ему свидание через месяц, на углу Гороховой и Садовой. С ближайшим поездом Болотов выехал из Москвы.

Когда утром в полушубке и сапогах он вышел с Николаевского вокзала и увидел многолюдный, сверкающий солнцем Невский проспект, он впервые понял, на что решился. Пока он докладывал в комитет, спорил с Груздевым, возражал Розенштерну, пока он праздно разговаривал о терроре, он не мог представить себе, что именно его ожидает. Казалось, что если он искренно, всей душой готов пожертвовать жизнью, то все остальное ничтожно и не заслуживает внимания. Предвкушение неминуемой смерти было так сильно, так ревниво владело им, так заполняло все мысли, что он не думал о «деле» — о ежедневной черной работе. Только здесь, на грохочущем Невском, среди веселых и сытых, равнодушных к террору людей, зная, что никто не поможет ему, он почувствовал, какое бремя он поднял. На минуту

он испугался. Он привык к лишениям в Москве. Но там, на баррикадах, он знал, что он не один, что рядом, плечо о плечо, Сережа, Пронька, Роман Алексеевич, что за ними дружина и за дружиной пробужденная восстанием Москва. Он не только знал это, он это видел: видел, как стрелял Пронька, как отступали драгуны, как, гремя засовами, запирались лабазы, как из снега строились баррикады, как на улицах, в смятенье, толпился народ. Быть может, братское чувство, сознание, что «смерть красна на миру», и поддерживало его и давало спокойную силу, безбоязненно, до последних патронов, защищать партийное знамя. Здесь, в Петербурге, на Невском, затерянный в море людей, оторванный от привычного дела, полубарин и полумужик, не член комитета и не извозчик, он не испытывал вдохновляющей связи и почти не верил в нее. Он знал, что где-то «работает» комитет, распоряжается Арсений Иванович, учит крестьян Алеша Груздев и доктор Берг печатает прокламации. Но это было далекое, изжитое, невозвратимое прошлое. Кругом не было никого: ни товарищей, ни друзей, ни даже знакомых, и он мог рассчитывать единственно на себя. Он говорил себе, что это — неправда, что он — член дружины, что дружина — часть партии и что каждый товарищ, каждый солдат революции живет с ним сочувственной жизнью и скорбит о его несчастиях. Но многословная партийная пропись не удовлетворяла его. Точно случилось обманное превращение, и он уже не революционер Андрей Болотов, а, как значилось в паспорте, крестьянин Алексей Максимович Юрков, пришедший на заработки в столицу.

Постояв в раздумье на Невском и не зная, куда идти, он нерешительно пересек площадь и повернул на Гончарную улицу. На углу дремал старый, подслеповатый, со слезящимися глазами извозчик. Болотов подошел к заезженной лошади и легонько тронул ее за челку. Лошадь вздрогнула. Старик, не двигаясь, ворчливо прошамкал:

— Но-о... не балуй, земляк.

— Дед... а дед... — сказал Болотов и снял шапку.

— Чего?

— Слышь, дед?..

— Ась?

— Дело такое, дед... Приехал я, стало быть, в Питер... — он умолк, не зная, как продолжать. Старик взглянул на него и задумчиво пожевал губами.

— Приехал я в Питер...

— Зачем приехал-то? Ась?

— Да вот за этим за самым... Стало быть, извозчики мы...

— Чтой-то не слышу... Громче говори... Ась?

— Извозчики, говорю.

— Извозчики?

— Да.

— Так-так-так... Дело хорошее...

— Так что извозчики, — продолжал неуверенно Болотов. — Да... Ну уж и не знаю... В Питере не найдусь, никого нет... К землякам намедни толкнулся... Которые были — повыехали, Бог его знает куда... Как их искать? И не пойму, что мне делать?.. Яви милость, дед, услужи.

Извозчик опять пожевал губами...

— Так-так-так... А ты сам откедова будешь?

— Из Москвы. В Москве в трактире Яковлева шестеркой служил... — Болотов, чувствуя, что надо как-нибудь объяснить, какой счастливой случайностью нищий «шестерка» превратился в хозяина, на минуту замялся и, глядя в сторону, осторожно сказал: — Отец у меня помер... В деревне... Ну, домишко, то-се... Продал я... Дай, думаю, в Питер поеду...

Он вымолвил эти слова и, несмотря на привычку к беззастенчивой «конспирации», неожиданно покраснел. Старик так наивно, не рассуждая, верил каждому слову, так доверчиво, от души, был готов приютить, посоветовать, оказать помощь, что стало стыдно за свою неизбежную ложь. Но извозчик не заметил его смущения.

— Отец помер?.. Грехи!.. Слышь, земляк, ко дворам пора... — он зевнул и заморгал слезящимися глазами. — Коли хочешь, садись.. Во дворе тебе Павлин Петрович расскажет... Уж он обучит... Уж ты не сомневайся, Павлин Петрович даром что выпьет, а такой человек... Ты что же, московский?

— Калужский я.

— Калуцкий, стало быть?.. Ну, и с Богом, поедем... Отчего же не услужить? Хорошему человеку завсегда услужить можно... Н-но... проклятущая!..

Он зачмокал, задергал вожжами, и они медленно поплелись обратно на Невский. Старик вздыхал, кряхтел и как будто забыл про Болотова. Они ехали долго, тряской рысцой и остановились за Балтийским вокзалом, в захолустном, почти пустом переулке. На дворе было мок-

ро, догнивала истоптанная солома, хлопая крыльями, летали стаи откормленных голубей, и кисло пахло конским навозом и кожей. Направо уныло темнели покосившиеся конюшни и из незапертых денников слышался стук копыт и мерное фырканье. Налево тянулся полукаменный некрашеный флигель. На пороге стояла простоволосая баба и скверно ругалась. В углу, у сарая, взлохмаченный, черный как смоль мужик, сидя на корточках, мыл пролетку. Не обращая внимания на бабу, он озабоченно, хмуро, точно с похмелья, возил тряпкою по колесам.

— Пьяница, дьявол! Опять хомут пропил! Погибели на тебя нет, душегуб некрещеный!

— Чего хомут?.. Что хомут?.. Ну, молчи... С такими господами ездил! Не понять тебе, дура... Здравствуй, Порфирыч, — бросая тряпку в ведро, обернулся он к старику.

— Вот, Павлин Петрович, земляка вам привез... Тоже извозчики... — Старик, вздыхая, слез с козел и трясущимися руками стал развважживать разбитую лошадь.

Баба перестала ругаться. В конюшне по-прежнему твердо постукивали копыта. Павлин Петрович с любопытством и исподлобья осмотрел Болотова.

— Извозчик?.. Ну-ка, что ж? Значит, в «Друзья»... — сурово, не глядя на бабу, решил он и встал. — Идем, что ли, земляк? — Болотов улыбнулся и пошел вслед за ним.

Несмотря на утренний час, трактир «Друзья» был полон народу. Было грязно и шумно. Гудела «машина». Павлин Петрович, ударяя себя в грудь кулаком, говорил с убеждением:

— Ты на нее не смотри... Она — баба хорошая... Ну, выпил я... Эв-ва... Уж и выпить нельзя?.. Бедняк что муха: где забор, там и двор, где щель — там постель... А твое дело мы справим. Ты будь покоен. Уж если я тебе говорю, уж если я, Павлин Петрович Стрелов, тебе говорю, значит, верно... Как на бумаге... И коня купим, и пролетку, и сани... Будешь ты лихач первый сорт... Завтра пойдем на Конную... Д-да... На Конной эт-то сейчас... барышники ни-ни-ни!.. За милую душу! Свой глазок — смотрок... Разве не так?.. Эх, кобыла была у меня! Что за кобылка!.. Каких господ я возил! «Извозчик, на Острова!.. Сколько?..» — «Сколько пожалуете...» Четвертная в кармане... не веришь? Вот те Христос!..

Выпьем, Алеша, а?.. Пущай ругается Домна Васильевна... Что я, — не человек? Уж и выпить нельзя?.. Господи, что же это такое?.. Эва! Выпить нельзя!..

Болотов с отвращением пил водку и слушал пьяную болтовню Стрелова. Он радовался, что так быстро нашел приют, что завтра пойдет на Конную, купит лошадь и начнется боевая извозчичья жизнь. Но чувство виновности ни на минуту не покидало его. Он говорил себе, что обязан лицемерить и лгать и что, сказав одно правдивое слово, бесполезно погубит себя, и все-таки не мог успокоиться. Павлин Петрович, красный, потный, с трудом держась на ногах, мокрыми губами лез целоваться:

— Поцелуй... меня друг... Алеша... Вот так... Поцелуй... Эх, Алеша, вижу я, какой ты есть человек... И ты уж положись, ты уж на меня положись. Все справим... Выпьем, что ли?.. Алеша!..

Он уронил голову на руки и тотчас заснул. Болотов осмотрелся вокруг. Из-за дымного чада было трудно что-либо разобрать. Было странно, что он, революционер Андрей Болотов, сидит здесь, в этом смрадном трактире, что он только что разговаривал с этим пьяным, храпящим за столом человеком и что к ночи он вернется не в гостиницу, а на извозчичий двор. И когда он вечером лег на жесткие, полные насекомых нары и услышал, что в углу, у лампады, кладя земные поклоны, молился старый Порфирыч, а за перегородкою громко икает Стрелов, когда он увидел рядом с собой незнакомого, врастяжку спящего мужика, он опять почувствовал, что предоставлен единственно своим силам. Но теперь он не испугался. Даже было приятно, что никто не может помочь. И когда он уснул, ему снился трактир «Друзья», покривившиеся конюшни и стаи с шумом летающих голубей.

X

Прошло два месяца. Болотов привык к извозчичьей или, как говорил доктор Берг, «халуйской» жизни. Он не замечал ни пьянства, ни грязи, ни ругани и не жаловался на изнурительную работу. Было радостно, что он такой, как и все, что у него загрубелые руки, что он не боится труда, не живет богато и праздно, а делит с народом его неизбывную тяготу. Он вставал ночью в четыре часа и, позевывая, ежась от холода, брел впотьмах на

конюшню. Выбранный на Конной Стреловым старый, но еще красивый и сильный вороной жеребец Буян, заслышав его шаги, весело фыркал и, перебирая ногами, потряхивал шеей. Болотов задавал ему корм, хлопал по гладкой спине и бегом, по мерзлому снегу, возвращался домой. Во флигеле было душно, вповалку храпели извозчики и чадил, мигая, тусклый ночник. Болотов ложился на нары между Порфирычем и молодым работником Сенькой и, не раздеваясь, спал до зари. Рано утром он шел за ворота, в «Друзья» и молча, степенно и важно, пил вприкуску горячий чай. Он сделался на дворе своим человеком: зажиточным и непьющим, исправным хозяином. Домна Васильевна ставила его в пример «душегубам» и «пьяницам», Сенька издали ломал шапку, Порфирыч заговаривал о божественном, а Павлин Петрович, тайком от жены, «одалживал зелененькую бумажку». Даже толстый, заплывший жиром, старший дворник Супрыткин приветливо подавал волосатую руку и расспрашивал о «выручке» и «делах».

Как и было условлено, Болотов на углу Гороховой и Садовой встретился с Ипполитом. Изменяя, наконец, «конспирации», Ипполит сообщил, что в дружине четыре извозчика: Болотов, Ваня, Сережа и виленский кожевник Абрам. Ипполит сообщил также, по каким улицам ездит «Его превосходительство», прокурор. Еженедельный, неотменяемый выезд был на Царскосельский вокзал и с вокзала экстренным поездом — в Царское Село. Но сколько Болотов ни караулил на Фонтанке и Загородном, он ни разу не увидел прокурора. Правда, однажды ему показалось, что в толпе, на площадке трамвая, мелькнуло длинное и сухое, по фотографии изученное лицо. Но Ипполит решил, что Болотов ошибается: «Его превосходительство» выезжал всегда на собственных рысаках, в закрытой карете.

К «наблюдению» Болотов привыкнуть не мог. Он не боялся, что его арестуют. Во всякую погоду, дождь, оттепель, туман и мороз, он останавливался с пролеткой на намеченных Ипполитом местах и следил за Царскосельским вокзалом. Это стало его занятием. Боевая, террористическая «работа», к которой он так страстно стремился и которую так высоко ценил, заключалась, как он увидел, в обыкновенной филерской службе. Часто, сидя долгими часами на козлах, он упрекал себя, что живет как шпион. Но каждый раз он говорил себе, что так надо, что только «тайной работой» можно до-

биться успеха, можно совершить «исторический акт». И, насилуя свою совесть, чувствуя, что «наблюдать» недостойно и стыдно, и зная, что оставить дружину еще недостойнее и стыднее, он с тоской вспоминал про семью: про убитого румяного Мишу, про Сашу во флотском мундире, про отца, Николая Степановича, и в особенности про мать. «Что бы она сказала? — думал он, стоя где-нибудь под дождем и напряженно глядя на улицу. — Поняла ли бы она?» В такие минуты страстно хотелось увидеть доброе лицо матери, ее любящие голубые глаза, ее шелковую косынку, хотелось крепко обнять и на ухо, чтобы никто не слышал, покаяться в своей жизни. Но он знал, что это мечты. И, опустив голову, удерживая застоявшегося, нетерпеливого жеребца, он крупною рысью возвращался на двор, шутливо здоровался с Сенькой и шел со Стреловым в трактир слушать «машину».

В конце марта, когда дворники скололи побуревший лед, а на дворе, между гнилою соломой, расползлись весенние лужи и острее и гуще запахло навозом, Болотов выехал на свидание с Сережей. Они виделись редко, украдкой и не иначе как с ведома Ипполита. Был уже восьмой час, но вечернее солнце еще грело над взморьем. Болотов быстро проехал Измайловский полк, жмурясь, повернул на Фонтанку и у церкви Покрова Богородицы остановился у извозчичьего трактира. Поставив Буяна и разнуздав, он вошел в «общий зал» и среди гама, шума и толкотни с трудом отыскал Сережу. Сережа, белокурый, высокий, остриженный в скобку, в синем замасленном армяке, не был похож на того не знавшего страха дружинника, которому Болотов повиновался на баррикадах. Он напоминал теперь деревенского парня, почти мальчишку, из глухих степей пришедшего в Петербург.

— Вы видели? — садясь за накрытый скатертью стол, вполголоса спросил Болотов. — Я ни разу не видел.

— Я тоже не видел...

— Что ж это значит?

— Не знаю!..

— Может быть, мы не умеем следить?..

Сережа пожал плечами. Болотов наклонился к нему и понизил голос до шепота:

— Послушайте... Помните, мы как-то говорили с вами ночью, в Москве? Помните? Да?.. Вот теперь мы

опять убиваем, хотим, по крайней мере, убить... Ведь я живу убийством, только убийством. Стоишь-стоишь, ждешь-ждешь, не поедет ли, не увижу ли?.. Для чего?.. С этой мыслью встаем, с нею и спать ложимся. Вот у меня на дворе приятель, — извозчик Стрелов, забулдыга, сорвиголова, жену свою походя хлещет, а ведь, пожалуй, чище живет, чем мы. Что мы делаем? Лжем .. Вы скажете: революционер всегда лжет, эта ложь праведна. Конечно, лжет и, конечно, праведна... А все-таки ложь. И особенно — вы заметили? — трудно лгать вот такому Стрелову: хоть он и пьяница и каналья, но у него душа нараспашку, и он каждой басне поверит... Ну а дальше что? «Наблюдаем»... Ведь это сыщики наблюдают... Говорим: гнусно следить. Говорим: филеры — мерзавцы... А сами? Вы опять скажете: филеры, мол, себя продают, а мы по совести, по революционному убеждению. Конечно, по убеждению, а все-таки... Все-таки «наблюдаем»... Мне не важно, что мне тяжело... Мне важно другое: мы боремся за свободу, за справедливость, за правду... Ну, и лжем, лжем на каждом шагу... Когда я в партию поступал, я думал, что все решил... Почти все так думают... Насилие? Во имя народа дозволено и насилье. Ложь? Во имя революции дозволена ложь. Обман? Во имя партии дозволен обман. А теперь вижу, что не так это просто... Что ж, или цель, в самом деле, оправдывает все средства? или в самом деле позволено все?.. Я так думал. Так все говорят... Вы знаете Розенштерна? Ну, так даже он говорит эти слова. Но ведь это же заблуждение. Да, нужно лгать, обманывать, убивать, но не надо говорить, что это позволено, что это оправдано, что это хорошо, не нужно думать, что ложью приносишь жертву, убийством душу спасаешь... Нет, надо иметь смелость сказать: это дурно, жестоко и страшно, но неизбежно... Да, неизбежно... Народовольцы оставили нам легенду: Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов... Герои... Конечно, герои, но почему народовольцы скрыли от нас, что террор не только жертва, но и ложь, но и кровь, но и стыд?.. Я как-то говорил с Ипполитом... Он и слушать не хочет...

Болотов в волнении умолк. Сережа закурил и сказал:

— С Ипполитом? Ну, если Ипполит и думает так, то вслух никогда не скажет.

— Не скажет?.. Хорошо, когда совесть спокойна. Хорошо, когда твердо решил: террор нужен, — значит, убийство позволено; убийство необходимо, — значит,

позволена ложь... Ну, а если мне лгать противно, с души воротит следить?.. Вы спросите: зачем я в терроре... Ах, Боже мой, в том-то и дело, что я не могу не работать в терроре... Не могу умыть руки... не вправе сказать: делай ты... Кто раз убил, тому нет спасения, тот должен отдать свою жизнь...

Сережа задумался.

— Почему должен?..

— Ах, Сережа, вы спрашиваете... А скажите мне, как вы думаете? Что же, по-вашему, не нужно идти до конца? Что же, вам не противно следить?.. Что же, не вы говорили: «Не дано знать»?.. Почему вы молчите?..

Сережа, точно колеблясь, боясь, что Болотов его не поймет, заговорил спокойно и тихо:

— Я и сейчас скажу: «Не дано знать...» Да, я думаю, как и вы... Да, мы лжем, убиваем, следим... Да, это грех... Но ведь вы пытаетесь объяснить, почему убить можно, не только можно, но и должно, необходимо... А я говорю «не дано знать»... Во имя любви нужно жертвовать жизнью, даже не только жизнью... Но это не оправдание... Ну, а где оправдание? Не в программе, конечно... Я вам скажу... Вам будет странно, что я скажу, и вы не сердитесь... Я вот что думаю... Я думаю: вам не решить, да и никто не может решить... Как решить, что можно и что нельзя? Как сказать: убей?.. Как убьешь?.. И как скажешь: нет, не надо бороться, не надо кровь проливать? Почему не надо? Во имя чего? И не больший ли это грех?.. Я думаю: кто верит, тот не возьмется за меч... А кто берется за меч, тот не верит, не может глубоко верить... И берется по слабости, не от силы...

— А вы верите? — быстро перебил его Болотов.

— Я?.. Я ведь тоже берусь за меч...

— Боже мой, при чем же тут вера? Вера в Бога, конечно?

— Да, вера в Бога.

— В христианского Бога?

— Да, в христианского Бога.

— В Христа?

— Да, в Христа...

Болотов изумленно посмотрел на Сережу. Слова о Боге и о Христе казались такими ветхими и лишенными смысла, так напоминали лицемерные поучения, что он готов был подумать, не пошутил ли Сережа. Но Сережа не улыбался. Рядом с ними, за оплеванным мокрым сто-

лом, хмельной извозчик, подперев щеку, горланил пьяную песню. Пахло пивом и водкой.

— Ну, а если даже и так, — опомнился Болотов, то ведь не Христос же оправдает убийство?.. Ведь не Евангелие благословит на террор? Почему вы опять молчите?

Сережа нехотя поднял глаза:

— Христос сказал: «...Не убий...» А люди все-таки убивают... Христос сказал: «Любите друг друга...» Ну, а разве есть на свете любовь?.. Христос сказал: «Я пришел не судить, а спасти...» Кто же из нас спасен?.. Вы можете не слушать меня, а я говорю: «...Не дано знать...» Вы спрашиваете, верю ли я? Помните? «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, упрекал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь во царствие Твое». Вы не поняли? Нет?..

Смеркалось. В трактире зажгли огни. Сережа задумался и молчал. Болотов расплатился и медленно прошел на конюшню. По двору, нахохлившись и распустив веером хвост, гордо ходил индейский петух. Толстая баба мыла в корыте белье. Знакомый босяк, Павлуха, ругаясь, чистил коня. «Христос... Евангелие... Не убий, — думал Болотов, влезая на козлы и повертывая армяк. — Какой церковный туман... Но Сережа все-таки прав: нельзя и надо, да, надо... Но в чем оправдание, я не решу... И никто не может, не в силах решить...» Он подобрал вожжи и выехал на Фонтанку. Пиликала где-то гармония. Падала белая петербургская ночь.

XI

В начале апреля, недели за две до открытия Государственной думы, Ипполит назначил свидание Болотову на Иматре. Болотов ночью выехал в Выборг с таким расчетом, чтобы в тот же день вернуться домой. В Выборге, на вокзале, в буфете третьего класса, он встретил случайно Ваню и с ним рослого и плечистого человека, лет тридцати, — Болотов догадался — Абрама. Ваня, черноволосый, скуластый, одетый в порыжелое, купленное на толкучке пальто, улыбнулся узкими, как щели,

глазами и кивнул головой. Когда тронулся поезд и в предутренней мгле потянулись посеребренные снегом леса, он подозрительно оглянулся на пассажиров и негромко сказал:

— Куда иголка, туда и нитка... К Ипполиту, Андрей Николаевич?

— Да, к Ипполиту... А что?

— Ничего... Дела — хоть закуривай... Его превосходительство, господин прокурор безусловно не думает объявляться. Схоронился в хоромы и ни гугу... Знает кошка, чье мясо съела...

— Обождите: не уйдет... Ха! — спокойно возразил Абрам и зевнул.

— На днях Сережа его, слава Богу, увидел. Ехал порожним по Литейному, хвать, — карета, а в ней барин, собственною своей персоной... А знаете, Андрей Николаевич, как бы Ипполит нам голову не намылил.

— За что?

— А за то, что едем в одном вагоне... «Конспирацию» партийную нарушаем. Ох уж эта мне «конспирация»... Непривычен я к этим затеям. День-деньской врешь и врешь... И отдыху тебе нет. Давеча на дворе один сачок спрашивает: «Ты, молодец, откудова будешь?» А мне, признаться, уж надоело. Каждый лезет: кто? откуда? зачем? Я и говорю: «Из Порт-Артура. У генерала Стесселя адъютантом служил». Посмотрел он на меня: «У генерала, говорит, Стесселя?» — «Чего, говорю, пасть разинул? У Стесселя...» Покрутил бородой говорит: «Ну, брат, ты — хлюст». — «А ты, говорю, безусловно, дурак...»

Ваня рассмеялся и закурил. «Значит, и он тяготится ложью...» — подумал Болотов и пытливо взглянул на него. Он хотел спросить Ваню, как он относится к «наблюдению», но Абрам вынул из кармана газету:

— Читали, товарищ? Экспроприация в Подьяческой...

Болотов еще накануне в «Друзьях» узнал о «блестящем деле». Когда полупьяный, лохматый Стрелов, ударяя себя в грудь кулаком, рассказывал, что украли «миллион» и «убили пятьсот человек», Болотов испытывал горькое чувство, — чувство зависти, негодования и злобы. То же самое сложное чувство овладело им и теперь. Он завидовал удаче Володи, возмущался «злодейским» убийством и сердился на себя за свой гнев. Дочи-

тав, он скомкал газету и отвернулся к окну. Ваня осторожно тронул его за плечо.

— Андрей Николаевич!

— Что?

— Ну, что скажете, Андрей Николаевич?

— Что я скажу?.. Разбой на большой дороге...

— Безусловно, разбой... Я тоже так думаю: неисчислимый вред для партии будет.

— Вред? — угрюмо спросил Абрам. — Что значит вред? Разве деньги на конфеты пойдут?.. Странное дело... Если будем стесняться, — что будет?.. Ха... Разбой!.. У нас не эксплуатируют? Матери плачут, дочери по улицам ходят... А погромы?.. Вы забыли погромы? Ну, так я не забыл... Зачем говорите: разбой? Разве мы судьи?.. Как не стыдно судить?.. И что можно делать без денег?.. Объясните мне — что?

Болотов не ответил. Ваня покраснел и тоже ничего не сказал.

— А помните, Ваня, вы говорили: «Грех большой вышел»?

— Это вы про казаков?

— Да, про казаков.

— Безусловно, что грех... Эх, Андрей Николаевич, мало, что ли, мы греха на душу берем?.. И счесть невозможно... Не замолить, — он улыбнулся новой для Болотова, принужденной и жалкой улыбкой. — Да ведь что же поделаешь? Не для себя... За партию... За землю и волю... Нам самим ничего не нужно...

«Вот и Ваня так говорит, — думал Болотов. — Неужели я ошибаюсь? Неужели мои сомнения — только досужие, «интеллигентские» мысли?.. Неужели во имя народа позволено все, и правда в Ипполите, Розенштерне и Ване?.. Ведь не в Сережиных словах правда?.. Не в заповедях завета...»

На востоке торжественно разгоралась заря. Алый, пламенем пылающий шар позолотил вершины деревьев и розовыми лучами заблестел на снегу. Болотов опустил окно. Потянуло влажным и бодрым дыханием леса. Свистнул пронзительно паровоз. Пробежали финские избы, платформа и семафор.

«Иматра», — протяжно крикнул кондуктор.

Утопая в снежных сугробах, Ваня, Болотов и Абрам узкой тропинкой прошли к водопаду. Еще издали был слышен глухой и тягостный рев, похожий на гул морского прибоя. Болотов, скользя по мокрым камням и цеп-

ляясь за скрипучие ели, осторожно спустился к реке. Держась за скалу, он с трепетом заглянул вниз. Вода была дымно-желтая, мутная и такая стремительно быстрая, что казалась застывшей, точно вылитой из металла. Болотов, обрызганный ледяной пеной, забывая про наблюдение, конюшню, Стрелова и извозчичий двор, долго слушал оглушительный грохот, безглагольную и мятежную речь. На минуту он утратил сознание: не было Иматры, сосен, алмазных брызг и мшистых камней, не было тревог, несчастий и огорчений, не было его, Болотова, и дружины, и Абрама, и Ипполита. Было одно могучее целое, одна вечная и неразделимая, благословенная жизнь.

«А мы убиваем... Зачем?» — с тоской подумал он. И почему-то вспомнились заученные в школе стихи:

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек!
Чего он хочет?.. Небо ясно,
Под небом много места всем...
Но непрестанно и напрасно
Один враждует он... Зачем?

У Малой Иматры, там, где клокочущее течение, смиряясь, становится ровнее и тише, Болотов увидел Ипполита, Сережу и незнакомую девушку в барашковой шапке. Девушка сидела у самой воды, спиною к тропинке, и не услышала, как он подошел. Только когда Абрам окликнул ее, она нехотя обернулась. Болотов удивился. Он не знал, что в дружине есть женщина, и ему стало досадно, что Ипполит «конспирировал» от него.

После первых приветственных слов все умолкли. Ваня поднял смышленые узкие, как щели, глаза:

— Что же? К делу, Ипполит Алексеевич...

— Да... к делу... — задумчиво сказал Ипполит. — Необходимо решить важный вопрос... Анна, вы слушаете?.. Комитет поставил условием, чтобы прокурор был убит во всяком случае не позже открытия Государственной думы. Прав или не прав комитет, судить, полагаю, не нам: мы обязаны подчиниться его решению. Итак, времени у нас две недели. Наша работа не дала результатов. Я намеревался приступить к убийству на улице. Но на улице невозможно: кто поручится, что не выйдет ошибки?.. Кроме того, надо считаться с последней экспроприацией. Полиция начеку; и работать теперь труднее... Я спрашиваю поэтому, нельзя ли, изменив план,

теперь же убить прокурора и тем исполнить комитетский приказ?

Чем дальше говорил Ипполит, тем отрывистее и резче звучал его голос. По бледному, с тонкими чертами лицу и покрасневшим карим, глубоко запавшим глазам было заметно, что он не спал всю ночь напролет и что точные, строго взвешенные слова дались тревожным раздумьем. Болотов слушал, и ему казалось, что он начинает понимать Ипполита, — его чрезмерную «конспирацию», его ненависть к разговорам, его замкнутую взыскательность и холодную отчужденность. «У него, наверное, нет любви, нет радости, нет сомнений. Он весь в «деле», в терроре... Он влюбился... Да, да... он влюбился в террор», — подумал Болотов, и ему стало стыдно, что он мог досадовать на него.

Прерывая молчание, Сережа тихо сказал:

— Мне кажется, есть возможность...

— Какая?

— Прокурор ездит по пятницам в Царское Село. Мне кажется, можно убить на вокзале.

— На вокзале? — переспросил Ипполит.

— Да, на Царскосельском вокзале.

— А охрана?

— Что же охрана? Охрана везде...

— Слушайте, Сережа... Мы поставили наблюдение, мы три месяца работали каждый день... Неужели для того, чтобы рисковать?.. Рисковать чем? Не собою — террором... Я почти уверен: если даже возможно пройти на вокзал, все равно охрана не даст бросить бомбы... И тогда, конечно, дело погибло... Погибло по нашей вине... Понимаете: по нашей вине.

— Если бояться, то лучше дома сидеть... — сердито сказал Абрам.

Далеко в чаще хрустнул подгнивший сучок. Прошуршала по веткам белка. Почти прямо над головой, на бледно-голубом, безоблачном небе ослепляющим блеском сияло солнце. И хотя то, что говорили Сережа и Ипполит, касалось убийства, смерти, Болотов не испытывал страха. «Один враждует он... Зачем?» — опять мелькнуло в смущающей памяти.

— Безусловно, волков бояться — в лес не ходить... — повторил за Абрамом Ваня. — Кончать надо, Ипполит Алексеевич.

Ипполит, хрупкий, тонкий, с бледным лицом и золо-

тистыми волосами, внимательно посмотрел на Сережу, точно надеясь угадать, удастся ли покушение.

— Да, конечно... конечно... — глухо сказал он, — но как?..

— Положитесь, Ипполит, на меня... — вполголоса промолвил Сережа.

— Вы пойдете?

— Да, я...

— Один?

— Да, один.

— Нет, я не могу решиться на это...

— Эхма, Ипполит Алексеевич, — с возмущением заговорил Ваня, — ложки есть, да нечего есть... Так будем целый век маяться да у моря погоды ждать... Я готов идти на вокзал... Да что на вокзал? Хоть к черту на рога, в ад!.. Если иначе нельзя, значит, голову надо ломать... Только и слов моих... Да.

Абрам одобрительно слушал его. Когда Ваня окончил, он угрюмо сказал:

— Комитет там решает, ну это дело его... Ну-у... Ха! А я тоже вам скажу: заряжайте мной пушку, да и стреляйте... Я надел свое пальто и готов. А только мы не на бундовской бирже, чтобы много разных слов говорить... Товарищ Ипполит, что же будет?.. До Думы мы не успеем; а после Думы комитет нас распустит... Значит, нужно идти... Хочется или не хочется, а идти... Не желает Сережа, так я пойду... Что? А кончать мы непременно должны.

После долгого колебания Ипполит дал согласие. Было решено, что Сережа пойдет на Царскосельский вокзал. Болотов выслушал это решение, но не поверил ему. Он так привык к мысли, что именно он, Андрей Болотов, убьет прокурора, так приготовился к смерти, так спокойно думал о ней, что слова товарищей даже не взволновали его. И только позже, вечером, возвращаясь на станцию, он понял, что не он, а вот этот, идущий с ним рядом, белокурый, высокий, молодой и здоровый, с невозмутимым лицом человек неминуемо через неделю погибнет. Догорало за лесом солнце, ревела Иматра, и на проталинах, журча, таял снег. Болотов искоса взглянул на Сережу. «Он дрался со мною на баррикадах... А теперь он умрет... Помяни меня, Господи, когда приидешь во царствие Твое...» И, повинуясь горячему чувству, он внезапно остановился и крепко, с братской любовью, обнял Сережу и поцеловал в губы.

XII

Слухи об Ипполите не были ложны. Он действительно был сын сенатора, лицеист и действительно пожертвовал на террор все, что оставил ему отец. Стройный, худой, с изнеженными руками, всегда изящно и чисто одетый, он сохранил следы хорошего воспитания: светские, возмущавшие Арсения Ивановича, манеры и французский язык. Он примкнул к партии юношей, прямо со школьной скамьи, и настойчиво попросился в боевую дружину. Так как тогда намечалось убийство петербургского генерал-губернатора, террористов было немного, то он был принят без затруднений, даже без оскорбительных справок. За два года «работы» почти все дружинники были повешены. Эти смерти наложили на него печать отчужденности, сдержанного ожесточения. Память о них заставляла его «работать» с удвоенным жаром, не полагаясь на легкие обещания и не доверяясь праздным словам. И хотя он знал, что Болотов — член комитета, он отнесся к нему с той же скрытою подозрительностью, как к Сереже и Ване. Прошло несколько месяцев, пока он без оговорок, всею душой поверил ему.

Тех сомнений, которые мучили Болотова, Ипполит не испытывал. Вступая в партию, он бесповоротно решил, что обязан умереть и убить, и не возвращался больше к искушающему вопросу. Гибель товарищей, бомбы, виселицы и кровь делали его нечувствительным к сердечным тревогам. Боевая «работа» выковала из него «железного» террориста: воодушевление сменилось спокойствием, пылкий задор — отвагой, неуравновешенность — самообладанием, неумелость — взыскательностью, любовь к спорам — равнодушием к чужому мнению. Но в партию он продолжал верить, верить слепо, так же, как и два долгих года назад. Он верил, что только ее программа разумна и справедлива и что ее члены — самоотверженные, отважные и честные люди. К комитету он относился с благоговейной любовью, не отделяя доктора Берга от Арсения Ивановича и Розенштерна от Алеши Груздева. И Розенштерн, и Арсений Иванович, и доктор Берг, и Вера Андреевна олицетворяли для него волю партии, ее душу и мозг. В последнее время, однако, его преданность начала колебаться: он не мог усвоить комитетскую «директиву» об ограничении террора. Эта странная «директива» казалась ему посяга-

тельством на неотъемлемые права дружины, на здравый смысл и на достоинство революции. Но, скрепя сердце, признавая партийной обязанностью беспрекословное подчинение, он подчинился и ей. Комитет знал об его недовольстве и высоко ценил его солдатское послушание.

Ни Арсений Иванович, ни доктор Берг, ни Вера Андреевна никогда не спрашивали себя, какую жизнь ведет Ипполит. Они так привыкли к его скромности и терпению, к его покорности, твердости и готовности умереть, что им и в голову не приходило подумать, в каких несчастных условиях «работает» этот хрупкий, как девушка, застенчивый и непритязательный человек. Они забывали, что каждый месяц умирает кто-нибудь из его товарищей и друзей и что каждый новый дружинник в его глазах — обреченная жертва, смерть которой ему предстоит пережить. Они забывали, что изо дня в день, из минуты в минуту, его мысли отравлены убийством и кровью и что даже удачное покушение — источник для него неисчерпаемой муки. Его опальная жизнь не казалась им тяжелее ихней. Они искренно верили, что у них, у хозяев, есть хозяйское право давать ему советы и указания, руководить его жизнью, порицать ее или одобрять. И он признавал за ними это верховное право. И никто не видел жестокости начальственных отношений.

С Иматры Ипполит уехал усталый и потрясенный. Впервые он отступил от дальновидного правила, «медленно спешить и не рисковать». Не разумом, а чутьем, опытом долговременной «работы» он предчувствовал то, чего не могли уяснить себе ни Сережа, ни Болотов и ни один из товарищей, споривших с ним, — он предчувствовал, что прокурор не будет убит и что покушение окончится неудачей. И если он все-таки согласился, то не потому, что Абрам или Ваня торопили его, а исключительно потому, что, по словам Розенштерна, вся Россия, вся партия, весь народ нуждались в этом убийстве, и непременно до открытия Государственной думы. Но, уступив, он в глубине души боялся ошибки. Ему казалось, что он своими руками бесполезно убивает того Сережу, которого он считал самым сильным и смелым из всех товарищей по «работе». Обычное хладнокровие изменило ему. Сидя в вагоне, возвращаясь с Иматры в Петербург, он решил — чего никогда не бывало раньше — разыскать немедленно комитет и попытаться убедить Розенштерна, что необходима отсрочка и что сейчас нельзя убить про-

курора. С Финляндского вокзала, не заходя домой в гостиницу «Бельведер», он, кликнув извозчика, поехал в комитетскую «явку».

Заседание комитета происходило у Валабуева, в уединенном особняке на Каменноостровском проспекте. Подымаясь по мраморной, устланной малиновым ковром лестнице, Ипполит в раздумье остановился. Ему казалось возмутительной дерзостью его нежданное посещение. Комитет приказал убить главного военного прокурора. Дело его, Ипполита, состояло единственно в том, чтобы доказывать, разубеждать и просить. Но он вспомнил, что Сережа погибнет, и, не колеблясь, раскрыл дубовую дверь.

В той же комнате, с дорогими картинами по стенам и статуей Венеры Милосской, где Володя поссорился с доктором Бергом, в кожаных креслах сидели Арсений Иванович и Розенштерн. Валабуева не было. Арсений Иванович сухим и резким надтреснутым басом говорил о выборах в Думу.

— Не ошибка ли, кормилец, что партия постановила бойкот? Бойкот-то бойкот, а поглядите, кого выбирают: трудовиков и кадетов... Я ли не предупреждал на съезде?.. Не слушали... А, Ипполит... Какие новости? А?..

Сдерживая волнение, Ипполит вкратце сообщил о совещании на Иматре. Розенштерн, пощипывая бородку, слушал сосредоточенно и угрюмо. Арсений Иванович покачал седой головой:

— Худо, кормилец, худо... Дела-а... И что это за несчастие такое? Вот уж точно: живем богато, со двора покато, чего ни хватись, за всем в люди покатись. Вы не обижайтесь, кормилец... Э-эх!.. Почему же «наблюдение» не дало результатов?

Ипполит смутился. Его бледные щеки стали еще бледнее. В словах Арсения Ивановича он услышал упрек и подумал, что упрек этот заслужен и справедлив. Он принял ответственность за дружину, а дружина в решительную минуту, когда вся Россия надеялась на нее, заявила его устами о своей непрощаемой слабости. В юношески блестящих глазах Розенштерна он читал ту же тяжкую, хотя и безмолвную, укоризну.

— Не знаю, Арсений Иванович... Не знаю... Не умею вам объяснить... Нельзя ли отсрочить на один месяц? Быть может, мы справимся... Я, по крайней мере, не теряю надежды...

— Ни-ни-ни... — замахал руками Арсений Ивано-

вич. — Никак невозможно... И думать, кормилец, нечего... Нечего...

— Но ведь на вокзале покушение окончится неудачей...

— Почему неудачей? Почему, кормилец?.. А, почему?

— Охрана, Арсений Иванович, — робко сказал Ипполит, уже зная, что Арсений Иванович ответит так же, как ответили Сережа и Ваня, и что он не сумеет ему возразить.

— Так что ж, что охрана?.. Охрана, кормилец, везде... Вы поймите, кормилец. — Арсений Иванович, кряхтя, поднялся с кресла и взял под руку Ипполита. — По-ли-ти-чес-кая необходимость... Поймите: теперь, вот сегодня, — нужно, а Думу откроют, — шабаш... Да... Ну, и если есть ничтожнейшая надежда, — необходимо рискнуть... Вы меня знаете: я всегда за крайнюю осторожность: береженого и Бог бережет... А тут и я вам скажу: дерзай!.. А впрочем... — перебил он себя и, не выпуская руки Ипполита, опять задумчиво покачал бородой. — Да-а... Дела-а...

— Что впрочем?.. — сухо переспросил Розенштерн. — Слушайте, Ипполит, поймите же следующее: мы не можем дозволить и воспретить... Это не в нашей власти. Поймите: после открытия Государственной думы террор политически вреден. Да, вреден... Это не мое только мнение... Это мнение съезда, партии, всей России... А вы обращаетесь в комитет... Что я могу сказать?.. Прокурора нужно убить сейчас... Возможно ли?.. Решать не мне, — решать вам...

— Я говорю: невозможно... — чуть слышно сказал Ипполит.

— Ну, это еще вопрос: невозможно с одним метальщиком, так возможно с двумя... Одного арестуют, — бросит бомбу другой... Я говорю, конечно, к примеру... Я так думаю... Но решать, разумеется, не могу.

Ипполит закрыл руками лицо. Он почувствовал, что слова его не имеют цены, ибо Арсению Ивановичу, и Розенштерну, и комитету, и партии во что бы то ни стало, какой бы то ни было кровавой ценой, необходимо удачное покушение. Он понял, что покушение все равно будет, не может не быть, что такова воля Сережи, Вани, и Болотова, и комитета, и всех бесчисленных, неизвестных товарищей и что он, Ипполит, не властен нарушить ее. Он еще раз, уже соглашаясь, с покорной мольбой взглянул на Арсения Ивановича:

— Арсений Иванович.
— Что, кормилец?
— Так, значит, отсрочить нельзя?
— Ни-ни-ни... Храни Бог!

Вошел Валабуев, пухлый, стриженый, с красным затылком, одетый в модный сюртук, и почтительно сообщил, что пришли доктор Берг и Вера Андреевна. Ипполит наскоро распрощался и вышел. Арсений Иванович улыбнулся и, наклоняясь к Розенштерну, сказал:

— Ничего... Обойдется... А все-таки молодец!.. Конь и о четырех ногах спотыкается!..

XIII

Сереже было непонятно и чуждо то ревнивое хозяйское беспокойство, которое владело Арсением Ивановичем, доктором Бергом, Верой Андреевной, Володей, Аркадием Розенштерном и всеми теми товарищами, кто пытался руководить революцией. Он вступил в партию не потому, что верил в утвержденную съездом программу, и не затем, чтобы «вести за собою народ». Обыкновенная мирная жизнь, ее жестокость, лицемерие и ложь возмутили и оскорбили его. Ему казалось, что только в социалистической партии, в самоотверженной и бескорыстной борьбе скрыта вечная истина — ненарушаемые заветы Христа. На себя он смотрел как на рядового, на одного из безымянных солдат, которым не дано сомневаться, а дано безропотно умирать. Он твердо веровал в революцию, веровал, что Господь не оставит ее, и молитвенно дерзал на самое страшное: на дозволенное людьми насилие...

В середине апреля он за полцены, не торгуясь, продал пролетку и лошадь, скинул армяк и надел неудобное немецкое платье. В мягкой шляпе и модном пальто, причесанный и умытый, с завитыми кверху усами, он стал неузнаваемо-новым, непохожим на крестьянского парня. Он съездил в Москву, переменил извозчичий паспорт и из хозяина-лихача превратился в помещика-дворянина. Болотов не поверил глазам, случайно встретив его.

В субботу, за несколько дней до открытия Государственной думы, ожидался обычный утренний выезд главного военного прокурора. В пятницу вечером Сережа в Пассаже увиделся с Ипполитом. До этой решающей встречи ему упрямо казалось, что прокурор наверное бу-

дет убит. Но когда на углу Караванной он поздно ночью остался один, стало жутко. Захотелось вернуть Ипполита, еще раз пожать ему руку и услышать встревоженный голос, — услышать, что Россия благословляет террор. Но Ипполит затерялся в толпе. Сережа вздрогнул и утомленной походкой пошел по Невскому, сам не зная куда.

Он вышел на набережную Невы и, наклонив белокурую голову, заглянул в свинцовые воды. Со звонким плеском катилась река, и пыхтел у пристани пароход. Далеко, на востоке, за Охтой, бледнея, таяла ночь, — предчувствовалось апрельское утро. Сережа зябко повел плечами.

— Извозчик!

— Вот, барин, пожалуйте...

— На Острова.

— На Крестовский прикажете?

— Ну да, на Крестовский... — не задумываясь, сказал Сережа и удивился:

«Зачем?.. Зачем на Крестовский?..»

На островах пахло сыростью и травой, влажным запахом моря. Сквозь оголенные ветви, в предрассветной, редеющей тьме, холодно сверкали огни — зеленые, красные, желтые. У этих огней извозчик остановился. Сережа вошел в просторный, светлый, наполненный людьми зал. Визгливые звуки оркестра, говор, крики и смех на минуту оглушили его. На сцене немолодая, в розовой юбке, женщина, с голыми руками и шеей, быстро, в такт, поднимала обнаженные ноги и высоким сопрано выкрикивала веселый мотив. Сытые чиновники и купцы, гремящие шпорами офицеры смеялись и неистово хлопали ей. И когда Сережа увидел эту полураздетую, с раскрашенным лицом женщину, этих подобострастных, заискивающих лакеев, эту разгульную, беззаботную, опьяненную весельем толпу, он еще глубже почувствовал свое одиночество. Он хотел уйти, но ему вспомнился неприветливый номер гостиницы, жесткая, покрытая стеганым одеялом кровать и докучливые часы без сна. Он нахмурился, сел за стол у дверей.

Он испытывал нарастающую, неизъяснимо-томительную тревогу и не умел понять, что же именно смущает его. «Ипполит?.. Но если даже Ипполит прав и все окончится неудачей, я исполняю свой долг... Совесть моя спокойна... Умереть?.. Разве я боюсь? Разве боюсь? — спрашивал он и с волнующей радостью отвечал: —

Нет, мне не страшно... Это не то... Так в чем же мое сомнение??» Он устало взглянул на сцену. Теперь на деревянных, освещенных бенгальским огнем подмостках усатый, в вышитой рубашке мужчина с присвистом отплясывал трепака. Он размахивал кругло руками, притоптывал и кружился, стуча подкованным каблуком. Зал дрожал от рукоплесканий. Чей-то пьяный, икающий бас без отдыха ревел: браво!

«Да, да... Я убью, — почти вслух подумал Сережа. — Да, убью...» И сейчас же, с неотразимою ясностью, с предвидением неумолимой судьбы, он понял, что должен убить, что нет его воли, что он не властен решать и что кто-то решил за него. Это было то гнетущее чувство, которое он, и Ваня, и Болотов впервые испытали у Слезкина на дому. И теперь в петербургском ночном кабаке, среди смеха женщин и суеты, это чувство снова победило его. «Так надо... Так надо, — не замечая подмостков, повторял он с тоской. — Господи, неужели?.. Почему же именно я? Я не хочу убивать».

Он сидел за столом, согнувшись и мешая серебряной ложечкой чай. Издали можно было подумать, что он прилежно смотрит на сцену. Ему вспомнился Слезкин, оледенелые баррикады, драгунский расстрелянный офицер и насмешливая улыбка Вани: «Зубаст кобель, да прост...» Вспомнился Болотов, его совестливые сомнения и свой неясный ответ: «Не дано знать...» «Господи, научи... Завтра я должен убить... Точно ли должен?.. Действительно ли обязан?.. Или, может быть, я хочу?» Он закрыл утомленно глаза и вдруг отчетливо-ясно, под гром музыки и шум голосов, представилось то, что завтра — он знал — совершится. Он увидел старческое, морщинистое, уже не живое лицо, струйки крови на бритых щеках, окровавленное тело и себя, Сергея, Сережу, над обезображенным трупом. В памяти встал евангельский текст: «Отец мой! если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, а как Ты...»«Но ведь это кощунство, — опомнился он. — Разве я на баррикадах не убивал?.. Да, убивал... И завтра тоже убью...» Он не мог думать дальше. Ему казалось, что у него нет сил, что он не смеет убить, что убийство — непрощаемый грех и что он погубит свою бессмертную душу. Всегда мужественный и твердый, крепко веровавший в правоту своей жизни, он почувствовал, что он — малый ребенок, что действительно «не дано знать» и что смерть не есть искупление. «Истинно, истинно говорю вам... — зашеп-

тал он божественные слова, — если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную...»

— Скучаете, молодой человек?

Перед ним, опираясь о бедра, стояла женщина, нарумяненная и набеленная, в голубом декольтированном платье. Вызывающе, с бесстыдной улыбкой, полуласково, полупрезрительно она смотрела ему прямо в глаза. Сережа поморщился и поспешно вышел из ресторана.

На другой день, в субботу, он проснулся в седьмом часу. Не было вчерашнего беспокойства. Утром, при солнечном свете, казалось, что убийство — не смертный грех и что Господь услышит его. Казалось, что больший грех — не убить, больший грех — промолчать, примириться с изобличенною ложью. Он без волнения, уверенно и спокойно, так же спокойно, как и тогда, когда шел в полковую казарму, в Александровском саду отыскал Ипполита. Ипполит передал ему бомбу и, беглым взглядом окинув его, сказал:

— Вы не спали, Сережа?

Сережа улыбнулся.

— Нет, спал.

— А я вот не мог уснуть... Знаете что, Сережа?

— Ну?

— Не отказаться ли нам?!

— Отказаться?

— Да, отложить покушение.

— Зачем?

— Я боюсь... Я не привык так работать...

Сережа задумался.

— А комитет?

— Э, да что комитет!.. — неожиданно пылко заговорил Ипполит. — Не комитет отвечает, а я... Слышите: я боюсь...

— Чего вы боитесь?

— За вас, Сережа... И за дружину... — прибавил он глухо.

Сережа поколебался секунду. Потом решительно тряхнул головой и резко, не допуская соблазнительных возражений, сказал:

— Наше дело не рассуждать...

— Не рассуждать?

— Да... Наше дело идти...

— Вы так думаете?
— Да, я так думаю...
Ипполит опустил глаза.
— Прощайте.

Сережа хотел остановить его и обнять, но Ипполит уже был далеко. «А ведь я его никогда не увижу», — кольнула холодная мысль. Он вздохнул и большими шагами пошел к вокзалу.

День был пасмурный, набегали мглистые облака, и изредка, точно украдкой, сеял мельчайший, унылый дождь. Тяжелую бомбу было неудобно нести, и Сережа боялся ее уронить. На углу Гороховой и Фонтанки он увидел Болотова с пролеткой. Он заметил знакомые, теперь родные и милые, голубые глаза и вороную белокопытую лошадь. Не останавливаясь, он слегка притронулся к мягкой шляпе.

У вокзала, на Загородном, заложив за спину пухлые руки, важно, взад и вперед, ходил представительный пристав. Рядом с ним дежурил городовой. Стараясь на них не смотреть, Сережа, не оглядываясь, пересек улицу и взбежал на крыльцо. Но едва успел он пройти на чисто выметенную платформу, как огромный, в аксельбантах жандарм вытянулся во фронт: из боковых, охраняемых часовым, дверей показался сутулый, сухой, в генеральском пальто старик. Он шел быстро, слегка прихрамывая на левую ногу. И хотя до него было двадцать шагов, и хотя между Сережей и им стали двое филеров и вытянувшийся во фронт жандарм, Сережа, боясь, что старик уйдет, откинул правую руку и бегом побежал к нему. Он не успел пробежать и половины дороги. Старик внезапно остановился, взялся за дверцу вагона и, повернув морщинистое лицо, посмотрел в упор на Сережу. Сережа, как во сне, затуманенными глазами, увидел его испуганный взгляд. Он понял, что не дадут добежать. И, уже зная, что покушение не удалось, и надеясь на чудо, на спасительный случай, он быстро взмахнул рукою и изо всей силы, так что больно стало плечу, бросил круглую и тяжелую девятифунтовую бомбу. Взрыва он не услышал.

Когда рассеялся дым, на платформе, у фонаря, рядом с убитым жандармом, протянув вперед руки, недвижно лежал Сережа. По его груди и лицу горячим ключом била кровь. Старик в генеральском пальто стоял у подножки вагона, и у него тряслась нижняя челюсть.

XIV

В конце апреля Государственная дума была открыта. Комитет после продолжительных совещаний решил временно прекратить террор. Доктор Берг настаивал на полном упразднении дружины: он доказывал, что парламентская «работа» несовместима в партии с боевой. Слова его не имели успеха. Было постановлено большинством голосов «держать дружинников под ружьем». Это значило, что все террористы, в Петербурге, в провинции и в Москве, были вынуждены напрасно рисковать своей жизнью. Но членам комитета казалось, что их хозяйственное решение мудро: заключив перемирие, армии не расходятся по домам, а приготавливаются к войне.

Всю весну и жаркое лето Болотов не слезал с козел. Смерть Сережи ожесточила его. Он по-прежнему чувствовал отвращение к боевой полицейской «работе» и смущался двойственным ремеслом. Но теперь он ловил себя на других, сокровенных и мстительных мыслях. Часто ночью, на нарах, когда громко храпели извозчики и бродила тьма по углам, а ночник мерцал дремотно и скудно, он не мог уснуть до зари и думал о прокуроре. Глядя расширенными зрачками на низкий, закопченный сажей и проеденный ржавчиной потолок, он вспоминал тот мучительный день, когда в последний раз увидел Сережу. И незаметно, тайком, как лукавый и опытный вор, им овладело новое чувство: желание убить. Он боялся этих растлевающих мыслей. Негодуя, он упрекал себя в озлоблении, в буйном гневе мстящего дикаря, но совладать с собой не мог. Он стал мрачен, не разговаривал с Порфирычем на дворе, не слушал пьяных излияний Стрелова и, завидев Супрыткина, торопился уйти. Изъезженный колесами двор, простоволосые бабы, вши, и запах навоза, и стук копыт в денниках удручали его: он боялся, что бездейственным дням не будет конца, что прокурор останется жив.

На улице это злобное чувство волновало еще острее. Проезжая по Фонтанке и по Садовой, мимо церкви Покрова Богородицы, заходя в извозчичьи трактиры, он вспоминал короткие встречи с Сережей, его исполненные любви, тогда чужие и теперь незабываемые слова. И хотя террор временно был прекращен, он, не спрашивая ничьих указаний, один, на свой страх, пытался продолжать «наблюдение». Он часами простаивал у казенных домов — у Военного министерства, у Государствен-

ного совета, у Таврического дворца, у Главного штаба — и усердно следил, не покажется ли сгорбленный, хромоногий, в генеральском пальто, старик. Он верил, что высший долг, обязанность перед партией — тяжким трудом достигнуть победы. Эта вера вдохновляла его и оправдывала задуманное убийство.

После смерти Сережи Болотов понял, чем живет Ипполит. Он понял, что этим, истомленным неравной борьбой, осиротелым и обессиленным человеком владеет ненависть — ожесточенная злоба. Ипполит был уверен, что он не один, что Арсений Иванович, и доктор Берг, и Вера Андреевна, и комитет, и партия, и Россия, весь многомиллионный русский народ ожидают обещанного убийства. Он был уверен, что только случайно именно он руководит дружиной и что каждый член партии, каждый голодный крестьянин, каждый нищий студент с радостью заменит его и отдаст свою жизнь. Он не понимал, что он — исключение, что Россия молчит, что революция разбита и что его непримиримые бомбы — догорающие, уже безрадостные зарницы. Но если бы даже он понял, что правительство победило и что не поддержанная народом партия не в силах бороться, он не мог бы оставить «работы». Он думал, что только смерть венчает кровавое дело, и ждал своей смерти, как награды и избавления.

Сочувствие и поддержку он находил в своем друге Абраме. Абрам, добродушный, с широким детским лицом, громадного роста кожевник, оставил в Вильне семью. Не передовые статьи и не речи ораторов убедили его в необходимости «систематического» террора. Он на опыте, на погромах, на сожженных домах и расстрелянных детях узнал жестокость «благоустроенной» жизни и не усомнился в законности «огня и меча». Так же как Ипполит, он жил непоколебленной верой, что его благословляет народ, замученный от века Израиль и что «то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть».

Но в одном они не могли согласиться: Абрам, посмеиваясь, с пренебрежительной усмешкой отзывался о «господах» и «студентах» и не любил комитета. На горячие убеждения, что он не прав и что комитет не делает разницы между солдатом и генералом, помещиком и рабочим, он упрямо и недоверчиво отвечал: «Знаю... Ха!.. Не втирайте очков... Та же эксплуатация... Американская выжимочка...» Его место было в дружине Володи, но по счастливому совпадению его нашел Ипполит, и

Абрам привязался к нему — «эксплуататору» и «студенту» — душою и телом. Болотов любил его еврейские смеющиеся глаза и наивную душевную чистоту — отсутствие «интеллигентских» вопросов.

Анна, худощекая, бледная, тридцатилетняя девушка с серыми навыкате сияющими глазами, готовила бомбы и хранила у себя динамит. Бывшая фельдшерица в селе, она вынесла из деревни глубокую, не книжную, не программную, а живую и искреннюю любовь к народу. Эта любовь толкнула ее в террор. Она не знала ни ненависти, ни злобы и, как Сережа, тяготилась убийством. Но она думала, что, убивая чиновников и князей, она приносит неоценимую пользу, приближает день революции, тот день, когда «не будет богатых и бедных, господ и рабов, властителей и подвластных». Она одевалась небрежно, курила толстые папиросы и говорила по-нижегородски на «о». Болотов привязался к ней. Ему нравились ее скромность, ее готовность радостно умереть, ее восторженные рассказы о деревне и мужиках, ее незлобивость и правдивость и грубоватый, почти мужской голос. Комитет она уважала и верила, что партии предстоит победить мир.

Главный военный прокурор жил на Литейном проспекте, в казарменном, неуютном и мрачном особняке. В конце августа «изыскания» установили, что еженедельно, по четвергам, он ездит в Военное министерство. Болотов изучил не только его лицо, усы, руки, волосы, ордена и погоны, но и кучера, лошадей, карету, ее колеса, спицы, фонари, и вожжи, и подножки, и окна. Он узнавал прокурора на расстоянии пятидесяти шагов и предсказывал без ошибки, поедет он или нет: в день его выездов у подъезда сторожили шпионы и длиннобородые дворники караулили у ворот.

Стояло бабье лето. Дни выдались ясные, полупрозрачные, хрустально-осенние. В Петровском парке золотом опадали березы; птицы не пели, и по вечерам, за Невой, огневыми лучами пылало море. Ночи были прохладные, с серебристыми звездами и утренниками на ранней заре. В первых числах сентября, в понедельник, Болотов, встретив прокурора на Невском, вечером вернулся домой, развожжал запотелую лошадь, распряг и поставил ее в денник. Не убирая пролетки, он надел суконный картуз и, обходя вонючие лужи, вышел в ворота. На лавочке, у ворот, сидел лохматый, черный как смоль Стрелов и толстый дворник Супрыткин.

— А тебя околоточный спрашивал... — подавая жирную руку и не глядя на Болотова, сказал Супрыткин и принужденно зевнул.

Болотов поднял брови:

— Околоточный?

— Да, Хрисанф Валерьянович.

— Чего ему надо?

— Чего надо? — переспросил, подмигивая, Стрелов. — Эва! Разве не знаешь? Младенец какой... детишкам на молочишко... Ай нет?

Супрыткин вздохнул:

— Сказывал, чтобы в участок пришел.

— В участок? Зачем...

— Зачем? Дело есть. Начальство велит... Может, штраф или ежели что... Нам неизвестно...

Болотов в первый раз с любопытством посмотрел на Супрыткина, на его бычачью, мясистую шею, на опухшие мешками глаза, на рыжую бороду, на начищенные, как зеркало, сапоги и на самодовольно-тупое, лоснящееся жиром лицо. «Мы боремся, отдаем жизнь... А вот этот... Этот Супрыткин... Эти Супрыткины и Стреловы придут и нас победят... Победят великолепною тупостью, сытым брюхом, глупым самодовольством, сапогами, гармонией и деревянной уверенностью в себе», — волнуясь и скрывая предательское волнение, подумал он. Стрелов кашлянул и осторожно сказал:

— Давеча в «Друзья» граммофон привезли... Самое время.

— Что самое время?

— Я говорю: самое время в «Друзья»...

Супрыткин строго взглянул на него:

— Тебе бы только в кабак... Ты что же, пойдешь в участок? — не поворачивая намасленной головы и крестя рот, обратился он к Болотову.

— Пойду.

«Зачем околоточный?.. Штраф?.. Но если штраф, то не позвали бы в участок... Паспорт?.. Но паспорт в порядке... Неужели за мною следят? — думал Болотов, выходя на Забалканский проспект. — Следят теперь, когда все готово, когда Дума разогнана и комитет разрешил, когда я знаю карету... Нет, не может этого быть...» Он так был известен в трактире и на дворе, так безбожно, до хрипоты рядился на улице с седоками, так, не краснея, давал взятки городовым, так привык запрягать, чистить, мыть, носить кулями овес, так втянулся в извозчи-

чью жизнь, что ему непонятным казалось, как могут за ним следить. Но когда он свернул на Фонтанку и увидел смрадный трактир, где иногда встречался с Сережей, он почувствовал беспокойство. «А если следят?.. Покушения не будет, прокурор не будет убит, и Сережа, значит, умер напрасно. И виноват буду я...» Он оглянулся. Сзади не было никого. Набережная была пуста, и только вдали, на мосту стоял одинокий городовой. «Надо сказать Ипполиту. Пусть решит Ипполит... Неужели дружина погибнет?..» О себе он забыл. И только подходя к ресторану «Олень», к обыкновенному месту свиданий, он понял, что тоже умрет. «Умру зря, не убив... Да, я умру... не может этого быть...»

В тот же день Ипполит посоветовал Болотову не возвращаться на двор, бросить запряжку и уехать пока в Москву. Уезжая, Болотов верил, что убьет прокурора.

XV

Опасаясь, что за дружиной следят, и на всякий случай предупредив комитет, Ипполит решил ускорить почти готовое покушение. В четверг 10-го сентября Ваня с бомбой должен был ожидать на Фонтанке, Абрам — у Цепного моста, Болотов — на Литейном: по одной из этих дорог прокурор выезжал в Военное министерство. Была невысказанная надежда, что на этот раз он будет убит.

Болотов приехал с первым поездом в Петербург и, несмотря на раннее утро, зашел в пивную. Теперь, за несколько часов до убийства, он испытывал то холодное равнодушие, которое владело им на баррикадах, в Москве. Не размышляя и не волнуясь, безотчетно, по «конспиративной» привычке, он сел в поезд в Клину, вышел в Обухове, и чтобы не бродить по улицам Петербурга, укрылся в пивной и с покорным терпением стал ожидать условного часа.

За тусклым окном назойливо барабанил дождь, шмыгали зонтики и калоши и, съежившись, дремал на козлах извозчик. Через улицу, на другой ее стороне у закрытых дверей винной лавки, толкаясь, толпился народ. Болотов хорошо рассмотрел одного босяка. Босяк был растрепанный, грязный, с болезненно-зеленоватым лицом и гноящимися глазами, без пальто, в изорванной женской кофте и, хотя стояла осень, босой. Прижимая озябшие

пальцы к груди, согнувшись расслабленным телом, он подпрыгивал быстро и мелко и дрожал ледяною дрожью. И когда Болотов увидел этого человека, и слезливое небо, и городового в плаще, и казенную винную лавку, и осклизлые стены домов, — зевающие будни столицы — ненужным, безжизненно-неправдивым показалось ему убийство. Стало странным, что он готовится убивать, что он, конечно, убьет, что его, конечно, повесят, а все так же будет моросить скучный дождь, все так же будет мокнуть городовой, все так же будут слезиться окна, все так же будут подпрыгивать и трястись больные, пьяные и голодные люди. «Умру? — затаив дыхание, спросил он себя. — Да, конечно, умру... За них?.. Да, за них... И за всех... И за все...» — с горделивою радостью ответил он.

Но, сказав себе эти слова, он сейчас же и безошибочно понял, что имеет право на жизнь, — что ни прокурор, ни Сережа, ни партия, ни дружина, ни даже Россия не могут заставить его умереть, не смеют требовать насильственной жертвы. Он обвел глазами пивную. И кабацкая гостеприимно-гнусная обстановка, — посуда, «услужающие», сидельцы, гости и заплеванные столы, — показалась уютной и милой, и захотелось не уходить. Но было девять часов. Болотов постучал монетой о стол и, надвинув на лоб картуз, неохотно вышел на улицу. Голодный босяк все еще приплясывал на дожде и с жадным унынием смотрел на недоступные двери.

Болотов свернул на Фонтанку и мимо цирка прошел в Летний сад. В саду было холодно, сеял неугомонный дождь, и ноги вязли в размытом песке. Голые богини и нимфы, еще не укутанные соломой, сиротливо ютились в кустах. Было одиноко и грустно. Уныло ползли облака. Неприятно намокала поддевка. Болотов снова пожалел пивной.

В уединенной аллее, у мокрой резной решетки, он нашел Ипполита и Анну. Оба вымокли, были бледны, и у Анны в руках чернел квадратный портфель с золотым тиснением: «Musique» [1]. Болотов молча взял бомбу и начал бережно увязывать ее в кумачовый платок.

— Осторожней... — громко сказала Анна.

Болотов туго затянул узел. Он услышал, как неровно и сильно забилось сердце и как в такт ему зазвенел свинцовым грузом запал. «Умру?» — опять поднялся пуг-

---

[1] Музыка *(фр.)*.

ливый вопрос, но на этот раз он не понял его значения. Казалось теперь, что он не сможет, не отыщет решимости умереть и что все происходящее сон. Не верилось, было бессмысленно и ужасно, что сейчас, через десять минут, он уйдет из этого сада, от этих близких и уже далеких людей, что он встретит карету и бросит бомбу и, наверное, будет убит. Отчетливо вспомнился двор, покривившиеся конюшни. Супрыткин, Стрелов, трактир «Друзья» и белокопытый, мерно пофыркивающий Буян. И многотрудная, «халуйская» жизнь, голод, холод, грязь, ругань, пьянство, и «наблюдение», и Сережа, и комитет показались безоблачным и недосягаемым счастьем.

— А Ваня?.. — промолвил Болотов робко.

— Ваня?.. Ваня уже на месте... И Абрам тоже на месте... Если прокурор не поедет, приходите в двенадцать часов...

Болотов, опустив голову, вышел из сада. Осторожно, боясь оступиться и не понимая, куда идет, он побрел на Литейный. Мерно тикала бомба. Тик-так, тик-так, — стучало где-то внутри, и он знал, что это ходит грузик по трубке и что, стоит только посильнее нажать, — трубка расколется и вспыхнет гремучая ртуть. «Ну, что же?.. Тем лучше... Я, во всяком случае, не услышу...» — улыбнулся он вялой улыбкой и крепче сжал бомбу. Боязливо вздрагивая плечами, он взошел на Симеоновский мост. На Фонтанке, у самого моста, у подернутых рябью живорыбных садков, в высоких сапогах и пальто, с тяжелым свертком в руке, стоял Ваня. Блеснули смышленые узкие, как щели, глаза, и Ваня шепотом, ласково и серьезно сказал:

— Человек ходит, а Бог водит... В добрый час, Андрей Николаевич.

Болотов не сразу ответил. Алая краска огнем залила его щеки. Стало совестно, что он задумался о себе, пожалел свою жизнь, что в тот день, когда понадобилась его отвага, он, как купец, торговался с собой. «Неужели я трус? — бледнея, с ненавистью спросил он себя. — А Сережа? А партия? А дружина?» И с радостным облегчением, со счастливым сознанием, что суждено умереть и что смерть не пугает его, он, обернувшись к Ване, сказал:

— За землю и волю!

Был девятый час на исходе. Дождь отшумел, и сквозь мутные облака желтоватым пятном разгоралось

солнце. Болотов повернул на Литейный проспект и остановился у табачного магазина. Чуть-чуть туманилось в голове, и по-прежнему сильно стучало сердце. Он тупо взглянул на заваленное разноцветным товаром окно и прочитал по складам название: «Пу-тан-ная кро-шка... Цена один рубль...» — «Что значит крошка?.. Пу-танная кро-шка... И почему один рубль?..» Чувствуя усталость в плечах, точно кто-то тяжко гнул его шею, он безучастно, бесцельно оглянулся на прокурорский подъезд. И хотя у подъезда дежурил городовой и в воротах караулили дворники, а по улице шныряли шпионы, он не хотел, да и не мог верить, что сейчас, вот здесь, в двух шагах от него, появится прокурор. «А вдруг не поедет?» — малодушно, с тайной надеждой подумал он. Он не смел признаться себе, что в глубине опустошенной души гнездится темная мысль: «Пусть... пусть... пусть не поедет...» Он гнал от себя эту минуту, он остатком сил старался ее заглушить, но все настойчивее вспыхивало желание, чтобы прокурор не поехал, чтобы не было покушения, чтобы помешала случайность, непредвиденное несчастье. «Значит, я трус...» — снова густо краснея, с отвращением подумал он и вдруг выпрямился напряженно и твердо. По Литейному, от Бассейной, по правой руке, в расстоянии шагов сорока, прямо навстречу, торопливою рысью мчалась карета. Болотов сразу, не рассуждая, узнал прокурора. Он узнал плотного, рыжеусого кучера в круглой шляпе с павлиньим пером, вороных, в масть подобранных лошадей, блестящую упряжь и красные спицы колес. И в ту же минуту те мысли, которые волновали его, — жалость к себе, жажда жизни и боязнь покушения — исчезли, как сон. В памяти встал Сережа. Болотов слышал, как бойко стучит запал. Уже радуясь этому стуку, он сделал два тяжелых шага и круто остановился. Он стоял на асфальтовом тротуаре, худой, высокий, голубоглазый, в расстегнутой синей поддевке, и, на весу держа тяжеловесную бомбу, загоревшимся взглядом следил за приближающейся каретой. Он видел тонкопородистые, храпящие морды коней, рыжие усы кучера, глянцевитый кожаный кузов и отчетливо слышал частую дробь железных подков. И когда осталась одна сажень, он сбежал с тротуара и поднял бомбу над головой. Через зеркальное, выпуклое стекло он увидел сухощавого старика в генеральском мундире. Старик, горбясь, сидел в углу и, опустив седые ресницы, дремал. Но вдруг он вздрогнул, протянул порывисто ру-

ку и высохшей украшенной орденами грудью подался вперед. Мелькнуло старое, желтое, морщинистое лицо и надменные, не испуганные, а непонимающие глаза. Не было времени размышлять. Болотов размахнулся завязанной в платок бомбой и, зажмурясь, точно падая в холодную воду, бросил ее в окно.

В то же мгновение задребезжали разбитые стекла и его ударило с оглушительной силой по голове. Сжав плечи и вдыхая запах горячего дыма, он секунду стоял неподвижно, не веря, что уже окончено все. Когда он пришел в себя, он заметил струйки крови на обожженных плечах и вместо лошадей и кареты окровавленную и мягкую груду. Правее, у самого тротуара, на мостовой, почти у его ног, лежал толстый кучер. Он до пояса был раздет. Болотов видел голое, розовато-белое тело, редкие волосы у сосков и огромный, вздутый живот. Один глаз, распухший, сине-багровый, был полузакрыт, другой, стеклянный, круглый, точно живой, в упор смотрел на него. Болотов всхлипнул. И сейчас же сзади кто-то цепко схватил его руки. «Не уйдешь... А-ть... Вре-ешь... Не уйдешь...» — кричал исполненный ужаса голос. Болотов не пробовал защищаться. Он еще раз взглянул себе под ноги, вниз. Тот же круглый, слегка прищуренный глаз так же пристально и упорно, удивленно смотрел на него. Что было потом, — Болотов никогда не мог вспомнить. Кто-то кулаком ударил его по лицу, и он потерял сознание.

XVI

На Подьяческой улице дружина Володи «экспроприировала» не полмиллиона, как надеялся Митя, а всего двести тысяч. На эти деньги Володя расширил «организацию» и приступил к заветной мечте — к «систематическому» террору. В мае был убит тверской губернатор и смертельно ранен агент охраны; в июле была брошена бомба в министра юстиции; в августе дружина сожгла две дворянских усадьбы; в сентябре ограбила Хапиловскую контору и на улице, в Киеве, расстреляла начальника жандармского управления. Имя Володи гремело по всей России. Даже Арсений Иванович, покачивая седой бородой, говорил в комитете: «Кто, кормильцы, гуляет да удит, у того ничего не будет... Вот у Володи дела так дела: и рыбисто и ушисто...» Арсений Ива-

нович не одобрял, конечно, «частных экспроприаций», но не мог не жалеть, что такой «железный» революционер, как Володя, «зря», «по капризу» вышел из партии.

Дружина Володи сильно выросла численно, и состав ее изменился. Митя был повешен в Твери. Прохор был убит в Киеве. Елизар был арестован в Москве. Эпштейн уехал в Париж издавать «свободный журнал». Кроме Ольги, из старых, отборных боевиков остались только Фрезе и Муха. Зато прибавилось человек сорок новых — студентов, рабочих и ремесленников-евреев. Теперь дружинников было много, и не все они принимали участие в покушениях. Большинство томилось в ожидании «работы». Среди этих праздных, не занятых делом людей, от безделья, от скуки, по привычке к суетным разговорам, начались разногласия, то «интеллигентское пустословие», которое ненавидел Володя. С этим «звоном» Володя был бессилен бороться. Он с презрением махал рукой на бесчисленные советы, на десятки «вернейших» планов, на сотни «остроумнейших» предложений и заботился только, чтобы «звон» не вредил «конспирации», чтобы товарищи не собирались на сходки и чтобы не было переписки с родными. Но и это не всегда удавалось ему. Он не мог внушить своим людям, что нужна осторожность. Террор был удачен, дружина была крепка, денег было довольно, и не верилось, что возможны аресты. Мало-помалу, от праздности и тоски, завелось запойное пьянство: один из дружинников, беглый солдат Свистков, пропил свой маузер. Володя, не желая знать унизительных оправданий, сейчас же, своею властью, выгнал его. Но пьянство не прекратилось. Стали пить втихомолку, прячась от Володи и Фрезе.

За лето Володя постарел на пять лет. Его карие, живые глаза утратили быстрый блеск и под бородою, у губ, прорезались преждевременные морщины. Он все так же верил в себя, в белоснежную правоту террора, но не сомневался уже, что если его повесят, дружина рассеется и погибнет. Он не отвечал на призывы Эпштейна, писавшего из Парижа, что «сильному позволено все», без внимания выслушивал рассуждение Ольги о «безднах верха и низа» и подолгу, один на один, беседовал с Фрезе. Он смутно чувствовал, что та волна крови и незатруднительного убийства, которая поднялась после первой «экспроприации», грозит затопить и дружину, и террор, и даже его, Володю. Иногда ночью он часами, без сна, просиживал в кресле, и если бы кто-нибудь спро-

сил, что он думает в эти часы, он не сумел бы ответить. Ольга с недоумением наблюдала за ним. Ей казалось, что «работа» идет хорошо и что Володя не прав, ибо мелкие грехи, вроде «пьянства», «звона» и ссор, необходимо прощать. Один только Фрезе понимал Володино горе. Всегда точный, молчаливый и аккуратный, он ревниво следил за каждым шагом дружины. Ежедневный скучный и мелочный труд ложился всею тяжестью на него. Он не только ведал деньгами, «явками», паспортами, оружием, «конспирацией» и бомбами. Он знал наизусть всех дружинников и, зная их, огорчался вместе с Володей. Особенно его смущал Муха. После «экспроприации» в Хапилове Муха резко переменился. Послушный и преданный, он внезапно стал ленивым и дерзким.

В октябре дружина готовила покушение на московского губернатора. За неделю до срока Муха пожелал говорить с Володей наедине.

Володя назначил ему свидание в Сокольниках, на той же дорожке, где полгода назад впервые увидел его. День был пасмурный и дождливый. Нахмурившись, мокли ели. Увядающие березы роняли желтый, прощальный лист. Пахло мокрой травой и мохом. Муха, заложив за спину руки, молодцеватой походкой, слегка покачиваясь на сильных ногах, шел рядом с Володей и с плохо скрываемым раздражением говорил:

— Посудите сами, Владимир Иванович, — ведь не первый же день мы с вами работаем... Я ли, кажется, не старался?.. Извольте вспомнить: на Подьяческой, например... Или в Киеве, когда Прошку убили... Могу сказать, не щадя живота...

— Ну?

— Так что, Владимир Иванович, что же я вижу? Заместо, можно сказать, благодарности, стало быть, окончательно одно недоверие... Вот хотя бы Герман Карлович Фрезе... Все им нужно насквозь узнать, во все, извините, длинный нос сунуть... «Сколько денег ты вчера издержал?.. Где ты был?.. Куда идешь?.. Покажи паспорт... Покажи маузер...» — с негодованием передразнил Муха и сплюнул. — На что похоже-с?.. Словно на корабле, прости Господи... Не крепостной ведь я... Дозвольте вам, Владимир Иванович, сказать...

— Ты недоволен? — сурово спросил Володя.

— Уж и не знаю, как объяснить... — замялся Муха и стал скручивать папиросу. Спички размокли, и он долго чиркал, прежде чем закурить.

— Отвечай, когда спрашивают.
— Так точно. Я недоволен.
— Фрезе?
— Никак нет. Что же Фрезе?.. Бог с ним, с господином Фрезе...
— А чем? Отвечай.
— Да всем-с, Владимир Иванович...
— Толком говори, чем?
— Да помилуйте, как же мне быть довольным?.. Первое — окончательно нет доверия...
Володя остановился и сверху вниз, исподлобья, взглянул на Муху. Муха вызывающе, смело поднял хищное, как у птицы, лицо.
— Эй, Муха, смотри!
— Воля ваша, Владимир Иванович...
— Говори, что надо?
— Да что?.. О чем говорить-с?.. Языком и лаптя ведь не сплетешь...
— Я сказал: говори толком.
— Извольте... Наше дело маленькое... — Муха пожал плечами. — Коли требуете, я вам скажу. Я вам всю правду скажу... Денег, извините, на Подьяческой — двести тысяч... В Хапилове — двадцать пять... Итого, стало быть, двести двадцать пять тысяч... на бумаги, на револьверы, на бомбы, на лошадей, на то на се ушло тысяч сорок... Не так-с?.. Я считал...
Володя побагровел. Он начинал понимать, куда клонит Муха. Муха, опустив голову и выставив правую руку, поигрывая пальцами у себя за спиной, молча концом сапога постукивал по мокрой земле. Володя еще раз взглянул на него.
— Ты считал?..
— Так точно. Считал... Владимир Иванович, дозвольте же вас спросить, — разве я не вместе с другими?..
— Чего?
— Не вместе с другими работал, то есть, попросту говоря, извините, грабил? Был я на Подьяческой или нет?
— Ну?
— Ну-с, так воля ваша, за вами должок...
Но он не успел договорить. Володя, багровый, крепко сжав губы, не понимая, где он и что именно хочет делать, чувствуя, что кружится голова и что он сейчас упадет, широко размахнулся рукой и, схватив Муху за

воротник, стал трясти его, как былинку. Он видел, как напружилось посиневшее лицо Мухи и как злые, суженные глаза загорелись огнем. Задыхаясь от гнева и изо всех сил неистово тряся Муху, Володя хрипло повторял одни и те же слова:

— Как?.. Как?.. Как?.. Как ты смел?.. Как ты смел?..

Муха, с обезображенным злобой лицом, уперся ногами в землю и больно у кисти сдавил Володину руку.

— Пустите, Владимир Иванович.

Но Володя, если бы и хотел, не мог отпустить его. Он, не помня себя, забывая про Муху, про дружину и про террор, вымещал на нем все сомнения, всю тяготу, всю печаль, весь обман своих дней. Муха повторил на этот раз очень спокойно:

— Пустите, Владимир Иванович.

И когда наконец Володя, пошатываясь, отошел от него, Муха, оправляя смятый пиджак и кося глазами в сторону, на березы, с недоброй улыбкой сказал:

— Как угодно-с, Владимир Иванович...

— Знаю, что как угодно... — загремел, тяжело дыша, все еще багровый, Володя. — И чтобы духу твоего не было! Слышал?..

— Так точно. Слышал... Только как же так-с? Мокрый дождя, а голый разбоя не боятся... Как бы промашки не вышло-с?

— Какой еще к черту промашки?

— Да ведь, что же-с? Обидеть нетрудно... Нетрудно-с обидеть, Владимир Иванович... А только кто же за обиды будет платить-с? Мы люди маленькие, конечно...

— Не мели. Чего мелешь...

— Ничего-с... Счастливо оставаться... Прощайте!

Муха поднял картуз и, точно ничего не случилось, все такой же молодцеватой походкой, поблескивая оловянной серьгой, не торопясь пошел по дорожке. Володя устало сел на скамью. Он долго смотрел ему вслед. Зашумели верхушки елей, и глухо и часто застучал набежавший дождь.

«Продаст... — кольнуло что-то Володю. — Ей-богу, продаст». Он вскочил и, бегом догнав Муху, с силой рванул его за плечо:

— Эй, Муха, убью!

— Чего-с?

— Не чего-с, а убью!

— Воля ваша...

— Молчать! Со мной, ты знаешь — не шутки!..

— Я не шучу, Владимир Иванович, — жестоко и холодно, с расстановкой отвечал Муха и прищурил глаза. — Что вы-с? Какие шутки-с?

И, приподняв еще раз картуз, он быстро свернул в боковую аллею и скрылся в мокрой чаще.

XVII

Володя жил на Сретенке, в меблированных комнатах «Рим». В воскресенье, двадцатого октября, он утром вышел на Трубную площадь. Он спешил на Тверскую, на деловое свидание с Фрезе. Но он не свернул на бульвар, а через Неглинный прошел на Петровку и остановился у Дациаро. В последние дни он замечал что-то странное, необычно-тревожное, о чем упорно старался не думать. Казалось, кто-то зоркий следит, чьи-то ищущие глаза бесстыдно щупают плечи, бороду, руки, усы, кто-то хитрый ставит дерзкую западню. В пятницу в кофейной Филиппова он увидел высокого рыжего господина. Господин этот наспех, не раздеваясь, закусывал у буфета и украдкой озирался вокруг. Он был одет в английское клетчатое пальто. Вечером на Тверской Володя снова встретился с ним, а в субботу заметил его на Софийке, у окна сапожного магазина. С господином был еще малый в поддевке и картузе, с опухшим от пьянства лицом. Володя, стоя у Дациаро, искал их обоих: он чувствовал, что они караулят его. На Петровке их не было. Но на Кузнецком мосту, у Джамгаровского пассажа, мелькнула рыжая борода и заломленный на затылок черный картуз.

На завтра было назначено покушение. Володя ни на секунду не забывал о нем. Мелочные заботы, хлопоты и дела, недовольство дружиной, сознание разобщенности с нею, даже тягостный разговор с Мухой не ослабили привычной тоски, — предчувствия задуманного убийства. И здесь, на Кузнецком, уже понимая, что за ним следят по пятам, он не думал о сыщиках и тюрьме, а думал о губернаторе. Он не верил, что могут арестовать. Он привык к безопасности. Он привык, что его желание — закон, и не сомневался, что губернатор будет убит. Он медленно отошел от витрины. День был солнечный, голубой и холодный. Стучали колеса, говорливо шумела толпа, и у церкви Рождества Богородицы празд-

ничично звонили к обедне. В Фуркасовском переулке Володя услышал взволнованные шаги. Он оглянулся. Придерживая звонкую шашку и широко махая рукой, его догонял внушительный, толстый, в белых перчатках, пристав. Пристав недружелюбно, со страхом смотрел на него. На другой стороне, у дверей ресторана, не спуская с Володи глаз, стоял рыжий, знакомый по кофейне Филиппова, господин и рядом четверо молодцов, — Володя догадался — филеров. Только теперь, увидев строгое лицо пристава, Володя понял, что его арестуют. Но точно так же, как на Подьяческой, он не поверил в близкую смерть. Он не поверил, что здесь, на Лубянке, накануне решенного покушения, его вправе задержать неизвестные люди, что люди эти вправе его осудить и, осудив, спокойно повесить. Он чувствовал так много здоровья и силы, так ярко сияло солнце, так шумно было на улице, что мысль о смерти казалась бессмысленно-непонятной, малодушно жестокой. Но рыжий филер кивнул головой. Володя пришел в себя и, нащупав заряженный браунинг, уже твердо зная, что делать, опустив лохматую голову и спрятав правую руку в карман, угрюмо, угрожающе обернулся к толстому приставу.

Пристав, не доходя двух шагов, боязливо остановился. Опуская перед Володей глаза, он несмело, почти заискивающе, сказал:

— Господин Глебов, господин градоначальник вас просят...

Володя мельком, нахмурясь, взглянул на него. Пристав был бледен, и у него дрожал подбородок. И сейчас же, не рассуждая и не колеблясь, Володя уверенно поднял револьвер, выстрелил два раза в упор и, повернувшись, бросился бежать по Лубянке. Он услышал громкие крики, топот испуганных ног и, не понимая, что делает, чувствуя, что его настигают, и все еще не веря в опасность, кинулся в первый попавшийся двор. В темных воротах не было никого. Володя пересек длинный, незастроенный, заросший травою пустырь. В углу, у выбеленной стены, темнели штабели дров. Добежав до них, он наскоро оглянулся. В десяти шагах, догоняя его, запыхавшись и вспотев, бежал красный, с пьяным лицом филер. У него в руках был револьвер. Володя незаметным движением нажал послушный курок и, легко, по-юношески, вскочив на дрова, спрыгнул на землю и прижался всем телом к стене.

За дровами было темно и сыро. Пахло плесенью и

смолой. Жидкий солнечный луч скупо, пятнами освещал плечо и руки Володи. Володя на бегу обронил шапку, и его черные волосы спутались и упали на лоб. Покраснев от быстрого бега и еще не отдавая себе отчета, что именно с ним происходит, он по-прежнему в глубине души был уверен, что не могут, не смеют арестовать. И хотя сзади отвесно поднималась каменная стена, и двор наполнялся людьми, и уйти было некуда, эта мужественная уверенность ни на мгновение не оставляла его. Пригнувшись низко к земле, он торопливо вынул патроны и пересчитал их. Патронов было больше пятидесяти. Зарядив горячий, уже накалившийся браунинг, он разбросал сырые дрова и в узкое окошко увидел пустырь. У ворот суетились городовые, размахивал руками рыжий филер и щеголеватый жандармский ротмистр, волнуясь, отдавал приказания. Володя просунул в щель руку и, хотя до ротмистра было далеко — шагов тридцать пять, — выстрелил наудачу. Дрова густо заволокло синим дымом. Володя увидел, как городовые, толкая друг друга, суетливой толпой побежали назад. На чахлой траве осталось лежать чье-то большое тело. «О, будет вам на орехи...» — кривя губы, усмехнулся Володя и шире раздвинул щель.

Но как только он опять прикоснулся к холодным дровам, как только руки его еще раз ощутили скользкую плесень моха, болезненно-острое чувство овладело им. Это чувство было так сильно, что он невольно опустил браунинг и опять прижался к стене. Он стоял, расставив длинные ноги, и тупо, без мыслей, смотрел на сложенные дрова. Он понял, что не выйдет отсюда, из-за этих штабелей дров, из-за этой выбеленной стены. Он понял, что это — конец, неотвратимая и бесславная смерть. На мгновение он почувствовал легкий озноб, и у него внезапно похолодело в груди. Но он не испытал страха. Даже не было сожаления. Ольга, дружина, экспроприация, Муха, Фрезе, террор казались обманчивым сном. Точно все, что случилось — этот испуганный пристав, это высокое небо, этот накалившийся браунинг, эта каменная ловушка, — то предательски-неизбежное, чего он ждал каждый день. Точно не было жизни, точно она началась сегодня, здесь, на Лубянке на заросшем травой пустыре. Точно он, Владимир Глебов, Володя, родился единственно для того, чтобы притаиться, как зверь, за дровами и с браунингом в руках умереть. И зная, что часы его сочтены, и уже не веря в спасение, он думал

только о том, как бы дороже продать свою жизнь. «Все равно, — громко вслух повторил он, но не услышал своего голоса. — Зато будет им на орехи...» Из ворот, врассыпную, зигзагами, выбегали городовые. Володя выбрал одного, молодого, с тупым солдатским лицом, и, жалея патроны, целясь в лоб, между глаз, выстрелил только тогда, когда городовой был близко, шагах в пятнадцати от него. Стреляя, он с удивлением заметил, что пальцы дрожат.

Городовые повернули обратно. Володя, красный, с прилипшими ко лбу волосами, морщась от солнца, выглянул в щель. Ближе всех, почти у самой стены, лежал догонявший его филер. Он был в серой поддевке и лежал навзничь, ногами к дровам. Володя хорошо рассмотрел его грязные сапоги и стоптанные подошвы. Круглое, прыщеватое, раздутое пьянством лицо было как у живого, и едва заметно шевелились неостриженные усы. Далеко, шагах в сорока, гораздо правее, почти у самых ворот, по-детски свернулся жандармский ротмистр. Солнце сверкало на пуговицах его пальто. Третий, только что упавший городовой был смертельно ранен. Он сидел на траве, поджав худые колени, и, согнувшись, правой рукой хватался за грудь. Изо рта его текла алая струйка крови.

В воротах все стихло. Володя уже без надежды опять взглянул на стену, вверх. Стена была гладкая, без малейшего выступа, сажени в две высотой. Все так же морщась, он сел на землю, за дровами. Стреляя, он глубоко занозил себе палец, и от этого ныла рука. Он сидел, не шевелясь, не думая ни о чем, чувствуя, что уйти невозможно, и даже не пытаясь спастись. На земле валялись мокрые щепки. Он поднял одну, заостренную, длинную, с засохшей смолой по краям, и зачем-то помахал ею в воздухе. Вспомнилась юность, такой же широкий пустырь, такое же синее небо, такие же штабели дров, и он, веселый мальчишка, играет в лапту. «Славно играть в лапту», — с улыбкой подумал он и опять взмахнул мокрой щепкой. На сырой, размытой вчерашним дождем, земле было неприятно сидеть. Володя медленно приподнялся и, нагнув голову, нагибаясь огромным телом, пополз вдоль стены. Зачем он полз, он не знал. Он видел глинистую тропинку, полоску далекого неба и отсыревшие, поросшие мохом дрова. Теперь казалось, что он один, что полиция отступила и что его не найдут. Но вдруг часто, пачками, затрещали винтовки.

Зазвенели жалобно пули. «Не уйти», — подумал Володя. «Ладно, пусть не уйти...» И, неожиданно выпрямляясь, и уже не прячась, и открывая сильные плечи и грудь, он спокойно, почти равнодушно, из-за дров посмотрел на солдат. По околышу он узнал гренадер. Он прицелился и начал стрелять. Он стрелял беспрерывно, ежеминутно меняя кассетки и целясь тщательно каждый раз.

Долго ли он стрелял, — он не мог бы сказать. Он почувствовал, что его сильно ударило по плечу, точно хлестнуло кнутом. Сначала он не понял, что ранен, но рубашка намокла и на пиджак просочилась кровь. Не было больно, и Володя, не обращая внимания на рану, все так же открыто, на виду у солдат, продолжал свою отчаянную стрельбу. Внезапно выстрелы смолкли. Почернелый от дыма, в разорванном пиджаке, Володя наскоро вынул патроны. Их оставалось пять штук. И когда он увидел, что их осталось только пять штук, у него опять похолодело в груди и он отчетливо понял, что через три минуты конец. И вдруг не злоба, не раздражение, не гнев, а слепое и буйное бешенство яростно овладело им. «Меня повесят?.. Меня? Владимира Глебова?.. Повесят?.. Они?.. Вот эти?..» — с негодованием подумал он, и вспомнил о дружине и покушении: «Значит, губернатор останется жив... Значит, дружина погибнет». Он побагровел, и его расширенные зрачки налились кровью. Как в тумане, он видел, что к нему шеренгой подбегают солдаты. Но, не давая им добежать до себя, он выпрямился во весь свой огромный рост и, кудрявый, черный, рябой, без шапки, с искаженным гневом лицом, окровавленный, с дымящимся револьвером в руке, соскочив на землю, быстро пошел прямо на них. Он шел без веры в спасение, без надежды, что пощадят ему жизнь, сам не понимая, зачем он идет, повинуясь властительной силе, последнему напряжению защищающего себя, здорового, крепкого, не мирящегося со смертью тела. Володя был так громаден и страшен, такой жестокой решимостью блестели его глаза, так беспощадно чернело отверстие браунинга, что солдаты поколебались. Но один новобранец, невзрачный, с испуганными как у зайца глазами, зажмурился и присел и, не целясь, выстрелил из винтовки. Блеснул желтоватый огонь. Володя сделал еще один, неуверенный шаг. Колени его подогнулись. Стараясь сохранить равновесие, он сильно, наотмашь, откинул левую руку, пошатнулся и грузно, с размаху, упал на тра-

ву. Его тотчас окружили солдаты. Рыжий филер, в английском пальто, подошел, с любопытством посмотрел на него и слегка толкнул сапогом в бок.

XVIII

О смерти Володи Фрезе узнал в тот же день. Напрасно прождав два часа на Тверской, он вечером пошел на запасную «явку» — в трактир «Порт-Артур». Плавал прогорклый дым, гудела «машина», приказчики пили водку, и мастеровые, в шарфах и сапогах, ругались пьяными голосами. За соседним столом степенный купец, пыхтя и отирая лысину полотенцем, разговаривал с молодым мещанином.

— Ох-ох-ох... Грехи!.. Развелось ноне этих... Не приведи Бог, Царица Небесная... Житья вовсе нет... Кричат: свобода, свобода... А что толку? В чем дело? Из-за чего шум? Понять невозможно... Ну, так вот... Окружили его казаки. Однако генерал пожалел: «Сдавайся, говорит, не то погибнешь без покаяния...» Так что бы ты думал?

— Н-ну?

— Н-ну... Даже до удивления, сколько отчаянности в людях. Он генералу и говорит: «Покедова что Бог моим грехам терпит... Получай-ка гостинец...» И хлоп! На месте убил!

— Генерала?

— Его... Н-ну... Стали тут думать, как теперь поступить? Думали, думали, братец ты мой, да и решили: осторожного коня и зверь не берет... Привезли, значит, пушку. Из пушки давай пужать. Расстреляли его насквозь. Так ведь живучий какой: наземь упал, окровянился весь, дух из него вон, а туда же, руками машет: «Виват свобода!»

— Ах ты, Господи Боже мой!.. Жид?

— Какой жид... Наш, говорят, московский, купеческий сын... Володин, сказывают, ему фамилия, — вполголоса добавил купец и вздохнул.

Фрезе вздохнул. «О ком они говорят?.. Не может этого быть... Это ошибка», — бледнея, подумал он. Захотелось вмешаться, допросить подробно купца, но из «конспирации» он ничего не сказал и, подозвав полового, расплатился и вышел. Сеял зябкий, лукавый дождь; было холодно и темно; скупо мигали огни, и не вери-

лось, что Володя не пришел на свидание. «Вздор... Что за глупый рассказ...» — махнул рукой Фрезе и, не зная куда идти, свернул на Никитский бульвар. «А как же, Господи, губернатор?.. Ведь завтра в десять часов...» — вспомнил он, и сейчас же остановился. Навстречу бежал мальчишка, рваный, в заплатанном картузе, с пачкой вечерних газет:

— Барин! Купите! Особенно интересно! Смерть разбойника Глебова!..

Фрезе у фонаря развернул еще влажный лист и, дрожа от волнения, бегло прочел газету. Длинный, прямой, в коротком черном пальто, с белым газетным листом в руках, он несколько минут стоял неподвижно. Он считал себя спокойным и решительным человеком. Именно он заряжал для дружины бомбы. Именно он на Подьяческой сберег в целости все мешки. Именно он застрелил агента охраны. Именно он обдумал киевское убийство. Именно он был правою рукою Володи. Он гордился своим хладнокровием, своей «невозмутимою» силой. Но здесь, вечером, под дождем, у мокрого фонаря, он почувствовал, что мужество оставляет его. Он не мог верить, что Володя убит и что дружина осиротела. Он не мог верить, что террор побежден. Он не мог верить, что он, Герман Фрезе, остался один, без помощи и совета. И, согнувшись, точно став ниже ростом, и по-стариковски волоча ноги, он разбитой походкой, нехотя побрел на Арбат. На Арбате было светло «Эй... Эй... Поберегись! Берегись!..» — услышал он громкий окрик. Сытый лихач обрызгал его липкою грязью. Фрезе старательно вытер грязь рукавом и от этого простого движения внезапно пришел в себя. «Как мне не стыдно... Ежели Володя убит, значит, покушения не будет... Ежели он убит, значит, за дружиной следят, значит, за мною следят... Значит, я обязан предупредить... обязан спасти...» Он быстро, ускоренным шагом, повернул на Тверскую. На Тверской, в гостинице «Княжеский Двор» жила Ольга.

Поднимаясь по лестнице мимо величественного швейцара и услужливых казачков, он почувствовал на себе нескромные взгляды. Показалось, что в ярко освещенном подъезде у стеклянных дверей караулят филеры и что на улице чересчур много и городовых. «Неужели Ольгу арестовали?» — расстегивая пальто, спросил он себя и, опустив руку в карман, аккуратно взвел браунинг. «Все равно... Я обязан предупредить».

Он постучался.

— Войдите.

Узнав голос Ольги, Фрезе с облегчением вздохнул. Не раздеваясь, он сел у стола. Он хотел говорить, но Ольга предупредила его. По тому, что он пренебрег «конспирацией» и пришел к ней в гостиницу, на дом, и по тому, что он, потупясь, молчал, Ольга поняла, что случилось что-то ужасное, чему она не может, не в силах поверить, чего еще никогда не было до сих пор. И, крепко прижимая белые пальцы к груди и медленно приподнимаясь со стула, она слабым и жалким, зазвеневшим мольбою голосом сказала:

— Володя?

Фрезе подал газету.

— Я должен вам сообщить, Ольга Васильевна, весьма печальную новость...

Она испуганно взглянула на его немецкое, узкое, точно высеченное из камня лицо: Фрезе увидел, как у нее задрожали губы и запрыгали румяные щеки. Прочитав извещение, она выронила газетный лист и, все так же прижимая пальцы к груди, неожиданно зашаталась, схватилась рукою за дверь и бессильно упала на стул. Где-то далеко, в другом конце коридора, кто-то шумно заиграл на рояле.

Фрезе встал и прошелся по комнате.

— Вот что, Ольга Васильевна... За нами следят. На улице я заметил филеров. Необходимо подумать о том, как уйти... Вы слушаете, Ольга Васильевна?.. Послушайте же меня... Ежели вы не сознаете опасности, мой долг вам ее указать... Да, указать... Необходимо подумать о дружине... У вас лежит семь кило динамита и бомбы. Ежели вас арестуют, то и их арестуют. Позвольте, я их возьму...

Ольга не понимала, что он ей говорит. Она слышала ровный, твердый, размеренный голос. Казалось, что в комнату залетела неугомонная черная муха и жужжит, жужжит не переставая. Она с усилием полуоткрыла глаза. Фрезе ходил по комнате, длинный, тонкий, как трость, прямой, в коротком черном пальто.

— Я не понимаю, о чем это вы?.. О чем?..

— Я говорю: позвольте мне динамит. Вы за него отвечаете. Я отнесу в безопасное место. А сами, будьте добры, уезжайте немедленно. Я полагаю, немедленно.

Теперь казалось, что это ходит не Фрезе. Казалось, что качается узкий острый металлический маятник.

Качнется вправо и потом неторопливо, ровно и твердо, влево. Вправо и влево.

— Я не уеду...

— Как можете вы так говорить? Вы не имеете права так говорить. Дело — прежде всего. Ежели за вами следят, то вас арестуют. Вас арестуют сегодня ночью, может быть, через час. Ежели вам это известно, то вы обязаны поступить так, как я говорю, то есть обязаны отдать динамит и уехать...

Она почувствовала, что кружится голова.

— Я не уеду...

— Я полагаю, Ольга Васильевна...

— Вы слышали: я не уеду...

— Ольга Васильевна...

Она собрала последние силы и уже с ненавистью взглянула ему прямо в глаза.

— Послушайте, Фрезе... Спасибо вам за вашу заботу. Но знаете что... Знаете что... Голубчик, умоляю вас, оставьте меня одну...

Фрезе пожал плечами и поморщил белый, на висках лысеющий лоб. Ему казались возмутительными ее слова. Дружина была в опасности, покушение не удалось, а она думала о себе, о Володе, о своем женском, сердечном горе. Он пристально посмотрел на ее круглое, бабье, потемневшее внезапно лицо.

— Я понимаю, Ольга Васильевна... Ежели вы думаете, что я не понимаю, вы ошибаетесь... Но я убедительно вас прошу: уезжайте скорее отсюда. Ежели вы не уедете, то вас наверное арестуют...

Назойливо, однозвучно, назойливее, чем раньше, зажужжала летняя муха, закачался стальной, неумолимый, размеренный маятник. Ольга, не владея собой, чувствуя, что сейчас хлынут слезы, что она не в силах слушать и говорить, что никакие слова не тронут, не могут тронуть ее, тем же слабым, звеняще-пронзительным голосом, каким она спрашивала о Володе, крикнула Фрезе:

— Уйдите! Уйдите! Уйдите!

Она закрыла руками лицо. Фрезе растерянный стоял перед ней, не зная, что делать, не зная, как заставить ее уйти. О себе он не думал. Он понимал, что следят и за ним и что его тоже могут арестовать. Но он давно решил, что его повесят, и не испытывал страха. «Моя обязанность спасти Ольгу, — думал он. — Да, обязанность... Мой долг члена дружины...»

— Ольга Васильевна...

— Вы еще здесь?

— Um Gottes Willen... [1] — волнуясь и переходя на немецкий язык, заговорил Фрезе, — Ольга Васильевна...

Когда он, сумрачный, сердитый на Ольгу и на себя, спускался по лестнице, он опять заметил филеров. У подъезда, на улице, стоял околоточный надзиратель и с ним казачий, одетый по-походному, офицер. Околоточный надзиратель подозрительно посмотрел на Фрезе. Шел дождь. Вдоль намокшего тротуара вереницей уныло светились огни фонарей. Красная площадь была пуста, тонул во мраке Василий Блаженный, Фрезе медленно прошел в Кремль и остановился у памятника Александру II. Схватившись за железную цепь и прижавшись щекой к холодному камню, он долго, не шевелясь, смотрел на сонную, в темноте раскинувшуюся Москву. Над ним величаво чернела статуя царя. Где-то вдали грохотали колеса. Было тихо, и без роздыха сеял дождь. На Тайницкой башне пробило двенадцать часов. Фрезе вздрогнул и, согнувшись, опять беспомощно волоча ноги, повернул обратно к Тверской. У подъезда гостиницы «Княжеский Двор» уже не было никого.

XIX

Когда за Фрезе захлопнулась дверь и Ольга осталась одна, ей неудержимо захотелось смеяться. Не в силах бороться с собой, она залилась звонким, всхлипывающим, визгливым смехом. Щеки ее тряслись, голова билась о спинку стула, и зубы стучали. «И я могла... могла... могла поверить ему... Могла поверить, что Володя убит... что Володя убит...» — громко, сквозь смех повторяла она. Мысль, что Володя расстрелян, что его уже нет в живых, что в полицейском участке валяется его труп, казалась такой бессмысленной и нелепой, такой неправдоподобной, безжалостной и смешной, что хотелось вернуть несчастного Фрезе, обласкать и успокоить его. Она знала, что Володю рано или поздно повесят. Она часто пыталась вообразить его смерть. Она не раз утешала себя, что умрет вместе с ним. Но теперь, когда Володю убили, когда случилось наконец то, к чему она

---

[1] Боже мой... *(нем.)*

готовилась каждый день, — спокойствие изменило ей. И обняв спинку стула руками, и содрогаясь полной грудью, и захлебываясь от смеха, и втайне веря, что Володя услышит ее, она выкрикивала любимое имя:

— Володя!..

Ее смех был так жалок и так жесток, что ей стало страшно. «Кто смеется?.. Чему?» — прошептала она и, подавляя рыдания, чувствуя, что все так же не повинуются зубы и стучат мелкою дробью, низко всем телом, точно от боли, нагнулась к полу. На пыльном ковре белела газета. Она осторожно развернула ее. В заголовке стояли крупные буквы: «Смерть разбойника Глебова». Уже почти владея собой, она внимательно, сухими глазами, перечла всю статью. Не было, не могло быть сомнения: Володя был расстрелян сегодня, в воскресенье, 20-го октября, на Лубянке, во дворе лесопромышленника Пыжова. Она положила газету на стол, разгладила измявшуюся страницу и встала. За желтою ширмой виднелась кровать, и под кроватью чемодан с динамитом. Ольга вспомнила, как Володя принес первые бомбы. Вспомнила рябое, бородатое, улыбающееся лицо, большие, сильные руки, поддевку и серебряную цепочку часов. Вспомнила голос, неторопливый и властный, по-московски певучий. Вспомнила обручальное, подаренное ею, кольцо. Вспомнила твердые, решительные шаги. И как только она это вспомнила, краской вспыхнули ее щеки и стало стыдно мучительным и горьким стыдом. Она увидела себя рядом с Володей, на «конспиративной» квартире, когда он, истомленный, полный сомнений, вернулся после баррикад из Москвы. Она услышала свои, лишенные смысла, слова, которые он снисходительно слушал: «Надо быть сильным... Сильному позволено все... Не надо бояться... Бездна верха и низа... Это я говорила ему?.. Я осмелилась ему говорить о мужестве и о силе, о каких-то, Господи, безднах?» Она стояла посреди комнаты, в изнеможении опустив руки, со слезами на покрасневших глазах, и, не отрываясь, смотрела на чемодан. Чемодан был кожаный черный, в дырявом полотняном чехле. «Кому нужны теперь бомбы?» — с отчаянием, вслух, спросила она и, закрыв руками лицо, бросилась на кровать. В дальнем конце коридора кто-то играл на рояле. Слащавый тенор, фальшивя, запел французский романс.

«Si tu m'aimais... Si l'ombre de ma vie-e...» [1] — запекшимися губами, не узнавая своего голоса, повторяла Ольга надоедливые слова. Внезапно озябли ноги, и усталое тело заныло тупою болью. Она спрятала голову под подушку. Казалось, что жизнь расколота на две неравные части и что впереди не может быть ничего. «Это сон... нет, это сон... Я проснусь...» — кусая до крови губы, твердила она. Почудилось, что скрипнули двери и по ковру зашуршали ноги. «Неужели Володя?.. Да, конечно, Володя... Он придет... Как может он не прийти?» — приподнялась она на кровати. В комнате не было никого. Холодно сиял голубоватый рожок, просвечивала кисейная ширма и сильно пахло динамитом, аптекой. И хотя Ольга видела, что нет никого, и хотя знала, что двери закрыты на ключ и что Володя мертвый лежит в участке, она потянула тонкие руки и закинула вверх голову, зашептала быстро и горячо: «Ты пришел? Да?.. Скажи... Ведь ты пришел? Почему ты молчишь?.. Нет, не мучь же меня, скажи... Ты знаешь, как я люблю... Ты ведь веришь в мою любовь?.. Ты веришь мне? Веришь? Ты ведь любишь меня?.. Посмотри, я одна... Мне страшно... Володя... Володя... Володя...» Тенор в коридоре умолк. Стало жутко и тихо.

Неожиданно вспомнилось детство. Благовещение. Благовест. Тает снег. Журчат на солнце ручьи. Она девочка, в коротенькой бархатной шубке, идет с отцом от обедни. Отец дряхлый, сгорбленный, добрый старик. Она крепко держится за николаевскую, пропахшую табаком шинель. Ей весело: блещет ясное небо, беззубым ртом смеется отец, и она беззаботно хохочет. «Нет, это сон... это сон... Si tu m'aimais... Si l'ombre de ma vie-e...» Опять заныла тупая боль. Захотелось кричать, кричать громко, долго, всею грудью, кричать так, чтобы слышали все, чтобы услышал Володя. Вспомнила, как молилась ребенком. Темные своды. Нагоревшие свечи. Запах ладана. Херувимская песнь. «Молиться... Господи, если бы молиться... Господи, научи...» Она глубоко зарылась в подушки. «Все равно... Все — все равно...»

Вдруг точно что-то толкнуло ее. Она открыла глаза и опустила ноги с кровати. Только теперь она поняла, что означает Володина смерть. Она поняла, что никто не поможет ей, что окончена жизнь и что это непоправимо.

---

[1] Если ты меня любишь, если тень моей жизни... *(фр.)*

«Значит, не нужно жить...» — прошептала она. Волосы ее расплелись. Лениво, в раздумье, не отдавая себе отчета, она начала их заплетать. Не докончив косы, она встала и колеблющимися шагами, не веря себе, не веря в свое решение, еще надеясь на Божье чудо, подошла к зеркальному шкафу. Между перчатками и бельем нащупала браунинг. Взяв в руки, она долго рассматривала его. Браунинг был карманный, маленький, купленный Фрезе. «Ежели вы сомневаетесь, что он бьет хорошо...» — вспомнились медлительные слова. Она усмехнулась и несмело нажала предохранитель. Щелкнула слабо пружина. И в ту же минуту Ольга поняла, что ей страстно хочется жить, что смерть не нужна, нежеланна и ненавистна, что еще много дней впереди и что ее неутешное горе пройдет. И, чувствуя, как опять зябнут ноги и как становится трудно дышать, она быстро, украдкой, положила револьвер на стол, точно боясь, что он выстрелит сам собою. По привычке она взглянула в зеркало. Увидела круглое заплаканное лицо, растрепанную прическу и простое черное платье. «Вот я... А Володи нет...» — громко сказала она. И, не рассуждая, не понимая, что делает, опять потянула руку. «Да, не нужно... Не нужно жить...» Ее пальцы ощутили холодную сталь. «Володя... Володя... Володя...» Она прижала револьвер к груди, но тотчас же опустила его. В дверь постучались. Стук был громкий и смелый. «Неужели Фрезе?.. Ах, Боже мой, ну зачем... Зачем опять Фрезе?»

С браунингом в руках она нехотя подошла к двери и с досадой сказала:

— Кто тут?

— Телеграмма-с... — ответил лакейский голос.

— Телеграмма? Отдайте мне завтра.

— Никак нет. Попрошу отворить.

За дверью звякнули шпоры. Было слышно, как кто-то с сердцем сказал:

— Чего ее слушать? Ломай... Барышня, отворите...

Ольга поняла, что это не Фрезе. Но она плохо сознавала, кто стучит и зачем. Она забыла, что ее могут арестовать, что ее арестуют наверное и что арест — виселица и смерть. И, как дитя, легкомысленно презирая опасность, отмахиваясь от неотвратимой судьбы, боясь признаться, что нет спасения, она настойчиво повторила:

— Завтра.

Опять зазвенели шпоры, и уже другой, повелительный голос сказал:

— Сударыня, именем закона. Полиция. Отворите.

Только теперь, услышав слово «полиция», Ольга поняла, что неизбежно погибнет. «Если полиция — значит, конец...» — мелькнула запоздалая мысль. И стало жалко свободных дней, когда они делали красный террор — святое и великое дело. И ясно, точно это было вчера, вспомнилась залитая солнцем Подьяческая, серый в яблоках рысак Прохора, холщовые полные денег мешки, строгие глаза Фрезе, окровавленные лошади и огромный, резкий в движениях, с сердитым лицом Володя. Вспомнилось, как проворно он выбрасывал из карет деньги и как она прятала их под фартук в пролетку. Вспомнилось, как вечером в тот же день Володя, радостный и веселый, считал у нее на квартире добычу. Даже послышался серебряный звон. Даже показалось, что она видит золото и бумажки. Двери ломали. Под тяжелым плечом трещала деревянная рама. Кто-то грубо ругался. «Ломай... Ломай... Вороти...» Ольга быстро отошла от дверей к окну. Желтели кисейные ширмы, горел голубоватый рожок, и на зеленом столе белела газета: «Смерть разбойника Глебова». Ольга тесно прижалась в угол, между столом и зеркальным шкапом. Она уже не думала о Володе, и ей уже не было жалко себя. Высокая, в черном платье, с утомленным бабьим лицом, опираясь затылком о стену, она большими глазами, не мигая, смотрела на дверь. И вдруг, сощурив глаза и наморщив темные брови, зачем-то сдерживая дыхание, подняла маленький синий браунинг и приставила дулом к груди. «Все равно... Все — все равно...»— в последний раз прошептали побледневшие губы. Ни секунды не медля, она сильно нажала курок. Пополз серый дым...

Когда, бренча саблей, в комнату вошел жандармский полковник и за ним толпой вбежали филеры, Ольга, точно живая, лежала грудью вверх и головою к окну. Глаза ее были закрыты, волосы растрепались, и крови не было видно. На ковре валялся еще дымившийся браунинг.

XX

В Болотове о смерти Миши узнали только на святках, из запоздалых столичных газет. Николай Степанович заперся в своем кабинете, не ел, не спал и не выхо-

дил трое суток. Кучер Тихон ездил за доктором в уездный город Зубков, но Николай Степанович рассердился, раскричался на Тихона и Наташу и не велел пускать «дурацкого» доктора «на порог». Наташа, удерживая рыдания, перебегала на цыпочках от кабинета отца к спальне матери: Татьяна Михайловна плакала целые ночи и, седая, старая, в несколько часов одряхлевшая, в ночной белой кофте, с жидкими косами когда-то черных волос, не вставая с колен, молилась перед озаренными лампадою образами. В доме жизнь расстроилась и затихла. Горничные Лукерья и Даша, без дела, зевая, скучали в людской. Управляющий, Алексей Антонович, лысый, толстый и бородатый, приходил, снимал шапку, шепотом спрашивал о здоровье, с сокрушением вздыхал, крестился и осторожно, стараясь не скрипеть сапогами, шел обратно в контору. Маланья Петровна, востроносая, с мышиными глазками, ключница, шурша накрахмаленной юбкой, бегала без толку в людскую, на кухню, в столовую, в спальню, охала, суетилась, шепталась и умоляла Наташу «пожалеть свою красоту и идти спать». На четвертый день пришел благообразный, с густыми рыжими волосами и наперсным крестом немолодой священник о. Василий и с ним пьяница дьячок Агафон. В двухсветном с колоннами зале сладко запахло ладаном, заструились голубоватые волны и желтым огнем загорелись, как спички, тонкие восковые свечи. Навзрыд рыдала и билась о пол Татьяна Михайловна, и Николай Степанович, осунувшийся, прямой и сосредоточенно строгий, в генеральском, с погонами, сюртуке, не мигая и не крестясь, тупо смотрел на дымящееся кадило и жиденькую бородку дьячка. А потом жизнь вошла в обычную колею, и потянулись хмурые и печальные, хромоногие дни. Только сгорбилась спина у Татьяны Михайловны, да Николай Степанович стал раздражительнее и резче. А от Андрея, как и всегда, не было писем.

В мае, когда зацвели ландыши и в лесу заголубели фиалки, а в полях закудрявился зелено-бледный овес и поднялась волнистая озимь, вернулся из японского плена старший сын Александр. Его приезд оживил мертвый дом, но не заставил забыть о семейном горе. Часто с материнским вниманием разглядывая его крепкое, загорелое, с твердым подбородком лицо, черные, коротко остриженные усы, молочно-голубые, чуть-чуть насмешливые глаза, очень широкие плечи и узкие, почти женские, с длинными пальцами, кисти рук, Татьяна Михай-

ловна забывала, что это он, Александр. Ей казалось, что она видит восемнадцатилетнего Мишу, своего румяного, голубоглазого, неизменно веселого и беспричинно счастливого мальчика. Она поспешно вставала с дивана и неровной походкой, покачиваясь и избегая смотреть на Наташу, уходила в полутемную, пропахшую лекарствами спальню и по-старушечьи, тяжко била поклоны, шептала молитвы и потом не могла уснуть долгую ночь.

Николай Степанович, волнуясь и горячась, подробно расспрашивал сына о Рожественском, об эскадре, об японцах и о Цусимском бое, бранил начальство, бранил революционеров, вспоминал победоносное прошлое, турецкую войну, Скобелева, Шейново и Зеленые горы и с гордостью показывал солдатский Георгиевский крест. Александр слушал серьезно и молча, не возражая, но и не соглашаясь, точно не смея перечить отцу. По внешнему виду он был такой, как всегда, — непроницаемый и спокойный, ласковый, неразговорчивый и простой. И ни Татьяна Михайловна, ни Николай Степанович не замечали в нем перемены, того неуловимого нового, что — он сам боялся признаться себе — волновало его после Цусимского боя. Наташа часто видела из окна, как, заложив за спину руки, в белом кителе и черной фуражке, он часами ходил по саду, и казалось, что он думает о чем-то значительном и тяжелом, решает что-то и не может решить. С привычною, взращенною с детства боязнью она неслышно подходила к нему и молча шла рядом, тонкая, беловолосая, в белом платье и белом платке. Александр, увидев ее, хмурил брови, точно стараясь отогнать неотвязные мысли, и рассеянно заговаривал о близком, домашнем — о матери, об отце, о Маланье Петровне, о том, что ветер поломал в саду розовый куст, что дорожки заросли сорной травой, что отцветает сирень, и, помолчав, звал кататься верхом. И Наташа, заглянув в холодные, молочно-голубые глаза, послушно приказывала Тихону седлать лошадей.

Иногда Николай Степанович не выдерживал и, томимый тоской об Андрее, начинал длинно и горячо говорить об «изменниках», «волосатиках», о непочтительных сыновьях, о том, что люди теперь пошли новые, что они не любят отечества, не повинуются власти, не молятся Богу и что надо положить революции конец. Никто не пытался ему возражать. Татьяна Михайловна с огорчением, безмолвно покачивала седой головой, Наташа умоляюще, в тревоге смотрела на разгневанного отца, Алек-

сандр хранил такое загадочное молчание и так неохотно поддерживал разговор, что Николай Степанович однажды сурово посмотрел на него и сказал:

— Что же ты молчишь, Александр?.. Разве ты не согласен со мною?

— В чем согласен, папаша?

Николай Степанович встал и, высокий, грузный, со старческим румянцем на бритых щеках, прохрипел раздраженно:

— Я говорю про этих... Про господ революционеров... Про бунты... Про Потемкина... Про Очаков... Про память Азова... Про восстание... Где? В Москве... Подумай: в Москве! — Он, неожиданно, по-детски беспомощно всхлипнул. — Про убийства подлые, да, про убийства... Про то, что гибнет Россия!

— Я этих дел не знаю, папаша, — сказал Александр и отвернулся к окну.

— Не знаешь? Не знаешь?.. А в Японии что было? Что было в Японии? В Японии на глазах японских солдат книжки читали, пропаганду распространяли, без совести, без стыда... Ты сам мне об этом говорил... Или не говорил? Нет?..

— Да, все это было...

— Ну, вот, вот... Вот видишь, а ты отвечаешь: не знаю... Что же ты — не офицер российского флота? Не защитник отечества?.. Или, может быть, тебе все равно?.. Пусть гибнет Россия... Пускай Мишу, — Николай Степанович всхлипнул опять, — пускай Мишу... Это как?.. Кто же виноват в этом?

Наташа испуганно взмахнула руками. Татьяна Михайловна встала с дивана и, горбясь и приседая, медленно вышла из комнаты. Александр подумал секунду и, примирительно улыбаясь, сказал:

— Все это, действительно, ужасно, папаша...

— Ну-ну... А я про что же и говорю?.. — успокаиваясь и жалким, растерянным взглядом оглядываясь кругом, заторопился старик. — Я про это и говорю: поистине ужасно!.. Ужасно!.. А кто виноват? Кто?..

В сентябре кончался отпуск у Александра. Дни стояли ясные и беззвучные, летающей паутиной подернулись скошенные поля, и в пожелтелых липовых рощах завизжали и залаяли гончие и протрубил медный рог. Целыми днями Александр пропадал на охоте, а по вечерам все собирались в бильярдной. За окном свистел ветер, шумели буйно березы. Наташа хлопотала у самовара, и в ком-

нате было тихо, светло и немного грустно. Приходил благообразный, в коричневой рясе о. Василий, садился в глубокое кресло, пил чай с коньяком и вздыхал. Татьяна Михайловна шила, а отец с сыном играли на бильярде.

Однажды вечером, в воскресенье, Николай Степанович играл с Александром. В расстегнутом сюртуке, испачканный мелом, румяный и грузный, он низко нагнулся к столу и морщинистой, но еще верной рукой прицелился и ударил. Шар, звеня, нырнул в плетеную лузу.

— Каково? — с застенчиво-самодовольной улыбкой обернулся он к сыну и стал мелить тонкий кий.

— Прекрасно играете, ваше превосходительство, — растягивая слова и поправляя наперсный крест, негромко сказал о. Василий. — И молодым не сравняться.

Александр поклонился. Он играл так старательно и так плохо, что Наташе казалось, что он нарочно проигрывает отцу. И она с благодарностью, робко кивала ему головой, но, встречаясь с неулыбающимися глазами, краснела и в смущении опускала ресницы. О. Василий почтительно кашлянул и полушепотом, обращаясь к Татьяне Михайловне, продолжал только начатый разговор:

— И не поверите, матушка, Татьяна Михайловна, совсем в расстройство пришел и, заметьте-с, отбился от рук мужик... В церковь не ходит, отца духовного не чтит, дерзостен стал и груб. Давеча еду я из Курбатова. Только, знаете, свернул на большую дорогу, гляжу — Ванька-пастух...

— Это который? — прицеливаясь кием и не отводя глаз от гладко-зеленого освещенного лампами поля, спросил Николай Степанович. — Хромой?

— Он... Он, ваше превосходительство... Хромой... Что же вы думаете? А? — О. Василий приостановился, приподнял нависшие брови и всплеснул в негодовании руками. — Не смею вам даже сказать... Стоит посреди дороги и совершает, извините меня, неприличие. Я ему говорю, увещевать его начал: «Что же, говорю, не видишь разве ты, что твой духовный отец едет...» А он, заметьте-с, как захохочет и такое сказал, такое... Не могу повторить...

Татьяна Михайловна не подняла головы. Николай Степанович сильно стукнул кием.

— Что же он, мерзавец, сказал?

— А и сказал, ваше превосходительство, — красный от гнева почти крикнул о. Василий: — «Проваливай, пока

цел, долгогривый...» Вот что сказал... А, как это вам понравится? А?..

— Вешать! — багровея, сиплым басом отрубил Николай Степанович. Александр потупился и закурил папиросу. На минуту в комнате воцарилось молчание. Было слышно, как жалостно звенит самовар да бьются ветви в темные окна.

— Кто-то едет... — вставая и выходя на крыльцо, сказала Наташа.

На дворе неистово заливались собаки, отрывисто лаял мохнатый дворняга Шарик и тонко и часто повизгивала любимая Мишина сука Веста. Колес не было слышно, но в ночной тишине звонко перекликались мужицкие голоса, и между деревьями перебегали огни. Потом заскрипели ворота и хлопнула дверь. Вернулась Наташа и подала телеграмму. На желтоватом листке стояли четкие буквы:

«Андрей арестован. Суд четверг. Торопитесь свиданием. Защитник Иконников».

О. Василий засуетился, нашел свою широкополую шляпу и, не прощаясь, крадучись, боком вышел на двор. Не умолкая лаяли псы.

XXI

Камера № 17, в которой Болотов содержался, была мрачная со сводами комната старинной, прочной, петровской постройки. Узкое, забранное решеткой окно выходило на стену, высокую, серую, с облупленной штукатуркой и пятнами обнажившихся кирпичей. Кое-где между красными кирпичами ютился чахлый, зеленого цвета мох, и наверху, у самого края, вырос кудрявый бледно-фиолетовый колокольчик. В крепости не было солнца. Было сыро, темно и тихо. Могильная тишина истомила Болотова в первый же день.

Болотов крепко спал, когда загремел железный засов, щелкнул ключ и, стуча каблуками, вошли в камеру двое солдат. Одного, старика жандарма, с белой трясущейся головой, Болотов видел раньше: когда он, израненный и избитый, в окровавленной поддевке, еще не понимая, куда его привезли, пришел в себя в крепостном коридоре, на холодном и мокром полу, этот жандарм помог ему встать и принес горячего чаю. Другой был гарнизонный ефрейтор, сухощавый и длинный, с жилистой

шеей и тупым угрюмым лицом. Он вплотную подошел к койке, наклонился над Болотовым и, обдавая его запахом водки и табака, грубо сказал:

— Одеваться!

Сразу стало неприятно и жутко. Было неприятно не то, что двери закрыты на ключ, и что караулят жандармы, и что чужие, одетые и вооруженные люди как к себе домой приходят к нему, неодетому и не желающему их знать, и даже не то, что на сегодня назначен суд. Было неприятно, что солдат так сердит и дерзок и что у него надменные и злые глаза. «Ведь я за них, а они не понимают... Не хотят понимать... Супрыткины... Да...» — тяжело вздохнул Болотов, надевая изорванную поддевку и думая о суде. И хотя он знал, что его наверное осудят, ему неправдоподобным казалось, что сегодня, в четверг, какие-то неизвестные, но имеющие власть офицеры, поспорив для приличия между собой, вынесут приговор, то есть скажут и на бумаге напишут, что его, Болотова, нужно убить. «Они повесят меня... Смешно», — краем губ усмехнулся Болотов и стал вспоминать приготовленную с любовью речь. Здесь, за тюремной решеткой, в одиночестве безгласных ночей, стерлись все обиды и разногласия. Казалось, что Арсений Иванович, и доктор Берг, и Вера Андреевна, и дружина, и комитет, и вся партия — одна неразделимая, живущая общею жизнью семья и что он, Болотов, обязан не только бестрепетно умереть, но и доказать ее силу. Эти мысли поддерживали его. В них он черпал мужество, успокоительное сознание, что исполняет свой долг. И теперь, собираясь на суд, он повторял себе то, что скажет там, среди «непримиримых врагов», «во вражеском стане», «одной ногой уже стоя в могиле». Он поднялся с койки, вызывающе взглянул на солдат. Длинный ефрейтор все так же надменно смотрел на него. Старый жандарм затряс головой.

— Господин, картузик забыли...

В темном и гулком сводчатом коридоре выстроился взвод гвардейских солдат, с винтовками и примкнутыми штыками. Пахло казармой, махоркой и потом. Молоденький, подпоясанный серебряным кушаком, офицер, не глядя на Болотова, звякнул шашкой и громко сказал:

— Шагом марш!

И когда он это сказал, и размеренно засуетились солдаты, зазвенели винтовки, и повторенный эхом раздался тяжкий и звонкий шаг, Болотов неожиданно понял, что его предсмертная речь неубедительна и никому

не нужна. Он почувствовал, что все эти люди, начиная со стройного офицера и кончая неуклюжим детиной, который шел по правую руку и искоса, равнодушно посматривал на него, делают обычное, скучное, давно надоевшее дело. Он почувствовал, что для них он — не Болотов, не член партии, не освободитель России, не убийца ненавистного прокурора, а один из тех казенных предметов, которые нужно караулить, беречь, водить в баню и в суд и сдавать под расписку. И он уже знал, что если завтра его повесят, — не только выученные солдаты, но Супрыткин, Стрелов и Порфирыч, может быть даже Арсений Иванович, доктор Берг и Вера Андреевна, никогда не вспомнят о нем. Потупив голову, он послушно пошел на суд.

Раньше, на воле, когда он думал о суде и аресте, ему казалось, что его ожидает что-то огромное, страшное, что-то такое, к чему надо готовиться молитвенно и прилежно, что потребует нечеловеческих сил и послужит мерою жизни. Теперь он увидел, что тюрьма, арест и унылое ожидание смерти гораздо проще, обыденнее и серее, чем пишут и говорят. Бастионные, поросшие мохом стены, одинокий полевой колокольчик, каменный пол, «глазок», обед в двенадцать часов, дряхлый, с трясущейся головой жандарм, молоденький подпоручик и идущие в ногу солдаты были так просты, так казарменно скучны, так лишены торжественности и блеска, что не приходило в голову испугаться. Было только немного жутко и, главное, странно, что его ведут по пыльному коридору, что позвякивают штыки и что кто-то чужой распоряжается его жизнью. Но и это чувство не пугало его.

Снова щелкнул железный замок. Болотов вышел в пятиугольный, мощеный, с чахоточным цветником, чисто прибранный двор. Блеснуло синее небо, нежаркое солнце, и зачирикали воробьи. Потянуло на волю, как весною тянет в поля. Стало тоскливо и грустно. Захотелось увидеть Неву, Ваню и Ипполита, окно табачного магазина и многошумный Литейный проспект. Но его желание погасло так же внезапно, как и пришло. Перед дубовой некрашеной дверью солдаты остановились и офицер крикнул:

— Смирно!..

Комната, где происходил суд, была низкая, с портретом царя и большим зеленым столом. Болотов сел на скамью. Рядом с ним, слева и справа, бесстрастно вытя-

нулись солдаты, и все тот же круглолицый детина, примкнув винтовку к ноге, по-прежнему не спускал с него глаз. В углу, у дверей, наклонив набок голову, что-то быстро писал жандармский полковник. Было тихо, жужжала залетевшая муха, да поскрипывало перо. «Скорей бы... Скорей...» — подумал Болотов с раздражением и вдруг вспомнил, что было вчера. Он вспомнил, как, шатаясь, вошла его мать и как другой жандармский полковник, от которого пахло духами, предупредительно пододвинул ей стул. Он вспомнил, как она, поседевшая, старая, в черной косынке, протянула бессильные руки, как затряслась ее грудь, как прерывисто дышала Наташа и как он, растерянный, удерживая рыдания, сам не зная, что говорит, повторял одно короткое слово: «Не плачь... Не плачь... Не плачь...» Но полковник зазвенел саблей и поклонился: «Свидание кончено... Увести...» И при этом воспоминании жестокая злоба, затаенный и неистовый гнев с небывалою силой охватили его. «О, мерзавцы... мерзавцы...» — задыхаясь, промолвил он. Круглолицый детина стукнул винтовкой и с недоумением взглянул на него.

«Да, конечно, мерзавцы... А Слезкин?.. Разве у Слезкина не рыдала жена? Не билась о мои сапоги? Не целовала в смертельном ужасе ноги? Не молила пощады?.. Ах, все равно, — махнул он рукой. — Пусть судят...»

— Андрей Николаевич...

Болотов поднял глаза. Иконников, чисто выбритый, с изношенным, желтоватым лицом, в черном фраке и с портфелем под мышкой, с чувством жал ему руку:

— Бывали случаи... Не надо, ангел, смущаться... Партия смотрит на вас... Что партия! Вся Россия... И, может быть... Чем черт не шутит? Я не хочу подавать вам надежды, но... Бывали случаи... Однажды, помню, в Одессе...

Болотов усмехнулся:

— Чего там, cher maitre?.. [1] Не вы ли сами сказали: врем с утра до ночи... А?

Иконников поправил пенсне:

— Правда, ангел мой, правда... И нечего говорить... Действительно, язык без костей... Розенштерн вам кланяется... — меняя тон, зашептал он скороговоркой. — Впечатление большое, колоссальное впечатле-

---

[1] дорогой учитель?.. *(фр.)*

ние... Эх, голубчик, Андрей Николаевич!.. Эх-эх-эх!.. — Он украдкой смахнул слезу. Болотов ничего не сказал.

— Суд идет! Встать!

Из боковых, раскрытых настежь дверей один за другим выходили судьи. Первым, раскачиваясь затянутым в мундир животом и насупив густые брови, шел внушительный седой генерал. Он старался казаться торжественным и суровым нелицеприятным судьей. Но по усталым и добрым глазам и по неуверенным движениям больших красных рук было видно, что он занят чем-то своим, посторонним, и что ему решительно все равно, кого и за что он будет судить. Следом за ним семенил маленький, кругленький, с белобрысой бородкой человек, тоже в военной форме, в очках и с Георгиевским крестом на груди. Третий был тощий, костлявый и длинноногий. У него было жесткое чиновничье лицо и — Болотов заметил — золотой браслет на руке. И по тому, как они трое шли, не волнуясь и не спеша, Болотов понял, что для них он — тоже казенная вещь и что суд — милосердный и справедливый суд — только скучное, ежедневное дело. И заготовленная им речь показалась не неуместной и жалкой, а унизительной и смешной. «Все равно приговор подписан заранее... И зачем Иконников здесь? — с озлоблением подумал он. — Вешать так вешать... Незачем слова говорить...» Седой председатель кашлянул и, рассеянно глядя вверх, на сводчатый потолок, сказал:

— Ваше имя, звание, фамилия?

Болотов не ответил. Председатель закрыл глаза и повторил свой вопрос. И когда опять наступило молчание, он тем же скучающим взглядом окинул Болотова еще один раз и наклонился к маленькому судье. Иконников, бледный, взволнованный и сердитый, умоляюще зашептал:

— Что вы делаете?.. Ответьте... Ответьте...

— Не желаете отвечать? — сухо, пренебрежительным басом спросил генерал. Болотов отрицательно качнул головой. Жандармский полковник прищурился и, поправив серебряный аксельбант, усиленно заскрипел пером.

Пока невзрачный, веснушчатый секретарь, со звучной фамилией «Карузо», монотонно, глотая слова, читал обвинительный акт, Болотов не смотрел на судей. Ненависть овладела им. Было не важно, кто судит, за что и какой приговор и что скажет защитник. Было не

важно — повесят его или нет и сколько часов остается жить. Было не важно, что подумает партия, Россия, Арсений Иванович, Ваня и комитет. Было важно одно: его, Болотова, свободного человека, какие-то вооруженные люди привели насильно сюда, в этот темный зал, где читает какой-то Карузо, где сидят какие-то судьи, зачем-то пишет жандарм и зачем-то блестят винтовки. Это чувство было так сильно, что захотелось крикнуть в негодовании, что он не признает нелепых законов, смеется над приговором и не боится неминуемой казни. Хотелось крикнуть, что никто — ни председатель, ни судьи, ни солдаты, ни молоденький офицер, ни министры — не вправе убить его, свободного человека. Он стиснул зубы и, бледнея, сжал кулаки. Что-то бессвязно и скучно говорил прокурор, что-то бормотал секретарь, что-то спрашивал председатель и что-то на ухо друг другу шептали судьи. Болотов ничего не слышал. Всей своей разумной волей он заботился об одном: как бы не крикнуть, не сказать грубых слов, как бы с достоинством выдержать испытание. И когда седой председатель с усилием встал с кресла и торжественным голосом, подчеркивая слова, прочитал приговор и Иконников заметался, а солдаты вытянулись во фронт, Болотов, не оглядываясь на судей, твердым шагом вышел вслед за молоденьким офицером.

XXII

Когда Болотов вернулся к себе, в камеру № 17, и переоделся в казенный синий, с чужого плеча, халат, и надел глубокие, тоже казенные, на деревянных подметках туфли и когда вышли жандармы и за ними захлопнулась дверь, он медленно подошел к решетчатому окну и заглянул вверх, стараясь увидеть солнце. Но солнца не было видно. Хмурилась истрескавшаяся стена, краснели кирпичные пятна, и, должно быть, поднялся ветер, — фиолетовый колокольчик трепетал прозрачными лепестками.

«Колокольчик... А у нас в усадьбе много цветов», — вспомнил Болотов, и сильно забилось сердце. Захотелось хоть на минуту увидеть отца и мать, и сестру, и спокойные, молочно-голубые глаза Александра. «Саша... Где Саша?.. Мама говорит, что здесь, в Петербурге, и целует меня... Саша целует меня?» — прошеп-

тал он, чувствуя, что сейчас хлынут слезы. Но не было слез. Воровато мигнул «глазок», и кто-то невидимый долго, настойчиво, с любопытством стал подсматривать в лукавую щель. «О, мерзавцы, мерзавцы... Чего им надо?.. Чего?» — потупился Болотов и зашагал из угла в угол.

«О чем я давеча думал?.. Да, о Слезкине и о судьях... Я убил, и меня убьют... Поднявший меч от меча и погибнет... Неужели убьют? Меня? Сегодня? Убьют? Что значит слово: убьют?.. Выведут вот из этой клетки и... как овцу... Как овцу?.. Нет...

И молился я тут Спасову образу,
И на все стороны низко кланялся:
Вы простите меня, люди Божии,
Помолитеся за мои грехи,
За мои ли грехи тяжкие!
Не успел я на народ воззрити,
Как отсекли мою буйну голову,
Что по самые плечи могучие... —

вспомнились прочитанные где-то слова, и неожиданно стало легче. — Не я один. Не я первый, не я последний... И Сережа, и Желябов, и Пестель, и Пугачев, и Стенька Разин... Почему Стенька Разин? Что общего у меня со Стенькой Разиным? «Помолитеся за мои грехи...» Да ведь никто не помолится... А я? Разве я умею молиться? Не умею и не хочу, не хочу, не хочу... Если так устроена жизнь, если можно удавить беззащитного человека, если можно изнасиловать совесть, то некому мне молиться... Некому. Не хочу...» — страстно, в отчаянии зашептал он и лег на койку. Далеко, наверху, в соборе расстроенные куранты пробили шесть и, когда в крепостных бастионах замер последний звук, торжественно и печально, медлительно заиграли «Коль славен». «Коль сла-вен наш Господь в Сионе, — вполголоса, старательно разделяя слова, запел Болотов. — Не мо-жет изъ-яс-нить я-зык... Ве-лик Он в не-бе-сах на тро-не... А судьи? Их ненавижу. Да, ненавижу...»

Снова замигал неутомимый глазок, и послышались замедленные шаги. «Уже?» — вскочил Болотов с койки и почувствовал, как лихорадочно запылали щеки и стало сухо во рту. «Нет. Не может быть... Ведь всего шесть часов... В бы-лин-ках на зем-ле ве-лик... Господи, неужели? Уже?..»

Загромыхала окованная железом дверь, мелькнул в коридоре голубой жандармский мундир, и в камеру во-

шел высокий, полный, очень моложавый, в черном сюртуке господин. Болотов увидел белое, с крупным носом и вьющейся бородою лицо, брильянтовые перстни на пальцах и золотую цепочку на животе. Господин смотрел на Болотова в упор — на распахнутый казенный халат и на арестантские туфли, и его серые, близорукие и ласковые глаза улыбались ободряюще и открыто. Он снисходительно кивнул головою:

— Андрей Болотов? Позвольте представиться: товарищ министра, князь Белосельский... Закрой двери... — начальственно, почти грубо крикнул он часовому. — Подслушивают канальи... Вам удобно здесь? Не сыро? Не очень темно?

Болотов с изумлением, не веря ушам и боясь, что сходит с ума, слушал и не понимал приветливых слов. Было неприятно, жутко, и любопытно, и немного противно и хотелось, чтобы этот полный, чужой, вероятно, добрый и жизнерадостный человек сказал все, что нужно сказать. «Помилуют? Да?..» — пронзила заветная мысль, и мелко, холодною дрожью задрожали колени.

— Ну-с, так я перейду прямо к делу... Видите ли... Я явился к вам по поручению его высокопревосходительства, господина министра. Ввиду выдающихся заслуг вашего батюшки, многоуважаемого Николая Степановича, и снисходя к его просьбам, министр согласился ходатайствовать за вас перед высшею властью... — Князь Белосельский остановился и значительно помолчал. По-прежнему играя глазами, точно желая ободрить, он выждал, не ответит ли Болотов. Но Болотов сумрачно смотрел себе под ноги, на пол, по худому, с крепко сжатыми губами лицу нельзя было понять, что он думает о непрошеном госте. Все еще дрожали колени и туманилось в голове. Князь Белосельский перестал улыбаться.

— Да, перед высшею властью... Я счастлив, что могу сообщить вам это известие... Только... Видите ли... — он вынул из бокового кармана бумагу. — Только нужно вот здесь подписать. О, простая формальность... У вас есть перо и чернила? Эй, кто там? Перо и чернил! Живей!..

Опять запылали щеки и стало сухо во рту. «Они хотят меня опозорить. Опозорить дружину...» — подумал Болотов и твердо сказал:

— Благодарю вас. Я бумаги не подпишу...

Князь задумался на мгновение:

— Послушайте, Андрей Николаевич... Я не ошибаюсь, — Андрей Николаевич? Ну, что же вы делаете? Ведь вы губите себя... безвозвратно... Ведь вы молоды, ведь жизнь еще впереди... Если вы не заботитесь о себе, подумайте о ваших родителях... Какое им горе! О вашей матушке, наконец...

Но как только он упомянул о матери, об отце, Болотов, чувствуя, что не в силах владеть собою, быстро поднял помутившиеся глаза:

— Я прошу... Да, я прошу... оставить меня в покое... и... и... и... не говорить об моей матери... Я... я... прошу вас удалиться... Слышите: удалиться... И сейчас же. Сию минуту... Слышите: вон!.. — уже не помня себя, выкрикивал он все пронзительнее и громче. Звякнули шпоры, и на пороге выросло двое жандармов. Князь Белосельский пожал плечами и вышел.

Когда затихло эхо шагов, Болотов лег на койку ничком и укрылся халатом, стараясь не думать. Сгустились сумерки, но огня еще не зажгли, и было тихо, так тихо, что стучало в висках, и казалось, что кто-то ходит. В этом темном оцепенении, когда нет мыслей, нет слов, нет надежды, а есть одна неизбывная душевная боль, Болотов пролежал до вечерней зари. Скудно, заглушенный стенами бастиона, пророкотал барабан. Донеслось протяжное пение молитвы.

Болотов приподнялся и сел. Он сидел, опираясь ладонями о колени и согнув низко спину. Не думалось ни о чем. Была огромная, ноющая усталость и непреодолимое желание уснуть. Он попробовал снова лечь, но мутным светом вспыхнул рожок, и он невольно зажмурил глаза. И тотчас здесь, за тюремной решеткой, он вспомнил то, что последние дни не давало ему покоя и что он тщетно пытался забыть. Он вспомнил не детство, не мать, не отца, не родных, не баррикады, не комитет, не дружину, не тот день, когда на съезде, ночуя в чулане, он начертал свою жизнь — решил умереть и убить, — он вспомнил Литейный проспект, окровавленные камни, обломки кареты, полураздетого кучера и стеклянный круглый, точно живой, удивленно прищуренный глаз. И впервые за эти часы — те часы, когда он боролся со смертью, — он понял, понял совестью, не умом, что убит не только ненавистный старик, но и ни в чем не повинный, полный сил человек, и убит не комитетом, не партией, не Россией, а именно им, только им. «Лес рубят, щепки летят», — пробормотал он сквозь зу-

бы, но сейчас же почувствовал ничтожество душевного утешения. И как с заоблачно-снежной вершины далеко видна необозримая степь, черепичные крыши домов, веселое стадо, и пастухи, и играющая на солнце река, и лес, и колосистое поле, так теперь, перед казнью, он увидел то, что было скрыто всю жизнь. Он увидел, что даже избранная свободно смерть не есть искупление, что и кровью своей не оправдан убийца, что если должно и можно убить, то нельзя и не надо искать оправданий, ибо горе тому, кто убил. Он увидел, что не мог не убить, что не статьи о пользе террора, не ненависть, не любовь, не мщение, не гнев заставили его поднять меч, что высшая, непонятная сила, миллионы причин и сотни мелькнувших лет толкнули его на убийство. И он увидел еще — и это было самое ценное, — что убить труднее, чем умереть, и понял радостно, что смерть желанна и не страшна. Не было раскаяния и не было сожаления. Было спокойное, ясное, как глубокие воды, умиротворенное чувство. «Я убил, и меня убьют... Все правы, и все виноваты... Нет правых и виноватых... Есть два смертельных, тысячелетних врага, и никто на земле не судья над ними... Не дано знать... Но и умирая, при последнем моем издыхании, здесь, когда не видит никто, когда никто не услышит, я, приговоренный к повешению, Андрей Болотов, говорю, говорю с молитвенной верой: «Да здравствует свобода, да здравствует великий русский народ!»

Как прошел вечер и как наступила ночь, Болотов не отдал себе отчета. Он не лег и без отдыха, торопливо, путаясь в полах халата и не думая ни о чем, чувствуя только, что в душе нет боязни, и радуясь, что ее нет, ходил по камере из угла в угол. Было поздно; куранты пробили три, а в коридоре все еще было тихо. «Неужели я буду жить завтра?.. Целый день... Господи, целый день...» — с робкой надеждой спросил он себя и внезапно остановился. Далеко, в другом конце коридора послышался шум. Шум этот все приближался и нарастал. Уже было ясно, что идет много людей, что люди эти идут сюда, к нему, ночью и что сейчас будет то, чего он никогда не умел представить себе, будет то необъяснимо-ужасное, чего он за минуту перед тем не боялся и даже желал. «Они?.. Да, они...» — прошептал он в холодном поту, и вдруг, согнувшись, как кошка, высокий, бледный, худой, в синем халате, отпрыгнул к стене, и изо всей силы схватился за койку. Он не заметил, как

вошел жандармский полковник, как неузнаваемо бело было его лицо, как боязливы были его движения; он не слышал, что говорили ему, не видел серых шинелей, священника, и жандармов, и широкоплечего, волосатого человека в красной рубахе. Он опомнился уже на мощеном дворе, среди увядшего цветника, в углу, у водопроводной трубы. Над ним было небо, бездонное, темное, усыпанное звездами, Большая Медведица и раздвоенный Млечный Путь. Было холодно. Кругом были люди, очень много людей. Они испуганно сбились в кучу, и все как один остановившимися глазами смотрели ему прямо в глаза. И, поймав этот взгляд, Болотов взмахнул картузом и, не колеблясь, сам не веря себе, взошел на помост. Волосатый в красной рубахе палач накинул саван и задернул петлю. Куранты пробили пять.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Прошла осень и за нею зима, и снова настали весенние дни, а все еще потоками лилась кровь и не прекращался исступленный и братоубийственный бой. Попрежнему правительство судило, вешало, расстреливало и посылало карательные отряды. По-прежнему революционеры «подготовляли» восстание, печатали прокламации, «организовывали» рабочее войско и бросали бомбы в министров. Но уже каждому — и чиновникам, и студентам, и членам партии, и дружинникам, и солдатам — в глубине души было ясно то, чего они не видели ранее: что революция оскудела и что правительство торжествует победу. Начались бесчисленные аресты. Они бывали и прежде, но теперь стали часты, как осенний неугомонный дождь, и казалось, что полиция знает все, — все сокровенные партийные тайны. В декабре, на улице, в Петербурге был арестован Ипполит и через месяц повешен. Был разгромлен «Союз военных». Было схвачено и расстреляно пять матросов гвардейского экипажа. Был задержан с бомбой в руках студент, приехавший из Москвы и известный только доктору Бергу и Розенштерну. Был разыскан и конфискован склад оружия за Невской заставой. Эти признаки смущали товарищей. Розенштерн хмурил брови и отмалчи-

вался на все вопросы. Вера Андреевна худела, желтела и жаловалась на «неконспиративность» и отсутствие «дисциплины»; Арсений Иванович вздыхал, покачивал седой головой и говорил в утешение: «Ничего, кормильцы, бывает... Битая посуда два века живет...» Но и Груздеву, и Розенштерну, и Вере Андреевне, и Залкинду, и Арсению Ивановичу иногда прямо казалось, что где-то рядом, около них, может быть в самом комитете, гнездится измена и что самое страшное в том, что никто не в силах ее разгадать.

Огромная, разбросанная по всей России партия, вчера еще грозная, внушавшая доверие и страх, слабела и истекала кровью, как слабеет и истекает кровью израненный, обессиленный, затравленный собаками зверь. Эта слабость — предчувствие поражения — ощущалась не только наверху, в комитете, но и в каждом городе, в каждом рабочем кружке, в каждой студенческой «группе», в каждой малой «организации», в каждой мелочи ежедневной жизни. Уже не было «уездных республик». Уже не было многочисленных сходок. Уже не было забастовок... Уже не было стихийных, неподготовленных покушений. Зато всюду шныряли жандармы и арестовывали без повода и разбора. Неправильно и неточно, с перебоями стучало налаженное годами хозяйственное веретено, и незаметно рвалась соединявшая товарищей нить. Кое-где в партии, в захолустных ее углах, стали раздаваться робкие голоса, что в комитете завелась провокация, что кто-то продал побежденную революцию. Но слухи эти были безымянны и голословны. Комитет знал о них и не смел верить им.

Александр Болотов вступил в партию в ноябре. Еще летом, возвратившись из плена, он понял, что не должен служить. Он понял, что если поступит иначе, то совершит непоправимую и непрощаемую неправду. Он бы затруднился сказать, когда именно произошел глубокий и тяжкий переворот, который сделал из него террориста: в Либаве, при отправлении эскадры, в Носибэ, когда пришел Небогатов, в Желтом море, в ожидании японцев, или в плену, в Киото. Каждый день мучительного похода он жил мыслью о родине, о России, о ее неслыханном унижении. Он видел, что тысячи молодых и здоровых людей, одушевленных любовью к царю, безропотно умирают, защищая Андреевский флаг. И он видел, что Россия все-таки разорена, поругана и разбита и что величайшие жертвы напрасны. Капля по капле,

медлительною отравой, его проникало ошеломляющее сознание, что он обязан сражаться за родину, — сражаться не в океане, не на расстрелянном мостике корабля, не у грохочущей пушки, а дома — в той партии, которая борется за «землю и волю». Это было не книжное, бумажное увлечение и не тот безрассудный порыв, который в решительную минуту заражает слабых и недовольных. Это была купленная кровавой ценой зрелая решимость умереть за народ, невозможность жить, не служа «Великой России». Узнав, что брат Андрей арестован, он с матерью и Наташей выехал в Петербург. В Петербурге он отыскал Розенштерна. Розенштерн с радостью принял его.

В конце апреля Александр впервые был приглашен на комитетское заседание. Он не обрадовался и не счел высокою честью, что его, вчерашнего офицера и новичка в партийных делах, посвящают в «конспиративные» тайны. Казалось простым и понятным, что, рискуя за партию жизнью, он участвует в обсуждении ответственных дел.

В том же доме, у Валабуева, на Каменноостровском проспекте, как и год и два назад, собрались те же самые люди — уполномоченные и члены неуловимого комитета. Они были все налицо, точно не было революции, виселиц, террора, восстания и тюрем. Александр смотрел на них с уважением. Он верил, что перед ним главный штаб, — тот направляющий и таинственный штаб, который не знает ни орденов, ни канцелярий, ни зависти, ни соперничества, ни постыдных интриг. И ему было радостно думать, что он вместе с многоопытными и мужественными людьми служит справедливому и достойному делу.

Когда Валабуев, повернувшись стриженым красным затылком, на цыпочках вышел из комнаты и затворил тяжелую дверь, доктор Берг начал сухо и деловито:

— Господа! Мы собрались сегодня по важному, я бы сказал, исключительно важному делу. Вам известно, что в последнее время произошли многочисленные аресты, и притом в такой обстановке, которая наводит на размышления. Я не делаю выводов, я отмечаю факт. Вчера я получил следующее письмо.

Он сделал паузу и, протянув длинную белую руку, взял лежавший на столе измятый листок. Просторный, увешанный картинами и устланный бархатным ковром зал был полон народа. На диване, под портретом Тол-

стого, полузакрыв утомленно глаза и откинувшись головой на подушки, сидел Розенштерн. Его еврейское, острое, с курчавой бородкой лицо было спокойно и строго, точно он знал, что именно должен сказать доктор Берг. За столом, над вышитой скатертью, низко склонился Арсений Иванович. По его сгорбленным, старым плечам и напряженной жилистой шее было видно, что он удручен. На лицах Залкинда, Веры Андреевны, Алеши Груздева и других, неизвестных Александру товарищей было написано любопытство и та особенная, лихорадочная тревога, которая овладевает людьми перед неожиданным и неизбежным несчастьем. Доктор Берг аккуратно вытер очки и приступил к чтению:

«Товарищи! между вами есть провокатор. Он выдал террориста, известного под кличкою «Ипполит», указал склад оружия за Невской заставой, донес о пребывании в Петербурге Аркадия Розенштерна, сообщил комитетскую явку. Берегитесь. Ожидайте повальных арестов. Ищите провокатора близко. Письмо сожгите. Ваш доброжелатель».

Доктор Берг приостановился и громко спросил:

— Господа, не желает ли кто-нибудь высказаться?

Александр медленно поднял свои холодные, молочно-голубые глаза. Доктор Берг, высокий, бритый, прямой, в зеленом галстуке и в воротничках до ушей, небрежно помахивал бумажным листком и смотрел на товарищей пытливым и, как казалось, насмешливым взглядом. Можно было подумать, что он знает, кто провокатор, и если молчит, то единственно потому, что боится преждевременных споров. Александр удивился. Было трудно поверить, что в партии среди людей, всем сердцем любящих революцию, в беспорочном и испытанном комитете, может отыскаться предатель. И в недоумении, тщетно стараясь понять оскорбительную загадку, он еще раз заглянул в лицо доктору Бергу. Доктор Берг аккуратно, трубочкой свернул прочитанное письмо и, опуская его в карман, повторил:

— Кто просит слова, товарищи?

В комнате было светло, сияла хрустальная люстра, и обманчивый электрический свет однообразно и бледно освещал Венеру Милосскую, товарищей, ковры, картины и зеркала. Все молчали, не доверяя себе, боясь сказать неосторожное слово, пугаясь тягостных и унижающих мыслей. Наконец, после долгого колебания Арсений Иванович вздохнул и, не глядя ни на кого, теребя дро-

жащими пальцами скатерть, заговорил надтреснутым басом.

— Да, да... кормильцы... Положение... Положение весьма затруднительное... Как же быть? А?.. И кто же этот доброжелатель?.. И... и... Да нет, что же это в самом деле такое?.. — он умолк и широко развел руками. Снова наступило молчание.

— Необходимо расследование... — твердо сказал доктор Берг.

— Расследование? Конечно, расследование... — точно пробужденный от сна загорячился Геннадий Геннадиевич. Он встал и, подбежав к доктору Бергу, задыхаясь и кашляя, начал быстро, взволнованно и сердито: — Надо, золотой мой, сдать это дело в комиссию... Но ведь прежде необходимо проверить... Ведь документ анонимный... Кем он написан? Я утверждаю, что он написан лицом, прикосновенным, понимаете ли, при-ко-сно-вен-ным к полиции... Только такое лицо, только полицейский, провокатор или шпион, может быть в курсе партийных дел... может знать комитетскую явку... Но если письмо писал полицейский... — Геннадий Геннадиевич передохнул и, успокаиваясь и понижая таинственно голос, договорил раздельно и веско:— Если письмо писал полицейский, то нельзя ли допустить гипотезу, конечно, только гипотезу, что письмо преследует не партийные интересы?

— То есть? — хмуро спросил Розенштерн.

— То есть не уместно ли будет предположить, что автор письма писал его в личных целях?

— Ну, уж этого я, серебряный мой, объяснить не могу... — хватаясь за грудь, снова закашлялся Геннадий Геннадиевич. — Что вы хотите?.. Я ведь не полицейский... Охранной души не знаю... Я думаю только, что на основании этого документа нельзя утверждать, что между нами есть провокатор...

И хотя то, что сказал Геннадий Геннадиевич, было не убедительно и не ясно и не рассеивало душевной тревоги, и хотя каждый втайне не сомневался, что хитро придуманная «гипотеза» — пустые слова, всем товарищам стало легче, и все сразу и оживленно заговорили. Только Розенштерн нахмурился еще более, да Александр, удерживая нарастающий гнев, терпеливо ожидал окончательного решения.

— Я не могу согласиться с товарищем... — очень

громко, покрывая шум голосов, возразил доктор Берг и небрежным движением поправил галстук.

— Les affaires sont les affaires... Мы получили письмо, хотя анонимный, но все-таки документ... Мы обязаны предположить, что один из нас — провокатор. Ответственность перед партией слишком значительна... — Он помолчал и, окинув беглым полунасмешливым взглядом всю комнату, сухо докончил:

— Я требую, чтобы дело было расследовано.

Груздев, одиноко сидевший в дальнем углу, при последних словах решительно поднялся с кресла. Его доброе, русское, с пушистыми волосами лицо покраснело неровными пятнами, и голос обиженно задрожал.

— Господа, я, ей-богу, не понимаю... Как нам не стыдно... Одно из двух: или мы верим друг другу, или... или... мы способны заподозрить черт знает что... Если мы верим, то это письмо надо сжечь, да, сжечь, бросить в печку... Если же кто-либо может допустить мысль, что один из нас... один из нас провокатор, тогда... тогда надо распустить комитет... Я верю всем. Я хочу, чтобы верили мне. Иначе — грязь и позор. В такой грязи работать нельзя... Я не могу... Воля ваша, а я не могу...

Он стукнул дверью и вышел. Арсений Иванович сокрушенно покачал головой:

— Да-а... Как постелешь, так и поспишь... Как же быть-то, кормильцы?..

Когда позднею ночью, после утомительных и бесплодных речей, Александр, негодуя, что комитет бессилен защититься от провокаций, удивляясь растерянности товарищей и не зная, как предотвратить надвигающуюся беду, надел пальто в нарядной прихожей, к нему подошел Розенштерн. И по острым и грустным глазам, и по твердой походке, и, главное, по тому, что он весь вечер молчал, Александр понял, о чем он хочет с ним говорить. Они вместе вышли на улицу. Бледным заревом разгоралась заря, и за Невою тускло поблескивал Исаакий.

II

По гранитному тротуару звонко стучали шаги, и на ровную мостовую ложились длинные голубые тени. Вставало солнце. Над Невою таял полупрозрачный туман. В его клубящейся мгле тонули белые бастионы

крепости. На Французской набережной не было никого. Розенштерн взял под руку Александра и, наклоняясь к нему, негромко спросил:

— Ну, что скажете, Александр Николаевич?

Александр задумался на минуту. Здесь, на набережной Невы, под сияющими солнечными лучами, казалось, что приснился нелепый сон и что не было вечернего заседания. Было стыдно и горько за комитет. Но не это новое чувство смущало его. Его смущало сознание собственного бессилия — наивной неподготовленности и детского легковерия. И еще ему было противно, противно думать о полиции и жандармах. И, сердясь на себя и с неудовольствием замечая, что Розенштерн украдкою наблюдает за ним, он, не поворачивая головы, резко сказал:

— Я не знаю, кто провокатор.

— И не догадываетесь?

— И не догадываюсь.

— А ведь он присутствовал на собрании, — тихо возразил Розенштерн. Александр невольно вздрогнул всем телом.

Когда доктор Берг говорил свою речь и потом, когда возмущался Алеша Груздев, презрительно молчала Вера Андреевна и «анализировал» Геннадий Геннадиевич, Александр испытывал жуткое ощущение, точно здесь, на квартире у Валабуева, рядом с ним, за тем же столом, сидит провокатор, то есть тот человек, который продал их всех. Он не верил этому ощущению. Он не верил, что можно за деньги вешать людей. Но теперь, когда Розенштерн высказал, наконец, затаенную мысль, он вдруг понял, что нет ошибки и что Вера Андреевна, или Алеша Груздев, или доктор Берг, или Залкинд, или даже сам Розенштерн тот иуда, предатель, о котором предупреждает письмо. Чувствуя неприятный озноб, он остановился и глухо сказал:

— О ком это вы говорите?

Розенштерн усмехнулся:

— Вы не знаете?

— Нет.

— Хорошо. Обождите четверть часа.

Они в молчании миновали Александровский сад и свернули на Вознесенский. Лавки были закрыты, но на углу Офицерской еще торговал освещенный трактир. Розенштерн толкнул стеклянные двери. Навстречу ему из-за одного из столов почтительно встал человек.

Человек был маленький, тощий, с вздернутым носиком и жидкими, бесцветными волосами. В его наружности было что-то подобострастное и забитое, точно он сам не верил себе и боялся, что и никто ему не поверит. Его можно было принять за лакея, полицейского, писаря или конторщика, потерявшего должность. Он улыбнулся заискивающей улыбкой, расшаркался и протянул руку:

— Мое почтение, Аркадий Борисович!.. А я уж не чаял, что соблаговолите прийти... — Он быстро и незаметно, с ног до головы осмотрел Александра. — А это никак Александр Николаевич, господин Болотов? Мое почтение, господин Болотов...

— Ты откуда знаешь меня? — почему-то обращаясь на «ты», с удивлением спросил Александр и брезгливо поморщился.

— Что вы-с!.. Сделайте милость... Вас не знать — все одно что свое начальство не знать... Кто же вас, прошу покорно, не знает? Как вы из военной службы ушли и в революционную партию поступили, с самой этой минуты, согласно секретного предписания, учрежден за вами надзор — сквозное, так сказать, наблюдение.

— Какое наблюдение?

— Сквозное.

— Сквозное?

— Да-с.

— Что это значит?

Александр, не понимая, с кем говорит и куда его привел Розенштерн, чувствуя, что происходит что-то позорное, может быть, еще более нелепое, чем вчерашние разговоры, повернулся медленно к Розенштерну. Розенштерн, пощипывая бородку, спокойно и остро, не отрываясь, смотрел на филера, точно взвешивал каждое слово и изучал каждый жест.

— Что это значит? — повторил Александр.

— А это значит, что нам решительно все известно... Позвольте папироску... мерси... Не случалось вам замечать у вашего дома, Фурштадтская, № 2, на углу Воскресенского, извозчик стоит?

— Мало ли их там стоит.

— Может, и номер заметили?

— Нет, номера не заметил.

— Ай-ай-ай... Как же вы это так... — Он неодобрительно, в каком-то даже испуге, закачал головой и зачмокал губами. — Ведь поверьте, достойно внимания...

Ай-ай-ай... Наш извозчик, Леонтий, из охранного отделения, № 1351... А осмелюсь спросить, прислуга у вас от хозяйки?

— Да, от хозяйки.

— Машей звать? Так-с.

— Да, Машей, а что?

— А то, что Маша, да не ваша, а наша... Тоже охранная... Маша Охранная... Да-с...

— Ну, вот что, Тутушкин, ты зря не болтай... Все это и без тебя прекрасно известно... Ты говори дело... — Нетерпеливо нахмурился Розенштерн. — Узнал?

— Да ведь вот они спрашивают... — делая озабоченное лицо, заторопился Тутушкин. Александр взглянул на его бесцветные волосы, на грязный, замасленный на отворотах пиджак, на жидкие, белесоватые, стрелками закрученные усы и опять брезгливо поморщился:

— Ты все врешь... Почему же меня до сих пор не арестовали?

— Вру? — обиженно проворчал Тутушкин. — Отродясь никогда не врал... А тут — вру! Здрасте!.. А не арестовывали вас до сих пор потому, что полковник еще не велел.

— Какой полковник?

— А начальник... Полковник фон Шен.

— Ладно. Довольно... — сердито перебил Розенштерн. — Я тебя спрашиваю: узнал?

— Узнал, — опуская глаза, ответил Тутушкин.

— Ну?

— Чего изволите?

— Ну, говори, если узнал.

— Слушаю-с... Только...

— Что только?

Тутушкин быстро заморгал глазами и, подымая безбровое, бледное, испитое лицо, просительно улыбнулся.

— Только вы уж, Аркадий Борисович, меня не обидьте...

— Разве я тебя обижал?

— Нет... Что вы?.. За все большое спасибо. Чувствительно тронут... Но ведь случай особенный, можно сказать, замечательный случай... Не дай Бог, полковник узнает...

— Знаю. Говори, сколько?

— Прошу обратить внимание: жалования — сорок рублей... Семейному человеку!.. Семейство обременительное... Опять — не дай Бог, кто-нибудь да нагавкает,

и полковник узнает... Что я тогда? Раб и презренный червь?

— Сколько?

— И еще, Аркадий Борисович, прошу обратить внимание: весьма нелегко узнавать... Верьте совести... Единственно из сочувствия к партии и расположения к вашей особе... Ведь сами себя боятся... Не верите? Честное слово — правда!

— Сколько?

Тутушкин умолк и задумчиво, с тем же озабоченным видом, забарабанил пальцами по столу. Барабанил он долго, точно что-то высчитывал и старался высчитать верно, без лукавства и без обмана. Наконец, он с глубоким вздохом сказал:

— Сколько положите, Аркадий Борисович. Вам доверяю. Ей-богу!

— Нет, уж ты говори.

— Ну, что же? Чтобы и вас не обидеть... Радужную надо бы положить.

Розенштерн тихонько свистнул сквозь зубы... Тутушкин всплеснул руками.

— Аркадий Борисович!

— Ну-ну... Цены, я вижу, у тебя без запроса.

— Аркадий Борисович, прошу обратить внимание...

— Двадцать пять.

— Господи! Двадцать пять! Да ведь это дешевле грибов... Нет уж, что уж?.. Разве я из-за денег? Что деньги? Тьфу! Металл — и ничего больше... Но где ж это видано? Аркадий Борисович!

Александр побледнел, этот мелочный торг, торг Аркадия Розенштерна с грязным филером, в грязном трактире, торг о том, кто предатель, казался ему недостойным и оскорбляющим революцию. Он нагнулся через стол к Розенштерну и шепотом, гневно, сказал:

— Черт с ним!.. Дайте ему.

— Партийные деньги, батюшка... — тоже шепотом, невозмутимо возразил Розенштерн. — Разве мы Ротшильды?.. Да и этих мерзавцев баловать не годится... Отбою не будет... Ну, вот что, Тутушкин, — повысил он голос, — последняя цена — пятьдесят.

— Прибавьте красненькую, Аркадий Борисович!

— Пятьдесят, и довольно. Разговаривать не о чем... Не хочешь, как хочешь...

Трактир опустел. Полусонные половые, зевая, туши-

ли огни. Тутушкин вздохнул и опять забарабанил пальцами по салфетке.

— Аркадий Борисович!

— Что?

— Да разве же это цена?.. Честное слово... Шесть человек детей... Должен же я их кормить?..

— Как хочешь.

Тутушкин встал и скучно, нехотя, с видимым сожалением стал отыскивать шляпу. Отыскав ее и надев, он уныло направился к выходу, но вдруг мотнул напомаженной головой и, поворачивая назад, отрывисто, почти грубо, сказал:

— Давайте деньги!

Получив деньги и сосчитав, он положил их в карман и боком подсел к столу.

— Ну, теперь говори.

— Да нечего говорить.

— Ну...

— Да все так и есть, как я докладывал вам. Они и есть, конечно, «подметка».

— Подметка?

— Да-с, секретный сотрудник.

— Да говори же, каналья, кто провокатор? — едва владея собой и сжимая под столом кулаки, закричал Александр.

— Провокатор?.. Вы желаете фамилию узнать? — подобострастно ухмыльнулся Тутушкин. — Вот-с: знаменитый член комитета, господин доктор Берг, — он хихикнул тонким смешком и, шаркнув ножкою, проворно вышел на улицу.

III

Еще издали, подходя к своему дому, Александр с беспокойством заметил, что у подъезда стоит извозчик. Он мимоходом взглянул на номер. На красной, полустертой доске белели четкие цифры: 1351. «Наш извозчик, Леонтий, из охранного отделения», — зазвучали хихикающие слова, и снова стало противно и жутко. Двери открыла Маша. Она кокетливо улыбнулась:

— Добрый день, Александр Николаевич.

«Маша Охранная... Фу...» Он молча прошел в свою комнату и, не снимая пальто, сел на диван. Несколько минут он сидел неподвижно, пытаясь понять, что же

именно произошло бессонною ночью? Лысый, в воротничках до ушей, доктор Берг, его загадочная усмешка, анонимное и двусмысленное письмо, растерянный Арсений Иванович, грязный трактир и подобострастный Тутушкин, — все было так ново, так неожиданно и так странно, что, не веря себе, боясь, что память изменяет ему, он задумчиво поднял руку и провел по разгоряченным щекам: «Доктор Берг — провокатор... А меня не вешают потому, что не велел полковник фон Шен... Я в руках охранных шпионов... Как захочет полковник фон Шен. Захочет — повесит, захочет — помилует... Фу»... И, испытывая ощущение почти физической боли, он встал и медленно подошел к окну. Ходил он по-военному — прямо, подняв голову и делая размеренные шаги.

Вспомнилась ненастная осенняя ночь. Тяжело забирая кормой, грузно качается броненосец. Свищет ветер. Плещет волна. Плачет дождь. Впереди, во мгле колеблются огни «Александра». Все обычно, серо и скучно. Хочется спать. Лениво длится «собачья» вахта. Но вот, внезапно разрезая свист ветра, звонко запел серебряный горн. Блеснул сигнальный огонь. И сейчас же пожаром вспыхнул прожектор, засветились свинцовые волны, затопотали ноги по трапам, загремели беседки, залязгали рельсы, и тревожно зазвенел телеграф. Тяжко и властно, оглушительно громко прогромыхал первый выстрел. «Минная атака!.. Атака...» Промелькнуло испуганное лицо комендора, скуластого башкира Малайки, и опять зазвонили звонки, и забегали люди, и грохочущей молнией опоясался борт... А потом взволнованный голос: «Как ты смеешь стрелять? Разве не видишь?.. Рыбак!..»

«Да, стреляли по рыбакам... Да, позор... Да, ошибка... Но ведь только ошибка... Ведь невидимый неприятель, море, ночь и... судьба России. А сейчас?.. Не судьба ли России? Не позор?.. И опять невидимый неприятель... Кто? Японцы? Адмирал Того? Нет, Тутушкин и доктор Берг... «Разве я из-за денег? — точно въявь рассыпался угодливый смех. — Что деньги?.. Металл... Сорок рублей семейному человеку!..» И Розенштерн торгуется с ним? Покупает его?.. А господин доктор Берг? «Les affaires sont les affaires...» И его слушают... И Арсений Иванович беспомощно разводит руками... И это в партии, в комитете», — он презрительно скривил губы и распахнул двойное окно. Запахло весной. Ворвался уличный гомон. Наверху, между краями домов,

голубело синее небо. Внизу у ворот терпеливо караулил извозчик. «Извозчик № 1351... С ним бороться? С полковником Шеном? С Машей Охранной?.. Да?..» Он облокотился о подоконник и только теперь заметил, что забыл снять пальто. «И если бороться, то как?..»

Вспомнилась другая, еще более бесславная ночь, та ночь, которую он не мог бы забыть, если бы даже хотел. Управляясь машинами, робко, ощупью бредет броненосец, его броненосец, любимый корабль, на котором он сделал поход и вчера без отдыха сражался весь день. Ходит крутая зыбь, потушены предательские огни, в море — мрак. На броненосце груда обломков. Наполовину сбита фок-мачта. Срезаны мостики. Разворочены люки. Сожжены ростры. Взорваны башни. Исковеркана броня. В кольца свернуты железные трапы. Сохранилась одна — только одна — неповрежденная пушка,— последнее прибежище и надежда... В жилой палубе лазарет. На матрацах, носилках, брезентах лежат искалеченные тела. На полу, поджав разутые ноги, сидит раненый комендор Малайка. Его скуластое, темное, посиневшее от напряжения лицо обезображено болью. Зубы оскалены. Он держится за голову руками и, раскачиваясь и горбясь, хрипло визжит: «Во-ды... Во-ды... Во-ды...» Розовеет восток. Далеко на краю горизонта, в голубой и сверкающей мгле, заструились дымки. Один, два, три... двадцать шесть. В бинокль отчетливо видны: «Миказа», «Сикисима», «Фудзи», «Асахи», «Касуга», «Ниссин», «Идзумо», «Ивате»... двадцать шесть кораблей, точно не было боя, не погиб несчастный «Ослябя», не защищался, как лев, «Суворов», не перевернулось «Бородино». Из кормового плутонга сиротливо и глухо прогремел единственный выстрел, и на фоках зареял сигнал... А потом по волнам запрыгал паровой катер, и чужие, вооруженные люди цепко, как обезьяны, ползли на броненосец. Взвился ненавистный японский флаг. «Позор... Не сумели, не смогли победить... Не сумели, не смогли умереть. Нет оправданий... Ну, а теперь сумеем ли победить? Или опять униженно попросим пощады? Не у японцев, у полковника Шена...» Он отошел от окна и почти упал на диван. Бессильное утомление охватило его. Хотелось уснуть, уснуть крепко, успокоенным и освежающим сном, забыть и Тутушкина, и Цусиму, и комитет, не помнить, не думать, главное, не решать.

В дверь постучались.

— Войдите.

Вошла Маша в белом переднике, с чайным подносом в руках и ласково улыбнулась:

— Не прикажете чаю, Александр Николаевич?

Александру казалось, что это вошла не Маша, что сотни глаз наблюдают за ним и десятки ушей подслушивают его. Казалось, что все охранное отделение — все полковники, провокаторы и филеры, все предатели, доносчики и жандармы — стоят за ее спиною и хихикают, как Тутушкин. С отвращением, отворачивая лицо, он сказал:

— Ничего не надо. Уйдите.

Маша обиженно зашуршала накрахмаленной юбкой. Александр встал и в раздумье прошелся по комнате. Теперь он испытывал равнодушие, — то презрение к опасности, которое он пережил на корабле перед боем. Он не мог бы сказать, где источник неожиданной перемены, но уже было ясно, что никакие Тутушкины его не смутят и что он не выйдет из партии. «Если я не умею перешагнуть через грязь, — холодно думал он, — я не должен работать в терроре... Но ведь я пришел не потому, что революция сильна, а потому, что хотел бороться и верил, что нужен мой труд... Так отчего я сомневаюсь теперь?.. Разве я оставил военную службу потому, что сдались «Сенявин» и «Николай»?.. Потому, что была Цусима?.. И разве верить в партию и народ — значит верить в непогрешимость партийного комитета? В непогрешимость доктора Берга?.. — И, чувствуя несмелую радость и уже твердо веруя в свою правоту, он докончил без колебания: — Я пришел, желая служить народу, партии и России. Кто властен мне помешать? Доктор Берг? Тутушкин? Фон Шен? Но если надо с ними бороться, я не погнушаюсь борьбы. Если надо их победить — я уверен в победе. Тем лучше, — пусть невидимый неприятель, пусть борьба не на жизнь, а на смерть... И если я обязан бороться, то... Розенштерн прав. Да, он прав... Или блюсти белоснежную чистоту, или не бояться никаких унижений... Или сентиментальничать, как Алеша Груздев, или... или убить. Нет выбора... Третьего не дано... И я не хочу искать третьего... Зуб за зуб и око за око!..»

Он сказал себе так, и, хотя чувство тайного отвращения все еще не покидало его, ему стало весело и спокойно, точно он наконец отыскал утраченный путь. «Побеждает тот, кто хочет победы... Кто ничего не стра-

шится и кто смеет убить...» Потянуло на воздух, за город, к морю, к величавой и молчаливой Неве. Он надел шляпу и вышел. Извозчик по-прежнему скучал у подъезда. На этот раз Александр не заметил его.

IV

Розенштерн доложил комитету о ночном разговоре с Тутушкиным. Слова его были встречены с возмущением. И Арсению Ивановичу, и Вере Андреевне, и Залкинду, и Алеше Груздеву «провокация» доктора Берга казалась вопиющей нелепостью и обидною клеветой. Доктор Берг работал так безупречно, так блестяще «организовывал технические дела», так давно был «кооптирован» в комитет, что страшно было признаться, что именно он, даровитый и честный, испытанный революционер, за деньги служит у полковника Шена. Но еще страшнее было признаться, что не оправдалось доверие партии, что во главе ее стоял провокатор, что благодаря неопытности, прекраснодушию и слепоте были повешены десятки людей и разгромлен наголову террор. И поэтому товарищи волновались и не смели поверить, что Тутушкин не лжет. И хотя они думали, что защищают доктора Берга, его достоинство и его честь, на самом деле они защищали себя — от тяжких мыслей и томительных угрызений. Алеша Груздев горячился и говорил, что «гнусные сплетни деморализуют партию». Вера Андреевна пожимала худыми плечами и доказывала, что «все охранники — негодяи» и что «слушать их — значит унижать комитет». Геннадий Геннадиевич жалел о «своеволии товарищей» и настойчиво утверждал, что охранное отделение, опасаясь доктора Берга, затевает «интригу», то есть пытается посеять партийный раздор. Но более всех был огорчен Арсений Иванович.

— Эх, кормильцы! — горько жаловался он на заседаниях. — Аркадия Борисовича послушать, — ерши по телу встают... Доктор Берг — провокатор!.. Надо осмотрительно рассуждать, не увлекаясь и не теряя присутствия духа... Ну, хорошо, ну, допустим, что тот самый, как его?.. Тутушкин?.. Не врет... Хотя грешно утаить: сдается мне, старику, что он из тех рыбаков, которые из кармана удят... Ну, однако, допустим... Теперь, кормильцы, вопрос: а не может ли этот Тутушкин добросовестно заблуждаться? Кто он?.. Обыкновенный филер,

мелкая сошка, уличный соглядатай... Что ж, полковник фон Шен филеру секреты рассказывает? Писарю список «сотрудников» доверяет?.. Э-эх!.. Не уместнее ли допустить, что Тутушкин просто-напросто ошибается, — слышал звон, да не знает, где он?.. И еще вам скажу, кормильцы: доктор Берг — наш товарищ, заслуженный работник, честный солдат. Всякое колебание, малейшее, кормильцы, сомнение следует толковать в его пользу... Да... да... В его пользу... Кто провокатор — не знаю, но утверждать, что именно Берг — не годится... Нет, не годится. В жизнь себе не прощу, если по доносу филера заподозрю товарища... Да и вам не прощу, Аркадий Борисович... Ну, а что касается партии, будто охранное отделение интригу плетет, то вот вам присказка, на ней и покончу: «Люди хулят — не захулят, ветры веют — не развеют, дожди мочат — не размочат...» Не размочат партию никакие дожди, и никакие полковники Шены опозорить ее не могут... Не тем концом нос пришит... Да.

Розенштерна не убеждали речи товарищей. Уверенный в сочувствии Александра, он твердо настаивал на своем — на неизбежности суда над доктором Бергом. Но только через неделю, после споров, горячих упреков и негодующих обвинений, когда с цифрами в руках удалось доказать, что доктор Берг проживает десятки тысяч, Арсений Иванович поколебался: «Как же так? Да-а... После Бога деньги, стало быть, — первые? — с недоумением покачал он белою бородою. — Подозревать не могу... Но и оставить без внимания нельзя... Уж и не знаю, как быть?..» Несмотря на протесты Алеши Груздева, было решено назначить «следственную комиссию». В нее вошли Александр, Розенштерн и упрямо поддерживавший спасительную «гипотезу» Геннадий Геннадиевич.

Александр не сомневался, что доктор Берг провокатор. Ему, неответственному за комитет и неискушенному в «конспиративных» делах человеку, было ясно, что Тутушкин не посмеет солгать и что о «полицейской» интриге не может быть разговора. Он не понимал, зачем избрана «следственная комиссия»: зачем заподозренного и в сущности уличенного в провокации «товарища» допрашивать и судить? Ему казалось, что келейный суд — полумера, что с провокаторами надлежит поступать по законам военного времени, как поступают на войне со шпионами — без пощады и промедления.

— Если бы доктор Берг служил в войсках, то в двадцать четыре часа был бы расстрелян,— сухо заметил он Розенштерну. Розенштерн искоса взглянул на него:

— Вы думаете?

— Да, я думаю.

— Вы правы... Но что же поделаешь?.. Вся партия возмутится: убили, мол, невинного человека... И первый, поверьте, Арсений Иванович...

Александр давно оставил свою квартиру, Машу Охранную и извозчика № 1351. Но он не уехал из Петербурга: внезапный отъезд мог встревожить доктора Берга. Он жил теперь без паспорта, «нелегально», ночуя у чужих, «сочувствующих» людей, у купцов, чиновников и попов. Бродячая жизнь истомила его. Он с недовольством повел плечами:

— Если я прав, то чего же мы ждем?

Они сидели в «Аполло», полутемном подвале на Невском. Было шумно и жарко; гнусаво пиликал дамский оркестр, и без роздыха сновала будничная толпа. Розенштерн задумался и молчал. Александр повторил свой вопрос:

— Чего же мы ждем?

— Чего мы ждем?.. Послушайте, Александр Николаевич, мы — члены партии. Должны мы считаться с общественным мнением или, по-вашему, нет?

— С общественным мнением?

— Да... Или вы, может быть, полагаете, что общественное мнение — пустяк?.. Хорошее дело... Я убежден, что доктор Берг — провокатор: я три месяца наблюдаю за ним... Ну, а пойдите растолкуйте товарищам. Знаете, у нас говорят: Ицек — Ицхок, Ицхок — Исаак, Исаак — Изак, Изак — Айзик... Вот и вышел из Ицека — Айзик. Вы скажете: «получилось письмо». Геннадий Геннадиевич закричит: «письмо писал полицейский». Вы скажете: «Тутушкин донес». Вера Андреевна всполошится: «Тутушкины — негодяи». Вы скажете: «Растратил партийные деньги». Груздев вам бросит в лицо: «А у вас казенный сундук?..» Удивительная смекалка!.. И это те, которые знают! Ну, а те, кто не знает, кто не слыхал про письмо, про Тутушкина и про деньги? Ведь для них доктор Берг — неприкосновенный член комитета... Я вам говорю: из Ицека выйдет Айзик... Скажут, застенок, шемякин суд, инквизиция... Что, не так?.. Разве не скажут?

— Пусть скажут.

— Ну вот, — опять великолепное дело... Я так и знал... Ну, подумайте же минутку... Ну, разве можно строить работу на недоверии? Ну, разве можно, чтобы о комитете сплетничали: «застенок»? Ну, разве можно, чтобы подозревали меня, Арсения Ивановича, вас?.. Ну, и, значит, надо доктора Берга судить...

— Но ведь следственная комиссия — не суд.

— Ах, Боже мой!.. — с раздражением возразил Розенштерн, и глаза его заблестели. — А чего вы хотите? Вы хотите присяжных? Защитников? Прокуроров? Речей? Ведь мы — партия. У нас нет судебных установлений... Мы можем только допросить доктора Берга... И нам нужен этот допрос... Нужен, чтобы никто — понимаете, ни один человек — даже во сне не подумал, что мы не позволили защищаться и что Ицек — не Ицек, а уважаемый Айзик... И баста. А доказать, что доктор Берг провокатор, — нельзя: прямых улик нет...

— Но если нельзя доказать, то нельзя и судить... Вы предлагаете пустую формальность... Вы ведь верите, что Берг провокатор? Вам ведь не надо никаких доказательств, вам не надо заседаний и разговоров. Разве этого не довольно? И убедит ли допрос в виновности Берга?.. Если Берг не дурак, он сумеет разжалобить вас... А то еще лучше, пока вы спорите в комитете, он уйдет, а вас арестуют... И знаете, Берг по-своему будет прав...

Розенштерн усмехнулся:

— Не уйдет... Вы сказали: пустая формальность. Поймите: не пустая формальность, а добровольная уступка партийному мнению... И имейте в виду: провокацию никогда нельзя доказать... Разве что сознается провокатор... Ну, и как же нам быть?.. Вы, наверное, думаете, — он сделал долгую паузу и открыто и смело посмотрел Александру в глаза, — что у меня решимости не хватает, что ответственность разделить не хочу? Это неправда... Разве вы не видите, как мало нас, революционеров, людей, готовых на все? А если мало, то будет больше... И чтобы их было больше, надо считаться с теми, которые есть, надо считаться с Верой Андреевной... Да, и с Верой Андреевной... Только уважением вырастет партия, добрым именем, влиянием массы... Я так думаю... Я в этом уверен... А вы?

Все так же пиликал жидкий оркестр, суетились лакеи и гудели хриплые голоса. Александр слушал, и от благоразумных слов Розенштерна ему становилось досадно и скучно. «Я пришел в партию, чтобы работать... На моем

пути стоит провокатор... И я бессилен... Связаны руки: надо считаться с Верой Андреевной...» Он закурил и, глядя вверх, на синеватые кольца, резко сказал:

— Знаете, этот ваш суд — комедия... Я понять не могу — зачем гипотезы, споры и перманентные заседания? Какое мне дело, «что станет говорить княгиня Марья Алексеевна»?.. У меня своя голова на плечах. Кто не революционер — не должен быть в партии. Кто не солдат — не должен идти на войну... Кажется, ясно?.. Канцелярская волокита...

— Так что же делать? Скажите.

— Что делать? Надо кончать.

— То есть?

— То есть не надо суда.

— И допроса?

— Да, и допроса.

— Но это же невозможно.

— Почему?

— Да потому, что комитет не позволит.

Они оба умолкли. Теперь Александру казалось, что Розенштерн не смеет убить, что в глубине души он не утратил надежды: быть может, Тутушкин солгал и доктор Берг не служит в охране. Казалось, что доктор Берг и не будет убит и что дерзкое оскорбление останется без ответа. Но, приученный к послушанию, он подавил эти мысли.

— Я — член партии. Я подчиняюсь партийному приговору. Я пойду на допрос... Но скажите, если вы убедитесь, что доктор Берг провокатор, что вы будете делать?

Розенштерн понял, чего опасается Александр. Он сдержанно улыбнулся. В его черных, юношески блестящих глазах вспыхнули острые огоньки.

— В этом случае... По законам военного времени.

— А что скажет Вера Андреевна?

— После суда она ни слова не скажет.

— Вы уверены?

— Да.

Они расстались на Невском. Был вечер. Среди редеющих облаков, дрожа, мерцали первые звезды. Александр вздохнул полною грудью. «Да, он сдержит свое обещание, — с облегчением подумал он. — А если нет?.. Если нет... то доктор Берг все-таки будет убит». Он повернул за угол и скрылся в толпе.

V

Доктор Берг жил на Малом проспекте, во дворе, в небольшой, нанятой им на собственное имя, квартире. На черной лестнице было мокро, пахло кошками, кухней и нестираным детским бельем. «Странно... Если он здесь живет, то куда же он деньги девает?» — с недоумением спросил себя Розенштерн и остановился на верхней площадке. Александр решительно нажал кнопку звонка.

Двери открыл доктор Берг. Увидев товарищей, он изумленно, но без испуга, пристально посмотрел на них, точно стараясь понять, чем вызвано неожиданное посещение. Еще не было случая, чтобы член комитета, нарушая партийную «дисциплину» и не считаясь с обязательной «конспирацией», пришел к нему на дом. Слегка побледнев и потирая тонкие руки, он небрежно спросил:

— Очень рад... В чем дело, товарищи?

— Мы пришли от имени комитета.

— Прошу садиться... В чем дело?

Комната, в которой принял гостей доктор Берг, была низкая, темная, по-студенчески бедная, с железною койкою у стены и некрашеным полом. Над койкой висел портрет Маркса. На этажерке, в углу, лежало несколько книг. Александр развернул объемистый, испещренный отметками том и рассеянно прочитал заглавие: «Продолжительность рабочего дня на фабриках и заводах». «Изучает рабочий вопрос», — улыбнулся он недоброй улыбкой. Эта нищая обстановка, и ученые книги, и Маркс, и лысый, одетый с иголочки, доктор Берг показались насмешкой, издевательством над обманутым комитетом. Доктор Берг заметил его улыбку и нервно поправил очки.

— Я вас слушаю, — сказал он, не глядя на Александра.

Геннадий Геннадиевич закашлялся и, хватаясь за грудь, с усилием выговаривая слова, точно заранее прося прощения, забормотал сконфуженно и бессвязно:

— О, пустяки... Настоящие пустяки... Как бы это сказать?.. Вы извините, серебряный мой... Вот видите, — это инсинуирующее письмо... То письмо, которое вы читали на заседании... Ну-с, так знаете, комитет постановил расследовать дело... И оказал нам высокую честь... Приказано опросить всех товарищей... В том числе вас... Чтобы, знаете, не было разговоров... А то в «периферии» зашепчут: знали, — и оставили без послед-

ствий, получили письмо, — и в корзинку... Ох уж эта «периферия!..». «Периферия», золотой мой, всегда недовольна... Я, вы знаете, держусь особого мнения... Я убежден, что вся эта история не стоит ломаного гроша, я убежден, что это интрига, шантаж полковника Шена... Но что поделаешь?.. — он огорченно вздохнул. — Комитет полагает иначе... Вы не подумайте чего-нибудь, ради Бога, но мы обязаны задать вам некоторые вопросы...

Речь Геннадия Геннадиевича доктор Берг выслушал очень спокойно, почти равнодушно, опустив голову и поигрывая золотою цепочкою на груди. Когда Геннадий Геннадиевич умолк, он взял со стола карандаш и, откидываясь на спинку плетеного стула, громко сказал:

— Очень хорошо. Должен ли я понять, что комитет подозревает меня в провокации?

Геннадий Геннадиевич замахал в испуге руками. Розенштерн поднял густые брови:

— Да, вы именно так и должны понять. Комитет подозревает вас в провокации.

— Очень хорошо. В таком случае потрудитесь предъявить мне следственный материал.

— Следственный материал?

— Да, следственный материал.

— Мы вам его не предъявим.

— Во всяком суде, — постукивая карандашом, нравоучительно возразил доктор Берг, — будь это даже жандармское управление, обвиняемый имеет право узнать, на чем именно основано обвинение. Я — обвиняемый. Вы не можете меня лишить моих прав.

— Следственный материал представлен не будет.

— Почему?

— Потому что мы не суд и не жандармское управление.

Доктор Берг хотел опять возразить, но раздумал. Он поморщился, точно от боли, положил карандаш и медленно встал со стула. Его бритое лицо потемнело. Он подошел к Розенштерну и, нагибаясь и поблескивая очками, заглянул ему прямо в глаза.

— Послушайте, Аркадий Борисович... Я понимаю, что Груздев, или Залкинд, или другие товарищи, не знающие меня, могут... могут высказывать такое... такое ужасное подозрение... Но ведь вы меня знаете, ведь мы не один год работали в комитете, ведь вы видели мою жизнь, ведь вы не можете, не имеете права сомневаться

во мне... Как вам... Как вам не стыдно. Я не в укор говорю... Я понимаю... На вашем месте я, вероятно, поступил бы, как вы... Но... но... заподозрить меня... меня... меня... — Он отвернулся и стыдливым и мягким, непривычным движением смахнул задрожавшую на ресницах слезу.

Он говорил так правдиво и просто, такой неотразимой обидой звучали его слова и так искренни были слезы, что Розенштерн невольно смутился: «А что, если я ошибаюсь?.. Что, если Тутушкин соврал. Что, если прав Арсений Иванович...» Он посмотрел с тревогой на Александра. Александр, голубоглазый, широкоплечий, с невозмутимым и строгим лицом, по-военному прямо сидел у стола, и было видно, что он не верит доктору Бергу и презирает сомнительный суд. Поймав растерянный взгляд Розенштерна, он усмехнулся и резко сказал:

— Все это не относится к делу.

— Не относится к делу? — быстро, как на пружинах, в негодовании повернулся к нему доктор Берг. — Вот что я вам скажу, господин лейтенант Александр Николаевич Болотов, — его голос внезапно окреп. — Я не знаю, когда вы изволили вступить в партию и что вы сделали для нее... Быть может, и очень много... Не сомневаюсь, что так... Но я знаю, что я — пусть кто угодно будет свидетелем — работаю восемь лет... Хотите?.. Посмотрим, кто из нас больше работал, кто больше сделал для революции, кто больше имеет прав на доверие?.. Я поставил двадцать три типографии. Я открыл все границы — от Кенигсберга до Ясс. Я сорганизовал десятки рабочих кружков... Я пять лет состою в комитете... Я, не покладая рук, с утра до ночи, трудился, как муравей... И если партия выросла, если она поднялась на неизмеримую высоту, то я вправе сказать, я — один из тех, кто строил ее... А теперь приходите вы, вы, сделавший Цусимский поход, вы — невежда в революционных делах, и вы же мне говорите: это не относится к делу, и торопитесь меня обвинить... — Он с силою стукнул кулаком по столу и в волнении зашагал из угла в угол.

— Да, торопитесь обвинить... — красный от гнева, продолжал он через минуту. — Но где же доказательства? Где?.. Кто дал вам право суда, раз вы не можете доказать?.. Кто?.. Партия?.. Комитет?.. Но ведь и я полноправный член комитета... А если б вы могли доказать, вы предъявили бы следственный материал. Почему вы молчите? За вами слово, а не за мной... Не вы судьи, а

я... Я обвиняю. Я говорю: вы не товарищи, вы не судьи, — лицемеры, вы клевещете на меня, вы топчете меня в грязь... Да будет вам стыдно!.. Я требую вас к ответу!..

Розенштерн слушал, наклонив голову набок и не спуская с доктора Берга жестких, колючих, загоревшихся мстительной злобою глаз. Его смущение прошло, и теперь было стыдно, что он, как слабый ребенок, поддался первому чувству. «А виселицы?.. А партия?.. А террор?.. Нет, Тутушкин не врет, не смеет соврать», — подумал он и твердо сказал:

— И это тоже не относится к делу.

— Да, вы думаете?.. И вы, Розенштерн?.. Что же мне остается?.. Где же, Господи, правда?.. — упавшим, почти расслабленным голосом повторил доктор Берг, но сейчас же опять овладел собой:

— Очень хорошо. Так позвольте следственный материал.

— Вам уже сказано: следственный материал предъявлен не будет.

— В таком случае я отказываюсь от показаний.

Розенштерн презрительно прищурил глаза:

— Отказываетесь?

— Да.

— Подумайте... Мы ведь не придем второй раз.

— Я уже думал.

— И отказываетесь?

— Да.

— Вы совершаете преступление.

— Да.

— Вы губите себя.

— Да.

— Вы знаете, что вас ждет?

Доктор Берг безучастно кивнул головою. Казалось, что ему все равно, осудят его или оправдают, будет он убит или нет. Казалось, что то жестокое унижение, которое он только что пережил, так несмываемо, неслыханно и огромно, что перед этой вечной минутой бледнеет и жизнь, и революция, и смерть. Геннадий Геннадиевич, чувствуя, что громко заплачет, вскочил и, подбегая к доктору Бергу, крепко сжал его руки.

— Разве так можно? Ну, что вы делаете, серебряный мой, Бога ради... Ведь вы не подчиняетесь комитету... Что же мы доложим на заседании? Послушайте меня... Ну, Бога ради, послушайте же меня...

Александр и Розенштерн встали. Когда они подошли к дверям и доктор Берг понял, что комиссия уходит, он сделал один замедленный шаг вслед за ней. Лихорадочно озираясь кругом, точно ища защиты, он секунду стоял без слов. И вдруг, дернув вверх подбородком, будто кто-то снизу больно ударил его, и зачем-то подымая правую руку, закричал звенящим фальцетом:

— Господин Розенштерн!.. Вы можете мне не верить... Вы можете меня убить... Да, убить... Но... Но... я.. даю вам честное слово... Я никогда в полиции не служил...

Он всхлипнул и отвернулся к окну. Александр с изумлением увидел, как тихо дрогнули его плечи, и затрясся лысый затылок, и всколыхнулась перебегающей дрожью спина. Он рыдал без звуков, без слов, судорожно схватившись за подоконник и не обращая внимания, видят его или нет. Все его длинное, узкое тело в модном темно-коричневом пиджаке дрожало и сотрясалось, и мелко стучали зубы, и прыгал выбритый подбородок, точно плакал не он, самоуверенный член комитета, известный в партии доктор Берг, а беспомощный, маленький мальчик. Он был так жалок, так несчастен и слаб, так тяжело было безысходное горе, так страшен был безжалостный приговор, так бледен был Геннадий Геннадиевич, что Розенштерн, не помня себя, поспешно вышел из комнаты. На лестнице его нетерпеливо ждал Александр.

VI

Тутушкину удалось украсть «документ» — докладную записку, написанную рукою доктора Берга. Последняя надежда разбилась. Было ясно, что партия во власти охранного отделения и что в комитете «работал» шпион. Алеша Груздев, потрясенный, близкий к самоубийству, не простившись ни с кем, уехал из Петербурга. Геннадий Геннадиевич вынужден был признать, что успокоительная «гипотеза» лишена оснований. Вера Андреевна плакала и негодовала, что ее «замарали». Арсений Иванович кряхтел, советовал «апеллировать в съезд». И хотя товарищи видели, что провокация подрезала партию, как коса подрезает траву, и хотя каждый в душе сознавал позор обманного поражения, ни один из них не задумался над своей невольной виной. Измена доктора Берга казалась им стихийным несчастьем. Им казалось, что нет их

греха, если наемный убийца хитростью проник в комитет. И так как в партии числилось множество членов, и все они верили доктору Бергу, и любили его, и «работали» с ним, то и не было виноватых. И ни Арсений Иванович, ни Залкинд, ни Вера Андреевна, ни Алеша Груздев не умели понять, что провокация не случайное бедствие и что они в полной мере ответственны за нее. Доверие к комитету поколебалось: родились боязливые слухи, что доктор Берг не один. «Работа» остановилась: товарищи подозревали друг друга.

Истощенная арестами партия, потерявшая лучших людей, разочарованная в собственных силах, уже не смела рассчитывать на победу. Как разбитое войско, как армия, руководимая устрашенным вождем, она отступала без боя. Те, кто мужественно боролись вчера, сегодня в страхе бросали оружие. Иные жаловались на комитет, иные на «насилие и произвол», иные на «провокацию», иные на «равнодушие толпы». Но каждый думал, что добросовестно исполнил свой долг.

Пока Розенштерн «наблюдал» за доктором Бергом, допрашивал его и судил, он втайне надеялся, что доктор Берг докажет свою невиновность. Он так долго «работал» с ним рядом, так привык его уважать, так по-дружески привязался к нему, что не мог представить себе его насильственной смерти. И хотя он обещал Александру, что провокатор будет убит, он чувствовал, что не в силах выполнить обещание. Он говорил себе, что доктор Берг не товарищ, а охранный шпион, что они никогда не «работали» вместе и что партия одобрит узаконенное убийство, и все-таки не мог бы убить. Это странное раздвоение тяготило его. Он понял, что все еще любит доктора Берга, что взращенное многолетней «работою» чувство не мирится с очевидною «провокацией» — не мирится с братоубийством. И, презирая свою сердечную слабость, он от имени комитета разрешил Александру «поступать по своему усмотрению». Александр в тот же день увиделся с Абрамом и Ваней. Абрам возмутился.

— Ха!.. Вот это настоящая американская выжимочка, — с негодованием воскликнул он, и его круглое, детское, смеющееся лицо исказилось гневом. — Пять лет в комитете!.. Ин-тел-ли-ген-ция!.. Ну, хорошо. Так мы — не студенты... Мы — рабочие... Ха!.. Будьте покойны...

Александр с любопытством взглянул на него.

— Но ведь это — уголовное преступление.

— Уголовное преступление? Что значит?.. Скажите, — важное кушание! А по-вашему, — Богу молиться?

— Но ведь нет партийного приговора.

— Так разве же я виноват, что его нет? — сердито сказал Абрам. Ваня пожал плечами.

— Таскал волк — потащат и волка, — холодно, с ненавистью промолвил он.

Александр улыбнулся:

— Завтра?

— Да, завтра.

— На дому.

— Да, на дому.

— Ну, что ж? В добрый час!..

6 мая в десятом часу утра Абрам подходил к квартире доктора Берга. Задуманное убийство казалось ему нетрудным и неопасным. Он не думал о том, что его могут арестовать и что на Малом проспекте едва ли возможно скрыться. «Очковая змея... Негодяй... Арестовал Ипполита... Вот такие устраивают погромы... Насилуют женщин... Режут детей... Жгут... Гонят евреев... Ну, хорошо... Ха!..» — твердил он сквозь зубы. Он отыскал указанный Александром дом и стал медленно подниматься по лестнице. На нижней площадке была настежь открыта обитая войлоком дверь. Из нее валил пар, горячий и душный: прачки стирали белье. Одна из прачек, миловидная, полная, с раскрасневшимся от жара лицом, обернулась, заслышав шаги. «Работают... Ха... это вам не интеллигенты», — подумал Абрам и взошел на пятый этаж. Увидев визитную карточку «Доктор медицины Федор Федорович Берг», он остановился и в волнении перевел дух. «Уголовное дело... Какой в этом смысл? Смешно...» Он взвел браунинг и хотел позвонить, но внезапно заколебался: «Покурю». Вынув коробочку папирос, он не спеша зажег спичку. Он курил жадно, коротенькими глотками, прислушиваясь к тому, что делалось на дворе. Было тихо. Только в прачечной глубокий контральто напевал заунывную песню да на улице шмыгала дворницкая метла. Он не заметил, как окончилась папироса и дымящаяся бумага обожгла ему пальцы. «А если нет его дома? — протянул он дрожащую руку к звонку. — Будет знать, как громить... Будет знать, как вешать людей... Чтобы огонь его попалил...»

Он ждал долго и боязливо, ощущая сухую горечь во рту и ощупывая револьвер. В прачечной умолкло контральто, и кто-то весело рассмеялся. Во втором этаже

спорили громкие голоса. Абрам вздрогнул и позвонил еще раз.

В прихожей тупо щелкнул замок. На пороге за полуоткрытой дверью показался длинный, в очках и в коричневом пиджаке доктор Берг. Он исподлобья, угрюмо посмотрел на Абрама.

— Что вам угодно?

— Не узнаете?

— Нет. Что нужно? Кто вы такой?

Абрам не ответил. Боясь, что захлопнется дверь, он всем телом подался вперед. Доктор Берг побледнел и, отступая, пропустил его в сени.

Они стояли в полутемных сенях, не смея пошевелиться, не смея думать, не смея дышать, готовые при первом движении кинуться друг на друга. Абрам чувствовал прерывистое дыхание доктора Берга и видел его расширенные, блестящие под очками, глаза. Долго ли это длилось — ни один из них не мог бы определить. Наконец, доктор Берг хрипло, шепотом повторил свой вопрос:

— Что нужно?

В то же мгновение Абрам поднял свой браунинг. Но выстрелить он не успел. Как только блеснул гладкий ствол, доктор Берг изогнулся и бросился на Абрама. Он поймал его руку и цепко, точно клещами, у кисти сдавил ее. Навалившись спиной, сопя и постепенно отодвигаясь к дверям, он старался разжать сжимавшие браунинг пальцы. Абрам почувствовал, что не может освободиться. Он выдернул левую руку и, незаметно просунув ее под жилет, вынул большой финский нож. Размахнувшись и больно стукнувшись о косяк, он с силою ударил ножом. Что-то екнуло. Что-то мягкое упруго порвалось, и по пальцам заструилась горячая кровь. Доктор Берг сейчас же выпустил браунинг и, приседая, отступил на один шаг назад. Он вздохнул, схватился за грудь и, стараясь сохранить равновесие, плечом приткнулся к стене. Но тело его зашаталось, голова опустилась, и он как подкошенный упал на пол. Левый бок его был в крови.

Абрам наклонился над ним. Доктор Берг лежал на боку, подогнув костлявые ноги. Лица его не было видно. Абраму почудилось, что он еще жив. Им овладел страх. Не помня себя, с помутившимися глазами, он присел на корточки рядом с трупом и торопливо стал наносить удары ножом. Он взмахивал окровавленною сталью и погружал ее в шею, в бока и снова бил, бил без отдыха и

без счета, мстя за ужас, который он испытал. Он не помнил, сколько ран он нанес. Послышалось, что стукнула дверь. Обезумев от страха, не зная, что делать, боясь, что кто-нибудь позвонит, он бросил револьвер и осмотрелся вокруг. Если бы Ваня случайно вошел, он бы его не узнал. Это был не добродушный, смеющийся, хорошо знакомый кожевник Абрам. Это был другой, никому не ведомый человек. На бессмысленном, белом как скатерть лице повисли крупные капли пота, волосы слиплись, ноги тряслись, и странно, горбом, согнулась спина. Он прислушался. Не было никого. Стараясь не смотреть на истерзанный труп, он вышел в спальню доктора Берга. Уже мелькнула беспокойная мысль: «Надо умыться... умыться...» В углу, у койки стоял рукомойник, но Абрам не увидел его. Он ходил по комнате, точно слепой, шаря во всех углах, оставляя кровавые пятна и не находя ни капли воды. Не решаясь обойти всю квартиру, он вернулся обратно в сени.

И вдруг желание уйти, желание спастись неудержимо охватило его. Он с трудом отыскал свой картуз и нахлобучил его на лоб. Про браунинг и про нож он забыл. Крадучись, он на цыпочках вышел на лестницу и, через перила свесившись вниз, стал прислушиваться к каждому звуку. «Ничего мне на свете не надо», — в голос пел глубокий контральто. Абрам мотнул головой и начал спускаться. Прачечная была открыта, но прачки на него не обратили внимания. Он вышел на двор. У мусорной ямы младший дворник сгребал лошадиный навоз. Он работал спиною к Абраму и не заметил его. Спрятав лицо в воротник, Абрам быстро пошел вперед. За воротами была улица. Он кликнул извозчика и приказал ему ехать на Невский, и только за Николаевским мостом, взглянув на играющую на солнце Неву, он понял, что опасности нет. Он застегнул кожаный фартук, чтобы не было видно кровавых следов, и успокоенно, радостно, почти безгрешно вздохнул: «А все-таки ты убит... Ха!.. Будешь знать, как резать евреев...»

VII

Со смертью Володи дружина его распалась, как распадается разбитая молотом железная цепь. Члены ее рассеялись по России. «Систематический», «партизанский» террор закончился поражением. Часть дружинни-

ков занялась разбойничьим грабежом, другая отошла от «работы», и только незаметное меньшинство решилось продолжать Володино «дело». Во главе этой горсти людей стоял Герман Фрезе. Он ясно видел, что борьба безнадежна и что правительство должно победить. Но он не смутился. Он думал, что его долг — долг непримиримого террориста — до конца оставаться на славном посту. И хотя он чувствовал, что бессилен и одинок и что товарищи не поддержат его, он с неистощимым терпением дерзко строил Вавилонскую башню. За эти месяцы он постарел, облысел и утратил изысканно-барский вид — самоуверенные манеры состоятельного студента. Он объехал Волгу и юг, мечтая найти боевиков-анархистов. Он не нашел никого и, к своему душевному горю, вынужден был принять выгнанного Володей за пьянство беглого солдата Свисткова. Герасим Свистков, правофланговый в гренадерском полку, белобрысый и белоусый, трехаршинный детина, очень похожий на Вильгельма II, смиренно покаялся в тяжком грехе. Он поклялся, что бросит пить, и свято держал свою клятву: не пил больше ни рюмки. Этот Свистков и сормовский молотобоец, балагур и песенник, Николай, по прозванию Колька-Босяк, стали верными помощниками Фрезе. Но «дело» не шло. Покушения не удавались. И чем менее было надежд, тем усерднее, настойчивее и тверже «работала» ожесточившаяся дружина. Фрезе знал, что его повесят. Но он не боялся смерти. Он думал только о том, как бы выполнить завещание Володи: создать могучий и непобедимый террор. В конце мая он приехал из Москвы в Петербург для «изысканий» о взрыве охранного отделения. С ним приехали Колька-Босяк и Свистков.

Остановившись в гостинице «Яр» и отдав для прописки фальшивый, изготовленный Колькою паспорт на имя польского дворянина Довгелло, Фрезе вышел на Забалканский проспект. Повинуясь неясному чувству, он повернул на Фонтанку. Он не был в Петербурге с тех пор, как Володя сделал «экспроприацию», и теперь его тянуло туда, на Большую Подьяческую — к тому заветному месту, где Константин бросил первую бомбу и дружина «заработала» первые деньги. День был хмурый и теплый. Накрапывал летний дождь. Фрезе шел по мокрому тротуару и с тоской узнавал когда-то изученные, как милые лица, дома. Один дом, купца Белякова, квадратный, холодный, казарменно-желтого цвета, с чугунными балконами во втором этаже и с зеленной торгов-

лей внизу, запечатлелся в памяти на всю жизнь. Именно здесь, в пяти шагах от подъезда, лежали холщовые, выброшенные на мостовую мешки, и именно здесь происходил решительный бой. Фрезе вспомнил, как высокий и бородатый казачий урядник, верхом на малорослом коне, круглым движением вскинул винтовку и прицелился ему в грудь. Он вспомнил, как в ту же секунду он наугад поднял маузер и как сильно дернуло руку и тупо заныло плечо. Звякнула о камни винтовка. Скаля зубы, храпя и задирая вверх морду, взвился на дыбы испуганный конь. И еще Фрезе вспомнил, как пофыркивал рысак Прохора, серый, в яблоках, породистый жеребец, и как Прохор с мужицким лицом и озабоченными глазами, повернувшись на козлах, что-то звонко кричал Володе. «Прохора нет... И Володи... И Ольги... И Константина... И Мити... И Елизара... Кладбище... Заброшенные могилы... И никто не плачет о них», — с болью подумал он и, перейдя улицу, зашел в знакомую до ничтожнейших мелочей пивную. В этой темной пивной он и Муха ожидали Володю за четверть часа до убийства. Тот же толстый сиделец, который встретил его год назад, приветливо поклонился ему, и тот же востроносый мальчишка вытер грязной салфеткою стол. Фрезе сел и закрылся газетой. Ему казалось, что вот-вот раскроются двери и войдет веснушчатый и вихрастый, в офицерском плаще, Константин и как тогда, в то сияющее апрельское утро, скажет, пряча бомбу под плащ: «Добрый день... Вы уже тут?.. А где же начальник наш, Владимир Иванович?» Ему казалось, что вот-вот забарабанят частою дробью копыта и из-за верха пролетки мелькнет нарядная шляпа. «Ольга, — подумал он, — Ольга... Зачем она застрелилась?.. А если бы не застрелилась?.. Повесили бы ее... Разве они щадят?.. Господи, нет никого... Все умерли... Все...» Он скомкал газету и встал. Сквозь туманные облака сверкнуло горячее солнце и заиграло на стеклах уличных фонарей. «Вот здесь, у этого фонаря лежал умирающий Константин», — потупился Фрезе и, в раздумье, медленными шагами, побрел назад, на Фонтанку.

У Юсупова сада кто-то окликнул его:

— Герман Карлович! Вы?

Перед ним стоял сгорбленный, зелено-бледный, в синих очках Эпштейн. Он был в черной шляпе, коротком светлом пальто и в ярко-желтых перчатках. Можно было подумать, что он не революционер, «экспроприатор» и анархист, а беспечный и праздный молодой купеческий

сын. И хотя он позорно бежал, и потом уехал в Париж, и не «работал» в дружине, Фрезе от всей души обрадовался ему. Он протянул Эпштейну руку и ласково улыбнулся. Улыбался Фрезе одними глазами. Его немецкое, узкое, точно каменное, лицо оставалось неизменно спокойным.

— Вы давно из Парижа?

— Вы спрашиваете!.. — удивленно, словно Фрезе должен был знать, когда именно он приехал, воскликнул Эпштейн. — Прямо с вокзала... Ну, что, как дела?

— Какие дела?

— Ну вот... Конечно же ваши...

— Мои?.. Мои дела очень нехороши.

— Что значит нехороши?

— Дружинников мало.

— А почему дружинников мало?

Фрезе вздохнул:

— Не знаю.

— Не знаете... А кто же знает?.. Может быть, Господь Бог? — Эпштейн строго взглянул на Фрезе. — Значит, товарищи не умеют работать...

— Может быть.

— Не может быть, а наверное... Если бы жив был Володя...

— Так то — Володя... — неохотно возразил Фрезе.

— Что такое Володя?.. — рассердился Эпштейн. — А чем мы хуже Володи?.. Вы читали мою статью «О худших и лучших»? Нет?.. Я писал, что нужно сделать генеральную чистку... Понимаете — генеральную! Понимаете, нужен террор массовый, универсальный, всеобъемлющий, беспощадный... Есть две расы людей. Раса эксплуататоров и раса эксплуатируемых. Эксплуататоры наследственно злы, хищны и жадны. Сожительство с ними немыслимо. Их надобно истребить... Понимаете, истребить... Всех до единого, до последнего... Если их сто тысяч, надо истребить сто тысяч... Если их миллион, надо истребить миллион... Если их сто миллионов, надо истребить сто миллионов... Стесняться нечего... И я... я, Рувим Эпштейн, знаю, как это сделать. Я приехал нарочно, чтобы вас разыскать. Я вам скажу, как надо работать... Мы победим мир... Мы спасем революцию... Нет?

Вечерело. Прозрачно-фиолетовой дымкой заткалась Нева, и на западе, за Балтийским заводом, взмыла серая, почти черно-лиловая туча. Подул свежий ветер.

Стало холодно. Погромыхивал гром. Эпштейн застегнул на все пуговицы пальто и продолжал с увлечением:

— Большое несчастие, что люди не умеют освободиться от предрассудков... Почему-то все боятся свободы... Почему-то никто не смеет дерзать... Вы скажете: неправда?.. Ах, я всегда говорил: какие детские сказки, что нужно думать о каких-то законах!.. Где они, эти законы?.. Я смеюсь над всеми законами... Я сам себе закон... Да... Вы читали Ницше? Непременно прочтите... Помните: «Мы хотим восхитительно устремиться друг против друга!» Да, да... именно «восхитительно»... Ольга понимала, она одна понимала, что свободному человеку позволено все. «Человек — это звучит гордо!» Понимаете: гордо! Ну, а мы? Даже смешно!.. Я приехал из Парижа, думал, вас отыщу и вы мне скажете что-нибудь очень хорошее... А вы говорите: плохи дела?.. Почему плохи? А потому, что вы не дерзаете, чтобы они шли хорошо... — Эпштейн замолк и, подняв слабую, как палка, тонкую, в желтой перчатке, руку, задекламировал одушевленно и громко:

За пределы предельного,
К безднам светлой Безбрежности!
В ненасытной мятежности,
В жажде счастия цельного,
Мы, воздушные, летим
И помедлить не хотим.
И едва качаем крыльями,
Все захватим, все возьмем,
Жадным чувством обоймем!
Дерзкими усильями
Устремляясь к высоте,
Дальше, прочь от грани тесной,
Мы домчимся в мир чудесный,
К неизвестной
Красоте!

Фрезе наморщил белый, на висках облысевший лоб. Слова Эпштейна о «красоте», о «Ницше», о «худших и лучших», о «бездне» и о «дерзании» казались лишенными смысла, мальчишеской болтовней. Он вспомнил резкий отзыв Володи: «Кулик не велик, а свистит громко...» Чувство радости внезапно потухло. И, пренебрежительно, сверху вниз измеряя Эпштейна взглядом, он устало спросил:

— К чему вы это все говорите?

— Как к чему? — заволновался Эпштейн. — Да ведь в этом обновленная, прекрасная жизнь, неустанное устремление к свету, а значит, и к революции... Как вы не понимаете? Разве не к красоте стремимся мы, революционеры? Не ко всемирной гармонии? Не к истреблению двуногих скорпионов? Не к уничтожению мещанства? Или, может быть, — нет?.. Или, может быть, красота не в дерзании? «В своей вражде мы должны быть созидателями образов и призраков и с помощью их объявить друг другу войну». Так сказал Ницше... А вы? Что вы на это скажете?.. Я должен вас заранее предупредить: я убежден, что для успешности революции нужно дерзать решительно на все... Без исключений на все... Только тогда и может быть польза... Вы, может быть, думаете, что я так себе, разговариваю? — зашептал он таинственною сгороговоркою и близко, плечом, придвинулся к Фрезе. — Я должен рассказать вам одну вещь, одну конспирацию... Один обдуманный, проверенный и уже принятый мною план. За этим только я и приехал. И вы убедитесь, что умному человеку позволено все и что я знаю, как надо делать террор... Вы убедитесь, когда дела пойдут хорошо... Нет?

Фрезе задумался. Эпштейн, сгорбленный, бледный, в темных очках, казался ему таким неразумным, маленьким и смешным, что не хотелось слушать его «конспирацию». Но, преодолевая гнетущее чувство, он лениво сказал:

— Ежели вы имеете сообщить что-либо полезное для террора, то я вас слушаю... Но на улице неудобно...

— Да, да... Разумеется... На улице неудобно, — подхватил, волнуясь, Эпштейн. — Едем на острова!.. Извозчик, на острова!.. — И, не давая Фрезе больше сказать ни слова, он сел в пролетку и приказал ехать за город, в ночной ресторан «Альказар».

VIII

В шумный, сияющий огнями, полный суеты «Альказар» Эпштейн вошел уверенно и развязно. Он на ходу, в коридоре, потребовал «кабинет», и когда лакеи подали ужин, выпил залпом стакан вина и, закурив, обратился к Фрезе:

— Вы не будете пить?.. Напрасно: неплохое вино... Скажите, вы не думали, почему террор окончился не-

удачей?.. То есть не окончился, но может окончиться?.. Нет?.. Было мало людей? Мало мужества? Мало денег? Мало расчета? Странное дело!.. Всего этого было довольно... Я вам говорю: не хватило дерзания. Ах, сентиментальные сказки... «Я же радуюсь великому греху, говорит Заратустра, как моему великому утешению. Но это сказано не для длинных ушей. Это тонкие, дальние вещи... И бараньим копытом их не должно касаться... Думаете ли вы, что я пришел сюда затем, чтобы исправить то, что вы испортили?... Или вам, заблудившимся, указать легчайшую дорогу?..» Помните?.. Ну, так я именно за этим и пришел... Понимаете: я могу указать вам дорогу... Понимаете: я могу вам ее указать... Вы слышали про доктора Берга?

Фрезе, зевая, слушал Эпштейна. Прокуренный и пропахший сигарами «кабинет», докучные взвизги оркестра, жалкий, в темных очках, Эпштейн и высокопарно-торжественные слова утомили его. Он провел рукой по лицу и, думая о своем, — о дружине и покушении, — равнодушно ответил:

— Да, я слышал про доктора Берга.

— Ну и что?

— Ничего.

— То есть как ничего?

— Да так: убит провокатор.

— Странно!.. Ведь не в этом же дело... Я вас спрашиваю: возможен террор, если провокатор — член комитета? Ну? Конечно же невозможен... Вы будете спорить?.. Я спрашиваю: возможен террор, если мы, бараньи головы, не будем бороться?

— С чем бороться?

— С чем? Ясно с чем: с провокацией!

— Но как с ней бороться?

— Так я же вам говорю: я затем и приехал... Я придумал безошибочный план... Я укажу вам дорогу... Поймите, пока полиция знает все, террор не может иметь успеха... Единственное средство борьбы — поступить на службу в охранку... Не ясно? Надо доказывать? Разжевывать? Объяснять?.. В «Народной воле» был прецедент, давший блестящие результаты... Когда Клеточников служил, Желябов был в безопасности... И потом, вы знаете: надо представить себе, что значит охранная служба... Подумайте только, что должен испытывать человек, осмелившийся дерзнуть?.. Какие эмоции, какие огненно-яркие ощущения должен он пережить!..

Работать в терроре и сотрудничать одновременно в охранке!.. Знать все, что делается по обе стороны баррикады! Знать, что от тебя зависит судьба революции!.. Судьба России... Какая красота! Какое величие!.. Вечно ходить по краю обрыва и стремиться к «светлой безбрежности»! Вот бездна низа! Вот бездна верха!.. нет?.. Подумайте!.. Вы подумайте... Ну, что скажете? А?

Эпштейн вскочил. Его лицо разгорелось румянцем, и курчавая голова гордо закинулась вверх. Теперь Фрезе уже без скуки, с ревнивым вниманием слушал его. «Болтает?.. Или?.. Нет, не может быть... Конечно, просто болтает». Он нахмурился и неохотно сказал:

— Если вы меня спрашиваете, то я вам должен ответить: в охранное отделение ни при каких обстоятельствах не следует поступать.

— А почему?.. Почему?.. Объясните мне, — почему?

— Потому что это — измена.

— Измена?.. Смешно!.. Сентиментальные сказки!.. Заповеди завета!.. Моральный императив!.. Закон!.. Но какая же, объясните мне ради Бога, измена, если я говорю: не для себя, а для террора, для революции!.. Ну, а закон... Что такое закон? Помните? «О пошлите мне безумие, небожители!.. Пошлите мне бред и судороги, внезапный свет и внезапную тьму, бросайте меня в холод и жар, заставьте меня выть, визжать, ползать, как животное... Я убил закон... Если я — не больше, чем закон, то ведь я — отверженнейший из людей...» Так писал Фридрих Ницше. Ну, а я, Рувим Эпштейн, вам говорю: свободный человек больше, неизмеримо больше, чем самый большой закон. Свободный человек не должен «выть и визжать». Я смеюсь над глупым законом!..

Он подошел к столу и опять жадно, залпом выпил вина. По громоздким цитатам из Ницше, по двусмысленным, разбегающимся словам, по преувеличенно развязным движениям и по натянутой и робкой улыбке Фрезе понял, что Эпштейн что-то таит и боится высказать вслух. «А если он не просто болтает? А если?..» — с тревогой подумал он и сказал:

— Все это хорошо. Но ведь вы приехали из Парижа не для того, чтобы читать лекции о морали.

Эпштейн не сразу ответил. Он опустился в глубокое кресло и долго молча смотрел на Фрезе. Среди мягких подушек, длинноволосый, сгорбленный и худой, он казался еще меньше ростом, еще беспомощней и слабее.

В «общем зале» гремел нахальный оркестр. В коридоре шушукались лакейские голоса. Эпштейн нерешительно кашлянул:

— Я должен вам кое-что сообщить.

— Я вас слушаю.

— Ну вот... Я... Я... Вы ведь знаете мои взгляды?.. Я пришел к убеждению, что для пользы террора необходимо служить в охранке...

— И?

— И... И... Вам я, Фрезе, скажу... Вы умный человек... Вы должны же меня понять... Я же вам говорю: террор только в том случае будет успешен, если мы оградим себя от охранки. Так?.. Ну... Дальше, — как оградить себя от охранки? Единственный способ — поступить на полицейскую службу... Так?.. Ну... А если так, то ведь кто-нибудь должен дерзнуть... Сильный дерзнет... Слабый отступит... Я свободный человек... Авторитетов не признаю... Вы не согласны? Вы, может быть, думаете, что это ошибка?.. Ах, я заранее знал!.. Нет никого, кто бы понял меня... «Одиночество!.. О, моя отчизна, одиночество, — он схватился за голову руками. — Теперь я в слезах возвращаюсь к тебе»... Ну, хорошо... Пусть одиночество... Пусть!.. Я вас спрашиваю: желаете вы, чтобы террор был успешен? Желаете вы победить?.. Желаете вы работать со мной?.. Подумайте, Фрезе...

Эпштейн встал, ожидая ответа. Его впалые щеки тряслись, и губы дрожали. И хотя Фрезе видел, что он не шутит и что он действительно продал себя, — он не мог поверить кощунственному признанию. Не подымая глаз и все еще не веря себе, боясь услышать непоправимое слово, он тихо спросил:

— Вы... вы служите в охранном отделении?

— Да...

— Вы... вы давно служите?

— Два месяца...

Фрезе побледнел и умолк. Только теперь он понял, всей своей правдивой душой, что перед ним не товарищ, не друг, не приятель погибшей Ольги, а наемный охранный шпион. «Кто предал Володю?..» — кольнула острая мысль. Стиснув зубы, он сурово сказал:

— Сколько вы получаете?

— Что значит?..

— Сколько вы получаете?

— Герман Карлович, что за допрос?.. Я не буду вам отвечать... Вы не имеете права...

— Не будете? — переспросил Фрезе.

— Не буду... Я вам сказал, как товарищ, а вы...

Эпштейн злобно, украдкой взглянул на Фрезе и покраснел.

— Это черт знает что! Это насилие!..

— Вы будете отвечать.

— Ну, хорошо... Пятьсот рублей...

— В месяц?

— Да, в месяц.

— Где эти деньги?

— Как где?.. Я не понимаю... Что?.. Что такое? Что надо?..

— Где деньги?

Фрезе спокойно, не торопясь, опустил правую руку в карман. Эпштейн заметил это движение. Он вздрогнул и поспешно вынул бумажник, бросил его на стол.

— Вот здесь триста рублей... Нате, считайте, если хотите...

— Триста? А остальные?..

— Не понимаю... Что же мне? Копить?.. Зарывать в землю? Или что еще? Ну?

— Значит, вы прожили?

— Да, прожил...

— Вот что, Эпштейн!.. — угрюмо промолвил Фрезе. Он испытывал теперь все нарастающую, пьянящую и темную радость: он думал, что отомстит за Володю и что месть эта праведна и достойна его. Эпштейн не казался уже ни неразумным, ни бессильным, ни жалким. Он казался лукавым и дерзким врагом, которого щадить — преступление.

— Вот что, Эпштейн, я вынужден буду...

— Довольно шуток, Герман Карлович!.. Нет?.. — заволновался Эпштейн. — Что это значит?.. Вы говорите, как будто я провокатор?.. Абсурд!.. Нелепо! Глупо! Смешно!.. Я приехал сюда, чтобы работать в терроре... Я для этого только и поступил в охранное отделение... Что, мне приятно служить? Вы не убедили меня, что я сделал ошибку... Убедите!.. Я свободный человек! Я ничего не боюсь!.. Вы не можете мешать делать пользу для революции!.. Это насилие!.. Я протестую!.. И что из этого, что я деньги брал?.. Велика важность — деньги!.. А что же, не брать? Идеальничать? Возбуждать подозрение?.. Что за доказательство?.. Ну?..

Фрезе бесстрастно выслушал горячую речь. Когда Эпштейн, задыхаясь и вытирая губы платком, в изнеможении упал в глубокое кресло, он холодно повторил:

— Ввиду того, что вы провокатор, я вынужден буду...

— Что?

— Я вынужден буду поставить одно условие...

— Какое условие?.. При чем тут условие?.. Нет, как вам нравится? Я хочу ему пользы, я говорю, что и как надо делать, чтобы поставить террор, а он мне грозит!.. Сумасшествие!.. Глупость!.. Бедлам!.. Так невозможно!.. Что вы воображаете?.. Я людей позову!..

Фрезе наморщил белый, на висках облысевший лоб и медленно вынул браунинг из кармана. Он положил его рядом с собой, на салфетку, и усмехнулся:

— Ежели вы желаете звать людей, то почему вы их не зовете?.. Мое условие заключается в том, что вы поможете убить полковника Шена... Иначе... Иначе... Я вынужден буду вас... истребить.

Эпштейн с усилием поднялся в кресле. Вытянув тонкую шею, он вяло, блуждающим взглядом осмотрел «кабинет». Двери были закрыты, и между Фрезе и им стоял уставленный бутылками стол. Было очень светло, очень жарко, и сильно пахло вином. На белой скатерти чернел заряженный браунинг. Эпштейн тяжко вздохнул и, чувствуя, что теряет сознание, уронил голову на подушки. Как сквозь сон, он услышал размеренный голос:

— Согласны вы или нет?

Он ничего не ответил. Он не понимал, где он, и что с ним, и кто спрашивает его, и зачем блестит браунинг, и зачем сияют электрические огни. Он понимал только одно, что Фрезе его не отпустит и что окончена жизнь, что сейчас, через десять минут, он умрет позорной и бессмысленной смертью. Он был убежден, что Фрезе его застрелит, застрелит здесь, вот в этом пропахшем сигарами «кабинете», что напрасно молить о пощаде, напрасно плакать, кричать, звать на помощь, доказывать и даже бороться. Не отдавая себе отчета, не зная, что делать, он слабо кивнул головой и, как бывало с ним в детстве, крепко накрест, точно обороняясь, прижал ладони к груди. Фрезе с ненавистью взглянул на него и спрятал браунинг обратно в карман.

IX

На другой день Эпштейн проснулся поздно, в одиннадцатом часу. Привычный номер гостиницы, узорчатый, запыленный ковер, зеркальный, желтого дерева шкап и кисейные занавески показались неуютными и чужими, точно за ночь изменилась вся жизнь. Хотя в комнате было тепло, он зябко потянул одеяло и, пытаясь снова уснуть, избегая мучительных мыслей, зарылся с головою в постель. «Ах-ах-ах, — простонал он, кусая ногти, — Фрезе... Ах-ах-ах... Глупость!.. Ужасная глупость!.. Безмозглая глупость!.. И кто тащил за язык? Надо было болтать?.. Не мог удержаться!.. Ведь он ничего бы не думал... А я бы работал... И было бы все хорошо... А теперь вот пропало дело... Пропало?.. Неужто пропало?.. Неужто выкрутиться нельзя?.. Ах-ах-ах... Что за черт!..» Он в глубине души был уверен, что поступил в охранное отделение исключительно «для пользы террора» и что между ним и доктором Бергом очевидная для всех бездонная пропасть. Он был уверен, что он не продажный «секретный сотрудник», а неподкупный и мужественный революционер, более мужественный, конечно, чем те, кто не смеет «дерзнуть». И он был уверен еще, что его непростительный грех заключается единственно в том, что он «проболтался, как баба», — переоценил товарищеское доверие. «Не понимает!.. Фанатик!.. Дурак!.. Телеграфный столб!.. Тателе-Мамеле!.. — Заворочался он на кровати. — Насочиняли законов!.. Святые!.. Ах, глупость, глупость!.. Сумасшедшая глупость!.. Как же быть?» Он сел и, опустив оголенные ноги, взъерошенный и неумытый, в белой ночной рубашке, забормотал, размахивая руками: «Он что-то мне говорил... Говорил, что меня истребит... Что такое?.. Не смеет... За что? Что я сделал дурного?.. Разве я провокатор? Совесть моя чиста... Почему она может быть не чиста? Если я, например, убежден, что нужно работать в охранке?.. Пусть докажет, что я не прав... Пусть докажет... Да, да... пусть докажет... Кого я выдал? Кому повредил? А деньги?.. Мелочь!.. Пустяк!.. Ребенок поймет!.. Смешно...» Уже успокоенный и почти убежденный в своей правоте, убежденный, что его не за что осудить, он надел башмаки и начал тщательно одеваться. Но мысль о вчерашнем неотступно преследовала его. Причесавшись и положив щетку на мраморный стол, он опять невольно подумал о Фрезе. И в ту же минуту

вспомнился полковник фон Шен, остриженный под гребенку, румяный и пухлый, необычайно вежливый господин. Вспомнились круглые, без блеска, глаза, те глаза, которых он так боялся, и последний, испытующий разговор: «А не знаете ли, Эпштейн, где теперь Герман Фрезе?..» «Я выдал? — в ужасе вскрикнул он и почувствовал, как похолодели колени. — Почему выдал?.. Разве я провокатор?.. Разве я мог не ответить?.. Если бы я не ответил, он бы меня заподозрил, он бы понял, что я играю игру... Это же неизбежно... И чем же я повредил?.. Тем, что сказал, что Фрезе, кажется, в Петербурге? Мало ли что в Петербурге? Петербург велик... Надо найти...» Он старался себя оправдать, во что бы то ни стало старался поверить, что не совершил преступления и что Фрезе не арестуют... «Даже если и будет маленький вред, — рассудительно доказывал он, — то все-таки разница... Провокатор служит за деньги, а я служу идейно и бескорыстно... Не надо этого забывать... Надо помнить... Да, помнить... Иногда и жертвы необходимы...» Он, спотыкаясь, дошел до окна и отдернул кисейную занавеску. «Фрезе говорит, что убьет... Фрезе убьет?.. Как?.. Что такое?.. Вот выйду на улицу, а он поджидает меня за углом... Разве он пощадит? Разве они щадят?.. И зачем я сболтнул? Ах, глупость!.. Убьет?.. Почему он вчера не убил?.. Ведь мог убить?.. Не посмел? Да... я ведь дал обещание... Идиотская глупость!.. Ах-ах-ах! Что делать? Что делать?..» Он неловко, тщетно пытаясь попасть в рукава, накинул пальто и вдруг ясно представил себе минувшую ночь. Он увидел прокуренный, душный, сверкающий хрусталем «кабинет», узкое, точно каменное, лицо, черный браунинг и уставленный бутылками стол. «Я вынужден предложить вам условие...» Так сказал Фрезе... Значит... Значит, бежать... Но куда?.. Куда бежать? Ведь, наверное, следят... Нет спасения, — замирая, подумал он и тотчас же ухватился за новую мысль:— А если не выйти?.. Если спрятаться тут?.. Кто может заставить меня выходить... Буду сидеть вот на этом диване... И напишу полковнику... Нет?» Он успокоился на мгновение и даже попробовал закурить, но пальцы не слушались и ломали тонкие спички. «А доктор Берг?... Ведь к нему пришли на квартиру... А если придут и ко мне?.. Неужели придут? Ну да... Очень просто: придут!» Он не сомневался теперь, что, где бы он ни был, что бы ни делал, как бы ни стремился себя защитить, безжалостный Фрезе всюду

разыщет его. Он бросил на пол незажженную папиросу и осторожно выглянул в коридор. В соседнем номере немолодая, с измученным лицом горничная прибирала постель. «Горничная?— заколебался Эпштейн.— Я вчера ее не заметил... Горничная и?.. Господи Боже мой!» И, чувствуя, как кружится голова, он юркнул по лестнице вниз и вышел на Невский.

Садовую улицу густо запрудила толпа. Хоронили какого-то офицера. Пока тянулись бесконечные экипажи и однообразно маршировали солдаты, Эпштейн подозрительно осматривал всех прохожих. Его смущало, что где-то близко, может быть рядом с ним, караулит Фрезе, Колька, или Свистков, или другой, неизвестный ему дружинник. У ворот публичной библиотеки стоял лохматый, в черной тужурке студент. «Странно! — решил Эпштейн, прилежно разглядывая его. — Зачем он здесь?.. И почему не смотрит? И почему прячет глаза? Кто же знает, кто он такой?..» И, не размышляя, больше всего на свете боясь оглянуться назад, боясь, что студент догонит его, он бегом побежал по Садовой. Он бежал, расталкивая мужчин, натыкаясь на женщин, хрипло дыша и не видя, куда бежит. Он слышал в ушах немолкнущий звон, перед глазами прыгали искры, и ноги путались в полах пальто. Необозримый, чугунно-каменный Петербург, многоэтажные, непроницаемые дома, театры, памятники, скверы, дворцы казались одиночной тюрьмой, хитро раскинутой ловушкой. Ему казалось, что не один Фрезе наблюдает за ним. Ему казалось, что извозчики, и газетчики, и рассыльные, и нищие, и увечные старики — вероломные террористы, товарищи по дружине, и что каждый ищет его убить. Ему казалось, что все смеются над ним и что на свете нет ни одного человека, который бы его пожалел. Он добежал до Калинкина моста и повернул на Галерный. На другой стороне в Чекушах чернели кирпичные иглы, закоптелые трубы заводов. У таможни лепились сараи, торговые склады, магазины и низкие, александровской постройки, ряды. Эпштейн остановился. Алмазно-синие волны сверкали серебряным блеском, и из Морского канала величаво выплывал пароход. Веселым звоном перезванивали колокола. «Воскресенье... Звонят, — очнулся Эпштейн. — Надо укрыться... Укрыться... И чего я так испугался?.. Какая глупость!.. Чего?.. Ведь если даже Фрезе следит, то стоит только сказать полковнику Шену... Сказать полковнику Шену?.. Значит, я — прово-

катор...» Он не посмел думать дальше. Сгорбленный, в темных очках, он, качаясь, неровной походкой перешел Египетский мост и вышел на Петергофский проспект. Но как только он опять увидел людей, — беззаботную, снующую по тротуарам толпу, — снова сделалось страшно. «Не убежать... Не уйти», — почти в беспамятстве всхлипнул он и вскочил в проходящую конку.

В конке было пыльно и тесно, звякали оконные стекла и безусый кондуктор, скучая, раздавал копеечные билеты. Эпштейн забился в угол и озабоченно, хмурясь, осмотрел дребезжащий вагон. На скамейке, против него, поклевывал носом отставной, с медалями на груди, солдат. «Когда он сел?.. До или после меня?.. — чувствуя тягостную, все увеличивающуюся усталость, пытался припомнить Эпштейн. — Кажется, после... Да, разумеется, после... Как же я не заметил?.. Почему он молчит?.. Притворяется, что заснул?.. Я, кажется, где-то видел его...» Отставной солдат насупил седые брови и водянистыми, ничего не выражающими глазами равнодушно посмотрел на Эпштейна. Эпштейн съежился и крепче прижался к стене. «Рассматривает... Хитрит... Боится ошибки... Господи Боже мой... Надо слезть... Лучше всего выпрыгнуть на ходу...» Завизжали несмазанные колеса, и хромоногие клячи замедлили бег. «Технологический институт», — просунув голову, уныло крикнул кондуктор. Эпштейн встал и с трудом протискался на площадку. Следом за ним протискался и старик. «Ну да... конечно... конечно, — коченея от страха, подумал Эпштейн. — Так и есть... Что делать?.. Надо бежать...» Он оглянулся на старика и проворно, как мышь, шмыгнул за Загородный проспект. «Я где-то видел его... Да, видел»... — твердил он, постепенно ускоряя шаги. Он переулками пробрался на Обводный канал и мимо газового завода и городских скотобоен прошел к конно-железному парку. «Если они следят, то непременно придут сюда... И я увижу... Увижу...» Он не знал, что именно он увидит и почему хорошо, если дружинники найдут его здесь, на безлюдной окраине Петербурга, где никто не мог бы ему помочь. День был солнечный, по-летнему жаркий. За полотном Варшавской дороги сиротливо белели кладбищенские кресты. «Господи, что со мной? — схватился за волосы Эпштейн. — Господи, я, должно быть, с ума схожу... Сказать полковнику?.. Нет?» Но эта мысль сейчас же угасла. «Нет... Уехать... Уехать... Уехать... Уехать из Петербурга...

Совсем... За границу... В Париж...» И Париж, неприветливый и мрачный Париж, где он мерз, голодал и влачил опустошенные дни, показался теперь обетованной землей. «Но как уехать?.. Ах, все равно... Там никто не отыщет меня... Там никто не посмеет убить...» Он посмотрел на часы. Было четыре часа. «Кажется, поезд есть... А вдруг они следят на вокзале. Нет... Нет... Не может этого быть...» Он нанял извозчика и, по привычке, приказав поднять верх, велел ехать на Варшавский вокзал. Уже давали третий звонок. Отходил дачный поезд до Луги. Эпштейн, волнуясь, счастливый, что нет никого, сел в первый класс, и когда пронзительно свистнул свисток и тронулся поезд, он «из конспирации» обошел все вагоны. Передний от паровоза был почти пуст. Эпштейн бросился на грязный диван и закрыл руками лицо. «Слава Богу... Кончено... Слава Богу... Я спасен... Спасен... Спасен!» — повторял он, еще не веря своему счастью. Его пальто распахнулось, шляпа измялась, и, упав, разбились очки. Однозвучно постукивали рессоры, подрагивал на скреплениях вагон, и в раскрытые окна тянуло влажной прохладой. И казалось, что все забыто, все прожито, все прощено и что примирившийся Фрезе не требует никаких обещаний.

X

Дружина Фрезе нетерпеливо ожидала «работы». Долгие месяцы прошли в бездействии и тоске, в необъяснимых и непредвиденных неудачах. Саратовский губернатор, за которым дружинники усердно «наблюдали» зимой, на Рождество внезапно выехал в Петербург и не вернулся более в Саратов. В феврале, в Казани, накануне готовой «экспроприации» Колька заметил, что за дружиной следят. В марте, в Одессе, не состоялось убийство знаменитого своей жестокостью прокурора только потому, что не был доставлен вовремя динамит. В апреле, в Твери, случайно «провалился» «транспорт» оружия, и пришлось отложить давно решенное нападение на почту. Фрезе не утратил присутствия духа. Он приехал в столицу, чтобы «уничтожить» охранное отделение, и был несказанно счастлив, что открылась возможность убить полковника Шена. Он не сомневался, что, устрашенный угрозой, Эпштейн не посмеет ни донести, ни бежать, и был уверен, что дружина с честью

завершит предстоящее «дело». Он думал, что обязан мстить за Володю, обязан мстить за побежденный террор и за пораженную революцию. И хотя он ненавидел Эпштейна, как ненавидят лицемерного и озлобленного врага, он решил отправить его за границу, если полковник Шен действительно будет убит. На другой день, после свидания с Эпштейном, он увиделся со Свистковым и Колькой. Он рассказал им о задуманном покушении. Встретились они на Выборгской стороне, в дешевой кухмистерской «Ростов-на-Дону».

Выслушав Фрезе, Свистков покрутил волнистые, длинные, как у Вильгельма II, усы и ничего не ответил. По его солдатскому, загорелому, с щетинистым подбородком лицу невозможно было понять, что он думает о «провокации» Эпштейна. Фрезе не удивился. Он привык, что Свистков, «помалкивая в тряпочку», делает опаснейшие «дела». Колька, рыжеволосый и толстогубый, начинающий полнеть парень лет двадцати восьми, громко расхохотался. Хохотал он задорным и вызывающим смехом, точно втихомолку подтрунивал над собеседником и собой.

— Вот так печка-лавочка! Ишь ты, малый — не промах!.. По деньгам товар!.. Ха-ха-ха... И что это, как я погляжу, сколько теперь этой сволочи развелось!.. Я бы его, паршивца, своими руками бы задушил, тут же на месте б пришиб!.. Трещи не трещи, а гнись!..

Фрезе молча поманил полового и приказал подать чай. Колька заерзал на стуле и, вытаращив смышленые, зеленоватые, как у кошки, глаза, захохотал еще веселее:

— Был, помню, у нас в мастерской один, Филаткою прозывался... Так... Шпана, а не человек... Присматривали за ним. Глядим: что-то как будто не то. Туды-сюды, туды-сюды... Вертит хвостом, как лисица... Что поделаешь?.. Приходим. Спрашиваем: «Ты, сукин сын, такой-сякой, негодяй!.. Признавайся... Будем тебя судить...» А он как завизжит, залопочет... Заелозил, заметался, завыл: «Братцы, как Бог свят, — не я... Братцы, вот вам крест, что я ни при чем...» Ладно, толкуй: торговал кирпичом, да остался ни при чем?.. Так, что ли?.. Не так?.. А кто вчера в охранное бегал?.. Говор-ри, сукин сын?.. Рас-шибу!.. Ревет как белуга: «Голубчики, простите, отпустите душу на покаяние...» Ну, да нас не объедешь... Амур-могила! Шабаш!..

— Пошабашили, значит? — сумрачно заметил Свистков.

— А что же, прощать?..

— Так им и надо.

Фрезе плохо слушал, о чем они говорят. Мысль о полковнике Шене не давала ему покоя. «Ежели полковник Шен будет убит, — расчетливо думал он, — дружине сразу станет легче работать... Ведь именно он знает все... Именно он стоит во главе охранных шпионов... Эпштейн укажет его квартиру и часы, когда можно застать... Я сделаю бомбу... Бомбой гораздо вернее... А как бы решил Володя?.. Ведь Эпштейн все-таки провокатор... Обманет?.. Нет, не обманет... А вдруг убежит?.. Ежели он убежит, что я тогда буду делать?.. Напрасно я не учредил за ним наблюдения... Да нет, он трус... Не посмеет он бежать...» Он поднял голову и посмотрел на Свисткова. Свистков, белоусый и белобрысый, согнув широкую спину и расставив круглые локти, шумно, с присвистом, сосал теплый чай. «А Володи нет... И Елизара... И Ольги», — вздохнул Фрезе и тронул Свисткова за рукав.

— Слышь, Свистков...

— Слушаю.

— Ты завтра в восемь часов зайдешь на дом к Эпштейну...

— Точно так.

— В гостиницу...

— Точно так.

— Ты скажешь, чтобы он ожидал меня у пассажа...

— Точно так.

— Ты возьмешь с собой маузер и покараулишь Эпштейна... Понял?

Свистков, не отрываясь от блюдца, кивнул одними глазами. Колька насторожился:

— Герман Карлович, а ведь это как будто неладно?..

— В чем дело?

— А я?

— Ты? — задумчиво переспросил Фрезе. — Для тебя пока нет работы...

— Выходит: один работник, а семеро едоков?.. — засопел обиженно Колька. — Что же, каждый день тебе в петлю лезть?..

Фрезе, не отвечая, похлопывая его по плечу, расплатился и вышел. «Ежели завтра, то нужно приготовить снаряд», — вспомнил он, входя к себе в номер. Он аккуратно запер двери на ключ, аккуратно раскрыл чемодан

и вынул круглую, по краям запаянную коробку. «Наследство Володи», — улыбнулся он слабой улыбкой и развернул пахучее, вязкое, желтовато-прозрачное тесто. Он так часто заряжал тяжелые бомбы, так давно привык к динамиту, так гордился трудной «работой», что мысль о взрыве не пугала его. Он работал, как работает ювелир — бесстрастно и точно, не увлекаясь и не спеша, согласуя расчисленные движения. «Да... я велю Эпштейну показать квартиру полковника Шена, — повторял он, разминая упругую массу. — Свистков бросит бомбу... Завтра... Да, завтра...» В коридоре глухо застучали шаги. Фрезе встал и, прислушиваясь, подошел к двери. «Вздор, никто не войдет», — не испытывая тревоги, равнодушно подумал он и снова вернулся к столу. Наполнив доверху жестяную коробку, он осторожно положил ее на кровать и ощупал хрупкий запал. Стеклянная трубка была цела, но гремучая ртуть отсырела, и надо было ее просушить. По-прежнему забывая о взрыве, он зажег спиртовую машину и на сковородку высыпал ртуть. Сухо потрескивали крупинки. «А если вспыхнут? — встревожился Фрезе. — Не вспыхнут... Ведь никогда не вспыхивали еще...» Он сел и сосредоточенно, внимательными глазами, стал следить за трепещущим огоньком. В гостинице было тихо, со двора не доносилось ни звука. «А раньше Ольга хранила наш динамит, — беззвучно прошептал Фрезе. — Ольга... Как это было давно...» И неожиданно, здесь, перед почти заряженной бомбой, за несколько часов до готового покушения, он почувствовал страх. Он понял, что революция разбита, что его попытки напрасны и что окончен террор. Он понял, что ни убийство полковника Шена, ни взрыв охранного отделения, ни казнь Эпштейна, ни десяток отчаянных «экспроприаций» уже не могут повернуть обманчивый ход событий, уже не могут ничего изменить. «Так зачем я живу?.. Зачем работаю?.. Зачем убиваю?» — с грустью спросил он себя и потрогал рукой облысевший лоб. Но одиночество теперь тяготило его, не та оставленность, которую он испытал после смерти Володи, не ощущение мертвой пустыни и не заброшенность и даже не кровь. Его тяготило внезапно вспыхнувшее, потрясающее сознание бесплодности уже разгромленного террора, сознание оторванности от жизни, бесполезности запоздалых усилий. «Революция разбита», — впервые вдумываясь в унизительные слова, промолвил он вслух и тупо, непонимающим взглядом,

взглянул на разгоравшийся огонек. «Хорошо... Пусть разбита... Я обязан оставаться на поле сражения... Мы не сдаемся... Я не имею права и не могу отступать... Я защищаю последнюю баррикаду... Я защищаю красное знамя... Пусть я погибну... Ведь Володя погиб...» Забыв про Эпштейна, про Шена и про гремучую ртуть, потеряв обычное хладнокровие, он взял с комода графин и выпил стакан воды. «Неужели нельзя победить? Неужели нас победили?.. La commune est battue ne s'avoue pas vaincue... [1] Ах, все равно... Мы не сдадимся... Я во всяком случае не сдаюсь...» Он выпрямился и опять тупо посмотрел на огонь. Его твердое, с резкими чертами лицо побледнело и сузилось, и близорукие, выпуклые глаза стали еще грустнее и строже. Он наклонился к столу. Больше он ничего уже не помнил. Что-то звенящее, огненно-красное, жаркое молнией полыхнуло в глаза, закружились синие пятна, и зашатался фиолетовый потолок. Не было времени испугаться. Не было времени крикнуть. Не было времени убежать. Он уронил беспомощно руки и со всего роста ничком упал на ковер.

Когда он пришел в себя, он долго не мог понять, что случилось и где он лежит. Неизведанно-новое, огромное чувство владело им. Это было чувство покоя, блаженное чувство радостного отдохновения. Точно окончился утомительный путь, и он нашел наконец уединенную пристань. Все то, о чем он только думал, — революция, Эпштейн, полковник Шен и дружина, — показалось далеким, неважным и, главное, изжитым.— «Как хорошо,— прошептал он, чувствуя запах гари и не понимая, где горит и почему никто не тушит пожара. «Как хорошо... И я исполнил свой долг... Мы не сдаемся... Я не сдаюсь... Взрыв?.. Да, взрыв... Володя... Володя...» Он попробовал приподняться, но больно заныла нога и захрипело в груди. Он вытянул вперед руки и, прижимаясь горячей щекою к ковру, полуоткрыл один глаз. Но он ничего не увидел. То же огромное, примиренное чувство по-прежнему говорило душе. «Jch sterbe...» [2] — по-немецки, уже слабее, вымолвил он и счастливо, всею грудью вздохнул. «Да... Jch sterbe... И все хорошо... Все прекрасно...» То большое и светлое, непередаваемое словами, что теперь соверша-

---

[1] Коммуна погибла, но не признала своего поражения... *(фр.)*
[2] Я умираю... *(нем.)*

лось в нем, было так значительно и глубоко, что он не сомневался, что это именно и есть смерть. Он судорожно дернул рукой, его шея втянулась в плечи, и сильно дрогнуло стройное тело. Он вздохнул еще раз и перестал жить.

XI

Месяц спустя после убийства доктора Берга, одновременно, в разных концах России, были арестованы Залкинд, Арсений Иванович, Вера Андреевна и Алеша Груздев. Больной, давно уже кашлявший кровью, Геннадий Геннадиевич, по совету врачей, уехал на юг. Партия осталась без комитета. Розенштерн, по горло занятый «организационной работой», поручил Александру «боевые дела».

Арест товарищей не взволновал Александра. Он видел дряхлость Арсения Ивановича, прекраснодушие Алеши Груздева, беспечность Веры Андреевны, но, как и Володя, был не в силах понять, что «канцелярская волокита» создалась не их сознательной волей, а духом партии, тем ее духом, который допустил расцвет провокации и возможность разбойного грабежа. Он думал, что наученный горьким опытом Розенштерн возродит любимую партию и вернет утраченное доверие. Но та ответственность, которую принял он, безвестный лейтенант Александр Болотов, взволновала его. Он не ждал, что ему, не подготовленному к «работе» и не пережившему ни каторги, ни тюрьмы, суждена высокая честь управлять партийной дружиной. Но выбора не было. Хотя товарищи не мирились с горестным поражением и красноречиво доказывали на сходках и писали в газетах, — что террор желателен, и даже необходим, — после «раскрытия» доктора Берга никто не смел рисковать своей жизнью. Кроме Абрама, Вани и Анны, к Александру примкнули Колька-Босяк и Свистков, да приехавший из Сибири, еще бодрый старик, Соломон Моисеевич Бух. С ними, с этими испытанными людьми, Александр и приступил к заветному «делу».

В конце июля дружина стянулась в Москву. Однажды в августе Александр назначил свидание Абраму. Он вышел из дома вечером, но вместо того, чтобы идти на Тверскую, по Воздвиженке прошел в Кремль. Только здесь, в крестьянской Москве, в Москве дегтя, подде-

вок, рогож, чудотворных икон и расстрелянных баррикад, он всем сердцем сознавал, что он русский, что он кровно связан с Россией. На западе, за Пресненскими прудами, в багряно-алых, прощальных лучах торжественно догорало солнце. В прозрачном воздухе звенели крылья стрижей. Александр остановился у Тайницкой башни. Он увидел синюю ленту неширокой, за лето обмелевшей реки, орумяненное зарею Замоскворечье, Нескучный сад и Симонов монастырь — огромную, русскую, живущую многовековой жизнью Москву. «Всероссийское бремя... Террор... — задумался он. — Но почему я?.. Почему не Розенштерн, не кто-либо из тех, кто заслужил эту честь, кто доказал, что имеет право?.. Господи, почему умер Андрюша?.. Он бы мог, он бы меня научил... Где взять мужество? Где взять уменье?.. Я обязан убить. Кого убить? На кого поднять руку?.. А если снова разгром?.. Если снова незабываемый стыд?» Смеркалось. Кремль был пустынен, и у ворот его равнодушно, как океан, роптала Москва. Здесь, у белых Кремлевских стен, перед Успенским собором, в двух шагах от усыпальницы русских царей, Александр почувствовал колебание. Но он понял, что ему, и партии, и народу нужна эта кровь, — что только ею увенчается революция, только ею спасется Россия. Ему казалось, что справедливо и хорошо, если именно он, офицер российского флота, сделавший японский поход, нанесет последний удар, — отомстит за Порт-Артур и Цусиму, — если именно он, ценою собственной жизни, сумеет завершить революцию. «Желябов и Пестель, — радостно думал он, — декабристы и народная воля... И великая, освобожденная мною Россия...» На Кремлевской набережной, внизу, звездочками зажглись огни, и за Нескучным быстро темнело небо. Он, волнуясь, вышел на Красную площадь и мимо Лобного места спустился в Александровский сад. Шептались березы. Александр вздрогнул: кто-то маленький, тощий, с закрученными усами, в упор смотрел на него. «Тутушкин», — вспомнил он и ускорил шаги. Но Тутушкин кивнул головою. Александр, нахмурившись, подавляя неприятное чувство, пошел вслед за ним.

— Что тебе надо?

— Здравствуйте, Александр Николаевич... Смею побеспокоить... Кажется, нет никого?..

Александр пожал брезгливо плечами. Таинственный закоулок, укромный блеск фонарей, шептанье Тутушки-

на и его филерский картуз напомнили Берга, Машу Охранную и незаслуженный, недавно пережитый позор. «Из тех рыбаков, что из кармана удят», — с отвращением подумал он, и холодно повторил:

— Что надо?

— Опасаюсь на улице, Александр Николаевич... Наших, положим, не видно, да долго ли до греха?.. Соблаговолите зайти в пивную. Дело есть...

Через пять минут они сидели в пивной. Тутушкин, низко наклоняясь к столу, скороговоркой говорил Александру:

— Искал я вас, Александр Николаевич, давно... Случая не было-с... Положим, адрес нам, конечно, известен...

— Адрес?

— Да-с, адрес... Гостиница «Метрополь»?.. Ну, однако, я, конечно, поопасался. Хотя временно сокращено наблюдение, чтобы, извините, не испугать, а все-таки швейцар, лакеи, то-се...

Александр слушал и не верил ушам. Ему казалось, что Тутушкин смеется, что он нарочно обманывает его. Помолчав, он тихо сказал:

— Ты врешь... Откуда ты знаешь?..

— Вру?.. Я уже докладывал вам, мы все знаем... Дозвольте вам объяснить... Воля ваша... Вы можете сомневаться... Только я вот по совести... Честное слово... Ведь сам на волосочке вишу... Единственно из расположения к вашей особе... Я и брата вашего, покойного Андрея Николаевича — царство ему небесное, — знал... Припомните господина доктора Берга... Кто осветил? Я... Дмитрий Тутушкин... И теперь я вот, значит, командирован с летучим отрядом на предмет наблюдения за вами...

— Говори.

— Да-с... Так вот-с... Всего опасаюсь... Я ведь человек маленький... обремененный семейством... Посудите сами: шесть человек малолетних детей... Ногтем полковник придавит, — и нет ничего, только мокро осталось... А вас я искал, в надежде, что вы меня не забудете... Зная ваше великодушие... Дело, Александр Николаевич, в том, что за вами учреждено наблюдение... И не только за вами-с. Нам известно, что, кроме вас, работают шесть человек, и кому грозите, поверьте, тоже известно... Тут не губернатором пахнет-с... Барышня живет на Арбате, белобородый еврей, по-нашему «нос», — на

Ильинке, помоложе еврей — «заклепка», тот, что в поддевке ходит, — в номерах стоит, на Садовой... Верно я говорю?.. Или снова не верите? Ну так вот, значит, теперь вы, Александр Николаевич, предупреждены, а там дело ваше... А меня не обидьте-с...

— Кто же нас выдал?.. — спросил Александр. Он не испытывал теперь ни отвращения, ни гнева. Точно то, что сказал Тутушкин, было естественно и понятно, и иного он не мог ожидать. Потом, много позже, вспоминая об этом унизительном разговоре, он никак не мог объяснить, где он взял ту спокойную силу, которая поддерживала его. Тутушкин с грустью развел руками:

— Кто выдал?.. Вот уже этого я знать не могу... Не знаю... А ведь, ей-богу, кто-то продал за грош... Уж это не сомневайтесь... Уж поверьте... Всегда так бывает. И осмелюсь вам доложить, всего вернее, что кто-нибудь же из ваших...

— То есть?

— А из этих шести...

— Ну, уж это ты врешь...

— Как угодно-с...

«Как он смеет так говорить... Как смеет», — вспыхнул, как зарево, Александр и вынул бумажник. Он молча подал Тутушкину сто рублей и хотел встать. Но Тутушкин, зажимая деньги в кулак, осторожно сказал:

— Мерси. Очень вам благодарен... А только я вам скажу, хоть, может быть, опять обидно покажется... Я, конечно, ручаться не буду, а только всех ли вы знаете хорошо?

— Говори прямо, кто провокатор?

— Не знаю-с... Ей-богу, не знаю-с... — заторопился Тутушкин. — Кабы знал, я бы, поверьте, не скрыл...

— Да ты, может быть, недоволен?

— Нет-с, покорно благодарим.

— Говори, денег надо?

— Господи!.. Что же деньги?.. Металл!.. Душевно бы рад... Да, ей-богу, не знаю... Мой совет, Александр Николаевич, уезжайте-ка вы за границу... Завтра, конечно, не арестуют, ну, а все-таки... Извините: береженого и Бог бережет...

— Почему завтра не арестуют?

— А потому, что имеют намерение с бомбой в руках... На месте, так сказать, преступления... Чтобы, значит, с поличным... В момент аттентата...

— В момент аттентата?

— Именно-с... Тогда награда им выйдет.

Александр внимательно посмотрел на него.

— Так не знаешь, кто провокатор?

— Не знаю-с...

Когда Александр ночью возвращался домой, в гостиницу «Метрополь», ему казалось, что кто-то горько насмеялся над ним. «Усыпальница русских царей, Успенский собор... Кремль... Святая Москва... — с жесткой усмешкой подумал он. — Я русский... Да, конечно, я русский... Мы все русские, слава Богу... И Тутушкин, и Стессель, и Небогатов, и доктор Берг, и полковник фон Шен, и этот, подкупленный, неизвестный «товарищ»... Мы все русские... Внуки Пестеля, дети Желябова... Какой позор... Что мы можем? Что мы умеем?.. Несчастная, рабская, в снегах схороненная Россия...» У Иверской какой-то лохматый мужик, сняв шапку, кланялся в пояс и тыкал пальцами в грудь. Александр с презрением взглянул на него. «Великий русский народ... Великая русская революция... Одна надежда на Бога... На православного, молебствующего попа...» Он вспомнил, как на корабле перед боем служили молебен, как судовой священник, толстый иеромонах, отец Евил, которого матросы называли «халдей», под гром пушек возглашал многолетие. «Японцы, небось, не молились... Не кланялись образам... Они учились стрелять...» И он вспомнил свою молитву: «Господи! Дай мне счастье каплею в океане, искрой в пожаре послужить спасенью России... Господи, дай мне видеть победу...» И послужил... И увидел... И послужу... И увижу», — кусая губы до крови, почти вслух вымолвил он. На Театральной площади было темно. Чернело здание театра. Было душно, и не было видно звезд.

XII

Когда первое, острое горе прошло, Александр решил, что должен бороться. Но он не знал, как бороться. И Соломон Моисеевич, и Ваня, и Абрам, и Анна, и Свистков, и Колька-Босяк были честные террористы. Невозможно было поверить, что один из них иуда-предатель. Ваня дрался в Москве. Анна изготавливала снаряды. Абрам убил доктора Берга. Соломон Моисеевич провел в каторге десять лет. Свистков и Колька «работали» у Володи. Никто из них не внушал подозрения.

Александр телеграммой вызвал Розенштерна в Москву. Розенштерн, похудевший и побледневший, утомленный «партийной работой», выслушал его и спросил:

— Что вы думаете делать? Скажите...

Они сидели в кофейне Филиппова, в дальней комнате, у дверей. У буфета смеялись детские голоса, позвякивали стаканы, и пахло хлебом и табаком. Александр взглянул на голые, увешанные прейскурантами стены, на засаленные столы, на заплеванный, забросанный окурками пол и не сразу ответил. Было странно, почти непонятно, что он, Александр Болотов, лейтенант российского флота, блестящий молодой офицер, скрывается, как разбойник, что на улице караулят филеры, что его ежеминутно могут арестовать и что рядом сидит известный в партии Розенштерн. Еще ни разу за всю свою жизнь, ни в океане, ни в бою, ни потом в Киото, он не испытывал такого горького чувства, чувства жалостного бессилия. Он тряхнул головой, стараясь отогнать эти мысли, и, вынув серебряный портсигар, закурил:

— Я буду с вами вполне откровенен... Если бы я мог предвидеть, что доктор Берг — провокатор, я бы в партию не вошел... Почему именно мне поручено боевое дело? Вы скажете: некому поручить. Вы скажете: после доктора Берга никто не хочет идти на работу. Хорошо... Пусть так... Я принял ответственность. Я ее не боюсь... Но научите меня... Вы много лет работали в комитете, вы должны меня научить... Мы оба знаем, что есть провокатор. Но где он? Кто? Как узнать?..

Розенштерн отвернулся. Его круглые плечи опустились медленно вниз, и затряслась курчавая, подстриженная клинышком борода. Расчетливый, всегда уравновешенный Розенштерн, тот Розенштерн, который не смутился гибели комитета, растерялся теперь, как мальчик. Ему казалось, что снится сон, что не Александр говорит о дружине, а кто-то недобросовестный произносит бессмысленные слова. Он не мог верить, что партия умирает, что его благоустроенное хозяйство — то хозяйство, которому он себя посвятил, — беднеет и рушится и грозит рассеяться в прах. Он хотел сказать Александру, что Тутушкин намеренно лжет, что не может быть провокации и что он, Розенштерн, ручается за дружину. Но он ничего не сказал и закрыл руками лицо.

— Знаете, когда меня назначили на эскадру, — начал вполголоса Александр, — я знал, что японцы силь-

нее, знал, что у Небогатова «самотопы», что был бой двадцать восьмого июля, что погиб «Петропавловск», что мы — невежды, не умеющие водить кораблей... Я знал все это, и вам странным покажется — верил в победу... Нет, даже не верил, а крепко надеялся на нее, хотел надеяться, что можно храбростью победить... Да, да... одною храбростью, бесшабашным русским «авось»... Я верил еще в нашу силу, в силу России... В Россию Истомина, Корнилова, Ушакова... И сказать вам, когда я утратил надежду? Когда я понял, что одною храбростью ничего не возьмешь? Когда я увидел, что все и несомненно погибло?.. Вы думаете, во время боя? Когда затонул «Ослябя»? Когда загорелся «Суворов»? Нет, много раньше. В бой я уже шел без малейшей веры, по долгу присяги, по долгу перед Россией. Вот как было дело... В ноябре, двадцать третьего, подошли мы к берегу Африки, к Бенгуэле, к португальским колониям. Подошли всей эскадрой, всею нашей непобедимой армадой: «Суворов», «Александр», «Бородино», «Ослябя», «Орел», «Нахимов», «Аврора», «Донской»... Бухта... По-английски: «Great Fish Bay»... Песчаная отмель... Песок и море... Стали мы уголь грузить... И что же? Видим, от берега задымился дымок. Ближе и ближе... Идет посудина, корабль не корабль, а черт знает что, солонка какая-то... Канонерская лодка старой постройки, с одним орудием и двумя митральезами... И название дурацкое: «Лимпопо»... Развевается португальский флаг... В солонке не то мулат, не то негр, при шпаге и с перьями... Поравнялись с нами, с «Суворовым», руки рупором сложил и как крикнет: «Извольте выйти немедленно вон, а то буду стрелять!..» Это «Суворову» — «Лимпопо»! Вот тогда я впервые и усомнился, что мы победим. Не усомнился... Всем сердцем почувствовал, что — конец... Международное право? Конечно... Но будь мы сила, разве бы он посмел? Разве бы он решился?... А теперь вот этот Тутушкин... Ведь это наш «Лимпопо»... Советует мне уехать в Париж... «Извольте немедленно выйти вон, а то буду стрелять...» Ну, вот научите... Я знаю: Соломон Моисеевич, Анна, Ваня, Абрам, Свистков и Колька-Босяк... и... вы? Да, не обижайтесь, и вы... кто-нибудь провокатор... Так предупредил «Лимпопо»... Помните «Майскую ночь»? Помните, стоит парубок у пруда, в пруду ныряют русалки... Он знает, знает наверное, что одна из них не русалка, а ведьма... Но какая именно?.. Кто?.. Все одинаковы, все белы, все

чисты... Так и мы... И у нас все белы и чисты... Мне эта история с доктором Бергом трудно досталась... Ведь не только несчастье... Поймите: позор, если в партии есть провокатор... В партии, в комитете... А теперь, вот в дружине... Как быть?..

Александр не привык к многословным речам. Он удивился своему красноречию. «Я сделал поход... Был в бою... Пережил плен... Вошел в партию... Задумал убийство... И все для того, чтобы здесь, вот в этой смрадной кофейне спрашивать, кто провокатор, ждать совета, ждать, когда меня арестуют?» — с горечью подумал он и умолк. Розенштерн, бледный, с красными пятнами на щеках, искоса посмотрел на него:

— Если есть провокация, надо ее раскрыть...

— Да, конечно, раскрыть... Но как?

— Как? Не знаю...

— Но ведь вы раскрыли доктора Берга?..

Розенштерн болезненно улыбнулся:

— Доктора Берга?.. Ах, Боже мой... Какое сравнение... Я три месяца наблюдал за ним... Ну, а вас арестуют через неделю...

— Так что же делать?

— Не знаю.

В кофейню вошел рыжеватый гладко выбритый господин в клетчатом долгополом пальто. Он сел за столик в противоположном углу и спросил себе чаю. Розенштерн пугливо насторожился.

— Пойдемте...

Они встали и вышли. На другой стороне, у меблированных комнат «Мадрид», скучало два человека. Недалеко от них, на углу, перебирал вожжами лихач:

— Вот, барин, пожалуйте...

— Это филеры... — промолвил шепотом Розенштерн. — Я вот что думаю, Александр Николаевич... Вам необходимо проверить... Проверить всех... Необходимо присмотреться... Необходимо сделать нужные изыскания... И... и потом распустить дружину.

Александр понял, что Розенштерн не поможет, — не умеет, и не в силах помочь. И как только он это понял, он почувствовал, что не уйдет из террора, что ни Розенштерн, ни дружина, ни партия не властны остановить покушение и что он обязан довести его до конца. Он почувствовал, что отвечает за провокацию, отвечает не перед партией — перед Россией, и что если нельзя победить, то можно не признать себя побежденным. Он

понял, что достоинство революции, честь дружины, память умерших, кровь, пролитая за народ, непреклонно требуют этой жертвы. Но мысль о смерти не испугала его. «Господи! Дай мне счастье каплею в океане, искрой в пожаре послужить спасенью России», — на этот раз молитвенно вспомнил он. Выпрямляясь и твердо глядя в глаза Розенштерну, он громко сказал:

— Я дружины не распущу.

Розенштерн подумал немного:

— Вы погубите себя.

— Может быть.

— Но ведь это нелепо.

— Может быть.

— Но ведь вы не верите же в успех?

— Не знаю.

— Не верите, что раскроется провокация?

— Не знаю.

Розенштерн помолчал:

— Послушайте, — мой совет: уезжайте теперь же.

— За границу?

— Да, за границу...

— «Лимпопо», Аркадий Борисович.

— Ну, что ж, «Лимпопо», — не обиделся Розенштерн, — Тутушкин прав... Послушайте, что же делать? Ведь вас повесят, повесят зря... И дружину с вами, конечно... Зачем это нужно?.. Кому? Ведь это значит идти на рожон... Какой смысл? Поймите, вы вернетесь назад, вы можете быть полезными вы еще можете работать в терроре... Ну, хорошо, в дружине есть провокатор... Разве нельзя собрать другую дружину?.. Я прошу вас... Понимаете, прошу... я настаиваю... Во имя партии, во имя террора... Вы слышите?..

— Слышу.

— Ну и что же?

— Да ничего.

— Боже мой, — уже с гневом продолжал Розенштерн. — Ведь это — упрямство... Вы — член партии, вы обязаны с нею считаться... Чего вы добьетесь? Ну, будет громкий процесс... Что толку? Разве нам процессы нужны? Нам нужен террор... Что же будет, если вас арестуют? Я не могу работать один. Или вам кажется, что могу?.. Ведь партия погибает... Боже мой, партия! Подумайте: погибает!.. — Розенштерн в волненье остановился. Ему хотелось еще говорить, хотелось доказать Александру, что его долг, партийного человека, беречь

партию, а значит, беречь свою жизнь. Но Александр, перебивая его, сухо сказал:

— Довольно слов, Аркадий Борисович. Вы знаете: я не уеду.

Розенштерн вздрогнул:

— Значит, Рожественский?

— Да.

— Значит, Цусима?

Александр ничего не ответил. Розенштерн порывисто протянул ему руку и, не оборачиваясь, быстро пошел по Тверской.

XIII

— Как я бежал? — переспросил угрюмо Свистков и погладил волнистые, длинные, как у Вильгельма II, усы. — Не стоит и разговора... Бежал, и — делу конец.

— Нет, ты уж мне расскажи.

— Да что... Был у нас в полку бунт. Ну вот.

— Бунт?

— Так точно. Забастовала пятая рота. Земляки кричат: «Бери, ребята, винтовки...» Похватали мы тут винтовки... Ну, вот.

— Из-за чего бунт?

— Из-за мяса. С червями мясо, гнилое... Пятая рота в строю, на правом фланге ефрейтор, грузин, винтовкою машет: «Ко мне, ребята, ко мне!..» Пошумели, глядим — белостокцы пришли, из пулеметов стали стрелять... Ничего и не вышло. Ну вот.

Он забыл рассказать, что заколол офицера и что, когда стреляли из пулеметов, он, единственный из всего батальона, не убежал в испуге в казарму и не бросил ружья. Александр закурил папиросу:

— Дальше.

— Дальше что? Ничего... Арестовали нас! Поволокли на гауптвахту. На самый верх посадили, в третий этаж. Сто двадцать пять человек. Конечно, судить... Не иначе — к расстрелу... Сидим. Караул свой, земляки... Ну вот. Стали, конечно, думать — как из этой клоповки стрекнуть? Постучали в стенку, — стучит. Пусто. Значит, труба. Для вентиляции положена... Начали стенку ножом ковырять. Проковыряли дыру... Ну вот... — Он прищурился, что-то припоминая, и поднял голову вверх. Сквозь зеленую шапку берез пробивалось горячее солн-

це и играло на пыльной скамье. Далеко, в Сокольниках, по песку шуршали колеса. Колька, до сих пор не сказавший ни слова, засмеялся и задергал локтями.

— Стыдлив, как рак... Неужто забыл?.. Ишь ты, девичья память... Ну-ну, рассказывай... Нечего петрушку валять...

— Да чего рассказывать?.. Проковыряли дыру, из простынь веревку свили. Ну вот... Был у нас солдатик один, Фитик ему фамилия... Перекрестился, полез, начал по веревке спускаться. Долго лез. Наконец слышим, — дрыг... Тащите, значит, обратно. Вытащили... «Пустое, говорит, место... Стена... А за стеной, говорит, кухня». — «Откуда знаешь?» — «Кирпич один, говорит, отломал». Ну вот... — Свистков приостановился и сплюнул. — Бедовый был этот Фитик, на все руки мастак. В Одессе его поймали... Ну вот... Кухня, говорит... Стали мы тут рядить, кому первому лезть? В первый день восемнадцать человек убежали. И я в том числе. Через кухню прошли... Меня еще караульный офицер встретил.

— Ну?

— Встретил. Говорит: «Ты куда?» — «За кипятком», — говорю. Ну вот.

— За кипятком? — подмигнул Колька. — Здорово!.. Счастлив твой Бог...

Александр знал об этом побеге, — невероятном побеге тридцати семи гренадер. Но он не мог представить себе, что неповоротливый, сумрачно-равнодушный, всегда угрюмый Свистков решился по веревке спуститься в трубу и на глазах у часовых уйти за ворота. Ленивый рассказ Свисткова, его медлительный голос и скучные, точно потухшие, оловянного цвета глаза смутили его. «Не на него ли намекает Тутушкин?» — почти с облегчением подумал он и бросил окурок.

— Говори дальше.

— Дальше я к Владимиру Ивановичу поступил.

— Что же ты делал?

— Пьянствовал... — захохотал Колька.

— Как пьянствовал?..

Свистков сдвинул брови и покраснел. Было странно видеть его солдатское, загорелое, теперь смущенное и по-детски разгневанное лицо. Он в негодовании махнул рукой и совсем другим, обиженным тоном сказал, не глядя на Александра:

— Помалкивал бы в тряпочку... Так точно. Обязан

сознаться... Даже уволил меня Владимир Иваныч... Только будьте благонадежны, — я теперь уж не пью.

— Почему?

— Зарок дал.

— И не пьешь?

— Никак нет. Не пью.

— Ни рюмки?

— Ни рюмки.

Брошу я карты,
Брошу я бильярды,
Брошу я горькую водочку пить...
Стану я трудиться,
Стану я молиться,
Стану я кондуктором на конке служить... —

высоким тенором насмешливо запел Колька. Он сидел на траве по-турецки, поджав толстые, в заплатанных штанах ноги, и, жмурясь, смотрел на солнце. В еще знойных, вечерних лучах он казался бронзово-красным: красная шапка, красные волосы, красные руки и красный, изорванный, с чужого плеча пиджак.

— Ты чего? — повернулся к нему Свистков.

— Ничего.

— Нет, ты что такое поешь? Какие слова ты поешь? Ты, может быть, что нибудь знаешь? Так ты говори...

— Чего знать-то?.. Чудак!.. Дедушка знал, да и тот давно помер...

— Так зачем поешь? Ну?

— По-ешь!.. Где пьется, там и поется... Душа поет, а голосу нет...

Александр нахмурился. «Бежал... Пьянствовал... Уволен за пьянство... Больше не пьет... И что за разбойничье лицо... А между тем Розенштерн советовал мне принять...» Он опять закурил и сухими, холодными, молочно-голубыми глазами взглянул на Свисткова:

— А зачем ты в дружину пошел?

Свистков погладил усы.

— Не могу я, — глухо ответил он.

— Чего не можешь?

— Довольно я жил... Не могу...

— Не можешь терпеть... — подмигнул Колька.

— Да... Не могу... Конечно... Ну вот.

— Почему?

— Да что спрашивать, Александр Николаевич? — мрачно, не подымая глаз, ответил Свистков и начал свертывать папиросу. — Господи... Все известно... Ведь нечего есть... Земли вовсе нету... Что же, по-вашему, в кусочки идти?.. У Юза миллион десятин... А у меня?.. Эх!.. Что в самом деле? Где правда на свете?.. Я за землю и волю... — решительно закончил он и вытер лицо платком.

Где-то очень близко, в кустах робко защебетала птица. Солнце уж не горело над головой, а ушло за березы. Поперек скамьи легла синеватая тень. «За землю и волю, — со злобой повторил Александр. — Все они за землю и волю...» Он теперь был уверен, что Свистков обманывает его. Это жуткое подозрение было так сильно, что он едва не высказал его вслух. Но, превозмогая себя, он ничего не сказал. Колька перевалился на другой бок и, посмеиваясь и опираясь рукой о траву, заговорил простодушно:

— А вот я бежал так бежал... это не дырку сверлить... Ей-богу, комедия!..

— И ты тоже бежал?

— Сподобился... Очень просто... Поймали меня в Нижнем, честь честью... Ну, привели... Сидит господин начальник грозный-прегрозный, морду хмурит, ногами стучит. «Как фамилия?..» Молчу. «Как фамилья?..» Молчу. «Будешь отвечать?..» — «Не буду». — «Увести!» Увели... Ведут по улице двое солдат. Вечер был. Гляжу, — направо переулочек под горку, крутой... Я подумал-подумал. Эх, была не была... Печка-лавочка... Где наше не пропадало?.. Плевать... Все равно не сносить головы... Солдаты вот вроде него, — он кивнул на Свисткова, — не люди, а монументы... Я, Господи благослови, — кубарем вниз. Слышу, палят... Однако темно... На прицел — шалишь — изловить невозможно... Я через забор и со всех ног — бегом... Бежал, бежал, даже запыхался... Ей-богу — правда... Амур-могила... Шабаш!..

— А за что ты был арестован?

— А это еще при Владимире Ивановиче было... За экс.

— Один ты был арестован?

— Один.

— А куда бежал?

— Назад в дружину бежал...

«Как мне не стыдно? — опомнился Александр. — Ведь они оба работали, не щадили себя, каждый день

рисковали жизнью... Оба чудом спаслись, оба бежали... Как я смею их заподозрить?.. Но кто же тогда провокатор? Ведь не Анна? Не Ваня? Не Розенштерн?..» Колька встал и, засунув руки в карманы, лукаво посмотрел на него, точно хотел показать, что видит тягостные сомненья и не удивляется им.

— А что ты в дружине делал?

— Что я делал? Ах-ха!.. Чего я не делал, — этак-то лучше спросите... Всем был, все видел, все пережил, вполне довольно, можно сказать, по белу свету болтался... И на заводе молотобойцем был, и быков в Самарской степи пас, и босяком на улице ночевал. А после смерти товарища Фрезе я вот как пень... Как гриб под березою... И нет никого... Не домой же идти... А дома у нас на Урале — благодать: ключи холодные, озера глубокие, леса дремучие, луга поемные... Не житье, а рай... Только не по делам в раю жить... Ха-ха-ха... — засмеялся он своим раскатистым смехом.

Александр нахмурился еще более. Он понял, что словесные изыскания не ведут ни к чему и что из длинного разговора он ничего не узнал. Колька был так весел и так здоров, так заразителен был его смех, так задорно блестели глаза, что он опять невольно почувствовал стыд. «Такой не лжет... Не может солгать... Рубаха-парень», — решил он в душе.

— А ты пьешь?

— Я-то? — без запинки ответил Колька, — я не святой...

— Пить да гулять, добра наживать... — Его лицо неожиданно потемнело. Он помолчал и запел во весь голос:

Прощай моя Одесса,
Прощай мой карантин,
Теперь меня ссылают
На остров Сахалин...
Две пары портянок,
Две пары котов,
Кандалы наденут, —
И в путь я готов...

Он пел заунывно, как поют крестьяне, и, пока он пел, Александр не отрывал от него глаз. «Как я мог его заподозрить? — с тоской думал он. — Но если не Свистков и не Колька, то кто же? Да и есть ли у нас провокатор?.. А вдруг Тутушкин солгал?»

Солнце почти зашло, но все еще было жарко и неумолчно трещали птицы. Сокольники опустели. Александр медленно шел по направлению к Москве и думал о том, как легко оклеветать невинного человека.

XIV

Прошла неделя. Розенштерн по партийным делам уехал на юг. Александр, теряясь в догадках, в глубине души готовый поверить, что Тутушкин солгал, после долгого размышления решил посоветоваться с дружиной. Он ясно видел двусмысленность этого шага, надеялся, что при ответственном разговоре ему удастся наконец «раскрыть» провокацию. Совещание было назначено на Арбате, у Анны, в меблированных комнатах «Керчь». Анна, храня динамит, снимала просторную, по-барски убранную квартиру, с отдельным входом со стороны Поварской. Раздеваясь в тесной, заваленной сундуками прихожей, Александр услышал заносчивые слова:

— Мужички?.. Ах, бедные господа голодающие крестьяне? — смеялся Колька-Босяк. — Многострадальный русский народ?.. Чепуха, и ничего больше... Достаточно я этого народу перевидал! Вполне достаточно!.. Покорно благодарю: сытым сытехонек, ежели желаете знать. Мужик напьется — с барином подерется, проспится — свиньи боится... Куда едете, православные?.. «Сечься, батюшка, сечься...» — передразнивая крестьян, захныкал он жалобным голосом. — И едут. Скрипят на вислоухих клячонках... По первопутку... Ха-ха-ха! Вот крест святой, — едут... Рабы. С ними делай что хочешь... Вон Луженовский, — с кашей ел, масло пахтал... Что же? Разве они, господа крестьяне, убили его?.. Все стерпят. Христос терпел и нам велел... Гужееды проклятые!..

— Не говорите так... Я этого не люблю, — Александр узнал грубоватый и звучный, полумужской голос Анны, с нижегородским ударением на «о». — Как вам не стыдно? Я тоже долго жила в деревне... Не хуже вашего знаю... Помните?

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа, —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

А вы не русский? Вы не крестьянин? Не надо ругаться, Николай, а надо любить... И прощать... — прибавила она тише.

Александр усмехнулся. «И прощать... Вот без меня она спорит, декламирует Тютчева, а при мне опустит голову и молчит... Тончайшая конспирация». В большой, светлой комнате, за продолговатым, уставленным чайным прибором столом сидели Соломон Моисеевич и Ваня. Соломон Моисеевич шепотом беседовал со Свистковым. У окна, спиною к товарищам, неподвижно стоял Абрам. Когда вошел Александр, Анна потупилась и, покраснев, сейчас же умолкла.

Александр оглядел знакомые, как казалось теперь, непроницаемо-строгие лица. Его глаза ревниво остановились на Ване. Ваня, черноволосый, скуластый, одетый в непривычный, мешковатый пиджак, задумчиво крутил папиросу. Он смотрел прямо перед собою, точно не видел кругом никого, и думал о чем-то своем — значительном и тревожном. «Что с ним?» — мелькнуло у Александра. Поздоровавшись, он тяжело опустился на стул и начал короткую, заготовленную заранее, речь:

— С недавних пор я стал замечать, что за нами учреждено наблюдение... Я убежден, что не ошибаюсь... Я даже знаю, что это так. Возникает вопрос: где причина этого наблюдения? Таких причин может быть две: либо наша неаккуратность, либо предательство — провокация. — Он сказал последнее слово твердо, почти небрежно, не придавая ему решающего значения. — Что касается меня, то я думаю, что провокации у нас быть не может... Но я бы желал узнать, что скажут товарищи?..

Он не успел еще кончить, как Ваня со злобой ударил рукой по столу. Запрыгали ложки, и, звеня, разбился стакан.

— Дела — хоть закуривай! Безусловно, следят... Я и сам хотел вас об этом предупредить... Я уж давно замечаю... Что-то не ладно... Шпиков и шпичих легион... Плюнуть некуда... Моль!..

«Тутушкин сказал, что сокращено наблюдение... что почти нет филеров, чтобы не испугать... Как же мог он заметить?» — насторожился внимательно Александр, но

вспомнил, что Ваня убил казаков. «Убил казаков... Дрался в Москве... Работал с Андрюшей... Нет, конечно, не он... Но кто же?» — в сотый раз спросил он себя.

— Безусловно, что провокация, — сверкая черными, как щели, суженными глазами, горячо выкрикивал Ваня. — Чего думать?.. Думают индейские петухи... Живем как монахи... Слова не вымолвим... Друг друга не видим... Откуда взяться шпикам?.. Паспорта? Так паспорта — первый сорт... Копия — не фальшивки... Кто знает, где я живу? Никто. Только вы и знаете, Александр Николаевич... Так почему у ворот шпики? Из чего они зародились? Или — что я? Слепой? Или шпика отличить не умею? Или, может, с ума схожу!.. Шпикоманией страдаю?.. Безусловно, кто-то нас выдал... Я давно хотел вам сказать... Сволочи... хлев свиной. Не работа, а грязь... Партия в грязи тонет...

Он вскочил и, бледный от гнева, заметался из угла в угол. Абрам не повернул головы. Свистков засопел и погладил волнистый, опустившийся книзу ус. Но Колька искренно возмутился. На его щекастом, с толстыми губами лице отразилась глубокая и непрощаемая обида.

— Чего там? — протянул он, хмуро поглядывая на Ваню. — Тут вот разное говорят... Оно конечно... Кто спорит? Провокация так провокация... Черт бы ее побрал... Мало ли мерзавцев на свете? Оч-чень, вполне довольно... А только я вам скажу: вы друг друга знаете хорошо, у вас своя печка-лавочка, а я вот и он, — Колька пальцем указал на Свисткова, — мы люди новые, в партии не работали... Кто нас знает? Дело прежде всего... Мы уйдем... — Он тряхнул густыми рыжими волосами. — Да-а... Уйдем... И вам спокойнее, и нам легче... Не прогневайтесь. Тоже слушать такое... Как-никак, не слыхивал еще таких слов... Бог избавил... Нет, уж увольте, Александр Николаевич... Ведь всякому своя обида горька... Амур-могила... Шабаш.

Он вздохнул и стал искать шапку. Свистков засопел еще громче и нахлобучил картуз.

— Подождите, товарищи... — примирительно заговорил Соломон Моисеевич. Соломон Моисеевич был известен всей партии, и вся партия любила его. Он в молодости участвовал в народовольческом «деле» и, отбыв каторгу, вернулся в террор. Это был высокого роста, немного сутуловатый, еще крепкий старик с лучистыми и незлобивыми глазами. — Мы все друг друга достаточ-

но знаем, и все друг другу, конечно, верим... Иначе мы бы не были здесь... Положите, Николай, шапку, и вы, Свистков, снимите картуз. Но хотя я всем товарищам верю, я полагаю, что прав не Александр Николаевич, а Ваня... Ваня говорит, что кто-то нас выдал... Нужно признаться, — это очень правдоподобно. У нас на Каре ежемесячно рыли подкопы, и всегда их открывало начальство... Помню, один подкоп уже вывели за тюрьму... И разумеется, обычный провал... Говорили: случай, надзиратель заметил. Но сегодня случай, завтра случай, а послезавтра — донос... Так и теперь... Филеры сами заметили? Своим усердием? Да?.. Нет конечно, кто-то нас выдал... Но значит ли это, — будем говорить прямо, не боясь никаких оскорблений, — что один из нас провокатор. Нет, не значит. Быть может, кто-либо кому-либо что-нибудь рассказал, по невниманию, по небрежению, конечно... Ну, и пошла болтовня... А раз пошла болтовня, она неизбежно дойдет до полиции, до охранки, до Шена... Вот и выходит, что если дружину кто-нибудь выдал, то никак еще нельзя заключить, что я, или вы, Александр Николаевич, или кто-нибудь из товарищей — провокатор... И нечего горячиться... В Библии сказано: «Сын мой, если ты мудр, то мудр для себя и для ближних твоих, а если буен, то потерпишь один...» Так уж лучше быть мудрым. Не правда ли, Николай?

Александру было приятно слушать. «Наверное, болтовня... — думал он. — Кто-нибудь попросту разболтал... Может быть, и сам Розенштерн... Где порука, что в новом комитете все чисто?...» И как это всегда бывает, когда нужно доказать свою правоту, Александр, как дитя, поверил себе. Он поверил, что Тутушкин солгал, что в дружине честные люди и что нет нужды в позорящих «изысканиях». И как только он в это поверил, стало так безгорестно и легко, точно не было наблюдения и не грозил предрешенный арест. Он с любовью взглянул на Кольку: «Обиделся... Разве может обидеться провокатор? Разве захочет уйти?» Но Ваня взволнованными шагами опять подошел к столу.

— Э-эх, Соломон Моисеевич, — с упреком воскликнул он.— Пошла болтовня?.. Да откуда же могла пойти болтовня?.. Говорю, как монахи живем... Не дружина, а монастырь... Кому письмо писать?.. На деревню, дедушке, что ли?.. Вы не удержались,— написали письмо? Или я? Или Анна Петровна?.. Ты, Колька, писал, ты, Свистков? Ты, Абрам? Сознавайтесь. Тут не до шу-

ток. Письма, Соломон Моисеевич? Письма? Какие уж письма?.. И рассказывать некому... Да и непривычны мы к этим рассказам. Не первый месяц в запряжке... Меры принять? Ну, а какие же меры принять, если не знаешь, кто провокатор? Кабы знатье. Если бы да кабы... А то что же? Распустить дружину, по-вашему? Либо под лопух спрятаться, — вот-вот захлопают, и — на крюк? Я всем верю... Какая обида? А только я говорю, провокация... Безусловно, что провокация... Хлев!..

Он повернулся на каблуках и еще быстрее забегал по комнате... Соломон Моисеевич ничего не сказал. В комнате стало тихо, как бывает в поле перед грозой. Абрам побарабанил пальцами по окну и медленно, нехотя повернулся к Ване:

— Ха... Если есть провокация, надо ее найти...

— Найти? — переспросил Колька и с сердцем бросил шапку на стол. — Найди, так я укажу. Слышь, Свистков, давай вместе поищем...

Свистков сумрачно посмотрел на него:

— Опять зубы скалишь... Волынка!..

Александр почувствовал, что туманится голова. Кроткий, с любящими глазами старик, худощекая, с потупленным взором Анна, угрюмый Свистков, и хохочущий Колька, и добродушный Абрам, и негодующий Ваня, и не сумевший помочь Розенштерн показались снова загадкой, темными и злоумышляющими людьми, из которых один иуда. Знакомое чувство, чувство тайного отвращения, с новой силой охватило его. «Парубок у пруда и русалки. Одна из них ведьма... Конечно, ведьма... Где ведьма?» И, не находя никакого ответа, он подчеркнуто резко сказал:

— Так как же быть? Говорите.

— Я имею вам что-то сказать...

— Вы, Абрам?

— Я.

— В чем дело?

— Не спрашивайте... Потом...

— Почему?

— Странно... Я же сказал: потом...

— Говорите сейчас.

— Ха! Сейчас невозможно.

«Чего он хочет? Что он может сказать?» — не удивился и не встревожился Александр. Он уже знал, что и сегодня, и при этом, исполненном лжи разговоре не су-

мел «раскрыть» провокации, не сумел спасти оскудевший террор. Так же гневно, из угла в угол, как волк, шагал Ваня, так же горбился белобородый старик, так же скромно молчала Анна, так же обиженно поглядывал Колька, так же сердито сопел Свистков. И грешно и невозможно было поверить, что здесь, на Арбате, на конспиративной квартире, в Москве, вот в этой уютной комнате сидит провокатор, тот человек, который завтра повесит их всех. Было тихо, и в окно настойчиво стучал звонкий дождь.

XV

— Вот я и пришел, — доверчиво улыбнулся Абрам и протянул Александру широкую, заросшую волосами руку. — Извините... Я и Соломона Моисеевича попросил... Пусть вы оба узнаете, что я имею сказать... Может быть, вам это не по душе? Вы, может быть, недовольны: что за умник нашелся, который смеет меня учить? Вы, может быть, не любите слушать?.. Вы, может быть, думаете: авось я знаю и без него? Но сделайте одолжение, выслушайте меня...

Абрам и Соломон Моисеевич на этот раз пренебрегли «конспирацией». Они не назначили Александру свидания в удаленных переулках Москвы — в Замоскворечье, в Сокольниках или за Тверской заставой, — а явились к нему прямо на дом, в гостиницу «Метрополь». После разговора у Анны обычная осторожность потеряла свой смысл: каждый знал, что за дружиной следят и не сегодня завтра могут повесить. Но никто не думал о «наблюдении». Провокатор не был «раскрыт», а филеры, или, как Ваня называл их, «шпики», казались хотя и опасными, но второстепенным и незначительным злом.

— Выслушайте меня, — Абрам с неудовольствием покосился на узорный, всю комнату закрывавший ковер и присел на краешек кресла. В бархатном кресле ему было неудобно сидеть, но стульев не было, а кровать была завешена кисеей. Он подобрал свои огромные ноги и шумно вздохнул. — Когда вы пришли и говорите: «Доктор Берг провокатор», — я сейчас же сказал себе: «Хорошо... Так он будет убит...» И вы можете видеть, — разве он жив? Но я сказал себе еще и другое. Я сказал себе: Абрам, что значит «интеллигенты»? Американская выжимочка! У них помои всегда! Они рабо-

тают, а почему? Кто их знает? Сам черт может ногу сломать!.. Вы не обижайтесь, пожалуйста... Я не про вас... Ипполит был тоже интеллигент... А все-таки даже мудрец не поймет, зачем они в революции? На что им социализм? Не то что мы... Мы — рабочие... Мы знаем, чего хотим. Мы хотим жить, как люди живут... Это очень легко смекнуть... Ну, вот я подумал: что же тут странного, что какой-то там доктор Берг — вероятно, крупный богач — провокатор? Ну, испугался или, может быть, продал себя... Велика важность — продал? Ведь он же интеллигент... Интеллигенты каждый день себя продают... Разве, например, чиновники не интеллигенты? А разве они себя не продают на базаре, потому что в чем служба? Служба в том, чтобы делать против народа и за то получать деньги... Ха... Ну, и, значит, они себя продают. Я и сказал себе: Абрам, вот такие, как доктор Берг, пишут в газетах, что евреи кушают христианскую кровь, вот такие эксплуатируют бедняков, вот такие повесили Ипполита, вот такие подстраивают погромы... А я знаю, что такое погромы... Авось знаю... Ну, я сделал что надо... И что вы скажете?.. Разве доктор Берг не все равно что змея?..

— Говорите короче.

— Короче?.. Сейчас... Только вы, пожалуйста, слушайте...

— Я вас слушаю.

— Теперь вот вчера приходите вы: «Товарищи, учреждено наблюдение. Один из нас провокатор!..» Ну, положим, не вы говорили, а Ваня... Так это же безразлично, потому что вы тоже так думаете... И может быть, вы сказали правду. Я давно видел, что за нами следят... И тоже спрашивал себя: а скажи-ка, Абрам, если ты не дурак, что же это все значит? Что значит, что везде гуляют шпионы?.. Вы извините... — он наклонился к Соломону Моисеевичу, — это сущие пустяки, что письма или глупая болтовня. Никаких писем не писал, и никто разболтать не мог... Это конечно... Вот и я подумал себе...

Резкий, с сильным акцентом голос Абрама, неспокойные, точно обрубленные слова и круглое, немного встревоженное, белое, как у бабы, лицо не понравилось Александру. «Тянет, будто воду везет... И не поймешь, что ему надо? Зачем он пришел? Зачем пришел не один? Чтобы иметь свидетеля? Чтобы избегнуть допроса?..» Он чиркнул спичкой и, закурив, долго следил за

бледно-желтым огнем. Спичка с треском погасла. Он бросил ее и опять взглянул на Абрама. «Но ведь он убил доктора Берга... Бесовское наваждение...» Абрам задумался и стал пристально смотреть на ковер.

— Ну, так что вы хотели сказать?

— Что я хотел сказать?.. Обождите... Я все скажу... Я и подумал: а если на самом деле в дружине есть негодяй? Так кто же он может быть? Интеллигентов трое: Александр Николаевич, Соломон Моисеевич и Анна. Но я сказал себе: нет, Абрам, у Александра Николаевича повесили брата... Еще не родился на земле такой человек, который это простит. Значит, не он... И я дальше сказал себе: ну, а Соломон Моисеевич? Но я ответил: он страдал на каторге десять лет. Так он забудет свое страдание?.. Он на старости продаст себя паршивому Шену? Это глупость... Значит — Анна... Может быть, и она, я убедить не могу, но я спросил: Абрам, веришь ей? И сказал себе: верю. Почему веришь? Не знаю... Потому что она готовила бомбы?.. Разве известно?.. А все-таки верю... Так если не она, не вы и не вы... если не интеллигенты... ха!.. — он провел рукой по лицу, — то провокатор кто-то из нас, из рабочих. Это мы себя продаем... Это мы свое дело губим... Мы сами... Мы... Я спросил себя: кто. И я отвечал: что значит кто. Ведь, например, ты, Абрам, ты — честный рабочий или, может быть, нет? Да, я знаю: я честный рабочий... А если ты честный рабочий, то Ваня — честный или прохвост? Да, Ваня тоже честный рабочий... Почему я знаю, что это правда? А потому, что он всю жизнь служил пролетарскому делу: дрался на баррикадах и шел с бомбой на прокурора... А когда я себе так сказал...

— Вы высказываете определенное подозрение? — заметил холодно Александр.

— Подозрение?.. Почему подозрение? Никакого подозрения я не высказываю... Говорю, что думаю... Ха!.. Я думаю, что Колька или Свистков... Мы их не знаем. Мы их не знаем. Вы их знаете? Нет? Что это за молодцы? Пожалуйста, отвечайте... Пожалуйста, отвечайте, что они делали у анархистов? У Володи? У Фрезе? Может быть, не работали, а фруктами торговали? Кто поручится за этого... Николая? Что он о мужиках говорит?.. Вы ручаетесь?.. Вы?.. Но я пришел не только за тем, чтобы это сказать... Я пришел, чтобы вам предложить устроить за ними слежку... Надо посмотреть, куда они ходят, как живут, когда думают, что не видит ни-

кто. Разве глупо?.. Я говорю: один из них негодяй. Значит, ясно, что за ними надо бы последить... А как же иначе?.. Ну?.. — Абрам по-прежнему сидел на самом краешке кресла. Его суконная поношенная поддевка и высокие бутылками сапоги делали его похожим не на еврея, а на московского полузажиточного купца. Опустив густые ресницы и упрямо уставившись в пол, он застенчиво ожидал ответа.

— То есть вы... предлагаете... учредить у нас охранное отделение? — удивленно возразил Александр и подумал: «Кто же может предлагать такие сильные средства?..» И внезапно Абрам, которому он вчера еще верил, добродушный и честный кожевник Абрам, с мозолями на загрубелых руках и с нерусскою речью, стал почти ненавистен ему. Стала ненавистна дружина, где говорят оскорбительные слова, где нет работы, а есть бессовестный сыск, стала ненавистна партия и революция и даже террор. «А мои изыскания?.. — вспоминал он. — Если можно допрашивать, — отчего не следить?.. И... Абрам, в конечном счете, может быть, прав».

Соломон Моисеевич, длинный, сутулый, седой, в черном, застегнутом наглухо сюртуке, в раздумье прошелся по комнате и остановился перед Абрамом:

— Нехорошо вы говорите, Абрам... — Он нервно задергал шеей, и кашлянул, и поправил смятый, видимо, стеснявший его воротник. — Вот вы думаете, что провокатор Колька или Свистков... А если они будут по-умному рассуждать, то они, наверное, заподозрят вас, или меня, или Анну... Чего же, следить за всеми?.. Но разве это террор? Это — та же охранка... Я думаю, что мы сами во всем виноваты. Наивно предполагать, что провокация случайное бедствие... Если бы мы не могли, — понимаете, по совести не могли, — заниматься подсматриваньем и чтением в сердцах, если бы партия была чище, если бы не было генеральства, малодушия, безответственности и грабежей, если бы каждый честно, всем сердцем служил революции, не было бы и доктора Берга... Не мог бы он быть... Его бы раскрыли через десять минут... А теперь поздно. Знаете, в Книге Хвалений: «Извлеки меня из тины, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод...» Погрязли в тине... Утонули в глубокой воде... Не шпионить же друг за другом...

— Ха! А почему нет? — не подымая глаз, вспыхнул Абрам. — Сделайте одолжение, следите за мной...

Пожалуйста, прошу вас, следите... Честный человек ничего не боится... А как же иначе раскрыть?

— Тогда не надо, Абрам, раскрывать.

— Что же делать?

— Не знаю...

Когда Абрам и Соломон Моисеевич ушли и Александр остался один, он долго не мог уснуть. Было жутко, — жутко в этой гостинице, где живут десятки людей, чужих, враждебных и равнодушных, где звонят неугомонно звонки, где перекликаются незнакомые голоса, где у подъезда караулит швейцар и где он сам, — не Александр Болотов, не офицер российского флота, а представитель лондонской фирмы, англичанин Мак-Гуг. «Лицемеры, — нахмурился он. — Извлеки меня из тины, да избавлюсь от ненавидящих меня...» Абрам — Колька — Свистков. Свистков — Колька — Абрам... Свистков — Колька — Абрам... Электричества он не зажег и, забившись в угол дивана, долго смотрел в темноту. Вся его короткая революционная жизнь прошла перед ним. «Арсений Иванович... Вера Андреевна... Комитетские заседания... Доктор Берг... Боевая работа... Тутушкин и наблюдение... Но ведь я ничего не сделал... Счастлив Андрюша...» На Театральной площади застучали колеса. Приподнявшись на локте и свободной рукой нащупывая револьвер, Александр прислушался к нараставшему звуку. И когда он замер вдали и опять стало тихо, неожиданно вспомнился Колька-Босяк. Александр четко, как наяву, увидел его губастое, рыхлое, с рыжими усами лицо, зелено-желтые насмешливые глаза и полнеющее, уже отяжелевшее тело. Он увидел его в Сокольниках, под кустом, багрово-красного в знойных лучах, и услышал раскатистый смех. «Брошу я карты, брошу я бильярды... брошу я горькую водочку пить». И, не зная еще почему, не отдавая себе отчета, какое именно чувство зародилось в душе, он испытал внезапное облегчение, точно стало легче дышать. Радуясь этому чувству и в то же время пугаясь его, он приник головой к подушке. И сейчас же вскочил: «Колька, Колька... Колька... Не Свистков, не Ваня, а Колька...» Он не мог бы сказать, что именно убедило его, — слова ли Абрама, насмешки ли Кольки, странный отзыв о мужиках, грубый спор со Свистковым или то сокровенно-неясное, что назрело в последние дни. Но он уже верил, — верил, не допуская ошибки, что «раскрыл» провокацию, что да, именно Колька предал террор. Это бы-

ло предчувствие правды, то ясновидящее проникновение, когда вскрывается сущность вещей. «Ведьма, — прошептал он и улыбнулся. — Да, ведьма. Но теперь она не страшна... Господи, дай мне счастье искрой в пожаре послужить спасению России...» Через час он спал крепким сном.

XVI

На следующий день Александр отправился с первым поездом в Кунцево. Напрасно пробродив два часа, он нашел наконец то, что искал: отдающуюся внаймы уединенную дачу. Дача была деревянная, двухэтажная, с мезонином и жалким, уже облетающим цветником. Сторож, древний, полуглухой и пьяный старик, жил в версте, у полотна железной дороги, так что в доме не было никого. Александр, не торгуясь, отдал задаток, принял ключи и предупредил, что переезжает на днях. Вернувшись в город, он вызвал Кольку в гостиницу «Метрополь» и, сообщив новый адрес, велел быть вечером в Кунцеве, — «по неотложному делу». Колька сказал, что будет в десять часов.

Без четверти десять Александр приехал на дачу. Открыв скрипучие двери, он запер их снова на ключ и достал из кармана свечу. Он зажег ее и поставил на стол. Он увидел облупленный потолок, грязно-серые ободранные обои и убогую мебель в чехлах. Опять стало жутко. «А если не Колька?.. Если Свистков?.. Почему я уверен, что Колька?..» — думал он, слушая, как по подоконнику звенит дождь и у печки скребутся мыши. Он вынул револьвер и тщательно его осмотрел. Револьвер был офицерский, кавалерийского образца, наган.

В щели дуло. Голубоватое пламя свечи то пригибалось к столу, то, выпрямляясь, вспыхивало замирающим языком. По углам бродили черные тени, и только на хромоногом столе дрожало неяркое, зыбкое, освещенное бледным светом пятно. Александр ждал недолго. Сквозь частый ропот дождя ему послышался чей-то голос. Он вздрогнул и, тяжело ступая ногами, вышел на отсыревший, с подгнившею колоннадой балкон.

— Добрый вечер, Александр Николаевич... — жмурясь на свечу и отряхивая намокший картуз, расшаркался Колька. — Что это вы запираетесь? Ведь добрый вор и из-под запора украдет... Ха-ха-ха... Стучишь, сту-

чишь, — ни гугу... Пришлось голос подать... Дачу наняли? — Он украдкою огляделся вокруг. — Мое дело спрашивать, ваше — не отвечать. Позвольте полюбопытствовать, — собственно для чего?..

— Значит, нужно, — сухо возразил Александр.

— Нужно?.. не твоя, мол, печаль... Отчаливай, паря... Так... Так... Так. Ну, не буду, Александр Николаевич, не буду... Что это, в самом деле, уж и пошутить, ей-богу, нельзя...

Колька был шумлив и развязен. Но Александру казалось, что развязность его напускная. В сощуренных, зелено-желтых, как у кошки, глазах поблескивали недобрые огоньки, и чуть-чуть шевелились губы, точно Колька что-то шептал. Разгоревшаяся, оплывшая стеарином свеча озаряла усы Александра и его твердый, досиня выбритый подбородок. Колька расстегнул поддевку и сел. Он сейчас же утонул в темноте.

— А знаете, Александр Николаевич, как бы беды не вышло... Когда вы давеча объясняли, что фильки следят, я вам, правду скажу, не поверил. У страха глаза велики... Ха-ха-ха... А теперь и я сомневаюсь... Как будто что-то не то... Не очень благополучно...

— Вы заметили что-нибудь?

— То-то и есть, что заметил... Один прохвост даже увязался за мной. Жирный, сукин сын, кровь с молоком... И карточка зверская: мордаст, а глаза как у волка... Ей-богу... Я со станции вышел, оглянулся: идет. Я в переулок. Идет. Я погрозил кулаком, — ведь я, прости Господи, не младенец, — убью! Ха-ха-ха... И через забор, огородами, к вам... Уж не знаю, разве что голос услышал? А то бы, кажется, ничего... И откуда столько хахарей, Бож-же мой? Жили мы тихо и благородно, по-хорошему, без полицейских крючков. И вдруг, пожалуйте. Милости просим... Р-раз!

— Значит, вы его сюда привели? — спросил Александр и передвинул свечу. Теперь Колька был ясно виден. Он сидел, развалясь, отставив правую ногу, и рассеянно похлопывал картузом по руке. Его рыхлое, с толстыми щеками лицо улыбалось новой для Александра, загадочной и наглой улыбкой. Александр почувствовал легкую дрожь.

— Ну, а если даже привел!.. Наплевать!.. — сквозь зубы процедил Колька и сплюнул.

— Наплевать?

— А то нет?.. Если Ванька не брешет и у нас име-

ется провокатор, то что такое филеры? Снетки!.. Пустая комедия!.. Очень я их боюсь!.. Ер-рунда!.. Ну, а в чем дело, Александр Николаевич? Зачем вы звали меня?

«Что ответить? — на секунду задумался Александр. — Придумать глупый предлог?.. Лгать перед ним, перед охранным шпионом?.. Нет, довольно... Я не хочу...» Он поднял голову и, не глядя на Кольку, сказал:

— Что вы думаете о провокации?

— О провокации?

— Да, именно. О провокации в дружине?

— Та-ак... — многозначительно протянул Колька и встрепенулся. Александр прислушался. На улице, под крыльцом, на размытой дождями дорожке мягко шлепали чьи-то шаги. Но засвистел в лесу ветер, зашелестели листья берез, забарабанили крупные капли, и снова все смолкло. Колька перекрестился и таинственно подмигнул:

— Домовой... Нечистая сила... Ха-ха-ха... Так, стало быть, насчет провокации? Так-с... Но ведь я уже докладывал вам...

— Что вы докладывали?

— Я докладывал, что если есть малейшее подозрение, то я, Александр Николаевич, работать не буду... Я уйду... Совсем уйду... Из дружины... Не желаю грязью играть.

Александр взглянул на него:

— Не желаете?

— Нет... Да что же это, в самом деле, такое? Обидно, Александр Николаевич... Ох как обидно... Если только за этим звали, то уж лучше было не звать... Не указчик я... Не доносчик... Нет... Я всем верю... Значит, так — не судьба... Ну, прощайте, Александр Николаевич... — он вздохнул и приподнял картуз... — Всего лучшего пожелаю... До свиданья... Адье...

Колька встал и, улыбаясь все той же непонятной улыбкой, не спеша пошел на балкон. Александр понял, что он уйдет. И в ту же минуту ему стало ясно, что он не ошибся, что перед ним не товарищ, не дружинник Колька-Босяк, а тот продажный убийца, которого он вчера разгадал. И, повинуясь тайному чувству, он внезапным и сильным движением схватил Кольку за воротник. Колька вскрикнул. Его глаза загорелись. Он размахнулся, но не ударил и, опуская руку, тихо спросил:

— Зачем?

— А затем, — бледнея от гнева, повелительно за-

кричал Александр, — что до сих пор я с вами говорил как товарищ, как член дружины, а теперь... теперь извольте слушать... Я — начальник, вы — подчиненный. Я — офицер, вы — солдат... Я приказываю вам отвечать. Поняли? Я приказываю... Где ваш браунинг? Отдайте его...

Медленно догорала свеча, и громадные сизые тени, — тени Кольки и Александра, — колыхаясь, боролись на потолке. Колька, красный, с посиневшим лицом, шевелил беззвучно губами, силясь что-то сказать. Но он не сказал ничего. Он покорно полез в карман и подал заряженный браунинг.

— Отпустите, Александр Николаич...

Александр оставил его и бросил револьвер на стол. Колька сел и попробовал улыбнуться:

— Тунда, тпрунда, балалайка... Что это вы так рассердились?.. Из-за чего шум? Из-за того, что я из дружины желаю уйти?.. Так ведь, Господи, надо понять... Мне... мне тоже обидно слушать... Что я, шпана, лакус или крепостной? Не хочу... Слышите?.. Амур-могила! Шабаш! — Он одернул поддевку и воровато покосился на дверь. Где-то близко, под самым окном, снова зашуршали замедленные шаги. Колька вытянул шею. Александр усмехнулся. Невысокого роста, очень широкий в плечах, с потемневшими, молочно-голубыми глазами, он неподвижно стоял перед Колькой и с ненавистью, в упор смотрел на него. Теперь они оба понимали друг друга. Колька чувствовал, что Александр способен убить, и не верил в это убийство, как не верит никто своей насильственной смерти. И хотя он действительно служил у полковника Шена и получал деньги и сегодня утром донес на дружину, он не считал себя виноватым. То же самое, что и он, делали все начальники, советчики и друзья: филеры, вахмистры, надзиратели и переодетые офицеры. И именно потому, что он не считал себя виноватым, он не мог поверить, что Александр ненавидит его. Но ему было страшно. И по преувеличенно дерзким словам, и по блуждающим взглядам, и по склоненной, взлохмаченной голове Александр понял, что он боится. Он сжал губы и, отступая на шаг, вынул тяжелый, с длинным стволом револьвер.

— Я вам советую: сознавайтесь...

— Шутите, Александр Николаич, — захрипел озлобленно Колька. — В чем прикажете сознаваться?.. В том, что я честно работал? Делал революцию, как мог?..

Я даже не понимаю, почему вы со мною так говорите? Что это за разговоры?.. Ей-богу... И опять же этот наган... Эхма, Александр Николаич... Грешно!.. Отольются кошке мышкины слезки... — он отвернулся и с огорчением махнул рукой.

— Сознавайтесь, — чувствуя, как неровно забилось сердце, шепотом повторил Александр.

Но тут произошло то, чего он не мог ожидать. Колька быстро вскочил и дунул на свечку. Свечка сразу погасла. В то же мгновение Александр услышал жалобный звон. Посыпались стекла. И сейчас же, не рассуждая, повинуясь все тому же властному чувству, не видя ни Кольки, ни даже рамы окна, боясь, что уйдет Колька, и чутьем угадывая прицел, Александр вскинул револьвер и надавил на курок. Гулко, повторенный эхом, прокатился неожиданный выстрел, сверкнуло желтое пламя, и что-то, охнув, упало на пол. Александр зажег спичку. Под окном, ногами к столу, на животе лежал Колька. На затылке, у правого уха, по рыжим спутанным волосам, сочилась темною струйкою кровь. Александр надел шляпу и, странно согнувшись, задевая впотьмах за стулья, вышел ощупью на крыльцо.

XVII

Дождь перестал. По небу, гонимые ветром, плыли остатки свинцовых, по краям разорванных туч. Справа шумел березовый лес, слева тянулись мокрые огороды. Было холодно. Пахло дождем. Александру казалось, что тропинке не будет конца и что до станции сотни верст. Когда замигали станционные фонари, он вспомнил, что Колька был не один. «Все равно... — прошептал он, подергивая плечами, — Цусима... Все, все равно...» Он испытывал упрямое, почти бесстыдное равнодушие. Он не думал о том, что убил человека, что на покинутой даче лежит заброшенный, уже бесчувственный труп. Он шел без мыслей, без ощущений. Так идет корабль без руля.

На платформе у водокачки дремал невидимый в темноте человек. «Должно быть, Колькин филер...» — мелькнуло у Александра. Он наклонился над ним. Он заметил полное, с нафабренными усами лицо, истрепанную поддевку и солдатские измокшие сапоги. «Мордаст сукин сын, а глаза как у волка... И откуда столько хаха-

рей, Бож-же мой», — вспомнил он, и начал быстро ходить по мосткам. Без умолку звенел телеграф, и за освещенным окном, в буфете первого класса, зевал проезжий купец. И вдруг здесь, на полутемной платформе, Александр понял, что случилось что-то непоправимое, — что убит товарищ, Колька-Босяк. Но он не почувствовал ни огорчения, ни страха. «Ну, что же? Убит... Колька... Да, Колька...» Где-то тяжко загромыхали колеса, загорелись приближающиеся огни. Загудели тонкие рельсы, и, сверкая, лязгая и пыхтя, подошел грохочущий поезд. Александр сел в вагон. Человек, дремавший у водокачки, встал и нехотя поплелся за ним.

Через запотелые стекла не было видно ни зги. Александр прижался щекой к окну. «Я убил, — думал он, — но ведь я не мог не убить... Я должен был, я был обязан убить... Разве доктор Берг не змея?.. Так сказал кожевник Абрам... И Колька тоже змея... Мы на войне. На поле сражения... По законам военного времени... Полевым, скорострельным судом...» Он говорил себе так, и чем красноречивее он говорил, тем яснее оживал хохочущий Колька. «Тунда, тпрунда, балалайка... Обидно, Александр Николаич, ох как обидно... Я уйду... Совсем уйду... Из дружины... Что я, шпана, лакус или крепостной?..» «Не ушел, не уйдет... А если он невиновен. Ведь он не сознался... Ведь я выстрелил потому, что он хотел убежать... Ах, все равно... — С гневом стукнул он кулаком по скамье. — В Цусимском бою погибли тысячи, погибла честь, погибла Россия... Что стоит Колька-Босяк? Что стоит его, моя ненужная жизнь? Да и как доказать провокацию?.. Я уверен, что он провокатор. Именно он. И довольно. Я прав. Побеждает тот, кто хочет победы и кто смеет убить... Я убил. И я отвечаю. Перед партией? Перед Ваней? Перед Абрамом? Перед людьми?.. Нет, перед совестью, — перед Россией...» Засвистел встречный поезд, искрами озолотилось окно, и отчетливее загрохотали вагоны. Александр оглянулся. Сзади, у самых дверей, сидел вокзальный филер. «Арестуют? Пусть арестуют... Цусима... О чем я думал? О Кольке?.. Туда ему и дорога... В ад?.. Господи, дай мне счастье... Дай мне счастье послужить великой России». Он закрыл устало глаза. Но предчувствие поражения, предчувствие бесславной судьбы ни на минуту не покидало его. И казалось, что именно сегодня был памятный бой, именно сегодня гремели орудия, именно сегодня победили японцы и именно сегодня взвился белый флаг.

Александр поздно приехал в Москву. Сам не зная зачем, он зашел в ночной ресторан «Варьете» и спросил бутылку вина. Хотел не думать. Хотелось верить, что он не один, что где-нибудь в Москве, в Петербурге, даже не в самой Москве и не в Петербурге, а хотя бы за тысячу верст, есть такой человек, который захочет его понять, — захочет понять, что значит «раскрывать» провокацию, что значит «делать террор» и, главное, что значит убить. «А Абрам?.. А Свистков?.. А Ваня?.. — с неизведанной еще, горячей любовью подумал он о дружине. — Разве они не поймут?.. Разве они не оценят?.. Ведь мы не друзья, мы — кровью спаянные, родные братья...» Он не замечал ни белоснежных столов, ни звенящих шпорами офицеров, ни раскрашенных женщин, ни даже прилично одетого господина, с золотыми кольцами на руках, который изредка посматривал на него. Грубой насмешкой показалась ему «работа». «Не сумели, не смогли победить... Там, при Цусиме... Не сумели, не смогли победить... Здесь, у себя, в Москве... Я убил Кольку. Но разве Колька один? Разве не было доктора Берга?.. Их легион, этих Колек и Бергов... Везде предательство и позор...» Перед ним предстала вся партия, — умирающий, смертельно раненный лев. Он увидел с трудом налаженное, хозяйственное веретено: «конспиративные» сходки, комитеты, союзы, организации, рабочие группы, дружины и студенческие кружки. Он увидел, как в каждом городе, в каждой деревне, в занесенных снегом русских степях члены партии кропотливо строят новую жизнь. И он увидел, что всюду, от Архангельска до Баку, от Варшавы и до Иркутска, лицемерно «работают» двуликие Кольки и как черви точат партийное тело. «Разве можно бороться? К чему мои изыскания? К чему убийство? К чему надо воскресить поверженный труп, найти заклятье от гноящихся ран... Но как?.. Но какое?.. Может быть, другие найдут... Я не могу... А если я не могу, значит... значит, Цусима». Он не допил вина и вышел на Трубную площадь. Прилично одетый, с золотыми кольцами господин расплатился и посмотрел, в какую сторону он пошел.

В гостинице «Метрополь» были настежь раскрыты двери. В швейцарской было светло, и на пороге стоял громадного роста неизвестный Александру лакей. Александр взглянул на часы. Стрелки не двигались. Часы показывали двенадцать.

— Который час у тебя?

— Половина второго-с.

Александр кивнул головой и стал подниматься к себе. Но на третьей ступеньке кто-то сзади, с силой схватил его за плечо. Еще не понимая, что арестован, не понимая, кто держит его и зачем, и, бледнея от оскорбления, Александр поспешно обернулся назад. Он узнал того человека, который из Кунцева ехал с ним. Человек, не опуская руки, испуганно смотрел на него. Не думая ни секунды, Александр размахнулся и больно ударил его по лицу. Он сейчас же почувствовал, что свободен, и взбежал по лестнице вверх.

Он взбежал на площадку между первым и вторым этажом и круто остановился. Только теперь он увидел, что в западне и что ему не уйти. В углу, у плюшевого дивана, стояла чахлая, полузасохшая пальма. «Пальма... — подумал он, — зачем она здесь?..» И далеким воспоминанием на миг блеснуло южное небо, сверкающий лазурью залив, крики розовых чаек, багровый кактус и желтолицый японский солдат. «Часовой... Нагасаки... Цусима...» Он выпрямился и равнодушно посмотрел вниз.

Внизу, из дверей неосвещенной столовой, один за другим выбегали солдаты. Их было много. В швейцарской зазвенели штыки. Офицера не было видно. Александр, голубоглазый, в расстегнутом сером пальто, не шевелясь, стоял на площадке, и в руке у него чернел блестящий наган. Он все еще не верил, что вот эти, в серых шинелях, люди, — люди, которые умирали в Цусимском бою, — захотят стрелять в него, в Александра. Он взвел наган и спокойно, как на ученье, опять взглянул на солдата. Он знал, что не убьет никого. Но как только щелкнул предохранитель, чей-то голос крикнул: «Стреляй!..» Правофланговый, неуклюжий, с длинной шеей и огромными кулаками, ефрейтор нерешительно поднял винтовку. Но Александр, точно отстраняя его, протянул вперед руку и приставил револьвер к груди. «Все равно... Я не смог... Не послужил спасению России...» И просто, быстрым движением, как и тогда, когда стрелял в Кольку, надавил послушный курок. Грянул выстрел. У дивана под запыленною пальмой лежал Александр. Его твердое, с голубыми глазами лицо было холодно и бесстрастно. И можно было поверить, что он крепко спит

XVIII

В ту же ночь, когда был убит Колька-Босяк и, не желая сдаваться, застрелился в гостинице Александр, были арестованы Абрам, Анна, Свистков, Соломон Моисеевич и в Киеве — Розенштерн. Соломон Моисеевич оказал «вооруженное сопротивление властям». В своей комнате, на Ильинке, он наглухо забаррикадировал двери и отстреливался, пока хватало патронов. Его убили под утро, — через прорубленное отверстие в потолке. Один только Ваня случайно избег ареста. Он был в театре, когда к нему явились жандармы. В одиннадцать часов он вернулся домой. У ворот его остановил дворник и, боязливо озираясь кругом, шепотом посоветовал не входить. Ваня ушел. Он «нелегально» прожил месяц в Клину и, переменив паспорт, уехал в Одессу. В Одессе он скрывался до октября, а в октябре отправился в Болотово, к родителям Александра. Как-то весной, еще в начале «работы», Александр взял с него обещание, в случае его смерти, уведомить стариков. Теперь Ваня счел своим долгом исполнить эту грустную просьбу.

Стояла осень, ненастная, поздняя, с жестоким северным ветром и неумолчно-надоедливыми дождями. Липы уронили свой темно-зеленый убор, и на дорожках обнаженного сада густым ковром легли опавшие листья. Цветы увяли. В любимом цветнике Николая Степановича уже не алели гвоздики и не пахло левкоем и резедой. В лесу было сыро и тихо. Шептались сосны, трещал подгнивший валежник, и по мокрым опушкам носились с карканьем стаи грачей. Печалью веяло от поредевшего леса. Предчувствовалась долгая и холодная, безрадостная зима.

После смерти второго сына, Андрея, с Николаем Степановичем случился удар. Более года он не подымался с кровати. Его полное, еще недавно крепкое тело высохло и застыло, и бескровные губы напрасно силились что-то сказать. Ухаживала за ним Наташа, молчаливая, строгая, с длинными косами льняных белокурых волос и такими же, как у братьев, голубыми глазами. Старуха Татьяна Михайловна с трудом пережила нежданное горе. Ей казалось, что Бог покинул ее. Она по-прежнему молилась целые дни и заказывала заупокойные панихиды. Но теперь вся любовь, неисчерпаемая материнская нежность, — та любовь и та нежность,

которые давали ей силу жить, — сосредоточились на одном человеке, — на третьем сыне, на ее первенце Александре. Она знала, что он оставил флотскую службу, но скрыла это от мужа. Она догадывалась, что он пошел по той же дороге, на которой погибли Михаил и Андрей. Она хотела верить, что это не так, что она, конечно, ошиблась, что Александр, покорный и любящий сын, пощадит ее старость и умирающего отца. Наташа успокаивала ее, говорила, что брат живет за границей и что на днях, наверное, будет письмо. Но, успокаивая, она сама не верила своим утешениям. И часто обе плакали вместе, — мать о детях и о матери дочь.

Год прошел в безутешных слезах и заботах о Николае Степановиче. Беспросветная туча, которая нависла над домом, чувствовалась всеми без исключения, даже прислугой и редкими, всегда непрошеными гостями. Востроносая ключница Маланья Петровна ходила на цыпочках, вздыхала и закатывала под лоб свои мышиные глазки. Горничные Лукерья и Даша уже не пели веселых песен. Управляющий Алексей Антонович крестился, охал и, оправляя немецкий пиджак, являлся к барышне и терпеливо выслушивал неумелые приказания. Хозяйство шло вкривь и вкось. В лесу по ночам стучал неугомонный топор, и никто не спрашивал, кто рубит и для кого. Хлеба собрали вдвое меньше, чем у соседей. Сад заглох. Покривились ветхие службы. Опустели конюшни. Николай Степанович волновался, хрипел и бормотал невнятные, точно проглоченные слова: «Волосатики... Негодяи... Россию продали... Вешать...» Тогда Наташа неслышно подходила к отцу и гладила его по седым волосам. Не было прежней дружной семьи с тремя сыновьями — румяным Мишей, стройным Андрюшей и широкоплечим, приземистым Сашей. Было разоренное, развеянное бурей гнездо.

Ваня приехал в усадьбу утром. В крестьянском заплатанном армяке и подшитых бечевкою валенках, он был похож на безработного батрака. Алексей Антонович принял его в конторе. Когда Ваня сказал, что явился по личному делу, он недоверчиво мотнул расчесанной бородой, но все-таки кликнул мальчишку и велел доложить. В сенях чадил самовар. Пахло дымом и новыми хомутами. С грязных, оклеенных бумагою стен глядели портреты митрополитов и генерала Скобелева на белом коне. Ваня видел в окно, как, прыгая через лужи, возвращался босоногий мальчишка, как от ветра гнулась

сирень и на кухне хлопотала Маланья Петровна. Он смотрел на эту чужую помещичью жизнь, и ему казалось, что он напрасно приехал сюда. Но на крыльце торопливо застучали шаги. В контору вошла Наташа. На ней, поверх черного платья, был накинут вязаный, тоже черный, платок. По голубым, холодным глазам Ваня тотчас узнал ее. Наташа в недоумении обратилась к нему:

— Вы по делу?

— Да, по личному делу...

Они вышли на двор. На размытой, липкой земле догнивала солома. Перелетали озябшие воробьи. Ваня замялся.

— Я от вашего брата...

— От Александра?.. — с тревогой повторила Наташа. — Вы от него? Он жив?

Ваня потупился.

— Да говорите же... Говорите.

— Александр Николаевич умер... — боясь взглянуть на Наташу, взволнованно вымолвил Ваня. Наташа ничего не сказала. Ваня покраснел и умолк.

— Когда?

— В Москве двадцатого августа.

— Я читала... Так это он?

— Да. Он.

Она повернулась и, забыв про Ваню, пошла назад, к дому. Она шла черная, точно монашка, с белокурой, низко опущенной головой. Ване казалось, что она сейчас упадет. Но на полдороге она внезапно остановилась:

— Вы его товарищ? Да? Простите... Вам... ничего не нужно?

— Нет, ничего.

— Прошу вас...

— Благодарю. Ничего.

Она долго стояла, не решаясь уйти, словно желая что-то понять. И вдруг слабо взмахнула руками:

— Господи... Да как же я им скажу?

До станции было семь верст. Ваня пошел пешком. Было ветрено, ноги вязли в грязи, с неба сеяла мокрая пыль, и налево, за лесом, взмывала синяя, как свинец, тяжелая туча. Всюду, сколько хватал острый глаз, тянулись однообразные, взрытые, взбороненные и скошенные поля, и только по большаку — одинокие часовые — выстроились березы. Ежась от холода и слушая, как посвистывает ветер в ушах, Ваня невольно вспо-

мнил свою жизнь. Он вспомнил детство, с колотушками, руганью, пьянством и мужицкой, неприкрашенной нищетой. Вспомнил юность, завод, лязг железных машин, снова пьянство и опять нищету. Вспомнил Володю, огромного, сильного, с властным голосом и маузером в руках. Вспомнил Пресню, мороз, баррикады, и Сережу, и училище, и драгун. Вспомнил Анну, и Ипполита, и убийство главного военного прокурора. Вспомнил Абрама, и Берга, и Кольку, и Александра. И, когда он вспомнил всю свою бесплодную жизнь, ему стало страшно. «Безусловно, разбиты... Если не смогли ни Володя, ни Сережа, ни Ипполит, ни Болотовы, ни Розенштерн, то кто сможет? На кого надежда? Или вовсе нету надежды? Вовсе нету правды на свете?..» От этих мыслей стало еще холоднее, и казалось, что грешно, бессмысленно и бессовестно жить.

Он пришел на станцию в пятом часу. Еще не смеркалось, но было мглисто, и слезливо плакало осеннее небо. На платформе толпился народ. Артель пильщиков собралась в отъезд. Впереди стоял рослый, широкий в плечах, длиннобородатый мужик, издали напоминавший Володю. Его сосредоточенно-твердое, слегка рябое лицо и умный взгляд серых глаз поразили Ваню. «Ей-богу, Володя...» — подумал он и ясно увидел рабочую Русь. Он увидел Русь необозримых, распаханных, орошенных потом полей, заводов, фабрик и мастерских, Русь не студентов, не офицеров, не программ, не собраний, не комитетов и не праздную, легкоязычную и праздησловную Русь, а Русь пахарей и жнецов, трудовую, непобедимую, великую Русь... И сразу стало легко. Он понял, что и чиновничий комитет, и хулиганство, и провокация, и бессильные баррикады, и дерзость Володи, и преданность Ипполита, и мужество Александра, и сомнения Андрея только пена народного моря, только взбрызги мятущихся волн. Он понял, что ни министры, ни комитеты не властны изменить ход событий, как не властны матросы успокоить бушующий океан. И он почувствовал, как на дне утомленной души чистым пламенем снова вспыхнула вера, вера в народ, в дело освобождения, в обновленный, на любви построенный мир. Вера в вечную правду.

ПРИЛОЖЕНИЕ

С. А. САВИНКОВА
ГОДЫ СКОРБИ[1].

(Воспоминания матери)

Я знаю, что эти воспоминания заставят меня вновь страдать и вновь переживать прошедшее, но ведь это жизнь не моя только, а многих... Не мне одной пришлось на самой себе испытать железную руку правительственного режима; таких, как я, несчастных матерей тысячи... И потому мой искренний рассказ может иметь некоторое значение... Иначе, какой интерес был бы в горестях одного из миллионов людей?

Первый гром для моей семьи грянул в 1897 году. До тех пор мы жили, как все тогда жили в провинции: без особых забот, без особых общественных интересов, без запросов... так себе, изо дня в день, как живут чиновники. Муж мой служил по министерству юстиции на западной окраине и получал хорошее содержание. Это был человек интеллигентный, чрезвычайно чуткий к справедливому и широкому толкованию законов, не видевший никакой разницы между евреем, русским и поляком, между интеллигентом и рабочим, между богачом и бедняком. Как судья, он очень скоро приобрел популярность среди запуганного населения этого края, и его и в глаза, и за глаза стали называть: «зацны сендзя», т. е. честный судья.

И действительно, за всю свою двадцатилетнюю службу в Западном крае он ни разу в своих решениях не покривил душой и не поддался воле начальства, за что также скоро среди сослуживцев приобрел славу человека неуживчивого и красного, что его, впрочем, нисколько не огорчало.

---

[1] Журнал «Былое». Год первый, № 7. Июль 1906. Петербург, 1906.

Пока наши дети учились и подрастали, повторяю, в нашей жизни — кроме обыденных забот о здоровье, благоудобствах и воспитании детей — ничего особенного не было. Но вот наши два старшие сына отправились в Петербург — один в Горный институт, другой в Университет, и тотчас же наша жизнь переломилась надвое: мирное существование стало областью прошедшего, и в жизнь ворвалась целая буря новых забот, тревог и волнений.

В Петербурге уже тогда начиналось брожение, окончившееся переживаемой нами революцией. Неудовлетворительность постановки высшего образования, стеснение учащейся молодежи в ее самых естественных порывах к общему благу, нелепая тирания, терзавшая нервы молодых людей, — все давало обильную пищу для негодования юным сердцам. Тогда уже разразилась бурная история по поводу постановки памятника Муравьеву-Вешателю в Вильне. Я упомяну об ней лишь в нескольких словах. Затеянная высшей администрацией постановка в Вильне памятника Муравьеву, несмотря на свою громадную бестактность, быть может, и не имела бы больших последствий, если бы не недостойное желание выслужиться и показать перед начальством свой квасной патриотизм со стороны нескольких варшавских профессоров, пославших приветственную телеграмму от имени университета.

Надо вспомнить, как ненавистно имя Муравьева каждому коренному поляку, когда почти в каждой польской семье хранится память о погибшем от руки палача члене семейства, как незаживаемы эти раны в таком чутком народе, чтобы понять, какое глубокое оскорбление было нанесено целой нации этим памятником «висельнику», как зовут Муравьева поляки!

Но забитый народ притаился и молчал, и только учащаяся молодежь глухо заволновалась. В ответ ей откликнулись Петербургский и Московский университеты, а за ними и все провинциальные. Можно думать, что эта история послужила как бы толчком к долголетним волнениям: со времени муравьевской истории университетская молодежь России не переставала волноваться и до настоящего дня, хотя причины волнений разные. Эта же история решила судьбу и моих детей. Первый их арест и сопряженный с ним обыск оставили во мне неизгладимое впечатление.

Это случилось в 1897 году. Наступили рождественские праздники, и мы с мужем с нетерпением ждали сыновей наших на зимние каникулы. Они были так юны, так недавно оторвались от родной семьи! Интересно было посмотреть, как кипучая петербургская жизнь отразилась на них, как употре-

били они свою свободу. За три дня до праздника они приехали жизнерадостные, полные новых впечатлений и надежд. Мы с мужем положительно не узнавали их, так они возмужали и развились во время нашей разлуки: в них проснулось самосознание, и они сильно интересовались общественными вопросами. И, слушая их живые, смелые речи, мы обменивались с мужем горделивыми взглядами: в их словах сквозила такая горячая жажда добра, такое яркое стремление к правде и свету, что возражать нам было нечего, и мы чувствовали себя счастливыми, видя, что из наших детей выйдут хорошие, честные деятели, полезные граждане нашей родины. Мы и не подозревали, как горько мы ошибались: родине нужны горячие, честные деятели, но правительству они не нужны. Мы с мужем поняли это потом, но в этот вечер мы были счастливы. Увы! Мы не могли подозревать, что то был последний счастливый и спокойный вечер в нашей жизни!

Около часу ночи, после самых оживленных бесед, мы решились наконец разойтись по своим комнатам. Лампы были потушены — я стала раздеваться. Как вдруг среди наступившей тишины раздался громкий, резкий звонок. Подумав, что это телеграмма, я поспешила в переднюю. Горничная уже была у двери и спрашивала: «Кто там?» — «Полиция», — раздалось из-за двери, громко и властно. Наша жизнь текла так мирно, и мы так мало имели сношений с этим учреждением, что я только удивилась, но не испугалась. Но за дверью раздавался сердитый голос: «Скорее! отворяйте!»

Пока дверь отворяли, я инстинктивно бросилась в комнату сыновей; они спешно одевались, около них стоял озадаченный муж. В это время раздались звенящие шпорами шаги, и в комнату вошел сопровождаемый полицией, понятыми и дворником жандармский полковник Утгоф.

— Извините, — элегантно расшаркался он. — По предписанию начальства, я должен произвести обыск.

Мы с мужем с ужасом переглянулись. Тогда было не то, что теперь, когда обыски и аресты стали обыденным явлением. В то время обыск у правительственного чиновника был случаем редким. И как описать то чувство унижения и негодования, какое нами овладело при этом первом насилии? Кто может спокойно перенести, что в вашем домашнем очаге не остается ничего святого: все вещи перетроганы, фотографии близких перехватаны и перекиданы, ваша интимная переписка перечитана, ваши дети ощупаны чужими грубыми руками! Я, по крайней мере, испытывала такое чувство, как будто меня раздели догола и вывели так на площадь.

До сих пор еще, при воспоминании об обыске, я не могу

отделаться от мучительного чувства стыда и унижения! К тому же он сопровождался совершенно непонятным многолюдством: в квартире нашей сновало и распоряжалось человек двенадцать, на кухне оставалось шесть человек на запас, при каждой двери стояло по жандарму, да и дом был оцеплен со всех сторон. И все это только для того, чтобы захватить двух беззащитных юношей... Когда полковник перерыл дорожную корзину моих сыновей, он нашел в ней несколько воззваний к варшавским профессорам от высших учебных заведений, по поводу профессорской телеграммы.

В пять часов утра, после самых тщательных поисков, причем младшие дети шести и семи лет были подняты жандармами с постелей для осмотра их матрацев и подушек, полковник обратился к сыновьям:

— Проститесь с родителями — вы поедете со мной!

С рыданием обняли мы своих детей. Они были бледны, но спокойны. Полковник расшаркался, дверь отворилась, он пропустил их вперед, за ним двинулась вся свора, и... детей наших не стало!..

С тоской прошлась я по комнатам: все было сдвинуто с места, опрокинуто, скатерти сброшены со столов, диванные подушки распороты; везде были пятна грязных ног, мокрых следов... Не верилось, что это наш такой мирный и уютный до сих пор домашний очаг! Я взглянула на мужа и испугалась: смертельно бледный, он судорожно хватался за грудь — ему не хватало воздуха! Поспешно уложив его в постель, я послала за доктором.

Ночь прошла, муж заснул, но я не могла успокоиться... Где теперь мои дети? Что ждет их? Но к чувству скорби примешивалось и чувство глубокого негодования против совершенного насилия... Если виновны были наши сыновья, то мы с мужем ни в чем не были замешаны, почему же и за что было нам нанесено такое оскорбление? Если, по словам полковника, их арестовали по телеграмме из Петербурга, то почему же и не обыскали на месте или даже в вагоне? Почему дали им приехать домой, чтобы затем ворваться в мирное жилище, среди ночи поднять весь дом на ноги и встревожить лиц, ни к чему не причастных? Если эти протесты должны были быть рассматриваемы как преступление, то почему не отобрали их ранее, чем сыновья наши переступили порог родительского дома? Волнуемая душившим меня негодованием, я ушла в свою комнату и, написав в один присест письмо с жалобой на это насилие генерал-губернатору, я приклеила марку и сама бросила письмо в ящик.

В то время генерал-губернатором Западного края был

князь Имеретинский; один из наиболее гуманных правителей этого несчастного края, несчастного потому, что целый ряд генерал-губернаторов, из которых на первые места надо поставить генералов Гурко, а впоследствии Черткова, проводили идею русификации совершенно аракчеевскими приемами. Одна национальность «русский» давала массу привилегий и ставила лицо превыше закона. За двадцать лет жизни в крае мы с мужем всего насмотрелись: насилие, грубые приемы, окрики, кулаки — все было дозволено русским, все пускалось в ход. Не раз муж мой, возвратясь со службы, с негодованием рассказывал о неслыханном произволе полиции, против которой никакой управы не было, и приводил такие факты, от которых становилось стыдно, что сам русский! При князе Имеретинском впервые для поляков наступило нечто похожее на снисходительность и внимание к национальным нуждам. Князь принимал поляков охотно, толковал с ними и мало-помалу допускал некоторые облегчения. Так, разрешено было в учебных заведениях молиться на родном языке, перестали преследовать учащихся, говоривших во время рекреации между собою по-польски, и т. д.

Вот почему я и обратилась к нему с письмом по поводу произведенного в нашем доме обыска. Будь это позднее, например, при генерале Черткове, мне и в голову бы не пришло протестовать, так как тогда произвол только поощрялся.

В письме моем я описывала происшедшее и обращалась к князю с вопросом, что происходит на чердаках и в подвалах, если подобное насилие возможно в доме правительственного чиновника?

К чести князя Имеретинского, надо сказать, что он не оставил моего письма без внимания. Он потребовал к себе прокурора палаты и жандармского генерала для объяснений и прислал к нам своего адъютанта с выражением сожаления о случившемся, и не прошло трех дней, как наши сыновья были выпущены из цитадели и возвращены нам.

Праздники мы провели вместе и старались отдохнуть от пережитых волнений. Но этот обыск и арест не остались без следа в юных сердцах моих детей: все подробности обыска постоянно служили предметом их бесед, и глаза их загорались враждою к произволу, допускающему постановку памятника ненавистному целому населению человеку и не допускающему ни малейшего протеста по этому поводу.

Возмущались сыновья наши, а мы с мужем и не пытались удерживать их: факты были налицо, и сказать нам было нечего. С грустью проводили мы их в Петербург: по настроению их было видно, что они на этом не остановятся.

И действительно, не прошло и двух месяцев, как в феврале 1898 года мы получили от младшего сына известие, что старший арестован. Я выехала в Петербург.

Я была совершенно незнакома с тем миром, вращаться в котором мне было отныне суждено: тюрьма, штыки, солдаты, жандармы были для меня понятиями отвлеченными, известными лишь по наименованию. Поэтому, приехав в Петербург, я по неопытности потеряла много времени: если я обращалась в охранное отделение, то меня посылали в жандармское управление; отсюда направляли опять в только что покинутую охрану. Здесь советовали обратиться к жандармскому генералу. Тут я узнавала, что он принимает посетителей не иначе как в назначенные дни и часы. При тревожном моем состоянии это было сущей пыткой. Наконец я, как жена юриста, решилась обратиться к прокурору палаты. Был ли он мягче жандармов, или горе мое на него подействовало, но я вышла от него с разрешением свидания с сыном. Вообще я тогда еще впервые ознакомилась с главною особенностью деятельности жандармов: обставлять дело, хотя бы оно выеденного яйца не стоило, необычайной таинственностью и в тысячу раз преувеличивать его серьезность и значение. Когда жандармы говорят с родителями политиков, то они всегда сулят каторгу и смертную казнь и в лучшем случае — Восточную Сибирь.

Так и теперь, когда я просила о свидании, мне в ответ таинственно пожимали плечами, вздыхали, качали головой и, находя невозможным удовлетворение моей просьбы, отсылали от одного к другому. Один прокурор палаты без всяких проволочек разрешил свидание. Но я уже была напугана и потому с замиранием сердца подъехала к Дому предварительного заключения. Сознание, что это тюрьма, что мой сын заключен в ней, действовало на меня удручающе, а полная неизвестность его вины заставляла предполагать самое худшее.

Не зная, что заключенные содержатся не в первом дворе, я пристально всматривалась в окна флигеля, надеясь угадать, где сын, но грубый окрик солдата «не останавливаться» заставил меня направиться к двери, над которой видна была надпись: «Контора».

Контора была переполнена разношерстной публикой: были хорошо одетые дамы, были и очень бедные, на глаз, старушки... прохаживались студенты, было много молодых девушек, по особо симпатичному виду которых можно было угадать в них курсисток. Они были здесь как свои и, видимо, знали местные порядки. У них были цветы в руках для передачи, были и узелки. Непривычная обстановка и душевная тревога так на меня подействовали, что я со слезами опустилась на бли-

жайшую скамейку. Молодые девушки тотчас окружили меня. Со всех сторон слышалось:

— Верно, впервые! К сыну? Как фамилия? — Я не в силах была ответить.

— Ничего, привыкнете, — грустно говорили мне. — Не вы первая, не вы и последняя. Много их тут сидит.

В это время выкрикнули мой номер.

Я пошла за сторожем. Нас было десять человек, самых разнообразных положений. Позади нас шел солдат. Сторож показал пропуск у ворот, загремели замки, застучали засовы. Я приготовилась, воображая, что сейчас увижу сына! Но войдя в ворота, мы пошли далее. Новые запертые ворота — и та же процедура: пропуск и засовы. Наконец нас ввели в здание, и в это самое время мимо нас прошли два жандарма с саблями наголо. Между ними в средине шел совсем молоденький студентик с юношеским румянцем на лице.

— Экий какой молоденький! — с сокрушением сказала около меня какая-то старушка и горестно перекрестилась. Мы все вздохнули: у каждого из нас было заперто по такому же сыну. Даже сторож покачал головой.

— И чего таких запирать! — сердито сказал купец, но жандарм строго на него оглянулся и наставительно произнес:

— А зачем сопротивляются начальству?

Через минуту вызвали мой номер, и я торопливо пошла за солдатом. Мы прошли два коридора. В конце, у стола, сидел офицер и стояла кучка солдат. У меня отобрали муфту и зонтик. Офицер подозрительно оглядел всю мою фигуру.

— Проводи, — коротко приказал он унтеру. Мне отворили дверь налево и впустили в мрачную, без солнца, шагов в шесть, комнату. Она была пуста. Я с недоумением поглядела на жандарма.

— Сейчас придет, — коротко сказал он.

Действительно, откуда-то сверху послышались шаги... ближе, ближе... Дверь отворилась, и я увидела сына. Боже! С каким мучительным чувством я обнимала его!

Ко всему привыкаешь! Привыкла я потом более или менее и к тюрьме. Но это первое свидание с отнятым у меня сыном оставило неизгладимое впечатление... Тюрьма владела им, и никто для меня не мог раздвинуть ее стен! Времени для свидания было мало. Торопясь передавала я сыну вести с воли, но когда заговорила по-французски, тотчас же послышалось: «По иностранному говорить не полагается». Мы были не одни... Мне еще в конторе объявили, что нельзя ни о чем спрашивать, нельзя говорить о деле, нельзя упоминать фамилий... И много, много еще разных нелепых «нельзя»...

Свидание пролетело, как мгновение. Глядя на сына, я с тоской убеждалась, что одиночное заключение уже оказало на него свое действие: он был очень бледен и лицо его стало одутловатым. Со времени ареста его ни разу не вызывали к допросу, и я была первой живой душой, с которой он мог поговорить.

И потянулось время от свидания до свидания. Тогда еще было лучше, чем впоследствии. Приезжим родителям разрешались свидания два раза в неделю, по двадцать минут каждое. Позволялись передачи книг, папирос и съестного. Можно было писать и получать письма. Но сознание, что сын в тюрьме, отравляло жизнь.

Каждое свидание приносило тоскливое убеждение, что организм сына поддается: руки его дрожали, лицо покрылось налетом. Я отправилась к прокурору палаты и заявила ему о губительном действии тюрьмы на здоровье сына. Он меня вежливо выслушал, но сказал, что выпустить сына не в его власти, что дознание только в начале, и на мой вопрос, в чем сын обвиняется, только пожал плечами и заявил, что объяснить этого не вправе.

Время шло — сына не выпускали. Уже два месяца был он в заключении. Между тем я была нужна дома: маленькие дети захворали, а муж, занятый службой, не мог возиться с ними. Приходилось ехать, но жалко до отчаяния было оставить сына одного. Напрасно я обращалась с вопросами к прокурору, в жандармское управление и в охрану. Везде старались от меня отделаться, уверяя, что ничего не знают. И только жандармский генерал спросил:

— Да зачем вам нужно знать когда?

Я объяснила свой отъезд и мучительную жалость оставить сына. Он грубо засмеялся.

— Ну, сударыня, — сказал он, — если бы мы обращали внимание на печали родителей, то у нас тюрьмы были бы пусты!

С тоской прощалась я с сыном. Как он ни бодрился, но в глазах его светилась грусть: свидания со мной были его единственной поддержкой! Обещав друг другу писать как можно чаще, мы расстались.

Наше отношение к обществу и знакомым со времени ареста сына очень изменилось: испытав теперь настоящее горе, мы инстинктивно стали сторониться людей с чиновничьим кругозором, и у нас взамен образовался небольшой, но очень тесный кружок единомышленников. Мы же с мужем, под влиянием событий, стали тревожно присматриваться к действиям администрации и из людей мирных, довольствовав-

шихся чиновничьим благополучием, мало-помалу обратились в людей, относящихся критически к правительственному произволу. Факты нашей жизни сами собой на это нас наталкивали.

Между тем завязалась переписка с сыном. Но что можно было писать, зная, что каждое письмо прежде всего попадет в руки жандармов? Эта мысль отравляла всякое желание приласкать сына, сказать ему нежные слова... Ведь прежде, чем прочтет их он, прочтут синие мундиры, и чувства матери станут предметом пошлой и подлой насмешки! Получаемые от сына письма все были перечеркнуты каким-то рыжим составом, и внизу имелся штемпель: «дозволено». И письма его были короткие, недоговоренные... Таким образом, самые интимные чувства были оскорблены грубым, беспощадным произволом... И в душе подымался глухой протест и росло озлобление.

Так прошло четыре месяца... За это время мы узнали, что и у младшего сына был обыск, и, хотя он был на свободе, тем не менее это известие спокойствия нам не прибавило. Нервы были в постоянном напряжении. Ложась спать, я представляла себе тюрьму, сырую каморку, шаги часовых и звон замков. Что делает мой бедный сын? Спит ли? Ходит ли по камере? Тоскует?.. И я ворочалась без сна. В воспоминании моем осталась похудевшая фигура сына и его изможденное лицо, и чем дальше подвигалось время его одиночного заключения, тем более я беспокоилась о его здоровье. И не напрасно. К концу пятого месяца я получила письмо с советом хлопотать об освобождении сына хоть на поруки, так как здоровье его сильно ухудшилось. Я тотчас же собралась в дорогу и, приехав в Петербург, в тот же день отправилась в департамент полиции, так как это был четверг — день приема у директора. Процедура приема в департаменте была сложная, приходилось ждать несколько часов, прежде чем быть принятой. Народу в приемной всегда было множество. Кого только тут не было! Высшие сановники в орденах и лентах, дамы, шумящие шелковыми платьями, и дамы скромные; профессора, священники, студенты, писатели, курсистки — все ждали терпеливо лицезрения директора.

Напрасно вылощенный секретарь старался фильтровать публику, уверяя, что дело от директора не зависит, напрасно и начальник отделения объявлял вызываемым лицам положенные уже резолюции — ничто не помогало; все хотели видеть самого директора, надеясь через него получить какое-нибудь облегчение участи политиков. Не ушла и я, и в семь часов вечера дождалась своей очереди.

Директором департамента полиции в то время был Зволянский. Из правоведов, с весьма любезными приемами, элегантной внешностью, он на первых порах производил довольно хорошее впечатление, и только после многократного опыта просители убеждались, что все любезности и ласковые обещания директора — своего рода мыльные пузыри, лопавшиеся тотчас же, как затворялась за просителем дверь.

Когда я вошла в его кабинет, директор, увидя входящую даму, любезно поднялся мне навстречу, подвинул кресло, с ласковым вниманием выслушал, качал головой, всплескивал руками, говорил сострадательным тоном о несчастных родителях и о заблуждающихся детях, обещал завтра же, никак не позже, назначить освидетельствование сына и, если он болен, тотчас же освободить его и, расшаркавшись самым галантным образом, проводил меня до самой двери. Я вышла с ликованием в душе... Я забыла усталость, тревогу, горе... Мысль, что, быть может, завтра освободят сына, опьяняла меня! Я вернулась в отель утешенной! И скажу теперь же: прошел еще четверг, и еще, и еще, и месяц, и другой, прежде чем, после величайших мытарств и хлопот, удалось мне вырвать сына из тюрьмы.

Впоследствии, когда мне опять приходилось хлопотать в департаменте полиции по делам сыновей при директоре Лопухине, я вынесла гораздо лучшее впечатление. Я не знаю, что вызвало его отставку и правдивы ли ходившие о ней слухи. Могу утверждать только то, что испытала сама: Лопухин был совершенной противоположностью Зволянскому; принимал очень холодно и серьезно, сострадания не выражал, ни в какие лишние разговоры не входил и обещал очень мало; но то, что обещал, исполнял скоро, и я несколько раз имела случай убеждаться, что обещанная телеграмма действительно послана; что необходимая справка немедленно наведена и что вообще, что сказано, исполнено. И уж конечно такие приемы были много симпатичнее любезных манер господина Зволянского.

Скоро я выхлопотала себе разрешение свиданий с сыном. Боже мой, как сжалось мое сердце, когда после четырехмесячной разлуки я увидела его... На улице я бы его не узнала, так он изменился: худой, бледный, с зеленоватым оттенком щек, согбенный...

— Голубчик мой! Да что же сделал ты, что они так тебя мучат? — воскликнула я.

— О деле говорить не дозволяется, — раздался бесстрастный голос.

Скажу еще раз: много раз пришлось мне еще выслушивать

ласковые обещания Зволянского, много раз пришлось топтаться по приемным охраны и жандармского управления, по целым часам ожидая минутного приема власти, с неизменным: «завтра», прежде чем совершенно изможденный сын мой был освидетельствован и выпущен на поруки родителям под залог.

В ожидании этого решения мне в то время пришлось довольно долго пробыть в Петербурге. Молодежь уже сильно волновалась, но волнения эти носили иной характер, чем теперь. До сих пор происходили строго воспрещенные, тайные сходки, но не выходили еще на улицу. Но они бывали очень многолюдны и отличались большой страстностью. Многочисленные аресты, тайная полиция, отравлявшая шпионами каждый шаг подозреваемого студента, плохой университетский устав, ретрограды, за малыми исключениями, профессора, мертвенно-педантичный министр народного просвещения, массовые высылки и исключения без права поступления в другие заведения — все соединилось вместе, чтобы вызвать бурное негодование и протест учащейся молодежи. Поводы для недовольства слишком бросались в глаза, а строгие меры правительства привели к совершенно противоположным результатам: молодежь сплотилась, заколыхалась и вынесла свои протесты на улицу. Таким образом, в тот год состоялось многолюдное сборище студентов всех высших заведений перед Казанским собором.

В день казанской истории у меня не было свидания с сыном, и я вышла пройтись. На Невском, у Литейного, была масса бегущего в сторону Адмиралтейства народа. Я спросила у городового, в чем дело?

— Студенты у Казанского бунтуют, — спокойно ответил он.

Я тотчас подумала о младшем сыне — студенте и, взяв извозчика, поторопилась на Петербургскую сторону, где он жил с женой и крошечным ребенком. По Невскому езды не было, но по боковым улицам было спокойно, и только через сквозные улицы к Невскому можно было видеть, что там собираются толпы народа.

Я не застала ни сына, ни невестки и, взяв маленькую внучку на руки, с тоской стала ждать их возвращения. Часы проходили, беспокойство мое росло. Я постоянно высылала няню на улицу узнавать, что слышно, и всякий раз, как она возвращалась, она приносила все худшие и худшие вести:

— Студенты пошли к Аничкову. Бьют их — страсть! Много лошадьми потоптано! Говорят, мертвых провезли.

Я сильно волновалась. Наконец, часов в шесть, мои верну-

лись. Но, боже мой, в каком виде: у невестки распухла рука и было порвано пальто; сын получил удар в голову! Они бросились защищать курсистку и, конечно, попали под нагайки казаков. С негодованием передавали они подробности возмутительных истязаний безоружной молодежи полицией и казаками.

Мало-помалу в квартиру сына стали приходить товарищи, почти все более или менее потерпевшие. Факты за фактами сыпались из их уст, глаза горели, губы дрожали, и не надо было быть пророком, чтоб, слушая их пылкие, враждебные правительству речи, не предсказать, что сегодняшнее событие — узел многих грядущих.

Наконец старшего сына моего выпустили. Уезжая с ним из Петербурга, я тревожно прощалась с младшим — уж очень он горячо относился к текущим событиям. «Быть беде», — подумала я, прощаясь с ним. И я не обманулась. Не успела я вернуться домой с старшим сыном и прожить не более недели, как получила письмо от невестки, в котором та извещала меня, что младший сын также арестован и посажен в крепость. Мужественная женщина изо всех сил старалась представить дело в успокоительном тоне, но факт, что сын в крепости, говорил сам за себя. Между прочим она убеждала меня не приезжать в Петербург, так как я все равно ничего помочь не могла, ибо даже ее, жену, на свидания с ним не пускали. Нечего и говорить, что известие об этой новой беде привело меня в отчаяние, но, из жалости к мужу и к издерганным нервам старшего сына, я скрыла от них, что младший в крепости, сказав просто, что он арестован.

Настало тяжелое время. Крепость, расстроенное здоровье старшего сына, нервность мужа — все делало жизнь горестной. К тому же душа рвалась к новому узнику; крепость ведь — погребение заживо. Сын после рассказывал, что за несколько месяцев заключения в крепости он так привык к гробовой тишине и безмолвию, что когда его потом перевели в Дом предварительного заключения в одиночное заключение, куда доносились некоторые звуки, как шаги, голоса и звонки конок, то этот ничтожный шум на первых порах казался ему невыносимо громким. Нарушавшие гробовую тишину крепости куранты казались узникам погребальным звоном. И, конечно, это заключение не прошло бесследно для нервной системы моего младшего сына... К каким результатам приводит одиночное заключение — я могла воочию убедиться на своем старшем сыне: из полного жизни, цветущего юноши он превратился в живую тень, вздрагивал от малейшего звука, не выносил разговора, избегал людей. В былое время он был

очень энергичен и работоспособен... теперь же все валилось из рук его, и душевное состояние его было самое угнетенное. Я понимала всю тягость его положения: помимо только что вынесенного заключения и настоящее не могло не угнетать его; работы по его специальности в нашем городе достать было нельзя, о Горном нечего было и думать, так как въезд в столицу был ему воспрещен, следовательно, он был обречен на бездеятельность, что при его натуре было невыносимо. Хотя время и поправило его физическое состояние, но нравственно он продолжал оставаться в таком угнетенном состоянии духа, что на него тяжело было смотреть. Я обратилась к докторам. Они нашли его нервную систему очень потрясенной и советовали перемену климата и обстановки; особенно рекомендовали они какой-нибудь интересный труд на свежем воздухе. Я предложила сыну похлопотать о разрешении до окончания приговора отправиться ему на уральские заводы, где он уже летом не раз занимался, как горный инженер, практическими работами.

Дело о нем велось административным порядком, ни на какой суд надеяться было нечего, а что придумает для него охрана и жандармы, того и надо было ждать.

Мое предложение сыну поездки на Урал было им встречено с радостью. Он горячо ухватился за эту идею. Мы послали просьбу о разрешении. Я сильно надеялась, что не откажут, так как Урал — та же Сибирь. Ответа ждали нетерпеливо. Но прошло много времени прежде его получения.

За это время младший сын мой, отсидев пять месяцев в крепости и четыре в Доме предварительного заключения, был до окончания приговора административно выслан на житье в Вологду и получил разрешение приехать на три дня, проститься с родителями. Он тоже очень изменился, похудел, побледнел и стал гораздо нервнее. Но он был крепче старшего, и возможность жить с семьей сильно поддержала его. Старался он подбодрить и нас с мужем, уверяя, что ожидал худшего.

Наконец пришло разрешение и старшему отправиться до окончательного приговора на уральские заводы. Мысль, что он будет работать, а стало быть, будет и полезен, совершенно воскресила его, и он пылко стал собираться в дорогу: накупил книг, приобрел скрипку и, сопровождаемый горячими пожеланиями родных и друзей, радостный и оживленный, уехал, пообещав прислать из Москвы телеграмму. Как ни тяжела была для нас с мужем разлука с ним, но, видя его бодрое настроение, мы уже не смели печалиться и старались ждать известий от него. Однако их не было. Прошло уже несколько дней, — а ни телеграммы, ни письма. По нашим расчетам он давно уже

должен был выехать из Москвы, почему же он молчал? Мы подождали еще — то же зловещее молчание. Тогда мы запросили друзей наших в Москве телеграммой, проехал ли сын наш и что с ним?

И каков же был наш ужас, наше отчаяние, когда в ответ мы получили сообщение, что сын в Москве, но немедленно по прибытии арестован и опять заключен в тюрьму!

Это было невероятно! За что арестован? Девять месяцев прожил он с нами, почти не выходя из дому, видя только ближайших друзей наших. В его действиях не было решительно ничего подозрительного, а мы знали каждый его шаг... Голова шла кругом от предположений! Мы вспоминали, с какой верой, с какой радостью он уезжал!.. Негодование душило нас... Но медлить было нельзя, надо было так или иначе помочь ему: при его нервности опять тюрьма могла совсем погубить его.

Наладив кое-как домашние дела и поручив убитого горем мужа друзьям, я выехала в Москву.

Я приехала в нее вечером. Но отчаяние мое было так велико, что я не в состоянии была ждать утра и решилась действовать немедленно.

Тогдашний прокурор судебной палаты Клуген был мне знаком издавна... Поэтому, переодевшись с дороги, несмотря на девятый час вечера, я отправилась к нему на квартиру и через дежурного внизу курьера передала свою карточку. Меня тотчас же попросили наверх, и прокурор весело и любезно вышел ко мне навстречу.

Он встретил меня как старую знакомую и, несмотря на отсутствие жены, просил непременно остаться. Посыпались обычные вопросы: «Давно ли приехала? Как здоровье мужа? Что дети?» Пока он меня усаживал, я молчала, меня душили слезы. Он взглянул на меня пристальнее и ужаснулся: «Что с вами? Ради бога, что с вами?»

Но когда я объяснила, зачем приехала, когда он узнал о том, что сын мой политический заключенный, лицо его изменилось, тон стал суше, и в конце концов он перешел на совершенно официальную почву и объяснил, что об аресте сына ему ничего не известно и что сделать что-либо он для меня не может, так как это — дело жандармского управления...

Я не скажу, что этот прокурор был дурным человеком... Нет, он был просто чиновник! Пока он думал, что я приехала к нему, как светская знакомая, у него нашлись для меня и улыбки и приветы. Но, как мать политического заключенного, я являлась для него личностью, неудобной для знакомства. Мундир чиновника — это совсем особенная, тесная оболочка,

под которой сердце принимает минимальные размеры. И не раз потом мне пришлось видеть такие метаморфозы среди добрых знакомых чиновничьего круга.

К тому же то были времена Плеве. Мягкосердие для чиновника было преступлением! Тем не менее прокурор «сделал, что мог»: он вынул свою визитную карточку и, сделав на ней надпись, посоветовал отправиться с ней к начальнику жандармского управления, который мог мне объяснить, за что сын арестован, и мог разрешить свидание.

Я была рада и этому. Провожая меня совсем иначе, чем встретил, прокурор заявил мне, что если б случилась в нем надобность, то он принимает в судебной палате в такой-то день и в такой-то час. Я, конечно, поняла: личное наше знакомство, как несоответственное, прекращалось...

Я не спала всю ночь.

В десять часов утра я уже входила по лестнице московского жандармского управления. Я ли не была знакома с обычаями и приемами жандармов? Мало ли я перенесла унижений, суровых отказов и полного равнодушия к своему горю? Казалось, что бы могло меня удивить? И тем не менее порядки московских жандармов, их бессердечие, их глумление над человеческими страданиями оказались таковы, что, по сравнению с ними, петербургские жандармы стали казаться мне прямо-таки ангелами, а петербургские порядки — идеалом снисхождения и мягкости. До сих пор без содрогания не могу вспомнить того, что пережила я в Москве за время заключения сына.

Прежде всего поражало то, что в управлении не было для просителей отдельной приемной. Посетители толклись в маленькой, полутемной прихожей вместе с жандармскими унтер-офицерами. Тут приходилось проводить положительно часы в ожидании, пока выйдет нужный офицер. А во время этого томительного ожидания из соседних комнат, где находились господа офицеры, доносился голос ожидаемого, рассказывавшего о вчерашнем времяпрепровождении очень неторопливо. Иногда ожидаемый офицер, с папиросой в зубах, проходил из одной комнаты в другую через переднюю, мимо ожидавшего просителя, и, скользнув по нему взглядом и нагло усмехнувшись, скрывался за дверью. Господа офицеры, видимо, наслаждались возможностью мучить и терзать людей. Если случалось, сунув унтеру в руку полтинник, упросить его напомнить офицеру, что ждешь его больше часу, в ответ из соседней комнаты раздавался намеренно громкий возглас: «пусть ждет!» — и одобрительный смех товарищей.

Иногда, после томительного ожидания, приходилось уви-

деть нужного офицера, входящего в переднюю, быстро надевающего пальто и хлопающего дверью, после чего подходил унтер-офицер и твердо говорил:

— Поручик ушли — пожалуйте завтра!

А завтра приходилось ждать опять. Избежать это учреждение не было никакой возможности: все передачи денег, вещей, книг, писем, все разрешения свиданий, то есть решительно все, относящееся к заключенным, надо было делать через жандармское управление. Оно было неизбежно!

В первое же посещение этого учреждения я наткнулась на очень тяжелую сцену: по передней, из угла в угол, ходила не молодая, хорошо одетая женщина. Я никогда не забуду того выражения скорби, которое читалось в ее больших глазах. Она не плакала, но, по мере того как проходило время, лицо ее становилось все бледнее.

Наконец вошел ротмистр и, не глядя на нее, сунул в руку унтер-офицера какую-то бумагу.

— Передай, — он назвал фамилию (без прибавления госпоже), — что ей в свидании отказано! — Очевидно, это касалось этой несчастной дамы, потому что она остановилась как вкопанная.

— Как! опять отказано? — закричала она. — Господин ротмистр! Именем бога!

— Нельзя-с, — злорадно усмехаясь, ответил ротмистр и с торжествующим видом ушел в соседнюю комнату.

— Так будьте же вы прокляты, все прокляты, прокляты! — во весь голос закричала посетительница. Из всех дверей появились офицерские фигуры.

— Это что? Это что такое? — слышалось со всех сторон.

— Да, прокляты, прокляты, прокляты! — в исступлении кричала женщина, доведенная до потери рассудка. — Берите меня, арестуйте, наденьте кандалы, но не разлучайте с ним! Я должна быть с ним... Я должна его видеть... Слышите, проклятые? Пустите меня к нему! Куда вы его запрятали? Где он? О, если бы нож, я бы убила вас, проклятые! — Она металась как исступленная, но в крике было нечто до того хватавшее за сердце, было такое нечеловеческое страдание, что даже жандармы не решились ее схватить и арестовать, а ограничились тем, что попрятались кто куда и только из-за двери послышался голос:

— Это сумасшедшая! Оставьте, господа, не стоит! Семенов! Выведи ее вон!

И уж на что бесстрастный Семенов, и у того сердце, видимо, дрогнуло и проняла эта безграничная скорбь, потому что он, подойдя к ней и взяв ее за локоть, почти нежно сказал:

— Пожалуйте! Не тревожьтесь так! Что хорошего? И впрямь ведь арестуют!

Мы тоже, все здесь находившиеся просители, бросились ее уговаривать. Ни на кого не глядя, она дрожащими руками завязала на шее косынку и, едва дыша от волнения, молча вышла. Я видела через окно, как Семенов бережно ее свел с лестницы.

Эта сцена потрясла мои нервы. Я почувствовала себя еще более несчастной. Но нечего было делать — надо было действовать. Я вынула карточку прокурора. Под его фамилией было приписано: «Покорнейше просит оказать содействие г-же такой-то». Вернувшемуся Семенову я передала эту карточку с просьбой передать ее генералу. Он вернулся не скоро.

— Что же? — спросила я.

Он неопределенно мотнул головой и стал равнодушно смотреть в окно. Время шло, генерал не подавал признака жизни. Я сунула в руку Семенова полтинник. Он молча опустил его в карман и куда-то отправился. Вернувшись, опять мотнул головой и опять стал смотреть в окно. Меня разбирало нетерпение. Ведь я вообразила, что нет ничего проще, как выйти ко мне, объяснить дело сына и пустить меня к нему на свидание!

Я опять подошла к Семенову:

— Что же генерал?

Семенов посмотрел на меня с снисходительным сожалением.

— Вот еще, генерал! — протянул он и решительно добавил: — Поручик выйдет.

— Но мне надо видеть генерала!

Семенов мотнул головой сверху вниз и отвернулся. Я отошла и села. С каждой минутой я все более падала духом...

Наконец после ожидания, показавшегося мне вечностью, в передней появился какой-то офицер с моей карточкой в руке. Он оглядел меня с ног до головы.

— Вы такая-то? — спросил он, тоже не прибавляя ничего к фамилии.

— Да, я.

— Что вам нужно?

— Мне нужно видеть генерала!

— Зачем?

— По делу сына.

— Вы можете объяснить мне.

— Нет, — сказала я твердо. — Прокурор дал мне карточку к генералу, а не к вам. И я именно генерала хочу видеть!

Офицер поглядел на меня сверху вниз, пожал плечами и ушел.

Опять потянулось время. Я встала и заглянула в соседнюю комнату, где сидели офицеры. Увидя меня, они переглянулись и один из них громко крикнул:

— Семенов! Ты чего смотришь?

Семенов направился ко мне.

— Сидите смирно, — внушительно сказал он. Немного погодя вышел другой офицер:

— Вы непременно хотите видеть генерала?

— Да, хочу!

— Но вы можете мне сказать все, что вам нужно.

— Нет, я хочу видеть генерала.

Потом-то я поняла, насколько мое желание было бесполезно и нелепо. Но я воображала, что карточка прокурора палаты подействует, что генерал меня выслушает; вообще из того, что я видела и слышала в передней, я вынесла впечатление, что надо просить кого-нибудь другого, а не этих бесчувственных офицеров.

Спустя еще полчаса в дверях наконец показался третий офицер.

— Пожалуйте! — сказал он.

Обрадованная, я бросилась к двери. Он быстро загородил ее.

— Не торопитесь! Следуйте за мной!

Мы прошли две комнаты. В третьей, у противоположной двери, стоял седой, с густыми бровями генерал и держал в руках мою карточку. То был генерал Шрамм. Его окружали офицеры, как бы охраняя. Мой провожатый остановил меня на пороге входной двери, так что между мной и генералом была целая комната.

— Говорите отсюда! — сказал офицер, смотря на меня в упор и следя за каждым моим движением.

Только после, вспоминая эту дикую обстановку, я сообразила, что во мне видели опасную женщину... Входя сюда, я надеялась рассказать историю сына и выяснить всю жестокость его ареста. Но обстановка была такова, что я была совершенно уничтожена. Генерал тоже оглядел меня с головы до ног.

— Что вам нужно? — сурово спросил он.

— Вы арестовали моего сына, вы держите его в тюрьме, и нам, родителям, совершенно неизвестно за что, — заторопилась я. Он тотчас же прервал меня:

— Да, арестовали! Да, держим в тюрьме! А родителям мы и не обязаны объяснять за что.

— Но мой сын не мог совершить государственного преступления в дороге. Он жил у нас девять месяцев, мы знали каждый его шаг, и вдруг, когда ему разрешено ехать на Урал, вы здесь, в Москве, перехватываете его и арестуете! За что?

— Повторяю вам, сударыня, я не намерен объяснять за что! Арестовали — значит, так нужно было.

— Но ведь это незаконно! — сказала я. Он только усмехнулся.

— Не вам об этом судить. Имею честь кланяться.

— Но разрешите же мне хоть свидание! — закричала я.

— Поручик Орчинский, поговорите с этой госпожой! — И... только я и видела генерала.

Участь моего сына оказалась в руках двух жандармских поручиков. Один из них носил совершенно неподходящую для своего ремесла фамилию Анжело. Я должна сказать правду, о нем у меня не осталось дурного воспоминания. Он был еще очень молод, жандармский мундир надел недавно и еще сохранил в себе кое-что человеческое, разумеется, в пределах служебного долга. В нем была мягкость, не та фальшивая, известная каждому побывавшему в жандармских руках, а настоящая, житейская. Его товарищ Орчинский был жандарм с ног до головы, в самом противном значении этого слова; жандарм по призванию, обладавший истинным талантом доводить людей до отчаяния, до безнадежности. Впрочем, я говорю только за себя; каков он был с другими, я не знаю; но возненавидел ли он почему-либо особенно меня или ненавидел за что-либо сына, я не могу решить; знаю только, что для нас обоих он был истинным палачом.

Мне в жизни как-то случилось увидеть выражение глаз кошки, когда она играла с пойманной мышью: оно было так злорадно, что с тех пор мне противны кошки. Такое выражение глаз было у поручика Орчинского.

Обыкновенно, прежде чем он подумает допустить меня до разговора с ним, мне приходилось сидеть в передней не менее часа. Затем меня звали в комнату, где он ждал меня за столом. Тут же стоял, может быть, нарочно поставленный стул, на который он никогда не приглашал меня сесть, как бы длинен ни был наш разговор. Сам же он сидел, закинув ногу за ногу, откинувшись на спинку кресла, и с злорадным выражением глаз всегда отказывал мне, хотя бы в самой невинной просьбе. Тогда я всегда вспоминала гнусную кошку. Предлоги для отказов у него были бесчисленны. Надо знать, что я жила и проживалась в Москве единственно ради сына, чтобы понять, какое значение имели для меня свидания с ним!..

Поручик Орчинский всегда утверждал, что по закону он

обязан давать мне свидания раз в десять дней, хотя я знала наверное, что как приезжая я имела право видеть сына два раза в неделю. Но кому было жаловаться? Не генералу же! Я понимала, что это бесполезно. К тому же у Орчинского всегда были наготове десятки явно выдуманных предлогов: то не хватало офицеров, то белили здание, то боялись эпидемии, то ожидали посещения какого-то сановника и так без конца.

— Но ведь я приезжая! — говорила я.

— А мне какое дело? — отвечал он.

— Мой сын нездоров! — пробовала я его тронуть.

— Вылечат! — был лаконический ответ.

— Но я бы хотела навестить его! — настаивала я.

— Свидание с нежной маменькой может повредить его здоровью! — с злорадным смехом говорил синий мундир.

Один раз, доведенная до отчаяния, я сказала ему, глядя на него в упор, вне себя от негодования:

— Поручик, у вас, верно, никогда не было матери!

— Не помню-с! — лаконично ответил он.

И все эти издевательства были так себе, ни с того ни с сего! Я его раньше не знала и после, к счастью, не встречала. Он также меня совсем не знал. Была ли то профессиональная злоба? Была ли месть сыну за упорное молчание на допросах? Не знаю. Но я жестоко страдала от такого обращения.

На своего товарища Анжело он имел огромное влияние. Тот был еще неопытен и, видимо, ему подчинялся. Однако не раз случалось, что после отказа Орчинского мне в свидании с сыном в переднюю выходил Анжело и тихо говорил: «Приезжайте в семь часов — я там буду и допущу!» Или брал принесенные сыну книги и говорил: «Пересмотрю сегодня, завтра он получит!»

А через Орчинского книги доходили через десять дней. Понятно, что я чувствовала к Анжело живую благодарность.

К сыну тоже он относился корректно: присутствуя при свиданиях, подавал ему руку, брал газету для чтения, не слушая будто бы нашего разговора, вместо двадцати минут — сидел час.

Если можно иметь доброе чувство к жандарму, я его сохранила к поручику Анжело. Да и сын мой, когда был выпущен на свободу, счел возможным пожать руку только ему.

Но таким, однако, он был только тогда, когда его не видел Орчинский; при нем же он не смел выказывать человеческие чувства. Я очень хорошо запомнила разговор между ними, услышанный мною во время обычного ожидания в перед-

ней. Оба были в соседней комнате, была упомянута моя фамилия; я прислушалась.

— Как-никак мать! — сказал Анжело.

— Фю-фю-фю! — засвистал Орчинский. — Мало тут матерей шляется!

— Бросила семью, живет одна-одинешенька для сына, никого здесь у нее знакомых! — все еще соболезновал первый.

— Ну ты разнежился! — заорал второй. — Небось такое же отродье, как и сын! Обыскать бы ее как следует, пошарить — так я уверен, что тоже можно бы под замок посадить. Глуп ты еще, я вижу!

И Анжело в этот день отказал мне в свидании.

Сына в этот раз я нашла не в тюрьме — тюрьмы все были переполнены. Царство Плеве сказывалось во всем: хватали направо и налево, целыми партиями отправляли в Сибирь, и никакого снисхождения к малейшему проявлению свободомыслия не было. Сын был помещен в Сретенской части. Когда я, в первый раз приехав на свидание, въехала во двор части, я прямо против ворот в окне за решеткой увидела его голову. У меня немного отлегло от сердца. Был июнь месяц, окно было открыто, и он мог видеть происходящее во дворе. Правда, хорошего видеть не приходилось: привозили пьяных десятками, да усердно колотили их. Но все же это была не настоящая тюрьма. Как он мне обрадовался, увидев меня из окна! Как замахал платком! Сердце мое трепетало: опять взаперти! Но когда его привели в приемную, я могла свободно его обнять. Однако, едва я спросила, за что он опять арестован, как из-за газеты раздался голос Анжело: «По делу говорить не полагается!» Сын только пожал плечами.

Как бы то ни было, положение сына относительно, конечно, было сносно. По крайней мере он не задыхался: окна были открыты, и заключенные могли переговариваться, а и это уже много для узников. С своей стороны я делала, что могла, чтобы облегчить сыну жизнь: снабжала его книгами, хорошей пищей, цветами... Но добиться, за что он был арестован, не было возможности. На все мои вопросы господа жандармы отвечали так, чтобы можно было предположить самое худшее. Но я знала хорошо, что преступления со стороны сына быть не могло. Знала я и повадку жандармов преувеличивать во много раз вину политиков.

Время быстро летело от свидания к свиданию, и подошел август. Мои младшие дети учились в гимназии, и наступавшее учебное время требовало настоятельно моего присутствия дома, пока не наладятся их уроки. Что было делать? Бесконечно жаль оставить сына одного в Москве, где у него не было

ни души близкой, невозможно было также не позаботиться о младших. Я решилась добиться узнать хоть приблизительный срок освобождения сына, чтобы, устроив все дома, вернуться к этому времени. Мне пришлось говорить об этом с Орчинским. Узнав, что мне необходимо ехать, он как-то оживился, и в глазах его мелькнуло странное выражение. Он вдруг стал вежлив и словоохотлив.

— Конечно, конечно, поезжайте! — советовал он. — Надо еще навести справки, получить ответы, вероятно, мы через месяц отпустим вашего сына продолжать путь на Урал!

Я была рада и этой надежде. Могла ли я подозревать, что мне готовили западню?

Но, прежде чем ехать домой, я ранее проехала в Петербург, надеясь сделать там что-нибудь для него. Директор Лопухин меня тотчас же принял, но, к моему изумлению, оказалось, что он ничего не знал о задержке сына в Москве. Он отнесся к этому серьезно, обещал немедленно узнать, в чем дело, и сказал мне на прощанье:

— Я думаю, что тут какое-то недоразумение, иначе у нас в департаменте было бы что-нибудь известно!

— Хорошо недоразумение! — не удержалась я. — Из-за недоразумения держать человека уже три месяца взаперти!

Лопухин сконфузился немного и сказал, что если это так окажется, то он допустит сына вернуться в Петербург держать экзамен в Горном институте прежде исполнения приговора.

Окрыленная этой надеждой, вернувшись домой, я несколько успокоила встревоженного мужа этим обещанием. Значит, дело было не так плохо, и нашим тревогам мог настать скорый конец. Не тут-то было! Пока я устраивала младших детей, от сына получались письма, но что-то уж очень короткие: он писал только, что здоров и ни в чем не нуждается. Краткость эта меня тревожила: обыкновенно он писал обстоятельные. Поэтому, наладив кое-как учебную часть младших, в начале сентября я поспешила опять в Москву, тотчас же отправилась в жандармское управление и вызвала Орчинского. После обычных приемов ожидания, он наконец вышел ко мне. Лицо его имело злорадное выражение, и он иронически улыбался.

— Опять пожаловали? — усмехнулся он и на мой вопрос об освобождении сына беззаботно прибавил:

— Да не скоро! месяца через три!

— Как? — спросила я. — Вы же сами обещали освободить сына в сентябре?

— Мало ли что я обещал! Открылись новые обстоятель-

ства... Пришлось перевести вашего сына в тюрьму, — и глаза его приняли кошачье выражение.

— Как в тюрьму? Опять? В одиночное заключение? — закричала я.

— Да-с, в одиночное заключение! — был ответ. Я едва удержалась на ногах... Но я не хотела дать ему наслаждаться моим отчаянием. Я поборола себя и сказала:

— Потрудитесь дать мне свидание с сыном!

— Но это ужасно далеко! — сказал поручик Орчинский с видимой насмешкой. — Это у Бутырской заставы — долго ехать!

Я видела, что он издевается.

— Я прошу свидания с сыном на законном основании, как мать и как приезжая. Я желаю видеть сына!

Он щелкнул шпорами.

— Завтра, в два часа!

Нечего и говорить, что в тюрьму я приехала своевременно. Меня встретил Анжело. Он почему-то был смущен, но, взволнованная предстоявшим свиданием, я не обратила на это внимания. Скоро, однако, я поняла причину этого смущения, когда он привел меня в какую-то каморку, в которой, за двумя частыми, как решето, решетками, я едва могла различить какую-то человеческую фигуру. И только хорошо присмотревшись, я с ужасом и отчаянием убедилась, что это мой сын! Да! За двумя решетками, как зверь, худой, как скелет, смертельно бледный, с глубоко впавшими глазами, тяжело дышавший, он не имел силы даже обрадоваться мне. Тихо, апатично сказал он:

— Ты опять приехала!

— Но что же это? Ты болен? Ты едва стоишь! — спросила я его.

— Они лишили меня света! — послышался прерывистый голос: — Я все мог перенести, но не это! Я — в могиле!

Я обернулась к стоявшему около меня Анжело.

— Это злодейство! — вне себя сказала я. — И вы допустили? Вы могли? — Он молчал. Я обернулась к сыну. — Мужайся! — твердо сказала я, — я вырву тебя отсюда. Прекратите свидание! — обратилась я к Анжело, чувствуя, что сейчас упаду...

Как безумная, ехала я назад. Я знала одно, что к жандармам более не вернусь; всякое обращение к ним было глубоким унижением. Теперь я поняла желание Орчинского выпроводить меня из Москвы...

И, как после оказалось, на другой же день после моего отъезда. сын мой был переведен в тюрьму и лишен света. Эта

пытка была придумана для того, чтобы заставить его говорить на допросах. Впоследствии сын рассказывал мне, что в его камеру не доносилось ни единого звука, не было слышно даже шагов часовых. В окне же, с наружной стороны, был вставлен щит таким образом, чтобы не было видно даже неба. В комнате был вечный полумрак, нельзя было читать, нельзя было различать ясно маленькие предметы. И он по целым часам просиживал у щита, в котором была крошечная дырочка. Через эту дырочку что-то будто блестело вдали, и он, не отрываясь, глядел в нее.

Когда я впоследствии жаловалась, то виноватых не оказалось: жандармы ссылались на тюремное управление, это — на охрану, охрана на прокурорский надзор, прокурорский надзор — на департамент полиции, департамент возвращался к жандармскому управлению.

Из тюрьмы я прямо отправилась к прокурору палаты. В самых энергичных выражениях я заявила протест против примененной к сыну пытки. Я предупредила прокурора, что не остановлюсь ни перед чем, если мне наконец не объявят, за что истязают сына, что нынче же ночью я выеду в Петербург, где буду хлопотать об освобождении сына на мои поруки. Я твердо решилась добиться истины.

— Если б сын мой был цареубийцей, — сказала я, — то и тогда не могли обращаться с ним хуже... Между тем директор департамента полиции, очевидно, не считает его столь важным государственным преступником, если счел возможным обещать мне допустить его, по освобождении, вернуться в Петербург для сдачи экзаменов. Как согласить, что в Петербурге считают возможным оказать снисхождение, а в Москве предают истязаниям?

После оказалось, что директор департамента исполнил свое обещание и навел справки, но жандармское управление послало такое донесение об открытии якобы нового заговора с участием сына, что Лопухину ничего не оставалось, как верить.

Мой отчаянный протест подействовал. Прокурор потребовал к себе товарища прокурора по политическим делам Добрынина, и они долго говорили между собой в соседней комнате. Наконец товарищ прокурора вышел ко мне:

— Вы уверены в том, что сын ваш лишен света? — спросил он.

— Я прямо от него, — заявила я. — Он близок к помешательству, и если вы ничего сегодня не предпримете, я ночью еду в Петербург.

Товарищ прокурора успокаивал меня обещанием сейчас

же поехать в тюрьму и произвести расследование и предлагал подождать с поездкой хоть до завтра, когда он объяснится с жандармским генералом. Я была сильно взволнована и не знала, на что решиться. И он, и прокурор однако уговорили меня поехать домой и отдохнуть и взяли мой адрес, с обещанием известить меня завтра же о результате.

На другой день утром, едва я успела встать, как мне дали знать в отель по телефону, что прокурор палаты просит меня приехать в час дня в жандармское управление.

Как ни ненавистно было оно мне, делать было нечего; приходилось отправиться.

Меня встретил очень любивший мои полтинники Семенов.

— Сынок ваш здесь! — прошептал он мне. Не успела я опомниться от этой ошеломляющей вести, как ко мне вышел вчерашний товарищ прокурора Добрынин.

— Ну, — сказал он мне с радостным лицом. — Вам удивительно повезло. Сегодня ночью были получены важные ответы, которых давно ждали по делу вашего сына, благодаря которым является возможность освободить его!

Я не верила своим ушам! Вчера еще — пытка, сегодня — освобождение! Я понимала, конечно, что слова прокурора — неправда: никаких ответов не получено; просто они увидели, что зашли слишком далеко, что молчать я не буду, и, чтобы закрыть мне рот, освобождали сына! Я могла бы спросить, почему же ранее получения этих таинственных ответов была применена пытка, почему его держали в сырой и темной камере, почему лишили даже книг. Но мысль, что сын будет свободен, заслоняла все. Только бы отпустили его.

Ко мне позвали сына: как он был худ, бледен, слаб! Но на губах его блуждала теперь улыбка, и он протянул мне руки...

Однако предстояло еще ехать в охранное отделение для получения отпускного билета. Я боялась отойти от сына, боялась оставить его руку из опасения новой каверзы.

В охране пришлось выдержать сущую пытку. Все, что можно сделать, чтобы испытать человеческое терпение, было сделано. Нас продержали от часу до четырех, нас неизвестно для чего разъединили — его в одну комнату, меня в другую; нам объявили, что вместе ехать нам нельзя, нам запретили оставаться на ночь в Москве, и только после долгих протестов с нашей стороны нам было объявлено, что мне разрешается проводить сына и сыну заехать в Вологду проститься с братом, причем непременным условием было поставлено выехать с девятичасовым вечерним поездом.

Не стану рассказывать подробно, какую горячку пришлось нам пороть, чтобы успеть заехать в отель, уложиться, пообе-

дать, купить необходимые вещи, послать мужу телеграмму... И только когда мы сели в вагон и поезд тронулся, мы свободно вздохнули, просыпаясь от страшного кошмара.

Только теперь могла я узнать от сына причину его бесчеловечного ареста. Дело было так просто: ему, после долгой разлуки, захотелось повидать свою невесту. Она была нелегальная и проживала за границей. Они списались, и она приехала в Москву, конечно, под чужим именем, надеясь, что в таком большом городе их не выследят. Но их переписка была перехвачена жандармами, и сыну моему нарочно дали возможность приехать в Москву, чтобы захватить его невесту. Едва они встретились в назначенном месте, как их схватили; они не успели даже обменяться несколькими фразами. Поэтому, боясь повредить своей невесте, сын упорно молчал на допросах, и жандармы ему мстили... Тяжело поплатился он за свое кратковременное свидание с любимой женщиной!

С глубокой печалью покидал сын Москву, и немудрено: в ней оставалась в тюремном заключении его невеста; они свиделись впоследствии в Иркутской пересыльной тюрьме.

Тяжело провел сын мой ночь своего освобождения. Он бредил, вскакивал, долго смотрел на меня не узнавая, осматривал глазами стены купе: его, видимо, душил тюремный кошмар! И только утром заснул он спокойнее. Я смотрела на его исхудалое лицо, покрытое зеленым налетом, на его впалые глаза... Как много выпало на его долю страданий... И за что? За то, что он был не тех убеждений, каких требовало правительство...

Три дня в Вологде прошли быстро... Эти дни остались одной из немногих светлых точек нашего существования; по крайней мере я видела обоих сыновей хоть в ссылке, но не в тюрьме! О многом мы тогда поговорили...

Младший сын мой жил в ссылке вместе с семьей, и относительно ему жилось неплохо... Но ожидаемый приговор висел над ним, как дамоклов меч! Тогда впервые сказал он мне, что, если его сошлют в Восточную Сибирь, он туда не пойдет. Я тогда не поняла. Я думала, что это сказано невзначай, как иногда говорится о том, что неприятно. Но, зная его полную жизни и энергии натуру, я сознавала, что Якутская область для него равна заживо погребению. Я уверяла его, что его не ждет такое жестокое наказание, но он качал головой: свирепость Плеве была известна... С глубокой скорбью расставались мы друг с другом... И братья больше не увиделись!.. Я проводила старшего сына по Волге до Нижнего Новгорода и долго, долго стояла на пристани, пока скрывался из виду пароход и пока мелькал в воздухе белый платок...

Эта зима прошла несколько спокойнее... Сыновья хоть и были в ссылке, но по крайней мере на свободе. И то уж было счастье! Их письма, в которых они всячески старались подбодрить нас, были для нас большим утешением.

Но весна уже принесла с собой новые тревоги. Прежде всего до нас дошел слух о приговоре по делу младшего сына — его ссылали в Якутскую область. И сейчас же письма от него из Вологды прекратились... Напрасно я посылала письмо за письмом, телеграмму за телеграммой — ответа не было. Тогда я вспомнила наш разговор. В душе росло мучительное сомнение. И много пришлось перечувствовать мне, пока наконец я не была обрадована открыткой из Норвегии, в которой стояло единое слово: «Привет!» Но оно было написано дорогой, любимой рукой. Итак, наш младший сын стал эмигрантом! Не знать, где он, что с ним, жив ли, вот что стало суждено нам отныне.

Все лето прошло в великой тревоге за младшего сына, а в августе уже нас ждал новый удар: старшего ссылали тоже в Якутскую область. Но мало того, что ссылали! Он должен был еще отправиться к месту назначения по этапу! Напрасно я обращалась к властям, напрасно подала просьбу в департамент полиции о разрешении сыну ехать на свой счет. Я получила категорический отказ. Велико было мое горе, но прежде всего надо было позаботиться скрыть этот ужас от совершенно измученного тревогами мужа. Пришлось сочинить целую историю о том, что сын добровольно предпринял поездку, чтобы заранее прибыть к месту назначения. Я научилась писать письма от имени сына и громко читать их мужу. К моему счастью, он верил им!

Наконец после долгого, мучительного ожидания было получено от сына письмо о том, что он наконец прибыл в Иркутск.

Тон письма был бодрый, рассчитанный на то, чтоб нас успокоить. Он писал, что за наступлением зимних холодов он остается до весны в Александровской пересыльной тюрьме. Описывал свою жизнь... Конечно, сравнительно с жизнью всех живущих на свободе, она была ужасна! Но как тюрьма, в сравнении с прошлыми, она была из лучших. Смотритель был хороший, сын жил между товарищами и пользовался свободой в районе тюремного двора.

«Если б вы могли быть здесь , — писал он однажды нам, — чтобы видеть сколько ссыльных — вы бы ужаснулись! Каждые понедельник, среду и пятницу прибывают сюда партии политиков, по 70—80 человек в каждой. Все молодые и большей частью интеллигентные! Но какая бедность! У боль-

шинства нет ничего, кроме того, что надето, в чем кто захвачен. У иного только и теплого что шарф на шее, а ведь идут на ужасающие условия суровейшего климата. Хорошо, что мы имеем свою собственную организацию помощи ссыльным — иначе они бы замерзли. Мы оделяем тулупами, полушубками, рукавицами и прочим. И какая это славная молодежь! Никто не падает духом — все идут смело, гордо! Каждый знает, что жертвует собой во имя свободы, и не поддается! Но столько ссыльных, столько, что иногда кажется, что Плеве задумал переселить сюда все, что есть в России мыслящего и светлого!»

Так прошла зима. По письмам сына надо было ожидать его отъезда в Якутскую область в мае месяце. С первой весенней партией случилась катастрофа, приведшая политических ссыльных на скамью подсудимых, разыгралась так называемая «Якутская история». Ужасающий произвол конвойных, невыносимая обстановка пересылки привели к отчаянному протесту. Об избиении ссыльных в пути, об истязаниях их ходили в обществе глухие, но душу возмущавшие слухи. Я трепетала за участь сына, я ждала самого худшего! Случаю было угодно, чтобы он не попал в эту фатальную партию, и только 15 мая была нами получена телеграмма: «Завтра еду на место своей ссылки».

Весенний путь был лучше зимнего. Ссыльные совершали его на барже по Лене, и он продолжался три недели до Якутска. Сын обещал писать с каждой пристани, где принимали почту, уверял, что с радостью покидает опостылевшую ему тюрьму... Мы тоже вздохнули немного свободнее: как-никак тюрьма была назади. С волнением стали мы следить по карте за его предполагаемым путешествием. Но дни проходили — письма не было. Прошла неделя, прошла другая, прошел месяц. Тревога наша росла... Уж он должен был быть в Якутске... Почему же он молчит? Наконец прошло шесть недель — зловещее молчание продолжалось... Муж был сам не свой от беспокойства, обо мне и говорить нечего: я слишком много знала, чего не знал муж из обстановки сына, чтобы приписывать отсутствие вестей случайности... Наконец, не в силах более выносить неизвестности, я потихоньку от мужа послала телеграмму в Иркутское тюремное управление с запросом, где в настоящее время находится сын мой?

Какими словами могу я изобразить мое отчаяние, когда получила оплаченный ответ: «Сын не отправлен, заключен в Иркутскую тюрьму!» Да что же это, наконец? Какой-то злой рок тяготел над ним! Кто мог заключить его? Кто имел право изменить наказание? Надо сказать, что Иркутская тюрьма

была совершенно отдельно от Александровской пересыльной, и я давно слышала, что условия заключения в ней ужасны! Мое отчаяние было безгранично: опять тюрьма, опять одиночество, часовые, жандармы, и это за несколько тысяч верст, без возможности помочь, без надежды увидеть, облегчить! С величайшим трудом удалось мне скрыть от мужа этот новый удар, уверив его, что сын заболел и остался до выздоровления в Иркутске. На другой день после телеграммы мне было доставлено окольным путем следующее письмо от сына, писанное карандашом на клочке бумаги: «15-го мая меня и трех товарищей обманом, якобы отправляя к месту ссылки, увезли в Иркутск. Всех нас посадили в одиночное заключение. Не дают курить, не дают книг, не позволяют писать письма. Ничего не знаем о своей участи. Если дойдет до вас эта записка, помогите. Посылаю случайно».

Нечего и говорить, что я в тот же день выехала в Петербург. В департаменте полиции, куда я поспешила, Лопухин меня тотчас же принял: ему слишком хорошо была известна моя фамилия. Когда я показала ему записку сына, даже он, несмотря на все его хладнокровие, смутился. Он долго держал записку в руках и несколько раз перечитал ее. Затем тут же при мне позвал начальника отделения и поручил ему тотчас же запросить по телеграфу генерал-губернатора Восточной Сибири о причине задержания сына. Ответ был получен через несколько дней и гласил следующее: «вчера отправлен по назначению».

Итак, его продержали, промучили неизвестно за что два месяца в одиночном заключении и Бог знает сколько бы еще пытали его таким образом, если бы не запрос директора! Но безграничен был произвол и беспредельны издевательства над человеческой личностью!

Воспользовавшись своим пребыванием в Петербурге, я старалась разведать, куда направляют моего сына, и узнала, что ему назначен Колымск! Мне было известно это роковое место ссылки. К счастью, я узнала, что в Петербург ожидается генерал-губернатор Восточной Сибири. Я решилась ждать его и добиться у него свидания. Была вторая половина июля, и мой приезд совпал с недавним убийством Плеве. Не одна материнская рука, я думаю, сотворила тогда крестное знамение при известии о его смерти!..

В конце июля приехал граф Кутайсов, восточный генерал-губернатор, и я немедленно принялась действовать. На счастье, оказалось, что он остановился на той же улице, где поселилась я в меблированных комнатах. И вот начались мои мытарства: изо дня в день появлялась я в швейцарской его

квартиры, с просьбой принять меня, и изо дня в день получала отказ:

«Его сиятельство только что выехал!» «Его сиятельство у Государя Императора!»«Его сиятельство почивают!»

Так прошло 10 дней. На одиннадцатый, вернувшись в свою комнату, я села к столу и написала следующее письмо:

«Граф! Десять дней сряду я не была Вами принята. Однако мне необходимо видеть Вас по делу сына. Сын мой, находившийся в Александровской пересыльной тюрьме в ожидании отправления к месту ссылки, был 15-го мая сего года совершенно незаконно заключен администрацией в одиночную тюрьму, где и без того слабое здоровье его сильно пострадало, так что он заболел нервным расстройством. Желая по этому поводу иметь с Вами личное объяснение, я позволяю себе предупредить Вас, граф, что если в течение трех дней после этого письма я не буду Вами принята, то подаю прошение на Высочайшее Имя с изложением всего вышесказанного. Жительство имею и пр. пр.».

Конечно, только отчаяние продиктовало мне это письмо, и если бы не смерть Плеве, то, разумеется, оно осталось бы без последствий.

Но под влиянием перемен в политике и начавшейся тогда знаменитой «весны», оно подействовало скорее, чем я думала.

На другой же день, в восемь часов утра, я была разбужена стуком в мою дверь, и на мой вопрос я получила торжественный ответ:

«От его сиятельства генерал-губернатора Восточной Сибири. Граф требует Вас немедленно к себе».

Разумеется, я моментально оделась и через полчаса входила в столь негостеприимную для меня до сих пор швейцарскую квартиры графа Кутайсова. Мой разговор с ним показался мне столь замечательным, что, вернувшись к себе, я записала его дословно.

Меня провели в гостиную, и ждать мне пришлось недолго. Послышался звон шпор, и ко мне вышел старый, плотный генерал, бритый и с густыми, нависшими над глазами бровями. Я встала. Так вот он, тот, в руках которого участь наших детей, тот, первым делом которого было по приезде в край лишить ссыльных свидания с их товарищами, идущими по тракту! Я с любопытством смотрела на этого старца, ища в чертах его следов лютости. Но их не было. Передо мной было ласково улыбавшееся, приветливое лицо.

— Прошу в кабинет! — Он указал на кресло; я села.

— Позволите курить? — Я молча поклонилась. Однако

жандармская привычка сейчас же сказалась: граф посадил меня лицом к свету, сам сел в тени.

— Вы писали мне?

— Да, я!

— В письме вашем — угроза!

— Просьба, граф!

— Нет, угроза!

— Нет, просьба принять меня, граф!

Он нетерпеливо передернул плечами.

— Не будем спорить о словах. Вы пишете, что над вашим сыном будто бы совершено беззаконие... — Мне понравилось это «будто бы»!

— Да, граф! Возмутительное беззаконие... Сын мой приговорен к ссылке на свободное поселение, и никто не имел права без нового решения заключить его в тюрьму и таким образом наложить новое взыскание. Это жестокий произвол!

Граф насмешливо улыбнулся:

— Ваш сын вовсе не был заключен в тюрьму: он заболел, не мог продолжать путешествия и был переведен в больницу.

Теперь меня передернуло от негодования.

— Извините, граф, я хорошо знаю все обстоятельства этого дела. Сын мой в то время не был болен. Его посадили на телегу со всеми вещами, он простился с товарищами, думая, что едет в Якутскую область, но его отвезли в Иркутск, прямо в тюрьму, где посадили в одиночное заключение. После, в тюрьме, он захворал, тем не менее все время оставался в камере; в больницу его не перевели.

— Да, да, да! — сказал граф, — теперь я вспоминаю; это случилось, вероятно, по недоразумению. Это была ошибка одного чиновника моей канцелярии.

— Как?! — вскричала я. — Так участь наших детей в руках не только высших властей, но зависит также от каждого канцелярского чиновника?! До сих пор это было неизвестно родителям...

Граф злобно бросил папиросу.

— Ну, — сказал он, — я не хотел вам говорить, так как это тайные дела. Но как матери, по секрету, я сообщу вам: ваш сын был арестован по распоряжению директора департамента полиции.

Это была неправда от первого слова до последнего.

— Граф, это неверно. Я лично была у директора департамента полиции и сама видела посланную им генерал-губернатору Восточной Сибири телеграмму с запросом о причине ареста сына, читала и ответ, что сын мой проследовал дальше, но уже после запроса!

Лицо генерала приняло багровый оттенок.

— Впрочем, — рассердился он, — все это меня не касается, я выехал ранее, чем был арестован ваш сын...

Чем более он запутывался в неправде, тем сильнее я себя чувствовала; к счастью, я навела серьезные справки и была очень хорошо осведомлена.

— Сын мой, — спокойно возразила я, — был заключен в тюрьму пятнадцатого мая, а вы, граф, выехали из Иркутска двадцать шестого июня.

Улыбка совершенно исчезла с лица генерала, грозные брови зловеще нахмурились, и физиономия сразу стала свирепой.

— Но что же вам, наконец, угодно от меня, сударыня? — почти закричал он.

Я собралась с духом и быстро решилась:

— Ввиду того что здоровье моего сына сильно пострадало от незаконного (я сделала ударение на этом слове) содержания в одиночном заключении в течение целых шести недель, я прошу вас, как лицо, от которого это вполне зависит, назначить ему такое местопребывание, где был бы доктор и где бы он мог пользоваться всеми медицинскими средствами. Я прошу оставить его в Якутске.

— Никогда! — закричал генерал. — Никогда! Вы бы пожелали еще поселить его в Петербурге!

— Но почему же, граф? Неужели же Якутская история...

Генерал едва не подскочил. Он приехал с докладом именно по этому делу и воображал, что слухи до публики по этому поводу сюда не дошли и что это тайна.

— Что вы знаете о Якутской истории? Какая такая Якутская история? — почти крича, перебил он меня. — Никакой истории не было!

Я старалась говорить совершенно спокойно.

— Неужели никакой истории не было? А у нас тут рассказывают ужасы: говорят, несчастных политиков привязывали к столбам, били их веревками и палками, связывали... Говорят даже об убийстве...

— Вздор, вздор, вздор! — кричал генерал. — «Освобождения» начитались! «Освобождение» лжет! Все ложь!..

Я молчала, видя, что попала в больное место. Вдруг генерал переменил тон:

— Меня выставляют зверем, палачом! А я... я только исполнитель приказаний свыше... Этот мерзавец Плеве...

Да, я не ослышалась... Генерал произнес именно это слово: «мерзавец!» Всего три недели назад, когда Плеве не был еще в могиле, этого не могло случиться никакою ценой. Генерал скорее вырвал бы себе язык, чем назвал всемогущего, ца-

рившего тогда министра внутренних дел подобающим ему именем! Теперь, когда Плеве не мог этого слышать, не мог узнать, его ставленник, сотрудник, рабский исполнитель его предначертаний отрекался от него при первом случае, перед совершенно незнакомым ему человеком! Я с любопытством слушала генерала.

— Этот мерзавец Плеве сыпал конфиденциальными предписаниями самого возмутительного свойства, а отвечали перед обществом за них исполнители! А мог ли я не исполнять? Хоть бы взяли это во внимание: мог ли я не исполнять? Я вовсе не желаю угнетать несчастных ссыльных, я рад, напротив, облегчить их участь! Но я не властен! Я сам подчиненный...

Я слушала с негодованием; сколько горя, слез, страданий прибавил своими лютыми приказами этот всесильный на далекой окраине владыка, а теперь валил все на мертвого... Мне стало невыносимо тяжело — лучше кончить.

— Граф, — настойчиво сказала я, — если вы не можете почему-либо разрешить сыну пребывание в Якутске, то оставьте его хоть в Олекминске: там есть аптека, доктор... Самая простая человеческая справедливость требует, чтобы загладили сколько-нибудь то зло, которое ему нанесли незаконным задержанием. И если правда, что вы не желаете усиливать горести несчастных политических ссыльных, так докажите это.

Граф молчал, как будто что-то обдумывая... Наконец он произнес:

— Я знаю вашего сына: он не из покладистых; его следовало бы послать подальше. Но, может быть, к нему действительно отнеслись чересчур строго... Хорошо, я соглашаюсь! Он будет поселен в Олекминске.

— Извините, я — мать и хлопочу за сына. Поэтому простите мое недоверие: какая же гарантия этого? — недоверчиво спросила я.

Граф нахмурился.

— Мое слово! — гордо ответил он.

Увы! горький опыт научил меня давать мало веры словам высшей администрации.

— Вы можете забыть... Мой сын не один — в вашем ведении тысячи. Я прошу единственно для моего успокоения дать мне официальное подтверждение...

— Хорошо, — сказал генерал-губернатор. — Вы его получите.

Я встала.

— И когда будете писать сыну, передайте, что вы здесь слышали: я не против них действую, я действую за них! — Он особенно выразительно произнес эту фразу. Я горько усмехнулась, поклонилась и вышла.

Справедливость требует прибавить, что очень скоро я получила через полицию официальную бумагу, где объявлялось матери политического ссыльного такого-то, что ее сын поселен в г. Олекминске.

Среди мрачных условий жизни сына и это уж было облегчением. Олекминск — один из лучших пунктов ссылки, на самой Лене, в 600 верстах от Якутска и довольно люден. Я поспешила домой, чтобы утешить этой вестью мужа, и мы порадовались этой относительной удаче.

Результат моего ходатайства скоро сказался: сын был обрадован своим местожительством. Не зная моей просьбы, он писал: «Не знаю, чему я обязан, что оставлен здесь, но несказанно этому рад, и после проклятых тюрем мне кажется, что я вновь родился. Уж одно то, что за мной не ходят часовые, что не вижу штыков, не слышу звона кандалов, способствует моему благополучию. Не могу довольно надышаться свободным воздухом и почти не возвращаюсь домой: то иду к реке, то в лес — так бы и не вернулся в дом».

Отрадно нам было читать эти письма. Я стала надеяться, что с течением времени воспоминание жестокого пережитого изгладится, что потрясенная столькими тюрьмами, без воздуха, в мучительном одиночестве нервная система под влиянием относительной свободы оправится. Но Якутская область не такое место, которое возрождает людей... Хотя это был и не Колымск, но тем не менее, когда настала зима, жестокие климатические условия, мало-помалу, стали подтачивать силы моего сына. Он не мог не страдать: белоснежная бесконечная равнина, пока достает глаз, сорокавосьмиградусные морозы, полная невозможность от холода заняться чем-нибудь — скоро привели его в отчаяние, и он писал мне: «Ах, эти холода! жестокие, бессменные, не поддающиеся описанию! целый день сижу в шубе, валенках, рукавицах перед пылающей печью, куда прямо в огонь всовываю ноги. И веришь ли: точно я весь изо льда; ничто не согревает. Внутри тела такой же холод, как и снаружи. Парализовано все: нет охоты двинуться, думать, читать... А уже о работе и говорить нечего. Какая работа, когда дыхание замерзает, когда пальцы окоченели! И вспоминается мне Герцен: «...гибель, потуханье в холодных полянах, без участия, без отзыва — вот что остается несчастным ссыльным». Он писал это пятьдесят лет назад. А сегодня, как тогда... правительственная система без изменения...

Так же карается мысль, чувство свободы, протест против насилия, те же средства! И все то же безумное желание у людей — сбросить с себя гнет и уничтожить тиранию».

Мало-помалу письма сына стали принимать все более и более мрачный оттенок: им стала овладевать меланхолия. Что могла я сделать? Разобщенная с ним несколькими тысячами верст, лишенная всякой возможности помочь ему, я могла только терзаться... К тому же настала несчастная война с Японией — условия сообщения еще ухудшились: посылки перестали принимать, письма стали приходить все неаккуратнее, телеграммы получались не ранее десяти дней. А ссыльным было еще хуже: продукты вздорожали, газеты не получались и связь с родиной почти прекратилась.

Россия между тем переживала горячее время. Смерть Плеве имела решающее историческое значение и сразу изменила политические условия страны: масса зашевелилась и мало-помалу стала стряхивать свою вековую спячку. Затем неудачи войны пробудили народ; проснулись инстинкты самосохранения, и то, что казалось мифом, мечтой, обещало осуществиться. Свобода грезилась всем! Оживились и заброшенные в далекой Сибири! Я тоже радовалась... Надеясь подбодрить и воскресить сына, я посылала ему письмо за письмом, описывая события. Но ответы его были печальны. Исстрадавшись от жестокого произвола, он не верил, чтобы те самые люди, которые с легким сердцем погребли заживо тысячи людей в сугробах Азии, могли бы взаправду начать уважать человеческую личность и захотели предоставить людям свободу убеждений.

«Нет, нет! — писал он мне, — у меня нет веры в этих палачей! Не отдадут они добровольно свою власть. Не пожертвуют ни единой пядью своего благополучия во имя того, за что мы здесь страдаем! Зачем им давать конституцию, когда они сами в ней не нуждаются? Им она не нужна, и, чтобы получить ее, придется ее вырвать у них из горла!»

Меня огорчал пессимизм сына, а между тем время показало, что он был прав!.. Тогда в России, среди постоянных перемен правительственных настроений, жилось очень тревожно. И с каждым днем положение ухудшалось. Наконец наступили дни, когда казалось, что хуже уже не будет. Однако события показали, что это была лишь прелюдия. Наступило время бомб, взрывов, убийств с одной стороны, и ни перед чем не останавливающегося яростного мщения — с другой. Общественная совесть была встревожена; все притаилось, притихло в ожидании грозных событий. На успокоение нельзя было рассчитывать, так как действия правительства лишь

раздражали и возбуждали. И думали ли мы с мужем, что чаша нашего терпения была еще не полна? Но то, что ждало нас, затмило все ужасы прошлого...

Наступил 1905 год, роковой как для несчастной нашей родины вообще, так и для моей бедной семьи в частности.

К началу его наши семейные обстоятельства стояли так: старший сын прозябал в далекой ссылке и, судя по письмам, становился все нервнее и нервнее... О младшем же не было никакого слуха. Где скитался он, что делал? При мысли о сыновьях сердце исходило тоской.

А дома было тоже горько: постоянные невзгоды убивали мужа. Он хирел и, видимо, таял. Единственной его отрадой были письма его сыновей, и, когда их не было, мне приходилось сочинять их, чтобы сколько-нибудь поддержать бодрость старика. Но скоро новый, неожиданный удар совершенно сразил его.

Это случилось в марте. В два часа ночи, едва я заснула, как почувствовала, что кто-то сильно взял меня за руку. Я быстро поднялась. В комнате горела свеча, и передо мной стоял мой младший сын, гимназист 7-го класса.

— Что такое? — с испугом спросила я.

— Обыск, мама! Не пугайся. Полный дом жандармов. Папа чересчур волнуется. Иди туда, мама!

Я растерянно глядела на сына... У меня мелькнула страшная мысль, что пришли за ним, за последним!

Дрожа от волнения, я быстро оделась. За дверью слышались шаги, бряцанье шпор, и доносился громкий голос мужа. Он волновался. Поспешно вошла я к нему в кабинет. Он стоял посреди комнаты и, прижимая к груди карточку сына-эмигранта, бледный, с блуждающими глазами, говорил одно:

— Не дам сына! Не дам сына!

Вид старика с белыми как снег волосами, с глазами, полными слез, был так трогателен, что и жандармский ротмистр, и пристав, и начальник сыскного отделения — все молча стояли вокруг, не зная, что предпринять, а он все повторял:

— Не дам сына, не дам!

Я пришла вовремя. Попросив у этих господ позволения уложить чересчур волновавшегося мужа вновь в постель, с которой они его подняли, я уговорила его лечь с тем, что портрет останется у него. При нем оставили пристава, а я предложила все ключи... Началась знакомая история... Я убедилась, что дело не в сыне-гимназисте, и стала спокойнее. Чего мне было бояться? Что могло у нас быть? Какого бы образа мыслей мы ни держались, но до заговоров ли нам было при наших несчастиях? Я спокойно водила ротмистра по дому,

отворяла шкафы, сундуки... Он был вежлив, но не пропустил ничего, что могло подлежать осмотру. Наконец, в 10 часов утра, обыск был кончен: все перерыто, пересмотрено, и без всякого результата. Вся сыскная компания откланялась, извинилась за беспокойство (приличия иногда соблюдаются жандармами) и удалилась... Я осталась в полном недоумении насчет причины обыска. Однако на другой же день все объяснилось, и притом самым роковым образом.

Взяв утром, по обыкновению, для чтения местную газету, я была поражена как громом! В отделе телеграмм из Петербурга было сообщение, что арестовано несколько важных государственных преступников, и в числе фамилий я прочла... да, прочла фамилию нашего сына-эмигранта! В глазах потемнело, газета выпала из рук!..

Вот он обыск! Как описать мое душевное состояние? Тогда как раз репрессия после пресловутой «весны Святополк-Мирского» была в разгаре. Царил Трепов. Смертные казни следовали одна за другой. Я не могла сомневаться, я понимала, что грозит сыну! Тем более что в телеграмме выражениями не стеснялись: «анархист, бомбы, заговор...» Но все это надо было скрыть от мужа. С улыбкой вошла я к нему и, показав мною самой написанное подложное письмо о том, что меня экстренно вызывают в Петербург по делу о пенсии, кое-как уверила его в необходимости тотчас туда ехать. И в ту же ночь, поручив бедного мужа нашим друзьям, я выехала в столицу.

Забросив вещи в гостиницу, я прямо отправилась на Тверскую. Было всего одиннадцать часов утра, когда я вошла в жандармское, столь знакомое мне управление. Все было по-старому: у подъезда образ и зажженная лампада, в вестибюле тоже, в приемной тоже. «Есть, что замаливать», — подумала я, передавая дежурному свою карточку для вызова офицера.

Скорее, чем я ожидала, появился вылощенный и выдрессированный полковник; вежливо щелкнув шпорами, он самым мягким голосом спросил, чего я желаю.

Я заявила, что, прочитав в газетах об аресте сына, я приехала видеть его.

Полковник с огорчением покачал головой; к сожалению, он должен отказать мне в этом. Почему? Потому что преступление сына так тяжко и так сложно, что решительно никто к нему допущен не будет. Но мать? — Невозможно и матери. В чем он обвиняется? Полковник сообщить не вправе, но в газетах ведь было сказано: «анархист, бомбы».

— О, — закричала я с негодованием, — мало ли что вы

скажете! Не первый раз мне приходится иметь дело с жандармами... Но пусть по-вашему он анархист и государственный преступник, для меня он — сын! Я приехала спасать его: взять защитников, действовать... Так дайте же мне хоть увидеться с ним!

Полковник все с тем же огорчением качал головой.

— Невозможно! — сказал он. — Но вы хорошо сделали, что приехали, так как все равно пришлось бы вызвать вас телеграммой для дачи показаний. Генерал Иванов сам хочет допросить вас... Он еще не прочел все дело, но часам к пяти будет готов... Подождите здесь!

Я решительно отказалась. Мне слишком нужен был отдых. Тогда мне было предложено уехать и вернуться к пяти часам с условием за это время ни с кем не видеться. «Так как, — прибавил полковник, — все равно нам это будет известно». Конечно, я поняла, в чем дело: сыщики не были для меня новостью: каждый раз, как я приезжала в Петербург, за мной неизменно всюду ходил шпион, а иногда и два. Я не обращала на них никакого внимания. Что мне было скрывать? Хлопоты о деталях? Пусть ходят...

Невыносимые часы пережила я в номере в ожидании пяти часов! Жутко вспомнить, что мне представлялось...

В назначенный час я явилась в управление. Во мне все еще жила надежда на свидание с сыном. Я решила после допроса просить об этом генерала...

Меня встретил тот же полковник и опять выразил сожаление, что свидание с сыном для меня невозможно; это было, по его словам, окончательно решено. Затем он попросил меня следовать за ним. Мы пошли какими-то внутренними коридорами, поднялись по лестнице и наконец остановились у закрытой двери. Пропустив меня вперед, полковник как-то внезапно и широко открыл дверь. Моим глазам представилась такая картина: посреди комнаты стоял письменный стол; с левой стороны его стоял навытяжку генерал Иванов; с правой стороны стояли офицеры, а впереди них на стуле сидел какой-то молодой человек, в пальто и котелке. Он был очень спокоен и, улыбаясь, покручивал свои небольшие усики. Я заметила, что он был очень молод, заметила и то, что глаза всех, кроме юноши, внимательно впились в мое лицо. Я приостановилась на пороге, не понимая происходящего: если меня будут допрашивать, зачем же здесь этот молодой человек? Но генерал поднял руку и, указывая ею на юношу, театрально произнес:

— Что ж, сударыня! Обнимите вашего сына!

Точно гром грянул, так поразили меня эти слова. Я быстро обернулась и пристально посмотрела на сидевшего: я его не знала, я видела его в первый раз в жизни! Это не был сын мой!

На мгновение я была ошеломлена, но затем опомнилась. И спазмы сжали мое горло... А затем... затем все, что я вынесла за эти дни, страдания матери, мое безвыходное горе при мысли об ожидавшей сына участи, — все это вылилось в один сплошной нервный крик. Никакой ценой я не могла бы остановиться! Слова вылетали сами собой, и я говорила, говорила...

— Как?! — кричала я, — вы думаете, что это мой сын? Но это не он, не он! И вы решились напечатать имя сына, не проверив личности? И вы не понимали, что делали? Или вы не знаете, что значит несчастье? Ведь убивали целую семью... Ведь вы наносили жесточайший удар! За что? За что?

Генерал был поражен — он не ждал такого результата. Очевидно, некоторое сходство фотографий ввело всех в заблуждение. Ярость была написана на его лице, и он старался меня перекричать.

— Уведите, уведите его! — скомандовал он офицерам. — Не надо, чтобы он слышал... Скорее ведите!

Молодого человека быстро вывели.

Генерал был вне себя, я тоже; оба мы кричали друг на друга, забыв всякие приличия.

— Так вы утверждаете, что это не сын ваш? — кричал он.

— Как же мне не утверждать, когда это не он! — таким же тоном отвечала я. Я все еще не могла опомниться от негодования...

— А вот вы потрудитесь мне объяснить, когда вы перестанете меня мучить? — нервно кричала я. — Девять лет, девять долгих лет вы терзаете меня... За то, что я мать! Только за то! И теперь, теперь вы не посовестились играть материнскими чувствами! Вы хотели поймать мать... мать!.. Вы рассчитали, что если это мой сын, то я не выдержу и брошусь к нему... Да что же вы? Или не люди? Ведь это истязание! Вы нарочно сказали, что не дадите свидания, чтобы я увидела сына внезапно?.. Вы ловили мать, — понимаете ли вы? — мать!

— А зачем они убивают! — кричал генерал.

— Теперь все всех убивают... Они вас — вы их!.. Но если вы ловите их, чтобы потом повесить, так не ошибайтесь же хоть личностью!.. Проверяйте ее как следует...

— Но ведь мы не напечатали ни имени, ни звания! — попробовал вывернуться генерал.

— А обыск? — истерично перебила я. — Обыск! Что же значил этот безобразный, перетревоживший весь дом обыск? Какое же право имели вы из-за ошибки так испугать нас?

— Позвольте! — раздался вдруг спокойный голос, и передо мной внезапно появился товарищ прокурора петербургской судебной палаты по политическим делам Трусевич. Очевидно, он скрывался в соседней комнате и все слышал. О, я хорошо его знала! Не раз и мне случалось разговаривать с ним.

— Позвольте! — сказал он, глядя на меня с нескрываемой насмешкой. — Ваше волнение очень натурально, очень, можно сказать, даже естественно! А все же — это ваш сын!

Очевидно, он подозревал с моей стороны комедию! Это было уж слишком, и именно это заставило меня немного опомниться и прийти в себя: не стоит этот человек того, чтобы я выказывала перед ним свои чувства. Я хрустнула пальцами, но сказала спокойным тоном:

— Мне странно слышать это от вас, именно от вас! Не вы ли таскали по допросам моих сыновей и не вы ли сажали их в тюрьмы и крепости? Кажется, они должны быть вам хорошо знакомы...

— Да, но я не видал вашего сына три года, а этот господин очень его напоминает, — сказал прокурор.

— Пусть напоминает! — решительно ответила я, — мне это все равно. Я убедилась, что это не сын мой, и с меня достаточно. А что вы полагаете, мне это, право, все равно.

— Вот, — вмешался генерал, — то вы требуете гласности, а когда ее вам дают, так вы кричите: зачем напечатано?

— Но разве это гласность? — опять возмутилась я. — Это безобразие: перепутывать личности и печатать на всю Россию! Однако кончимте, господа! Прошу меня отпустить!

Меня заставили подписать бумагу с заявлением, что в предъявленной мне личности я сына не признала, и затем ничего более не оставалось, как отпустить меня. Но на этом еще не кончилось: в вестибюле, где я одевалась, я увидела спускающегося с лестницы, виденного мною только что молодого человека. Его нарочно пустили пройти мимо меня, удалив предварительно жандармов, рассчитывая, что здесь я не выдержу, если это сын мой, и только когда он прошел, жандармы опять подскочили с вопросом: «Так это не сын ваш?» Я с омерзением поглядела на них и отрицательно покачала головой.

Разбитая, усталая до изнеможения, но счастливая сознанием, что буря пронеслась мимо, я не могла выехать в тот же день, без памяти свалилась я на постель и после нескольких бессонных ночей заснула как убитая.

На другой день, послав телеграмму о выезде, я поспешила домой. Как ни была я утешена сознанием, что вся эта история оказалась ошибкой, что сына нет в России, но я не была покойна. Опасение, что муж мог без меня прочесть, несмотря на принятые меры, роковую телеграмму, сильно меня тревожило. Ведь не было газеты, в которой бы наша фамилия не была пропечатана всеми буквами? Что, если он прочел жестокое известие? Потрясающие события моей жизни давно приучили меня быть готовой ко всему... Но это опасение угнетало меня. Ведь в красках не стеснялись: «анархист, бомбы!» Я мучительно старалась не думать об этом, но мысль эта меня не покидала. Ах, если он прочел!.. Чем ближе я подвигалась к дому, тем сильнее терзало меня предчувствие... И оно не обмануло меня...

На вокзале, через окно вагона, я увидела своего сына-гимназиста. Что он меня ждал — это меня не удивило... Но меня поразил вид его: он был очень бледен и как-то растерян. Когда я рассказала об ошибке, он не обрадовался, а отвернулся и старался не встретиться со мной глазами. Сердце мое сжалось — я почувствовала недоброе.

— Все благополучно? — спросила я.

Он молчал. Я схватила его руку, он высвободил ее, обнял меня и тихо сказал:

— Мужайся, бедная мамочка! Тебя ждет новый удар!

— Что? что? отец?

Он молча кивнул головой — его душили рыдания...

— Умер?! — не своим голосом закричала я.

— Хуже, мама! Бедный папа помешался!

— Нет, нет! Это неправда! Не может быть! — отчаянно бормотала я...

Увы! Увы! Это была правда. Мой несчастный муж не выдержал более: последние события доконали его. На столе его, впоследствии, я нашла номер газеты с подчеркнутой телеграммой о сыне. Вот к чему привела роковая ошибка!..

Когда я увидела мужа, его мутные глаза, услыхала его торопливый шепот: «Жандармы! Обыск! Сыновей ищут, сыновей!», — я поняла, что все погибло! В каждом лице он видел шпиона, каждый звонок приводил его в ужас... Иногда ночью я видела, как он тихонько пробирался к входной двери и, приложив к ней ухо, прислушивался. Так, притаившись, он готов был стоять целую ночь. И когда я брала его за руку и старалась вернуть к действительности, то он шептал мне, глядя на меня безумными глазами:

— Не слышишь разве? Они идут... идут... Их шаги... За детьми!.. Не давай, не давай! Кто донес? Ты, ты донесла!

Отчаяние овладело мною. Ничто не могло спасти мужа! И в моей жизни наступил беспросветный мрак! С каждым днем больной становился беспокойнее. Хотя бывали проблески сознания, продолжавшиеся иногда даже по нескольку дней, но доктора не давали надежды на выздоровление. Эти минуты сознания были особенно тяжелы, так как иногда муж мой начинал страдать тоской по отсутствовавшим сыновьям; все его помыслы были направлены к ним, все разговоры — о них! Тогда я читала ему подложные от них письма, и он радовался, как ребенок, когда в них было: «Скоро вернусь», «разрешено приехать!», «до скорого свидания!» Но наступал опять мрак... Светлые промежутки были все реже... Наконец доктора предложили последнее средство — поместить мужа в лечебницу в надежде, что перемена обстановки и лиц подействует на него благотворно.

Ах, как мучительно тяжело было нам, когда он выходил, окруженный семьей, из своей такой уютной, такой родной ему квартиры. Он улыбался! Он верил доктору, отвозившему его якобы на дачу... Мы обставили, как могли лучше, нашего бедного больного и ежедневно посещали его. Но все было напрасно: директор, доктора, служители — тотчас же приняли в его глазах форму жандармов и шпионов, и, когда я приходила к нему, он с ужасом говорил: «Во всех углах здесь шпионы и жандармы. А самый главный притворяется доктором. Но не обманет меня, нет!»

Какое зло могло еще совершиться? Но худшее было... впереди!..

Тем временем от сына из Сибири приходили вести... и вести плохие. Тон его писем был угнетенный. В каждом почти письме была приписка: «Я так одинок, мамочка, так одинок!»

Напрасно я посылала ему письмо за письмом, изо всех сил стараясь поддержать его, сообщая, что в России все идет к обновлению, что ждут амнистии, свободы... Ответы были унылы — он не верил ни обновлению, ни амнистии, ни свободе. «Поверь, все останется, как было», — писал он и прибавлял: «не стоит жить!» Эта приписка сводила меня с ума... И опять, опять я писала ему... Нечего и говорить, что все, происходившее в семье, было от него скрыто. Отсутствие писем от отца я объясняла болезнью руки. Посылала периодически и успокоительные телеграммы: «Все спокойно, все благополучно!»

Ничто не помогало — тоска его росла! И наконец были получены от его товарищей, одно за другим, два письма. Они

меня извещали, что сыну плохо, что у него разыгрывается острая меланхолия, что надо хлопотать о разрешении взять его домой!

Надо сказать, что сыну до срока оставалось всего четыре месяца. В конце июля срок его ссылки кончался. Я была убеждена, что ему разрешат вернуться до срока — ведь оставалось всего четыре месяца! И, поручив мужа, все еще находившегося в лечебнице, друзьям и детям, я поспешно выехала в опостылевший мне Петербург. Но все мои хлопоты были напрасны. Лопухина уже не было, новый директор не принял меня... Я подала соответственное прошение. Прошла неделя — ответа не было. Я сделала опять попытку видеть директора — и опять напрасно; он вновь меня не принял. Между тем письма сына были зловещи. Уже он писал: «Нет смысла жить! Все ждут конституции, все верят в амнистию. Один я ничего не жду и ничему не верю. Не дадут свободу те, кому она помешает наслаждаться жизнью! А если и дадут, то такого сорта, что еще тошнее станет. И я предпочитаю умереть, чем жить среди насилия, произвола и угнетения!»

В отчаянии я написала директору департамента частное письмо, в котором умоляла его обратить внимание на болезнь сына. Я кончала письмо словами: «Спасите сына, пока не поздно!» Ответа не было.

В департаменте же мне сказали, что пошлют запрос и наведут справки! Наведут справки, то есть пройдет месяц, другой, а тут дорога каждая минута!..

И, вернувшись домой, я нашла роковое известие... Свершилось!.. Сын мой застрелился!..

И я пережила это!

Да и как смела бы я не пережить, когда на руках у меня оставался несчастный помешанный муж мой! Что было бы с ним без меня? Это дало мне силы жить. Лечебница ему не помогла, он тосковал, и я взяла его домой, взяла, чтобы он мог умереть у себя, среди родной обстановки... И не забыть мне, когда семнадцатого октября я прочла ему манифест о конституции, он бедным затемненным рассудком своим понял одно: что теперь вернут ему сыновей! Хлопотливо требовал он одеваться и дрожащим голосом говорил:

— Еду к Витте! Еду к Скалону! Теперь они отдадут сыновей! Теперь они не смеют больше держать их!

Отдадут!!! Один был в могиле, другой неизвестно где!.. И ровно через месяц после знаменитой конституции мужа моего не стало. Закрывая ему глаза, я подумала: «Спи спокойно! Ты счастливее меня!»

О, родина! Я жду твоего обновления! Каждым нервом своим я трепетно переживаю твое освободительное движение! И в тот день, когда наконец над тобой засияет солнце истинной свободы, в тот день и я пойму чувством, зачем нужны были такие жертвы!..

Февраль 1906 г.

НА ВОЛОС ОТ КАЗНИ[1]

(Воспоминания матери)

Теперь, когда каждая заря приносит с собою новую жертву казни, когда наши притупленные нервы почти перестали ужасаться перед этими страшными отмщениями — я хочу более или менее передать, что переживают несчастные близкие этих погибших. Казненные более не страдают... Они тихо спят в своих случайных, наскоро вырытых, без каких бы то ни было знаков, могилах... Мир им! Но что делают, как живут, что чувствуют те их близкие, для которых нет забвения, чья рана не перестанет сочиться и чье сердце никогда более не забьется спокойно?.. И во имя их я берусь за перо... Мне больно писать о своих чувствах, о том, что составляет мое «святая святых». Но меня к тому принуждает сознание, что когда мы равнодушно пробегаем имена казненных во всех концах нашей родины, мы не думаем, что за каждым именем — сейчас, в эту самую минуту — бьется и страдает живая душа кого-нибудь близкого — матери, отца, брата или сестры... Это страдание самое острое из всех... Я пережила это... Когда я писала свои «Годы Скорби», я думала, что уже испытала все... Но пришлось пережить еще и то, отчего и до сих пор содрогается душа моя... Только когда тот, чья жизнь поставлена на карту, — свой, близкий, только тогда можно вполне понять весь ужас казни! Так пусть же мой правдивый рассказ послужит живой иллюстрацией нашей ужасной эпохи.

«Немедленно выезжайте курьерским Севастополь сын хочет Вас видеть — защитник Иванов».

Телеграмма такого содержания была подана мне вечером 16 мая 1906 года... Кровь хлынула в голову, залила волной, и

---

[1] Журнал «Былое». Год второй, № 1/13. Январь 1907. Петербург, 1907.

я, не выпуская из рук маленькой белой бумажки, принесшей мне новое и великое горе, в десятый раз ее перечитывала, чтобы дать себе время опомниться от страшного удара и что-нибудь сообразить.

До этого дня я не знала, где мой сын. Поневоле покинув родину, чтобы избежать бессмысленно жестокой ссылки в Якутскую область, он, по моим соображениям, должен был находиться за границей.

Судьба решила иначе... Всего два дня назад телеграф принес известие, что в Севастополе было покушение на коменданта крепости, генерала Неплюева во время парада; был взрыв, были жертвы, были аресты... Среди имен арестованных не было имени сына. Но слово «защитник» заставляло предполагать худшее, и я волей-неволей должна была связать полученную телеграмму с севастопольским событием. Из газет было известно о приказе генерала Каульбарса — судить арестованных военным судом... Очевидно, мой сын оказался в числе арестованных, так как защитник Иванов спешно вызывал меня...

Я не стала предаваться бесплодным рассуждениям; я сознавала одно — надо ехать немедленно!..

Душой, с момента прочтения телеграммы, я была уже там — в этом далеком Севастополе, с ним, с дорогим сыном, но телеграмма пришла поздно, вечерний поезд ушел, приходилось ждать утра.

Ночь, проведенная мною при таких обстоятельствах, никогда не уйдет из моей памяти...

Утром семнадцатого мая я ехала в Севастополь.

Если бы меня спросили, как я ехала, был ли кто-нибудь около меня, кто были провожавшие меня друзья и родные, что говорили, какой был вагон, я не могла бы ответить — все ушло из памяти. И в то же время я ясно помню тот бред, те галлюцинации, которые овладели мною, едва тронулся поезд: меня звал сын!.. Сын, которого я кормила грудью, которого баюкала целыми ночами, напевая ему песенки... И мне представлялось, что я склонюсь над его колыбелькой, что он протягивает мне ручки... Но мой мозг порезывало воспоминание о телеграмме: защитник Иванов, Севастополь, бомбы, взрыв, военный суд — и из-за колыбельки начинали вырисовываться столбы, перекладина... И вместо протянутых ручек — шея!.. Шея моего сына!.. И волосы шевелились на моей голове!

Тщетно старалась я избавиться от этого кошмара, тщетно заставляла себя возвращаться к далекому прошлому, чтобы забыть ужасное настоящее — призраки не оставляли меня...

«Ты не одна, ты не одна! — шептала я сама себе. — А

мать Спиридоновой! Мать Балмашева! Мать Каляева! Таких, как ты, жалких матерей — сотни, тысячи! Надо опомниться! Надо взять себя в руки! Надо встретить этот ужас с достоинством!..» Увы! Я не могла перестать быть матерью, а потому и не могла не страдать...

— Москва близко! — сказал кондуктор, и силою вещей я должна была, хоть немного, прийти в себя. На дебаркадере меня ждал присяжный поверенный Владимир Анатольевич Жданов — ему телеграфировали из Петербурга.

Он вошел в мое купе.

— Какие вести? — спросил он.

Я молча протянула ему телеграмму. Он внимательно прочел ее, и его ясное, добродушное лицо потемнело.

— Д-да! — протянул он в смущении. Я посмотрела на него пристально.

— Говорите правду!

— Носильщик! — закричал он в ответ. — Неси сюда чемодан. Еду с вами! — проговорил он сквозь зубы.

Мы долго сидели молча. Было страшно заговорить. Наконец я подняла голову.

— Скажите мне всю правду, — сказала я. — Всю.

— Взрыв произошел четырнадцатого числа, — медленно начал Жданов. — По газетам видно, что Одесский генерал-губернатор Каульбарс по телеграфу предписал передать дело военному суду и ускорить следствие. По закону, в таком случае, защитник допускается к обвиняемому только после вручения обвинительного акта. Телеграмма подписана ясно: «защитник Иванов»: следовательно, защитник был у обвиняемого и, следовательно, обвинительный акт вручен. Суд может происходить через двадцать четыре часа после вручения обвинительного акта, и исполнение приговора также может последовать через двадцать четыре часа после объявления приговора. Следовательно, с момента вручения обвинительного акта до исполнения приговора может пройти минимальный срок — сорок восемь часов. Арест произошел четырнадцатого числа, сегодня семнадцатое, а приехать в Севастополь мы ранее девятнадцатого не можем!.. — Он примолк.

Я посмотрела ему прямо в глаза.

— Значит, мы в живых сына не застанем?

Жданов как-то съежился.

— Все возможно, — нехотя пробормотал он. Я больше не спрашивала.

— Оставьте меня одну, — попросила я.

Он встал, хотел что-то сказать, махнул рукой и вышел. Я просидела всю ночь одна...

Восемнадцатого утром, на какой-то станции, я подняла окно, чтобы освежить свою пылающую голову... На перроне, прямо против моего вагона, стояли два пассажира. На оконный стук они оглянулись, и в одном из них я узнала бывшего товарища прокурора палаты по политическим делам Трусевича [1]. По взгляду, который он на меня бросил, я поняла, что он также узнал меня. Мы хорошо помнили друг друга по делам моих сыновей. Особенно энергично преследовал он того из них, к которому я теперь ехала. Арест девятнадцатилетнего юноши за речь на сходке, его исключение из университета без права поступления в какое-либо учебное заведение, крепость, высылка в Вологду, ссылка в Якутскую область, ссылка, благодаря которой сын мой вынужден был искать прибежища за границей, — все прошло через руки г. Трусевича. И в моей памяти было еще свежо наше последнее свидание и его насмешливая фраза:

«Как ни искусно ваше волнение, а все же это сын ваш!» Фраза, своим глумлением над материнскими чувствами оставившая неизгладимый след в моей душе. И вот теперь мы ехали вместе... Ехали в Севастополь по одному и тому же делу, но как различны были наши побуждения!.. И, глядя на него, я задавала себе мучительный вопрос: «Зачем он туда едет?» Я не была столь наивной, чтобы воображать, что для смягчения участи сына. Напротив, его присутствие было зловеще. И я хотела проникнуть в эту душу и глядела на него не отрываясь. Но ничего нельзя было прочесть на этом бритом, нервном лице... Я заметила только, как при виде меня глаза его блеснули и, обернувшись к своему спутнику, он ему что-то сказал. Мне послышалось или скорее я угадала, что то была фраза:

«Мать Савинкова».

Рядом с Трусевичем — жандармский офицер. Я упоминала уже в «Годах Скорби», что мне пришлось видеть и наблюдать многих жандармов, и понятие мое о них сложилось в очень определенную форму. Но стоявший на перроне жандармский офицер наружным своим видом превзошел все виденные мною до сих пор синие мундиры: его белесоватые, как бы с бельмами, глаза, его совершенно бескровное лицо, грязно-серые брови и ресницы, такие же, с прибавкой желтизны, усы, тонкие, как нить, губы составляли облик, трудно забываемый...

И вскоре, в Севастополе, это сказалось... Напрасно этот офицер переодевался в разные одежды, являясь то под видом

---

[1] Он был специалистом по производству дознаний в порядке 1035 ст., т. е. производимых жандармскими учреждениями.

учителя в камеру бросившего бомбу юноши Макарова и убеждая его указать на Савинкова, как на главаря заговора; напрасно также назначал он, уже в новой одежде и под другим видом, свидание в городском саду матери Макарова с тою же целью, обещая ей ежемесячную правительственную пенсию в двадцать пять рублей, лишь бы она уговорила сына указать на Савинкова, в нем узнавали «серого» жандарма, и хоть он и воображал себя непроницаемым, но в Севастополе эти похождения передавались из уст в уста и были секретом полишинеля.

Теперь, на перроне, он бросил на меня из-под темных очков один только взгляд — взгляд хищного зверя при виде хорошей добычи, и мне стало жутко...

Потом оба, как по команде, повернулись и пошли дружно в ногу, один легкой, вздрагивающей походкой, другой осторожно-крадущимися шагами, и я смотрела им вслед, пока могла их видеть... и чувство безмолвного отчаяния волновало душу!

Было чудное весеннее утро, когда девятнадцатого мая мы подъезжали к Севастополю. Но яркая зелень, синее, сверкавшее солнцем море и редкостная прозрачность воздуха оставляли меня безучастной... В моей душе царил холод, и южное солнце не могло согреть меня. Все мои помыслы были сосредоточены на одном сыне. При выходе из вагона я опять столкнулась с выходившим из вагона Трусевичем — роковое совпадение!

Не заезжая в отель, мы с Ждановым поехали по указанному в телеграмме адресу защитника. Нас, видимо, ждали. Дверь немедленно отворилась, и перед нами показался довольно молодой, симпатичного вида военный.

— Вы господин Иванов? — спросила я.

Капитан вежливо поклонился.

— Жив ли сын мой? — вырвалось у меня.

— О да! — стараясь говорить спокойно, ответил капитан. — Я только вчера вечером видел его — он бодр, спокоен и ждет вас и жену свою с нетерпением. Дело отложено на несколько дней по случаю возбуждения вопроса о разумении несовершеннолетнего, бросившего бомбу, Макарова.

Он был жив! Какая-то страшная тяжесть медленно сползала с моих плеч, и где-то на дне души затеплилась надежда. Слабая, ничтожная надежда, но, по крайней мере, она заменила собою невыносимое чувство полной безнадежности... Стало как будто чуточку легче! Жданов между тем расспрашивал капитана, каким образом он попал к обвиняемому ранее вручения обвинительного акта?

Как оказалось, все случилось вопреки желанию и ожиданиям высшего начальства: то, что должно было погубить обви-

няемых, это именно спасло их. Спешность, выказанная генералом Каульбарсом, заставила спешить и его подчиненных, а назначение защитниками обыкновенных капитанов местной крепостной артиллерии, никогда не бывших юристами, назначение, рассчитанное на полное незнание законов и на неумение защитить, поспособствовало изменению участи обвиняемых, потому что капитан Иванов, получив телеграмму с приказом защищать моего сына, арестованного под фамилией Субботина, не зная закона, воспрещающего видеть подсудимого до вручения последнему обвинительного акта, и исполняя волю начальства «спешить», немедленно отправился в штаб крепости с телеграммой в руках и потребовал свидания с обвиняемым.

Штаб крепости, тоже не зная законов, ввиду того же спеха, выдал требуемое разрешение, и таким образом капитан Иванов мог проникнуть к сыну, открывшему ему свою фамилию и сообщившему ему мой адрес.

В данном случае все вышло к лучшему. Но спрашивается, какими побуждениями руководилось высшее начальство, назначая в деле о цене человеческой жизни вместо обычных защитников — кандидатов на военно-судные должности заведомо несведущих в законах лиц? На месте рассказывали, что это было сделано для того, чтобы не задерживать следствия, так как в Севастополе нет военно-окружного суда. Но ведь и суд приехал из Одессы, почему же оттуда не могли приехать и защитники-специалисты?

Как бы то ни было, хотя на другой день власти и опомнились, видя, что сделали промах, тем не менее дело было сделано, и телеграмма мне послана. Впоследствии была сделана попытка придать этой ошибке вид великодушия.

— Видите сами, какую мы сделали поблажку, допустив защитника к вашему сыну ранее вручения ему обвинительного акта, — сказал мне между прочим следователь.

— Вы сделали это по ошибке, — ответила я.

— Нет, — сказал следователь, — не по ошибке!

Но я не поверила ему. Все действия властей указывали на то, что щадить тут никого не намеревались.

Защитник моего сына капитан артиллерии Иванов, с первого и до последнего дня, держал себя безукоризненно, хотя положение его было трудное. Между его и нашими воззрениями лежала целая пропасть. Как офицер, он, безусловно, повиновался воле начальства и с точностью исполнял предписания. Но в то же время он сумел стать на такую корректную ногу с сыном и мною, что не в чем было упрекнуть его.

Я не говорю уже о том, что, несмотря на массу потерянного им для нашего дела времени, на беспокойство и понесенный

труд, капитан Иванов решительно отказался от какого бы то ни было вознаграждения.

— Я исполнил только свой долг, — скромно сказал он. Но я часто вспоминаю, как природный такт помогал ему выходить из очень рискованных положений. Так, однажды я, будучи естественно все время в очень возбужденном состоянии, в одном из разговоров, с горечью при нем сказала, что не сомневаюсь, что приговор предрешен и что нечего рассчитывать на беспристрастие военных властей.

Капитан Иванов сильно покраснел и сказал сдержанно и с достоинством:

— Я вполне понимаю ваше возбуждение, как матери, находящейся в исключительном положении; но мне, как военному, такие речи слушать не приходится!

Я его поняла и с тех пор старалась быть сдержанной при нем, что было трудно, ввиду совершавшихся событий.

Во время первого нашего разговора на мой вопрос: «Могу ли я видеть сына?» — капитан Иванов ответил утвердительно и обещал с своей стороны полное к тому содействие, а также заявил, что тотчас же отправится в крепость, чтобы предупредить сына о моем приезде.

— Скажите ему, — сказала я, — что я тверда и не плачу.

Но когда я, спустя некоторое время, вошла в первый раз в камеру сына и увидела его после столь долгой разлуки в руках его врагов, могущих отнять его у меня навсегда, из груди моей вырвался какой-то вопль, и я не в силах была сдержать его...

Сын быстро подошел ко мне и взял меня за руки.

— Не плачь, мама! — внушительно сказал он. — В таких случаях любящие матери не дают воли слезам...

И я притихла; ни разу потом не посмела я заплакать, чтобы не нарушить слезами мужество сына.

Но, прежде чем его увидеть, пришлось испытать немало проволочек. Надо было ехать к следователю, к прокурору, а потом и в штаб крепости.

Дело моего сына ко времени моего приезда находилось еще в стадии следствия. Накануне оно было закончено и передано прибывшему из Одессы вместе с судом военному прокурору Волкову, но даже ему дело это при той безумной поспешности, с которой по приказанию генерала Каульбарса велось следствие, представилось неполным и было возвращено для дополнения следствия.

В тот же день Макаров открыл свое имя, признался, что ему шестнадцать лет, и от Одесской судебной палаты потребовалось разрешение вопроса — в каком состоянии он действо-

вал: с разумением или без разумения? Таким образом волей-неволей был отсрочен суд на некоторое время. Но то, что прокурор возвратил дело для доследования, ясно указывает, при какой необычайной поспешности велось следствие для суда над четырьмя человеческими жизнями.

И действительно, положение подсудимых было в высокой степени для них неблагоприятное. Случаю было угодно, чтобы три из них, а именно мой сын, под фамилией Субботина, и два его товарища, прибыли в Севастополь за два дня до покушения на жизнь генерала Неплюева. Тому же случаю было угодно, чтобы сыщик, следивший не за сыном, а за другим нелегальным лицом, заметил, что сын мой с этим лицом виделся. Следя за этим лицом далее, он проследил его до Харькова и, заметив, что сын мой едет далее на юг, передал сына моего другому агенту, который проследил его до Севастополя. Одного пребывания сына, а также и его товарищей в этом городе оказалось вполне достаточным для сыщиков, чтобы связать его прибытие с происшедшим в это время взрывом.

Между тем дело покушения на генерала Неплюева представлялось так: во время церковного парада, на соборной площади, которым командовал генерал Неплюев, шестнадцатилетний мальчик Макаров бросил в него бомбу. Она не разорвалась. Следовательно, Макаров волей или неволей, но действием своим никому вреда не причинил. Но ему на помощь поспешил его сотоварищ, матрос Фролов, находившийся в толпе и имевший нелепость держать бомбу в кармане, и с таким смертоносным орудием, которое неминуемо от толчков должно было взорваться, он вздумал пробираться вперед, сквозь тесную, собравшуюся на зрелище толпу. Что неизбежно при таких обстоятельствах должно было случиться, случилось. У Фролова, толкаемого со всех сторон народом, бомба разорвалась, и первой жертвой взрыва пал сам виновник его. От взрыва пострадали и другие. Но, как всегда, когда толпу охватывает паника, началась давка, бегство, и никто не щадил другого, и только на месте в Севастополе мы узнали, что число жертв, приведенное полицией и газетами, потому так велико, что каждая царапина, каждый синяк, хотя бы происшедшие от давки, были подсчитаны в число поражений от бомбы, и потому само событие выросло до максимальных размеров.

Возбуждение в правительственных сферах и в военных кругах было огромное, и опасение, что то, что случилось сегодня, может повториться и завтра, стало паническим.

Поэтому на справедливость и беспристрастие возбужденных властей рассчитывать было трудно. Смертные приговоры были предрешены.

Отправляясь к судебному следователю с заявлением, что я мать одного из обвиняемых, я чувствовала себя в высшей степени возбужденной. Я готова была бороться с каждым, в чьих руках была власть над сыном. Сознание, что над ним тяготеет обвинение, влекущее за собой смертную казнь, доводило мои нервы до величайшего напряжения. Я знала, что каждый, с кем я буду говорить, настроен к сыну враждебно, а между тем, еще не видя его и ничего не зная об обстоятельствах его ареста, я инстинктивно где-то, на дне души, чувствовала, что к этому делу он не может быть причастен. Я слишком хорошо знала сына, знала его принципы в борьбе за свободу, и тайный голос шептал мне, что тут что-то не так! В особенное недоумение меня приводила личность генерала Неплюева.

Каким образом этот генерал, ничем до взрыва не отмеченный, с именем, все значение которого было приобретено только этим покушением, никакого влияния на ход государственной политики не имеющий, каким образом мог он заинтересовать революционера? С таким недоумением приехала я к следователю, который оказался гражданским чиновником. Мое сердце сильно билось, когда я входила к нему: вот человек, который собирал все улики для доказательства участия моего сына; человек, от заключения которого зависела та или другая квалификация преступления. Я с волнением посмотрела на него, но ничего, кроме спокойного равнодушия, не прочла я в его спокойном, с оттенком любопытства взоре.

— А! Вы мать Субботина? Значит, он не Субботин, а Савинков? Прекрасно, так и запишем! — равнодушно произнес он, и на мою просьбу поехать со мной теперь же в крепость для удостоверения личности сына, а следовательно, и для свидания с ним, он совершенно спокойно сказал: — Сегодня не могу. Уж поздно. Да я и устал. У меня не одно ваше дело! (Точно мое дело было самое обыкновенное, точно над головой моего сына не висела смерть, точно я не была его матерью!..) Завтра утром увидите сына! — повторил он.

Я была сражена. Надо пережить то, что я переживала, чтобы понять, какое значение имело для меня свидание с сыном. Я пристально посмотрела на следователя.

— Может быть, у вас тоже есть сын? — невольно вырвалось у меня. Следователь смутился.

— А ведь похож! Похож на мать! — сказал он, и добрая улыбка внезапно осветила и совершенно изменила его лицо. Точно луч солнца прорезал тучу. — Да, это ваш сын, — тот же взгляд! Едемте! — быстро прибавил он, поднимаясь с места.

Я не заставила повторять эти слова, и мы быстро трону-

лись в штаб крепости, исполнили все формальности для пропуска на свидание и наконец поехали туда, где за решетками, замками, окруженный стражей, был заключен сын мой!

Когда мы, показав пропуск, въехали в крепость, я жадно оглянулась кругом: мой сын был уже близко, за этой стеной!.. Крепость была окружена с трех сторон водою. Море красило вид. Белели лагерные палатки... Видна была зелень... Кое-где виднелись домики служащих... И тут же солдаты весело играли в бабки, играли, точно тут, рядом, не томилась похороненная заживо жизнь!

В общем все это не представляло грозного вида и не давало того понятия, какое возникает при слове «крепость». Извне видна была жизнь, по-своему свободная... Но тут же в двух шагах была гауптвахта — гроб свободной мысли, свободных чувств и желаний. И при виде этой гауптвахты, при мысли, что здесь заперт мой сын, являлось безумное желание раздвинуть эти крепкие стены, уничтожить замки, решетки и стереть с лица земли изобретенные для мучения людей запоры... Но приходилось смириться и отдаться силе судьбы...

На звонок колокола явился караульный офицер, проделал все требуемые формальности, осмотрел пропуск и паспорт и наконец предложил следовать за ним. С замиранием сердца прошла я приемную, затем большую караульную, всю наполненную солдатами и составленными ружьями, затем сени с запертой решеткой.

Унтер-офицер отпер замок, отдал честь офицеру, и я вступила наконец в коридор, по обе стороны которого, с часовым у каждой двери, были заключены в одиночных камерах политические заключенные.

Мы остановились у одного из номеров, загремели засовы, заскрипела ржавая дверь, и... я увидала сына!!

После первых слов, приведенных мною выше, сын положил руку на мое плечо и сказал с проникновенном взглядом:

— Мама! Каков бы ни был приговор, знай, к этому делу я не причастен! — Я вздохнула с облегчением, мое предчувствие оправдывалось. — Я не боюсь смерти, я готов к ней каждую минуту, но я хотел бы умереть не за то, что совершили другие! — говорил сын, и я верила ему. Верила каждому слову. Я знала, что все, что он говорит и будет говорить, святая правда: никогда он не был способен лгать и никогда не отрекся бы от своего участия в каком бы то ни было деле. — Кроме того, что я не причастен,— продолжал сын, — но в этом деле такие стороны, которым я никоим образом не могу сочувствовать... Но на беспристрастие властей я не рассчитываю и готов ко всему. И в настоящее время меня более всего заботит мысль:

как перенесешь это новое горе ты? — Я взяла его руку и поцеловала ее.

— Дело не во мне, обо мне не думай, — и я стала рассказывать сыну положение вещей... Теперь, когда дело получило отсрочку на несколько дней, можно было надеяться, что адвокаты успеют съехаться, что Жданов уже здесь, что будет сделано все, что в силах человеческих, чтобы правильно поставить дело. Сын горько усмехнулся.

— К чему? — сказал он. — Неужели ты веришь в правосудие? А я так убежден, что буду повешен, иначе зачем же и военный суд? И неужели ты думаешь, что я буду защищаться?

С трудом удалось убедить его, что во всяком случае он не один, что с его участью тесно связана и участь двух его ни в чем не повинных товарищей, арестованных с ним, что их непричастность обязательно должна быть выяснена, а выяснить ее может только правильно поставленная защита... Тогда сын, соглашаясь на защиту товарищей, просил, чтобы о нем на суде ничего не говорили, просил также о защитнике для Макарова, к которому относился с большим участием и сожалением.

Затем он сообщил мне подробности своего ареста. Он приехал в Севастополь за два дня до катастрофы, для пропаганды и своих личных дел. Во время парада он спокойно обедал на приморском бульваре (что и удостоверили свидетели лакеи) и затем, купив газету, сел ее читать в городском саду на скамейке. Здесь он услышал грохот, как бы от пушечного выстрела, но не придал ему никакого значения, полагая, что это салют из орудий по случаю парада. В это время в аллее показался священник, тотчас же присевший на эту же скамью и заговоривший с ним. Они обменялись именами, причем священник назвал себя протоиереем Ивановым и сообщил, что живет в Петербурге и только временно находится здесь. Он же сообщил сыну, что только что произошел взрыв бомбы и что есть убитые и раненые. Поговорив немного, они расстались, и сын мой, дочитав свою газету, самым спокойным шагом направился к себе в гостиницу. Зачем ему было туда идти, если бы он принимал участие в взрыве? Имея при себе паспорт и более тысячи рублей, зачем шел он в руки полицейских властей, когда для него не представляло никакого затруднения скрыться? Зачем было возвращаться в отель, где его ждал, конечно, арест? Как объяснить его нахождение так далеко от места происшествия? Но власти сумели объяснить все по-своему: если бы он был на площади, значит, он руководил... Если не был, значит хитрость для отвода глаз. Положение в своем роде безвыходное. Подходя к своему отелю «Ве-

цель», сын не заметил ничего особенного, все было, как всегда. Швейцар стоял на своем месте, в дверях был коридорный. Но едва он стал подниматься на лестницу, как кто-то сильно схватил его сзади за руки и грубый голос произнес:

— Ни с места, иначе застрелю, как собаку.

И тотчас же к груди его был приставлен револьвер. В то же время спрятанные в ресторанном зале солдаты тесным кольцом окружили его со всех сторон, и неизвестно откуда появившийся сыщик Григорьев с азартом подскочил к сыну и, тряся кулаками, кричал:

— Я следил за тобой... Я указал на тебя... Не вывернешься. — Его пыл был необычаен: он вертелся, махал руками, хвастал своей проницательностью. Но каково же было изумление сына, когда после обыска, обнаружившего у сына крупную сумму денег, этот же самый сыщик, улучив минуту, когда начальство отошло, а остались одни конвойные, внезапно переменил тон и, униженно кланяясь, сказал сыну:

— Барин, простите меня!

Борис посмотрел на него с омерзением:

— Теперь ты просишь прощения? А что говорил ты, когда у меня к груди был приставлен револьвер?

— Что уж, барин! — сказал этот отверженный. — Что с меня взять? Разве я не понимаю, что я последний человек!

Видела впоследствии сыщика Григорьева и я: его плоское лицо, огромные уши и беспокойно бегающие глаза вызывали отвращение, и одна мысль о том, что участь наших детей отдается в руки таких лиц, может повергнуть в отчаяние: ведь от него зависит дать то или другое объяснение каждому действию выслеживаемого им лица, от него зависит толкование подслушанного разговора, он дает характеристику, и часто только от его показаний зависит жизнь или смерть его жертвы... И все это в руках человека, который сам себя называет «последним».

Еще хорошо запомнил сын мой одного флотского офицера, проходившего мимо во время процедуры ареста и совершенно добровольно, без чьего бы то ни было давления, взявшего на себя роль сыщика: самым тщательным образом помогал он обшаривать сына, лез к нему в карманы, в сапоги и притом все время нещадно бранился. Какими побуждениями руководился этот офицер? Думал ли он послужить отечеству, прибавляя неприятности человеку, степени виновности которого он даже не мог знать? Хотел ли заслужить одобрение начальства, получить награду?..

Спустя некоторое время моего сына под конвоем отвели в штаб крепости, куда вскорости были приведены и его товари-

щи, Назаров и Дойников. Они были поражены неожиданным, по чуждому им делу, арестом. Один из них, не вполне сознавая свое положение, беспокоился об отобранных у него при аресте часах, и сын с трудом убедил его, что часы ему теперь «ни к чему».

Для сына же положение было ясно: при той спешке, какую выказал судебный следователь, доказать свою непричастность к делу возможности не представлялось! Его случайного нахождения в этот момент в Севастополе было слишком достаточно, чтобы его повесить, хотя департаменту полиции, раз его агентура была поставлена хорошо, должна бы была быть известной его непричастность, но с этой стороны нечего было надеяться на спасение.

Едва сын мой успел рассказать мне эти подробности, как появившийся караульный офицер заявил, что свидание кончено. Можно себе представить, как невыносимо тяжело было мне в эту минуту расставаться с сыном, но рассуждать, а тем более просить не приходилось, и, горячо обняв сына, я обещала ему быть у него завтра.

— Наверное? — спросил Борис.

— Наверное, дорогой мой, — с уверенностью сказала я, забывая, что такая простая вещь, как свидание матери с сыном, зависит не от их обоюдного желания, а от произвола властей. Впрочем, бывший при нашем прощании следователь очень охотно обещал мне дать пропуск, назначив зайти к нему завтра утром.

— Помни, мама! Не плакать! — были прощальные слова сына.

Тяжело мне было ехать назад. Сознание невиновности сына было, конечно, облегчением, но оно же создавало особый трагизм положения. Как убедить в этой невиновности предубежденных против него людей? Каким образом доказать случайность его нахождения в Севастополе, раз он объявил себя революционером? А присутствия на параде его товарищей Назарова и Дойникова было вполне достаточно, чтобы создать из этого положения целый заговор, главою которого, как интеллигент, признавался сын.

Вечер и ночь я провела, расхаживая, как маятник, по маленькой комнатке, не замечая ни времени, ни места, с одной всепоглощающей мыслью: «Не причастен — и тем не менее над головой его смерть!»

Рано утром, как только позволяли приличия, я уже ехала к следователю, обещавшему мне дать разрешение на свидание с сыном. Прощаясь, он мне сказал:

— Не падайте духом, завтра увидите сына!

Поэтому, когда отворившая мне дверь личность заявила:

— Следователя нет дома! — я с усмешкой покачала головой и убежденно сказала:

— Передайте ему мою фамилию, и он меня примет!

— Его нет не только дома, но и в городе! — был ответ, — он решил воспользоваться двумя днями праздников и уехал в Балаклаву. И он велел передать вам, что больше к этому делу касательства не имеет, так как вчера вечером передал его военному прокурору!

Я не верила своим ушам! Зачем же было давать обещание, назначать час приехать за разрешением, если в тот же вечер он передавал дело прокурору? Или он намеренно сделал это, чтобы снять с себя всякую ответственность за дальнейшие свидания? Вот он мундир чиновника! После вчерашних проявлений человеческих чувств поступок следователя мне показался недостойным... Но разве это случилось со мною в первый раз? С горькой усмешкой стояла я перед захлопнувшейся передо мною дверью и мучительно решала вопрос, куда теперь броситься? Я решила во что бы то ни стало увидеть сына... Ведь я сама ему сказала: «наверное»! Так или иначе надо было добиться свидания...

Я вспомнила, что следователь вчера, прежде чем ехать в крепость, заезжал со мною в штаб, и решилась отправиться туда. Я попросила начальника штаба через дежурного принять меня по важному делу.

Несмотря на праздничную и к тому же раннюю пору, меня не задержали, и скоро ко мне вышел г. Шемякин. Держась учтиво, без лишних слов, он на мою просьбу сообщил мне, что лично против свидания моего с сыном ничего не имеет, но, без разрешения следователя или прокурора, дать пропускной билет не может.

— Ведь вы понимаете, что я не могу нарушить закон?

Я понимала, но тем не менее чувствовала себя в положении мыши, захваченной мышеловкой. Закон и жизнь! Какие два жестокие контраста! Жизнь говорила мне, что сын мой заперт, окружен штыками, враждебными лицами, что ждет меня, что для него мучительны часы ожидания... а закон холодно говорит: «нельзя!» — и не было никакой возможности сломить его.

— Привезите разрешение прокурора, и я дам пропуск! — вежливо предложил мне г. Шемякин. Я поспешила к военному прокурору. Ехала я к нему на основании заявления следователя, что дело им передано военному прокурору вчера вечером.

Военный прокурор Волков тоже меня не заставил ждать и

почти немедленно принял меня. С глубоким волнением вошла я к нему. Приходилось говорить с человеком, вся задача которого в данную минуту состояла лишь в том, чтобы осудить моего сына и предать его смерти!.. Ведь он будет доказывать судьям только одно, что сына моего надо лишить жизни, что это необходимо для общего блага, чуть ли не для спасения родины от смут и крамолы! Отнять у меня навсегда сына составляло весь смысл его присутствия здесь, в Севастополе. Удастся — его ждет хвала, награда... Нет — его ждет порицание, и, уж конечно, этот человек сделает все, что от него зависит, чтоб это удалось...

— Господин прокурор! Я пришла просить вашего разрешения на свидание с сыном!

Нервное, бледное лицо прокурора передернулось, и холодный взгляд остановился на мне.

— К сожалению — я не вправе. Я не получил дела!

— Как? Я только что от следователя, где мне было категорически сказано, что дело передано военному прокурору.

— Может быть!... Но передано не значит еще, что получено. Оно не у меня!..

— К кому же мне обратиться? — с отчаянием в душе спросила я.

— Не знаю, — был ответ.

— Но где же оно может быть в данную минуту, это дело?

— Быть может, у гражданского прокурора, наблюдавшего за следствием. Пока же оно не у меня, я разрешения дать не могу.

Он поклонился и ушел. Оставалось одно — уйти. Я отправилась к гражданскому прокурору. На счастье, г. Кенигсен сам отворил мне и пригласил войти. Прокурор Кенигсен не выглядел чиновником — педантом. Его первые слова были просты и произнесены не без участия:

— Видели вчера сына? Мне говорил следователь.

— Я именно по этому делу, г. прокурор. Мне обещано следователем свидание с сыном, а между тем он уехал. Прошу вас разрешить мне это свидание!

Лицо прокурора вытянулось.

— Не могу.

— Почему? — спросила я.

— Потому что дело не за мной. Оно за военным прокурором, и свидание зависит от него.

— Но, господин прокурор,— с отчаянием возразила я,— эти чиновничьи проволочки похожи на издевательство. Следователь уехал, начальник штаба без разрешения пропуска не да-

ет. Военный прокурор говорит, что свидание зависит от вас. Вы говорите, что от него. Где же правда?

— Знаю одно, — сказал прокурор, — что дело отправлено к военному прокурору.

— Отправлено, но не получено им, — возразила я.

— В таком случае он получит его сегодня вечером: оно где-нибудь задержалось в передаточной инстанции. Завтра, вероятно, прокурор даст вам свидание.

— Завтра? — вне себя вскричала я. — А если бы над головой вашего сына висела смерть, вы стали бы ждать до завтра? — Я видела, что прокурор смутился. — Вы пропустили бы один из немногих остающихся ему дней? Вы могли бы спокойно ждать? — в негодовании волновалась я. — Нет, господин прокурор, не верю, не хочу верить, чтобы вы, имея в руках возможность дать мне свидание с сыном при таких обстоятельствах, чтоб вы отказали мне. Не верю!

Прокурор в раздумье смотрел в окно... Он что-то обдумывал. Потом, взглянув на меня, взял перо, подержал его в руке в нерешительности и сел наконец к столу.

— Присядьте, я напишу!

Я с глубокой благодарностью посмотрела на него: вот ведь и чиновник, а человек! Он приложил печать, тщательно сложил вчетверо бумагу и передал ее мне.

— Благодарю вас! — от всей души вырвалось у меня, и сердце забилось от радости: сейчас увижу сына! Он проводил меня до двери, закрыл ее за мною.

На лестнице я инстинктивно развернула бумагу. Вот что было в ней записано:

«Не имею препятствий для допущения матери политического заключенного Савинкова к свиданию с сыном. Прокурор Кенигсен». А внизу было приписано: «Дело за военным прокурором».

Итак, он давал мне ничего не значащую бумагу, так как разрешение на свидание мог дать только тот из прокуроров, за кем дело числилось. С этой оговоркой меня, конечно, к свиданию бы не допустили, и он дал мне эту бумагу, лишь бы от меня отделаться. Вся кровь бросилась мне в лицо; я вернулась к двери и сильно позвонила.

Мне отворила уже служанка.

— Барин занят и никого не принимает! — Но я ее не слушала и, отстранив ее, направилась к кабинету.

— Господин прокурор! Всему есть предел! Что же это?

Прокурор и не думал оправдываться: он стоял в смущении и смотрел вниз. Наконец он молча взял у меня назад бумагу, старательно разорвал ее и написал новую.

Не доверяя ему более, я прочла ее тут же:

«Разрешаю матери политического заключенного Савинкова свидание с сыном! Прокурор Кенигсен».

— Но, — строго сказал прокурор, — прошу вас более ко мне по этому делу не обращаться. — Я молча поклонилась и поспешила в штаб крепости.

Генерала Шемякина уже не было, меня принял его помощник, капитан Олонгрен. Швед по происхождению, изысканного обращения, он мог служить образцом того, как можно, не выходя никогда за рамки предписаний и закона, быть человечным: пропускной билет писался быстро, законные просьбы исполнялись охотно и без пререканий; реестр передачи, чтобы не было задержки, капитан просматривал сам, и от него первого я услышала слова участия к моему горю:

— Не отчаивайтесь! Даст Бог — все будет хорошо! Если правда, как вы говорите, что ваш сын в этом деле невинен, так ведь судьи это рассудят!

Не знаю, — говорил ли он искренно; но что добрые слова, сказанные в горькую минуту, приносят утешение — это я испытала на самой себе: как ни мало верила я в счастливый исход военного суда, тем не менее в душе шевельнулась надежда: «А ведь и в самом деле судьи может быть рассудят!» Такова человеческая натура, что хочется верить, хочется надеяться — и слова участия, сказанные капитаном Олонгреном, оставили хороший след в душе моей. Когда потом мне при случае пришлось говорить с генералом Шемякиным, я и в нем не нашла озлобления.

— Что такое для моего сына генерал Неплюев? — говорила я ему, — чтобы сын мой из-за него рисковал жизнью? И кто мешал моему сыну уйти, а не возвращаться в отель, раз у него были деньги и паспорт?

— Но почему он сразу не открыл свою фамилию? — спросил генерал.

— Потому что он не ожидал отсрочки дела и был уверен, что его повесят раньше, чем мы приедем. И он не хотел, чтобы мы, его родные, страдали... Он думал, что если я узнаю об этом когда-нибудь потом, через год и более, я легче перенесу эту весть.

— Что ж! — добродушно сказал генерал, — может быть и так — суд рассудит.

Это «суд рассудит» мне опять было отрадно слышать, но только на мгновение. Сейчас же опять в сердце заползало сомнение и, как червяк, точило его.

— А вы попросите сына вашего, чтобы он не писал запи-

сок арестованным, а то пришлось отнять у него перо и чернила, — добавил генерал.

Я обещала. Добродушие генерала было особенно ценно, так как из рассказов я знала, что он и сам едва не сделался жертвою взрыва, потому что находился на месте катастрофы так близко, что был обрызган кровью. И конечно, при таких условиях мог относиться к предполагаемым виновным более враждебно...

Что касается записки, о которой упомянул генерал, то дело было так: сыну моему передали записку Макарова, шестнадцатилетнего мальчика, которого он никогда раньше не знал, но которому глубоко сострадал, как товарищу по заключению. Макаров спрашивал его совета, как ему держать себя на суде? Ответ сына заключался в том, что раз Макаров пошел на такое дело, то должен умереть спокойно и мужественно. «Что касается нас, — добавлял сын, — то мы будем держаться истины — так как мы к этому делу непричастны; хотя если нас приговорят к смерти — умрем спокойно».

Таково было содержание записки, которую Макаров показал своему казенному защитнику — капитану Обаджиеву, а этот не нашел ничего лучшего, как представить записку начальству. Можно себе представить, какое впечатление произвел этот поступок защитника на обвиняемых...

Получив пропуск, я отправилась наконец в крепость. Меня мучила мысль о том, как много я потеряла времени и как сын тревожится....

На этот раз в карауле был другой офицер, выказавший необычайное рвение: он тщательно обыскал и обнюхал всю привезенную мною пищу и, сказав, что в данную минуту к сыну нельзя почему-то и надо подождать, пустился со мной в разговоры. Поговорив на тему, как неприятно военным, когда среди них, хотя бы и в виде заключенного, затесался статский, он сказал мне, указывая рукой в окно:

— Ведь вот, кажется, и крепость, и окружена со всех сторон, и караул какой, а каналья Фельдман все-таки бежал!

— Почему же каналья? — полюбопытствовала я.

— А как же? Ведь из-за него капитан будет сидеть в крепости...

Я с полной безнадежностью смотрела на говорившего...

Вообще я с любопытством присматривалась к так малознакомым мне нравам военных и к их приемам во время обысков привозимой пищи и одежды. Если в карауле бывал юный, недавно выпущенный офицер, он делал обыск конфузливо и с краской в лице, видимо стыдясь сыска. Но если дежурным

был, что называется, старый служака, то он проделывал его с большим усердием и охотно: перебирал и пересматривал одну и ту же вещь по нескольку раз.

Особенно памятен мне один седоватый уже и не молодой на вид офицер. Его все возмущало: и то, что привозится белье: «вот еще нежности!» — и то, что разрешена своя пища.

— Почему ваш сын не ест казенной пищи? — сердито спрашивал он меня.

— Он не может привыкнуть к ней! — отвечала я.

— Пфа! — сердито фыркал офицер. — «Я сам» (он неподражаемо произносил это «сам»). Я сам ем ее с удовольствием, так ему и подавно брезгать нечего!

Солдаты озлобления не выказывали и, когда я проходила через караульную, вставали и многие снимали шапку...

Наконец меня допустили к сыну. Он меня уж давно поджидал. Я рассказала ему свои мытарства... Он плохо спал эту ночь и был бледен. Однако, узнав, что сегодня приедет жена, оживился и повеселел.

— Лишь бы вы перенесли твердо, — говорил он, — а я к смерти готов и встречу ее спокойно!

— Но может быть, и не приговорят? — робко пыталась я поколебать его убеждение. — Может быть, — выяснится непричастность вас трех?

Он только махнул рукой.

— Выяснится она или нет — пощады ждать нечего. Зачем же тогда военный суд? И зачем здесь Трусевич?

Меня удручали эти сомнения, и сама я была в тревожном состоянии, хотя и бодрилась изо всех сил. На этот раз свидание было короче вчерашнего, благодаря седому офицеру. С каким-то особенным апломбом вошел он в камеру и резко произнес:

— Свидание кончено!

Я долго и горячо обнимала сына, он сказал мне, что суд назначен на двадцать шестое число. Оставалось пять дней!.. Пять дней до суда, до бесповоротного решения, и может быть... пять дней его жизни!.. Холодела кровь от этой мысли, и хотелось броситься на грудь сына и плакать, плакать!.. Выплакать все слезы до единой, все накопившиеся за эти годы слезы!.. Но я не смела плакать... Не смела нарушить мужество сына!

Мы пришли к безмолвному соглашению, не говорить о том, что жгло сердце! Не вспоминали прошедшего, не говорили ни об отце, ни о брате — все тонуло в бездонной пучине нового горя... Я обняла сына и поторопилась уйти, стараясь не

глядеть на сурового, ожидавшего конца нашего свидания офицера.

С момента перехода дела в руки военного прокурора я получила разрешение видеть сына ежедневно, вплоть до суда; но тем не менее приходилось ездить каждый день в штаб крепости за пропуском. В этот же день съехались и наши адвокаты. Кроме приехавшего вместе со мной А. Жданова, приехал Л. Н. Андронников и Н. И. Фалеев из Петербурга и П. Н. Малянтович из Москвы.

С их приездом дело защиты закипело. Быстро распределили они роли и принялись энергично действовать. Подбор защиты оказался необычайно удачен... Один дополнял другого, и у меня не было слов, чтобы достаточно выразить им мою благоговейную благодарность. То были не только защитники, то были настоящие хорошие люди, которые, узнав, что сын мой арестован случайно и к взрыву непричастен, приняли это дело к сердцу, как собственное, и отдали ему на этот период все свое время, помыслы, заботы, все искусство знатоков-юристов и всю силу своих талантов. Ничто не было ими упущено, никакая деталь не осталась неразработанной и все, чего могут достичь знание, воля и энергия было ими проявлено. С такими людьми я чувствовала себя среди друзей, и это много облегчало мое положение.

Однако времени было мало, а адвокатам приходилось брать на себя и неожиданную работу, например странным образом вышло так, что свидетели обвинения были все разысканы, а многим свидетелям защиты — повестки не были вручены. Нужно было их разыскивать и брать на себя самую неблагодарную работу.

Между прочим все мы остановились в отеле «Вецель». Случилось так, что в этом же отеле остановился и приехавший из Одессы военный суд в составе председателя, прокурора и секретаря. И в этом же отеле остановился и будущий директор департамента полиции с сопровождавшим его жандармским офицером. Можно себе представить, как угнетающе действовало на меня это роковое совпадение. Постоянные, невольные встречи то с одним, то с другим лицом, специальным назначением которого было так или иначе решать судьбу сына, постоянное нахождение, благодаря присутствию Трусевича, на лестнице, ведшей в его комнату,— жандармов, сыщиков и чинов полиции, составляло для меня отвратительное мучение. Каждая бумага, которую нес наверх жандарм, казалась мне обвинительным документом против сына, каждый сыщик дразнил нервы... Я не выдержала, и, сговорясь с нашими адвокатами,

мы к вечеру все покинули этот отель и переехали в другой, и я стала немного спокойнее...

Так шли дни, то короткие, как мгновение, то долгие, как вечность, смотря по тому, на какой срок были разрешения на свидания с сыном.

Вообще жилось как в угаре и некогда было опомниться: хлопоты о свидании, закупки для передачи, совещания с защитниками, телеграммы и письма родных — все это составляло вихрь, не оставлявший времени на размышление... Но поздно вечером, когда я выходила на балкон и среди прелестного, освещенного луной ландшафта искала места, где была крепость, душа моя через видимое пространство моря, бухты и зданий неслась к заключенному узнику, и воображение рисовало маленькую комнатку, кровать, табурет, лампочку и томящегося ожиданием и знающего, что его ждет, сына! Я знала, что он бодр, крепок духом и готов... ко всему. И тем не менее душа скорбела об его молодой, загубленной жизни и терзалась невозможностью изменить события!.. А где-то глубоко, на самом дне души, лежало сознание страшного, жестокого неизбежного... Я готова была бы заплатить жизнью, чтобы не знать этого неизбежного, не думать о нем! И ничто на свете не могло освободить меня от этого сознания, ни уничтожить его!..

Наступило двадцать пятое число... Адвокаты работали всю ночь... Все сознавали, что спасение возможно при одном только условии — отсрочке дела... Только она могла сохранить жизнь подсудимых... и адвокаты готовили массу серьезных кассационных поводов.

Чем ближе был момент суда, тем лихорадочнее все действовали. Наше возбуждение затронуло и сына, хотя он был спокойнее всех.

— Да! Это борьба! — сказал он однажды после свидания с своим адвокатом. Глядя на его геройское спокойствие, я стыдилась своей тоски. Накануне суда, отправившись в крепость за пропуском, я была удивлена данным мне разрешением: в билете было сказано: «разрешается свидание до вечерней зари».

Я радовалась. Я не догадывалась, что, ввиду предстоявшего суда и ожидавшегося смертного приговора, мне давали долгое, целодневное свидание, как... последнее! Мне это объяснили друзья после, а тогда я радовалась!..

Мы провели вместе почти целый день. Это был канун суда! Но я старалась показать перед сыном, что в душе моей нет

страха, нет отчаяния... Я смеялась, я рассказывала ему забавные вещи, я говорила о будущем, я верила в настоящее... А сердце ныло, обливаясь кровью, и не могло успокоиться; как вынуть из него глубоко засевший гвоздь: на утро суд! Это сверлило мозг, душу, сердце!

Часов в шесть сын примолк. Затем, глядя в сторону куда-то, но не на меня, сказал грустно, но спокойно:

— А теперь поговорим о неизбежном!

И он стал приготовлять нас к мысли, что смерть его неминуема. Он говорил мягко, нежно... я молчала. Но если бы можно было снять телесные покровы и показать мое сердце!.. Когда он говорил:

— Ты ведь не подашь просьбы о помиловании, прошу тебя.

Я отзывалась:

— Нет, дорогой мой!

— Ты постараешься быть твердой?

— Да, дорогой мой.

— Вспомни, ты не одна! Сколько таких, как ты, матерей! Умереть когда-нибудь нужно, не все ли равно как?

— Да, дорогой мой.

Он нежно поцеловал меня. Наступило долгое молчание...

Наше расставание на этот раз было коротко, чувствовалось, что в эту минуту все лишнее — даже объятия!

И вот наступил день суда!.. Как автомат проделала я все, что требовалось: оделась, сошла вниз, села в экипаж... Казарма, где должен был происходить суд, была в шести верстах; ехали долго. Помню: была дурная погода, ветер кружил пыль, было серо, без солнца, я все видела и все замечала. Точно во мне было два человека: внешний — говоривший, ходивший, смотревший и другой, внутренний — с холодным ужасом в сердце, с застывшей кровью, с единственной мыслью: «казнь». Мне была известна статья, которую применяло обвинение к моему сыну: он признавался главою заговора и главным руководителем... А ведь это была неправда! И доказать эту неправду в то время было невозможно: все сложилось для него как нельзя хуже... Говорившего с ним на бульваре протоиерея Иванова не нашли; при сыне найден был заряженный револьвер. Уверяли даже, что пули этого револьвера были системы дум-дум, что, однако, было вздором и заставило смеяться сына. Конечно, на суде защита потребовала бы экспертов и доказала бы неосновательность этого подозрения, но эта уверенность указывала на предубеждение и была неутешительным признаком. И в глазах всех говоривших со мной я читала сокровенную мысль, которую все тщательно таили... И все окру-

жающее казалось до ужаса ничтожным сравнительно с тем, что должно было совершиться. Мы вошли в казарму, она была полна: солдаты, офицеры, священник, свидетели — наполняли ее всю. И вдруг раздался истеричный плач... То плакала пришедшая на суд сына мать Макарова, простая, покрытая платком женщина. Этот плач ударил меня по нервам: ее слезы — то были мои слезы! Ее горе — мое горе! Никто лучше меня не мог понять ее: наши сыновья сидели на одной и той же скамье подсудимых и их ждала одинаковая участь! Я подошла к ней и горячо ее обняла.

— Не надо плакать! — машинально сказала я.

После мне говорили, что то была ошибка с моей стороны. Что и жандармы, и судьи могли подумать, что я знала ее раньше или что я хотела ее задобрить... Но есть такие минуты, когда человек становится выше рассуждений, выше опасений... Что было мне до того, что думали жандармы?

«Суд идет!» Все встали...

Я посмотрела на председателя: это был старик очень почтенной наружности. Лицо его было серьезно, с оттенком сознания важности минуты. Я посмотрела на прокурора: он был бледен и лицо нервно подергивалось; глаза его были опущены на лежавшие перед ним бумаги. Я посмотрела на судей, их лица не выражали ничего, и их застывшие без малейшего движения фигуры можно было бы принять за манекены за отсутствием признаков жизни.

В зале было несколько жандармских офицеров, с карандашами в руках и бумагой перед собой, готовых записывать все происходящее для «доклада» властям, и все эти военные господа были одеты в парадную форму, в густых эполетах, в аксельбантах, в крестах и орденах, словно они пришли праздновать какое-то торжество, точно это был их пир... и каким скромным пятном среди всего этого блеска казался стол защитников с их простыми, без всяких украшений фраками!.. Но чувствовалось, что сила именно в них, что именно они составляют оплот, о который могут разбиться все предначертания высших властей, и постоянно обращаемые в их сторону взоры присутствовавших доказывали, что это все понимали.

— Господин офицер, введите подсудимых! — произнес председатель.

Я обернулась и стала жадно вглядываться в раскрытую дверь: вдали что-то заблестело. То были обнаженные сабли жандармов, то были штыки конвойных, и среди них легкой, молодой походкой шел мой сын — сын, которого я носила, кормила, воспитала и которого видела теперь шествующим на судбище, где его ждал жестокий приговор! И то, что он мо-

лод, то, что он гордо нес свою голову, что улыбался, что легко бросал под ноги судьям свою жизнь, все это не могло проститься ему! И буря негодования вспыхнула во мне: ведут судить! Но кто, кто довел его до суда?..

Пока меня обуревали такие мысли, сын мой и все обвиняемые вошли в залу. С спокойным лицом, с розой в руках, проходя мимо меня и жены, сын мой улыбнулся нам светлой улыбкой и слегка поклонился... Боже мой, как забилось мое сердце: оно стучало так громко, что председатель с своего места мог бы слышать его.

Председатель, генерал Кардиналовский, видимо, приготовился отнестись к делу добросовестно — он так внимательно слушал, так следил за каждым словом подсудимых...

— Подсудимый... встаньте и скажите ваше имя, отчество и звание!

Громко и ясно прозвучал ответ:

«Потомственный дворянин Петербургской губернии Борис Викторович Савинков».

Ответы других подсудимых были также точны: никто из них не был смущен, никто не терялся.

После их ответов встал присяжный поверенный Фалеев, знаток военных законов, так как сам недавно был военным юристом, и начал доказывать неправильность предания суду генерал-губернатором Каульбарсом, тогда как на основании законов военного положения дело, возникшее при таких условиях, могло быть направлено только адмиралом Чухниным (ныне умершим). Это был наш первый кассационный повод. Прокурор на это заявление язвительно улыбнулся и высказал сомнение в возможности рассуждения, кто должен был предать суду. По мнению прокурора, кто бы ни предал, но раз дело дошло до суда, то и должно быть рассмотрено. Суд удалился для совещания. Во время перерыва сын говорил с товарищами по обвинению и, видимо, говорил нечто ободряющее, так как все они слушали его с улыбкой. Я не сводила с него глаз. И я удивлялась ему. Невозможно было вообразить себе, что этого человека ждет смертный приговор: так хладнокровно относился он к суду над собой. Дивилась я и на жену его, застывшую в проникновенном спокойствии. Но я не была героиней! Я была простой, слабой матерью, больно чувствовавшей и не умевшей подавить в себе эту боль... Эта боль заставляла меня нервно переменять места в ожидании судей, входить и уходить, разговаривать с кем могла только для того, чтобы как-нибудь заглушить эту невыносимую боль, жегшую мне сердце. Тщетно я старалась подражать им, ничего не выходи-

ло... И совещание судей казалось мне бесконечным. А между тем прошло едва несколько минут.

Но вот раздалось обычное:

«Суд идет», — и председатель, садясь в кресло, кратко заявил:

— Суд признал дело слушанием продолжать.

Мое сердце упало: одной надеждой стало менее... И хотя я знала, что у защитников несколько поводов к отложению, но мне стало казаться, что раз суд отказал в первом — значит, не уважит и других.

Но поднялся с своего места Л. Н. Андронников и с большим спокойствием и уверенностью указал суду на резкое нарушение закона, выразившееся в том, что Макаров имел право двухнедельного срока на подачу отзыва на решение судебной палаты о его разумении, между тем с момента этого решения прошло всего четыре дня и таким образом права подсудимого явно нарушены.

Л. Н. Андронников, подавая мотивированную записку об этом нарушении, настоятельно просил дело слушанием отложить впредь до окончания положенного законом срока.

Я взглянула в эту минуту на прокурора и по его лицу догадалась, как неожиданно и существенно для него заявление Л. Н. Андронникова. Он, видимо, не ожидал этого нападения и не подготовился к нему. По крайней мере, возражение его, сказанное едва слышным, смущенным голосом, о том, что раз судебная палата признала Макарова действовавшим в разумении, то, значит, дело должно слушаться, не имело само по себе никакого значения.

Опять мы услышали:

«Суд удаляется для совещания», — и опять началась агония ожидания. На этот раз она была гораздо продолжительнее... Прошло десять минут, двадцать, тридцать — суд все еще совещался.

Но чем дольше продолжалось отсутствие судей, тем больше крепла в душе еще пока не ясная надежда: значит, суд признает заявление важным... Как во сне слышала я отрывочные разговоры волновавшихся военных... Одни говорили: «уважать», другие заверяли «нет». Одни находили в продолжительности совещания признак утвердительный, другие — отрицательный, но все были заинтересованы исходом совещания. Один сын мой был неизменно хладнокровен и равнодушен.

Наконец после почти часового совещания раздалось стереотипное:

«Суд идет!»

Сердце забилось, руки похолодели, в глазах потемнело, и, чтобы удержаться на ногах, я схватилась за спинку стула. В зале наступила мертвая тишина. И среди нее громко и ясно раздался голос председателя, читавшего постановление суда:

«Принимая во внимание, что статья такая-то и такая-то и т. д. и еще раз,

«принимая во внимание, что то-то и то, и то и,

«принимая во внимание»... — уже потому, что председатель не сел, а продолжал читать стоя и что в бумаге было несколько пунктов, — я стала догадываться, что дело получило хороший оборот. И тем не менее, когда он произнес:

«А посему суд признал: дело рассмотрением отложить», — все вокруг меня поплыло и зашаталось, и если бы не спинка стула, за которую я держалась, — я бы упала, но на этот раз уже... — от радости!

Сознание, что благодаря отсрочке являлась надежда на спасение, опьяняла меня...

Конечно, если бы рассуждать последовательно, то ведь это была только кратковременная отсрочка... Но при радости последовательность исключается.

Защитники ликовали, и немудрено: это был небывалый до сих пор случай — отложения дела военным судом. Мы жали друг другу руки, поздравляли... — у близких в глазах стояли слезы счастья... Но я смотрела только на сына, который уходил под конвоем, так же как пришел: спокойно и с высоко поднятой головой... Много толков слышалось вокруг — все привыкли ничего не ждать от военного суда, кроме строгого приговора, и всех поразил такой яркий пример справедливости! Я с глубочайшим уважением посмотрела на старика председателя: он не допустил совершиться неправосудию! Сын потом рассказал мне, что когда они шли обратно в крепость, то Назаров так рассуждал:

«Вот, ведь я полагал после нашего ареста, что нет на свете правды... Ан вижу, что все же она есть! Хоть маленькая — а есть! Старик-то не захотел брать греха на душу — справедливый!»

Не буду говорить о свидании с сыном после суда: есть минуты жизни — слишком интимные, слишком дорогие, чтобы отдать их в общее достояние... Скажу только, что когда я обняла шею сына, шею, которая так близка была к веревке, — мне не хотелось выпустить ее более из моих рук!..

Между тем на другой же день после приговора режим сына изменился к худшему. Точно все власти так были уверены в смертном исходе, что допускали некоторые послабления только ради этого. Теперь же свидания сократили, передачу

уменьшили и вообще очень усилили надзор... Меня это сильно волновало.

К тому же, как всегда бывает после долгого напряжения нервов, наступила реакция: упали силы, ушла энергия... И видя, что здоровье мое окончательно расстроилось, нервы расшатались и вид мой огорчает сына — я решилась для его спокойствия уехать, чтобы поправиться и приготовиться к новому испытанию, то есть к новому суду, неизбежному, как судьба!..

Шестнадцатого июля, из числа в число через два месяца после получения мною роковой телеграммы из Севастополя от защитника Иванова, я, взяв в руки утреннюю газету, прочла большими буквами напечатанное следующее известие: «Бегство политического». Севастополь 16-го июля: Сегодня рано утром из крепостной гауптвахты бежал важный политический арестованный — Борис Савинков при помощи и в сопровождении вольноопределяющегося Сулятицкого».

Бежал!!! Ушел из рук властей! Ушел от замков, запоров, от всякого насилия и произвола!.. Ушел от петли!.. От возможности казни!.. О! Навеки благословенно имя помогшего ему!!

Чувство необъятного счастья наполнило грудь... Спасен! Не надо дрожать за завтрашний день! Не надо ждать суда! Можно заснуть без страшной, неотвязной мысли: казнь! И после долгого, долгого времени сплошного горя в мою жизнь ворвался наконец луч счастья! Но какого относительного счастья!.. И недолгого: к вечеру уже червь сомнения залез в душу и стал подтачивать счастливое настроение: «А если поймают?» Опять знакомое чувство страха охватило меня... Хотелось прорезать пространство и мрак и увидеть, узнать — где он? Что? Кто с ним? Где спасается?

И мучительная тревога поглотила недолгую радость.

Только когда спустя много дней была наконец получена из-за границы почтовая открытка с знакомым словом «привет», с души наконец свалился непомерно тяжелый камень, и в эту ночь я заснула давно забытым сном... покоя!

Через две недели сын мой прислал из Базеля генералу Неплюеву следующее письмо:

Его Превосходительству генерал-лейтенанту Неплюеву.

«Милостивый государь!

Как вам известно, 14-го сего мая я был арестован в г. Севастополе по обвинению в покушении на вашу жизнь и до 15-го июня содержался вместе с гг. Дойниковым, Назаровым и Макаровым на главной крепостной гауптвахте, откуда, по постановлению б. о. п. с. р. партии и при содействии воль-

ноопределяющегося 51 Митавского полка В. М. Сулятицкого, в ночь с 15-го на 16-е июля бежал.

Ныне, находясь вне действия русских законов, я считаю своим долгом подтвердить вам то, что неоднократно было мною заявлено во время нахождения под стражей, т. е. что я, имея честь принадлежать к партии социалистов-революционеров и вполне разделяя ее программу, — тем не менее никакого отношения к покушению на вас не имел, о приготовлениях к покушению не знал и моральной ответственности за гибель ни в чем не повинных людей и за привлечение к террористическому предприятию малолетнего Макарова принять на себя не могу.

В равной степени к означенному покушению непричастны: Ф. А. Назаров и И. В. Дойников.

С совершенным почтением:
Борис Савинков».
Базель
6—9 августа 1906 г.

А в октябре месяце этого же года состоялся второй военный суд над лицами, обвинявшимися в покушении на ген. Неплюева, в лице арестованного уже впоследствии Калашникова и прежних: Макарова, Дойникова и Назарова. Как и следовало ожидать, время охладило пыл страстей и судьи могли спокойно разобраться в следственном материале, откуда и вытек оправдательный по делу покушения всех подсудимых (следовательно, и моего, бежавшего уже тогда сына), за исключением Макарова,— приговор и обвинительный только в принадлежности к социал-революционной партии, чего из подсудимых никто не отрицал.

Спрашивается, за что же мы все близкие обречены были пережить всю эту передрягу, от которой при воспоминании и доныне мороз подирает по коже?

Неужели такие ошибки ничего не говорят власть имущим и не научают, что система сыска весьма не целесообразна; что, отдавая участь людей в невежественные руки, значит плодить прискорбные недоумения, ошибки, а следовательно, и врагов!..

Ведь все обвинение зиждилось только на показаниях сыскных агентов и на их рвении отличиться и получить за проницательность награду! И все обвинение оказалось мыльным пузырем, за который, однако, грозила смертная казнь!

И не прав ли был мой сын, когда предпочел бежать, чем предаться, несмотря на непричастность, сомнительной надежде быть оправданным!

Итак, пришлось пережить эти события... Для меня они

кончились относительно счастливо: мой сын чудом спасся от смерти! Но когда я вспоминаю все пережитые ощущения в ожидании неизбежной, казалось, казни! когда вспоминаю это страшное напряжение — я думаю не о себе!.. Я часто с печалью спрашиваю себя — а те? Те другие? Те, пережившие страшную ночь ожидания казни их детей? Те, дорогие сестры по несчастью, для которых медленно ползли минуты и часы, роковым образом приближая неизбежное, для которых никогда не настанет время забвения той минуты, когда стрелка часов показывала приближение страшного мгновения! И напрасно уверяют палачи, что они только отнимают жизнь за жизнь! Страшная разница есть в том, как умереть?! Внезапно ли, неожиданно ли для самого себя или медленно, высчитывая оставшиеся минуты, нарочно продленные мстительной рукой? И страна, где возможна такая месть, где ни одна мать не может спокойно смотреть вперед на будущее своего ребенка, — эта страна, говорю это с тоскою, — наша родина! Но день настанет! Он настанет — могучий, светлый — день истинной свободы! И если бы не было этой надежды, не стоило бы жить!

Декабрь 1906 г.

Г. В. Плеханов

О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ В РОМАНЕ «ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО»[1]

(Открытое письмо к В. П. Кранихфельду)[2]

Многоуважаемый Владимир Павлович!

Мне хотелось бы сказать Вам несколько слов по поводу Вашего отзыва о романе В. Ропшина «То, чего не было»[3]. Надеюсь, что Вы не откажетесь поместить на страницах «Современного мира» мою статейку.

Названный роман представляется Вам весьма неудачным произведением. В этом случае Вы сходитесь с огромным большинством критиков, писавших о нем. Насколько я знаю, все

[1] Г. В. Плеханов. История в слове./«Библиотека любителей российской словесности». Из лит. наследия/. М., «Современник», 1988.

[2] В. П. Кранихфельд (1855—1918) — русский литературный критик и публицист, автор работ о творчестве Н. Некрасова, Г. Успенского, М. Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, Н. Златовратского, А. Куприна и других.

[3] «Литературные отклики». — «Современный мир», 1912, кн.10.

они отнеслись к нему крайне сурово. Дело дошло до того, что Ропшина обвинили в плагиате. Но этот, почти единодушный, резко отрицательный приговор кажется мне совсем несправедливым. Я предлагаю Вам пересмотреть его.

Начну с технических приемов нашего автора. Г-н Л. Войтоловский говорит:

«Каждая фраза Ропшина, каждое описание имеет не только сродство, но огромную аналогию с Толстым, иногда доходящую на пространстве многих страниц до полного тождества. Его герои не только говорят и думают словами и образами Толстого, они безостановочно повторяют и жесты, позы, движения и чуть ли не каждый вздох. Толстовская фраза поглотила у них все силы души, и вся их жизнь протекает исключительно в том, что они по очереди изображают и имитируют то Андрея Болконского, то Верещагина, то капитана Титова и т. д.».

Этот упрек г. Войтоловского превратился под пером одного из критиков «Нового времени» в обвинение в литературной краже. Конечно, на критиков только что названной газеты не следует обращать внимания. Но с критиком «Киевской мысли» необходимо считаться. И потому я спрашиваю: как же обоснован у него упрек, сделанный им Ропшину, — тот упрек, который Вы, многоуважаемый Владимир Павлович, находитс, как видно, заслуженным?

В фельетоне «Киевской мысли» мы читаем:

«Вот описывается сцена убийства жандармского полковника Слезкина у Ропшина, и вся она встает перед вами, как своеобразно сделанная мозаика, из-под которой выглядывает толстовский узор: сцена убийства Верещагина.

У Толстого: «На длинной шее молодого человека, как веревка, *напружилась и посинела* жила за ухом».

У Ропшина: «Болотов видел, как *напружилось и посинело* белое искаженное лицо швейцара».

У Толстого: «*Руби! Я приказываю!*»

У Ропшина: «*Связать!*» — *отрывисто приказал* Володя».

У Толстого: «Он упал под ноги *навалившегося* народа».

У Ропшина: «Константин *навалился* всей тяжестью на него».

Эти сопоставления совсем не убедительны. Если один из героев Толстого кричит: «Руби! Я приказываю!», а один из героев Ропшина отрывисто приказывает: «Связать!», то можно ли по этому поводу говорить, что Ропшин «всецело имитирует» Толстого? По всей справедливости, решительно невозможно! Точно так же, если у Толстого Верещагин падает под ноги

навалившегося народа, а у Ропшина Константин *наваливается всею тяжестью на швейцара, то отсюда еще очень далеко до преувеличенной «имитации». Наконец, нет решительно никакого основания кричать о такой «имитации» и ввиду того, что у Верещагина «напружилась и посинела жила за ухом», а в романе Ропшина «напружилось и посинело белое искаженное лицо швейцара». Тут, как говорят французы:* Il n'y a pas de quoi fouetter un chat (не за что высечь и кошку).

Так же мало убедительно и следующее сопоставление, делаемое почтенным критиком «Киевский мысли»:

«Описывается у Толстого и Ропшина движение артиллерии:

«Слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий» (Толстой). «Слышался топот копыт и звенящий железный лязг» (Ропшин)».

Чем погрешил здесь Ропшин? Тем ли, что употребил глагол «слышался», или же тем, что позволил себе употребить существительное «топот»?

Л. Войтоловский пишет:

«Я потому придаю огромное значение отдельным словам, что именно в них совершается гласное проявление образа, они выражают собою характер каждой сцены». Это правильно. Характер каждой данной сцены, каждого данного художественного произведения выражается именно «в отдельных словах», вернее — в сочетаниях отдельных слов. Но мы только что видели, как мало оснований для обвинения Ропшина заключается в указанных г. Л. Войтоловским сочетаниях «отдельных слов». Пойдем дальше, поищем более предосудительных сочетаний.

Критик «Киевской мысли» указывает на следующее описание Ропшиным чувств, испытанных его героем Болотовым на баррикаде:

«Стоя под *лучами морозного солнца,* среди белого снега и *веселых, здоровых,* очевидно, вооруженных людей... он *испытывал счастливое и бодрое чувство... И сознание новой, углубленной ответственности перед всей* потрясенной революцией Россией волновало его».

По словам критика, эти строки вызывают в памяти читателя то место у Толстого, в котором описывается настроение офицера перед боем. Вот эти строки:

«...Играли *светом,* как *алмазы, снеговые* горы. Впереди пятой роты шел *высокий, красивый* офицер, *испытывая бодрое чувство жизни... И сознание причастности к огромному, управляемому одной волей* целому волновало его».

В обоих отрывках г. Войтоловский подчеркнул очень много слов. Очевидно, это именно те «отдельные слова», на которых основывается обвинение в преувеличенной «имитации». Но замечательно, что «отдельные слова» здесь ровно ничего не доказывают: они вовсе не до такой степени одинаковы в обоих отрывках, как это думает г. Л. Войтоловский. В самом деле, у Толстого играют светом снеговые горы, а у Ропшина стоит под лучами солнца молодой революционер. Как хотите, а я не вижу тут не только преступного тождества, но даже и сколько-нибудь компрометирующего сходства. Не вижу его и дальше: у Толстого впереди пятой роты идет высокий и красивый офицер, а у Ропшина Болотов стоит на баррикаде среди веселых и здоровых людей. Нужно очень много доброй воли, чтобы открыть здесь «имитацию». С этим, надеюсь, и Вы легко согласитесь.

Но, согласившись с этим, Вы, вероятно, сопоставите последнее предложение выписки из Ропшина с таким же предложением выписки из Толстого и скажете, что здесь уже с полным правом можно говорить об «имитации», так как здесь сходство бросается в глаза. Я спорить не буду. В самом деле, оно здесь велико. И оно заключается не только в отдельных словах и постройке фразы, но, — что самое главное, — в том настроении героев, которое выражается указанными предложениями. Притом же это у Ропшина вовсе не исключительное место. Таких мест у него, — этого нельзя не признать, — очень много. По их поводу можно говорить об «имитации». Но вопрос не в том, есть ли налицо «имитация», то есть по-русски *«подражание»*, а в том, заключается ли в этом подражании что-нибудь предосудительное. А на этот вопрос я категорически отвечаю: тут опять: Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.

Вы прекрасно знаете, многоуважаемый Владимир Павлович, что когда очень крупный талант, — может быть, лучше будет сказать *гений*, — делает своим появлением эпоху в литературе, тогда менее крупные писатели, следующие за ним во времени, подражают ему как в языке, так и вообще в технических приемах. И так бывает не только в литературе. Совершенно то же видим мы и в искусстве. Там тоже не обходится без таких «имитаций». Они совершенно неизбежны и вполне понятны. Кто говорит: «такой-то художник сделал своим появлением эпоху», тот тем самым говорит: «этому художнику стали подражать менее крупные художники». Если бы это было иначе, если бы художественному гению не подражали в течение известного времени (известной *«эпохи»*) менее выдаю-

щиеся художники, то ведь не было бы никакого основания утверждать, что с его появлением началась новая эпоха. Тургенев совсем не похож на Гоголя ни по языку, ни по мотивам своего творчества. А между тем в его первых произведениях встречаются места, неоспоримо свидетельствующие о том, что он подражал Гоголю. Но можно ли было упрекать его за это? Нет! Тут не было вины И. С. Тургенева; тут была только заслуга Н. В. Гоголя.

Флобер тоже мало походил на Бальзака и по языку и по основным мотивам своего творчества. Но, несмотря на это, после выхода «Madame Bovary» критика обвиняла его в подражании Бальзаку. «Quant au Balzac, j'en ai décidément les oreilles cornées» («Что касается Бальзака, то мне им намозолили уши»), — не без юмора писал он Жюлю Дюплану [1]. Можно даже предположить, что под влиянием этих упреков Флобер и задумал написать «Salammbo», то есть такое произведение, которое уже трудно было бы сопоставить с каким-нибудь романом Бальзака [2]. Но он напрасно беспокоился. Бальзак несомненно имел на него большое влияние. И это влияние становилось заметным при чтении «Madame Bovary». Но тут не было вины Флобера. Тут можно было говорить только о заслуге Бальзака. Бальзак, подобно Гоголю, наложил свою печать на целую эпоху.

Упрекая Ропшина в подражании Толстому, говорят, что в своем первом произведении («Конь бледный») он подражал декадентам. Это тоже правда. Но даже и этого нельзя поставить в вину Ропшину. Надо же помнить, что его литературная карьера только начинается. Кроме «Коня бледного», он пока написал только не законченный печатанием роман «То, чего не было». В начале своей карьеры художники нередко *«ищут себя»*, попеременно подчиняясь то одному влиянию, то другому. И тут никакой беды нет. Дело только в том, *ведет ли подобная перемена влияний от низшего образца к высшему или же наоборот*. В первом случае начинающий художник прогрессирует, то есть приближается к той поре, когда сделается настоящим мастером; во втором — идет назад, рискуя заблу-

---

[1] Correspondance; 3-me série. Paris, 1912, p.91. (Переписка; 3-я серия. Париж, 1912, с.91. — *Ред.*)

[2] Le vais tacher de leur tripleficeler quelque chose de rutilant et de queulard (Salammbo ou le rapprochement ne sera pas facile (Постараюсь нагромоздить им что-нибудь такое сверкающее и кричащее («Саламбо» — *Ред.*), чтобы всякое сближение оказалось бы невозможным, — говорит он в том же письме к Дюплану.)

диться, — подобно легендарным пошехонцам, — в трех соснах. Вы легко согласитесь, что сбросить с себя литературное влияние декадентов для того, чтобы попасть под литературное влияние Толстого, значит сделать большой шаг вперед. Тут мы как раз имеем дело с человеком, который, на короткое время приблизившись к знаменитым трем соснам, благополучно ушел от них, направившись в надлежащую сторону. С этим я, со своей стороны, от всей души поздравляю Ропшина.

Я прекрасно понимаю, что в художественном творчестве чрезвычайно много значит *мера*. Легко можно «пересолить» даже в невольном и естественном подражании тому художественному гению, который кладет свою глубокую печать на целую эпоху. А еще легче «опростоволоситься», вознамерившись написать *под такого-то* гениального художника. Ропшина обвиняют, — насколько я понял его критиков, — именно в умышленном писании «под Толстого». Но это обвинение остается и останется совершенно голословным. И надо только удивляться, каким образом оно могло возникнуть. То правда, что в романе Ропшина часто встречаются места, заставляющие вспоминать о Толстом. *Но наличность этих мест достаточно объясняется невольным подражанием.* Я уверен, что если суждено прочитать новое произведение этого, теперь еще только начинающего писателя, то в нем подобных мест будет уже значительно меньше. Начинающий писатель становится менее склонным к невольному подражанию в той самой мере, в какой мужает и крепнет его собственное дарование.

Критика не раз повторяла, что Ропшин сам был деятельным участником событий, описанных в его романе. Я не говорю, что это правда. Но *если* это правда, то ведь тем самым решается вопрос об искренности его, как автора данного романа. Если этот роман является ответом на то или другое мучительное сомнение, выросшее у него под влиянием его практической деятельности, то мы имеем полное право находить ответ ошибочным, но у нас нет решительно никакого основания считать автора романа неискренним. А между тем некоторые критики подозревают его именно в неискренности. Да что я говорю: «подозревают!» Они прямо обвиняют его в шарлатанстве. Где же справедливость?

В «Современном слове» г. Ожигов сказал, что новое произведение Ропшина написано «полярно безучастно». Это поистине изумительно. Уж чего-чего другого, а именно безучастного-то отношения автора к описываемым событиям и нет в этом произведении. В нем все не только пережито, но и глубоко прочувствовано. Оттого-то он и читается публикой, несмотря на отрицательные приговоры критики. Оттого-то он и вы-

зывает негодующие протесты со стороны тех, переживания которых были непохожи на переживания его автора. Своим изумительным отзывом о полярно безучастном характере изложения в романе «То, чего не было» г. Ожигов заставляет меня вспомнить совершенно неожиданное замечание какого-то французского критика о том, что Флобер показал себя в «Madame Bovary» плохим стилистом. Слыша подобные отзывы, остается только развести руками: что поделаешь с людьми, слона-то и не замечающими!

Кстати, об искренности Ропшина. Вы, Владимир Павлович, не без удивления констатируете, что он не оправдывается от возводимых на него обвинений. Но, во-первых, у беллетристов вообще не в обычае вести полемику со своими, хотя бы и крайне строгими критиками. Во-вторых, чем искреннее относится писатель к своему делу, тем труднее ему *захотеть защищаться* от упреков в неискренности, доказывать, что он не фигляр, не шарлатан, не ворона, задумавшая нарядиться в павлиньи перья.

В высшей степени характерно, что у некоторых критиков, неблагоприятно отзывающихся о художественных достоинствах нового произведения Ропшина, встречаются обмолвки, свидетельствующие о том, что произведение это даже и на них производит сильное впечатление. Для примера укажу опять на г. Ожигова. Он утверждает, что «холодный и рассудочный» Ропшин — «не художник», а только «разоблачитель», избравший форму романа. Но он же признает, что Ропшин «умеет заворожить читателя», что в его «романе много движения, много напряжения, много силы». Согласитесь, Владимир Павлович, что беллетрист, вкладывающий в свое произведение «много силы, много напряжения, много движения», беллетрист, «умеющий заворожить читателя», сильно смахивает на *художника*. Г-н Ожигов поясняет, что Ропшин завораживает читателя «потому, что он просто занятный рассказчик, а не потому, что он художник». Мне жаль, что он даже не попытался обосновать это свое пояснение. В чем заключается разница между занятным рассказчиком и художником, скажем между Александром Дюма-отцом и Густавом Флобером? В том, что первый действует на читателя *внешним интересом рассказываемых событий*, а другой «завораживает» его *изображением того, что переживают его герои*. Я не могу не верить собственному признанию г. Ожигова; я вынужден повторить вслед за ним, что он, г. Ожигов, нашел в романе Ропшина *только* занятную фабулу. Но, по моему мнению, Ропшин сделал фабулу своего романа несравненно менее интересной, чем мог бы сделать ее, если бы использовал весь свой богатый практический

опыт. Этот опыт, я думаю, так велик, что, пользуясь им, занятный рассказчик, — а ведь сам г. Ожигов признает Ропшина занятным рассказчиком, — мог бы, пожалуй, заткнуть за пояс самого Дюма с его «Тремя мушкетерами». Но в том-то и дело, что Ропшин вовсе не заботился об интересе *фабулы*, сосредоточив свое внимание на *внутренних переживаниях своих героев*. И если он «завораживает» читателя, то именно потому, что ему удалось художественно изобразить эти переживания, то есть потому, что он — художник.

О находящемся в романе Ропшина описании убийства жандармского полковника Слезкина г. Измайлов отозвался так:

«В нашем распоряжении уже не десятки, а сотни таких рассказов об экспроприациях, политических убийствах и казнях, ночных приходах революционеров и стаскивании приговоренных с теплой постели.

Одни хотели нас испугать, другие — растрогать, третьи — поразить кровавым бессмыслием, четвертые — злорадствовали. В большинстве случаев перед нами был лубок с преобладанием яркого красного цвета — крови и огня браунингов.

У Ропшина и здесь то преимущество, что он не играет на внешних эффектах».

Г-н А. Измайлов был безусловно прав. Он был бы также безусловно прав, если бы распространил свой отзыв на весь роман Ропшина, потому что в самом деле во всем этом романе совершенно отсутствует игра на внешних эффектах. Ропшин пренебрегает ими. И, конечно, очень хорошо делает.

У Фейербаха есть афоризм: «Ты нападаешь на мои недостатки, но знай, что ими обусловливаются мои достоинства» [1]. Ропшин может повторить этот афоризм, обращаясь к своим критикам... если найдет когда-нибудь нужным объясниться с ними. Достоинства его романа обусловливаются его недостатками или, точнее сказать, тем недостатком, на который до сих пор больше всего нападала критика. В его манере изложения слишком заметно толстовское влияние. Это недостаток, показывающий, что Ропшин как писатель еще не вполне «нашел самого себя». *Но тот же самый Толстой, влияние которого так сильно отразилось на свойственной теперь Ропшину манере изложения, научил его пренебрежению ко внешним эф-*

---

[1] Ручаюсь только за смысл этого афоризма, а не за «отдельные слова».

фектам и полной правдивости в процессе творчества. Почему наша строгая критика не сочла нужным считаться с этим?

Ропшин подчинился влиянию Толстого. Это правда. Он *слишком* подчинялся ему. Это тоже правда. И это — недостаток. Но испытанное Ропшиным влияние Толстого *как художника* было так благотворно, что обусловленные им недостатки изложения, — то есть чисто *внешние* недостатки, — с избытком выкупаются редкими достоинствами *содержания*, то есть внутренними достоинствами. Вот что уже теперь можно сказать с полной уверенностью.

Чем более был прав г. А. Измайлов в своей статье, напечатанной в № 13 081 «Биржевых ведомостей», тем более странное впечатление производит его новое суждение о романе Ропшина. (См. статью «Год кровавого тумана» в № 13 281 той же газеты.)

«Теперь, когда перед нами уже две трети романа Ропшина, — пишет г. Измайлов, — можно сказать, что ожидания, возлагавшиеся на очевидца и участника рассказываемых событий, далеко не оправдались. Очевидец и участник нашел на своей палитре краски, в сущности не более яркие, чем те, какими написаны десятки картин недавних беллетристов, по догадке воспроизводивших дни недавнего кровавого тумана».

Разве же дело тут в яркости красок? Заботу о ней можно спокойно предоставить беллетристам, гоняющимся за внешними эффектами. Дело во внутренней правдивости изложения. А что касается до нее, то достаточно сопоставить роман Ропшина, например, с «Сашкой Жегулевым» Андреева, чтобы понять, какое огромное преимущество дает художнику то обстоятельство, что он не только по догадке воспроизводит известные переживания. У Андреева «ярких красок» гораздо больше, нежели у Ропшина. Зато у Ропшина гораздо больше художественной правды. Отчего? Оттого, что у него не *одна «догадка»*.

У г. Измайлова выходит так, что художник «воспроизводит» явления *или «по догадке», или же «по памяти»*. При этом для воспроизведения «по памяти» будто бы необходимо, чтобы художник сам пережил мельчайшие подробности изображаемых им событий. Г-н А. Измайлов рассуждает так:

«Когда Ропшин передает вам о странном чувстве, с каким затравленный беглец попадает пальцами в холодную и скользкую плесень моха на дровах, когда замечает, что во время стрельбы пальцы его дрожат и т. д., — вы видите, что это детали, скорее воспроизведенные по памяти, чем придуманные воображением беллетриста».

Вы согласитесь, Владимир Павлович, что если бы это и

было так, то здесь еще не было бы ровно ничего худого. И уж ни в каком случае это не доказывало бы, что Ропшин не художник. Совершенно наоборот! Если, переживая такие драматические положения, в которых дело идет об его жизни, человек умеет смотреть на себя со стороны, замечая и запоминая подробности, вроде указанных г. Измайловым, то в нем сидит художник. Это еще не все. Художнику нет никакой надобности лично переживать мелкие подробности описываемых им событий. Он может «по догадке» вполне правильно воспроизвести многие из них. Однако если «догадка» дает художнику возможность верно воспроизвести мелкие *подробности* описываемых явлений, то она никогда не может заменить собою опыт там, где задача заключается в верном воспроизведении общего характера тех переживаний, которые выпадают на долю участников этих событий. Тут с одной догадкой уйдешь недалеко. И тут, при недостатке опыта, поневоле станешь дорожить внешними эффектами, поневоле начнешь выезжать на «яркости красок». Положим, большой художник, не участвовавший в известных событиях, до некоторой степени может «догадываться» о том, что пережили их участники, если сам он испытал *сходные* переживания. Но это неоспоримое значение аналогии является только лишним свидетельством в пользу важности *личного опыта*. Возьмем хоть военные сцены, встречающиеся в сочинениях Л. Толстого. Многие и многие мелкие подробности этих сцен, наверно, написаны только «по догадке». Но общий характер переживаний их участников только потому и производит впечатление поразительной правдивости, что наш великий романист *сам испытал подобные переживания*. И если бы кто-нибудь стал на этом основании умалять его заслугу как художника, то показал бы себя не весьма проницательным критиком.

Искренность Ропшина стоит вне всякого сомнения; его художественное дарование неоспоримо; недостатки *изложения*, причиненные огромным влиянием на него Толстого, с избытком выкупаются у него достоинствами *художественного содержания*. Г-н А. Измайлов утверждает, «не боясь ошибки», что события роман «То, чего не было» не создал и не создаст. Это верно только наполовину. Новое произведение Ропшина *не создаст события, потому что оно уже создало его*. О нем пишут статьи; о нем читают рефераты; о нем спорят; его хвалят, его бранят; против него «протестуют» в печати. А это и значит, что он представляет собою крупное литературное событие. Что бы ни говорила критика, роман «То, чего не было» имеет несомненный и большой успех. И это отнюдь не «успех скандала». За это служат, — или по крайней мере должны и

вполне могут служить, — достаточным ручательством важность поднятых в нем вопросов и серьезность отношения к ним со стороны автора. Важность эта так велика, что, в связи с совершенно неоспоримой серьезностью названного отношения, критика, рассуждая о романе Ропшина, должна выйти за пределы чисто эстетических суждений. Н. А. Добролюбов считал главной задачей критики «разъяснение тех явлений действительности, которые вызвали известное художественное произведение». Вот на такое-то разъяснение и наталкивает роман «То, чего не было». Протест, с которым выступила против него довольно большая группа лиц, сочувствующих направлению журнала «Заветы», вызван был, разумеется, не эстетическими соображениями. Группа эта протестовала против романа Ропшина потому, что он подает, по ее мнению, повод к ложному истолкованию изображаемых в нем явлений действительности. И она, — нужно признать это, — состоит из людей, имеющих очень много данных для суждения о том, верно или неверно изображены Ропшиным переживания той среды, к которой принадлежат Болотов, Володя, Фрезе, Ольга и др. Но суждения этого рода всегда имеют лишь относительное значение. Если упомянутая группа протестует против романа «То, чего не было», то это означает только то, что лица, ее составляющие, не имели таких переживаний, какие воспроизведены в нем. А так как по всему видно, что переживания эти воспроизведены в нем вполне искренно и правдиво, то мы можем изо всего этого сделать лишь тот вывод, что они представляли собою довольно исключительное психологическое явление даже между людьми, державшимися лозунга: «В борьбе обретешь ты право свое!» Этот неизбежный вывод необходимо запомнить. Но исключительные явления бывают подчас весьма знаменательными. К таким явлениям, весьма знаменательным при всей своей исключительности, принадлежат и переживания, описанные в романе «То, чего не было». В двух до сих пор напечатанных частях, — а я, как это само собою разумеется, только о них и говорю, — психологический интерес сосредоточивается вокруг личности Андрея Болотова, который является настоящим Гамлетом, волею судеб попавшим в ряды борцов за «право свое». Скажу больше. По части гамлетизма Болотов мог бы дать довольно много очков вперед самому Гамлету. Правда, его гамлетизм не мешает ему действовать крайне решительно. Но именно когда он действует, и обнаруживается столь характерный для Гамлета разлад между умом и волей. Воля толкает Болотова на борьбу. Борьба доводит его до насильственных действий. А насильственные действия вызывают в его уме вопрос: может ли быть оправдано насилие?

И если — да, то чем именно? Вопрос этот, как горе-злосчастье, неотступно преследует Болотова. Он идет за ним и на баррикады, и на революционный съезд, и в террористические предприятия. Болотов до такой степени поглощен им, что начинает смотреть, как на ненужные и скучные пустяки, на все, что не касается этого вопроса. Мимоходом сказать, этим и надо объяснить тот свойственный роману Ропшина оттенок, которым был вызван протест, напечатанный в 8-м номере «Заветов». Лица, подписавшие его, как видно, думают, что сам Ропшин смотрит на известные события глазами Болотова. Они забыли, что художник не отвечает за взгляды и чувства своего героя.

Болотову вполне естественно приписывать важное значение только тому, что могло бы разрешить «проклятый вопрос» о праве на насилие. Против этого протестовать нельзя. Можно сказать, пожалуй, что между людьми, боровшимися за «Землю и волю» в начале XX века, гамлетов не существовало. Но это опровергается уже тем фактом, что Болотову была отведена весьма важная роль в романе, написанном одним из людей, весьма сведущих по части психологии революционеров известного направления. Более или менее посторонний читатель может отнестись с полным беспристрастием к этому разногласию между Ропшиным и лицами, подписавшими протест. Протестанты правы в том смысле, что известные события были в действительности не таковы, какими представлялись они Болотову сквозь призму его гамлетизма. Ропшин всецело прав как художник: он не мог, изображая Гамлета, приписать ему такие суждения о событиях, которые не соответствовали бы его — настроению. Стало быть, спорить тут не о чем. Но весьма полезно будет обратить внимание вот на какие стороны дела.

Болотов — Гамлет. Отличительный признак гамлетизма состоит в разладе ума и воли. Но что касается собственно ума, то, во-первых, не все гамлеты умны в одинаковой степени, а во-вторых, даже самые умные гамлеты изменяют свои взгляды на вещи в зависимости от хода культурного развития человечества. Прототип всех гамлетов, Гамлет, принц Датский, верил в привидения, а вот Болотов, вероятно, не верит в них. По крайней мере не верил в них в 1905—1906 годах. Точно так же Гамлет, принц Датский, не думал над вопросом о том, чем может быть оправдано то насилие, к которому прибегает общественный человек в критические минуты своего развития, а Болотов стал биться над этим вопросом, как только пришлось ему принять участие в важных исторических событиях. Но когда Ропшин изображает нам происходящий в душе его ге-

роя мучительный процесс исканий ответа на вопрос о том, чем может быть оправдано насилие, он приписывает Болотову такие теоретические соображения, которые не могут не показаться устарелыми для нашего времени. Ночью на московской баррикаде, после убийства жандармского полковника Слезкина, он ведет такой разговор с одним из своих товарищей, Сережей:

«Нас расстреливают, вешают, душат... Так. Мы вешаем, душим, жжем... Так... Но почему, если я убил Слезкина, — я герой, а если он повесил меня, он мерзавец и негодяй?.. Ведь это же готтентотство... Одно из двух: либо убить нельзя, и тогда мы оба, Слезкин и я, переступаем закон, либо можно, и тогда ни он, ни я — не герои и не мерзавцы, а просто люди, враги...

...Скажите мне вот что: допускаете ли вы, что этот убитый Слезкин не из корысти, а по убеждению преследовал нас? Допускаете ли вы, что он не для себя, а для народа, именно для народа, заблуждаясь, конечно, считал своим долгом бороться с нами? Допускаете ли вы это? Да?.. Ведь может так быть? Ведь может же быть, что из сотни, из тысячи Слезкиных хоть один найдется такой? Ведь может быть? Да?.. Ну, тогда где же различие между мною и им? Где? И почему он мерзавец? По-моему, либо убить всегда можно, либо... либо убить нельзя никогда...»

Это, несомненно, очень серьезный вопрос. Уже тот факт, что вопрос этот играет огромную роль во внутренней жизни одного из самых главных героев, — чтобы не сказать: самого главного героя, — романа «То, чего не было», должен был бы заставить критику вдумчиво отнестись к этому произведению Ропшина. Потребность в нравственном оправдании борьбы — не шуточное дело. Ее прекрасно понимали те мыслители, которым приходилось заниматься философией человеческой истории. Еще Гегель говорил, что историческое движение нередко представляет нам враждебное столкновение двух правовых принципов. В одном принципе выражается божественное право существующего порядка, право установившихся нравственных отношений; в другом — божественное право самосознания, идущего вперед, науки, делающей новые завоевания, субъективной свободы, восстающей против устарелых объективных норм. Взаимное столкновение этих двух божественных прав есть истинная трагедия, в которой гибнут подчас самые лучшие люди. (Гегель указывал на Сократа.) Но если в этой трагедии есть гибнущие, то нет виноватых. Гегель говорил, что каждая сторона права по-своему.

Как видите, многоуважаемый Владимир Павлович, это со-

поставление русского террориста с немецким абсолютным идеалистом приводит к результату, на первый взгляд довольно странному. Выходит, будто Болотов и Гегель говорят одно и то же: с точки зрения права, нет различия между новатором и защитником старого порядка, если оба они одинаково преданы своим убеждениям. Но это кажется именно только на первый взгляд.

Болотов до самой своей смерти так и не находит ответа на мучивший его вопрос: «Где же различие между мною и им?» Правда, он умирает с криком свободы на устах. Но подобные вопросы криками не решаются. Для их решения требуется не самоотверженная готовность умереть, — разумеется, весьма почтенная на своем месте, — а понимание исторического процесса. Тот взгляд на этот процесс, к которому пришел великий немецкий идеалист, разрешал тяжбу между двумя божественными правами с помощью критерия, основанного уже не на правовых, а на философско-исторических соображениях. Каждый искренний борец за свои убеждения прав по-своему. С этой стороны он нисколько не уступает своему противнику, если тот отличается такою же, как и он, искренностью. Но, одинаково с ним правый по-своему, — то есть с точки зрения тех нравственных и правовых убеждений, в которых он воспитывался, — он может далеко уступать ему в правоте или превосходить его в ней с точки зрения общего хода культурного развития человечества. «Божественное право» *защиты* данного общественного порядка гораздо ниже «божественного права» его *устранения* всюду, где порядок этот отжил свое время и, задерживая общество в его поступательном движении, является для него источником многих и разнообразных бедствий. Чем многочисленнее и разнообразнее эти бедствия, тем более право его защиты утрачивает свое «божественное» содержание, тем более превращается оно в одну только видимость, в простой призрак права. Поняв это, новаторы могут со спокойной совестью вести свою борьбу с консерваторами. Ни один из них не имеет досточного теоретического основания для того, чтобы спрашивать себя: «Где же различие между мною и им?» Они знают, где это различие. Они должны знать, в чем состоит оно.

Так выходит по Гегелю.

А вот Болотов не знает. Только потому он и бьется над своим вопросом. Почему же не знает? Вероятно, потому, что недостаточно вдумался в тот исторический процесс, ходом которого вызывается общественная борьба и определяются ее задачи.

Раз заговорив о Гегеле, я поневоле вспоминаю спор, веден-

ный нами, марксистами, с Михайловским и с другими сторонниками субъективизма в половине девяностых годов. Они подсмеивались тогда над пристрастием правоверных марксистов к «метафизику» Гегелю. А теперь выходит, что старый немецкий «метафизик» мог очень и очень пригодиться людям, собиравшимся принять деятельное участие в общественной жизни России. Недаром Герцен называл его философию алгеброй революции. Кто вдумался в эту философию, кто изучил эту алгебру, тот или совсем не пойдет защищать данную идею, или, ополчившись на ее защиту, не станет спрашивать себя, столкнувшись лицом к лицу с защитником противоположной идеи: «Где же различие между мною и им?» Он знает, где его различие; ему известно, в чем состоит оно.

Как видите, гамлетизм Болотова вызвал во мне воспоминание о наших литературных битвах с Н. К. Михайловским и его единомышленниками. Я, конечно, убежден в правильности тех теоретических соображений, которые высказаны мною по поводу этого воспоминания. Но было бы очень плохо, если бы эти теоретические соображения сделали меня несправедливым, а я был бы несправедлив, — и даже, пожалуй, очень несправедлив, — если бы упустил из виду *психологическую* сторону дела. На нее-то я и хочу теперь обратить внимание.

Рассуждения Болотова очень слабы с точки зрения теории. Это не подлежит сомнению. Но если бы он был в тысячу раз более сильным теоретиком, то и тогда он, может быть, не избежал бы гамлетизма. Он находится в совершенно исключительном положении. Его взгляды привели его к убеждению в необходимости «террора». А всякий или почти всякий удачный террористический акт имеет две стороны. Человек, его совершающий, во-первых, жертвует своей жизнью, во-вторых, лишает жизни то лицо, против которого направлено террористическое покушение. Пока он, — я, разумеется, имею в виду честного, преданного своей идее человека, — только еще собирается совершить террористический акт, он рассматривает его преимущественно под углом риска своей собственной жизнью. И тогда террористическое действие представляется ему безусловно похвальным. А когда действие совершено, когда пролита кровь, когда при этом, как это случается нередко, страдают посторонние, совершенно ни в чем не повинные люди, тогда террорист видит обратную сторону медали, — он видит, что террористическое действие не может не выйти за пределы самопожертвования.

Так случилось по крайней мере с Болотовым. И когда он увидел обратную сторону медали; когда он убедился в том, что не все — самопожертвование в террористическом действии, в

его уме возникли такие вопросы, которые показались ему теперь гораздо более трудными, нежели прежде, когда для него речь шла о пожертвовании своей собственной жизнью. Это необходимо понять, необходимо отметить, что если, решая эти вопросы при совершенно исключительных обстоятельствах, Болотов делает теоретические ошибки, то он в то же самое время обнаруживает большую человечность своего характера. И это крайне важно. Я уверен, что те люди, которые отправили на тот свет Герценштейна, не страдали гамлетизмом и не совершали тех теоретических ошибок, в которых я упрекаю Болотова. Они вообще, наверно, не имели болотовских переживаний. Но ведь это делает Болотову такую же честь, как, например, то, что он не похож на гиену. Это показывает, в чем заключается разница между красным террором, с одной стороны, и белым — с другой: один практикуется людьми, способными глубоко чувствовать и честно, хотя подчас и ошибочно, думать; за другой берутся джентльмены, не имеющие ни чувства в своем загрубелом сердце, ни мысли в своей неразвитой голове. Итак: Si ambo idem faciunt, non est idem [1].

Роман Ропшина давал нашей передовой критике прекрасный случай указать на эту весьма поучительную разницу. Она не воспользовалась этим случаем, да, как видно, и не нашла в указанном романе достаточного психологического материала для проведения этой параллели. Кто в этом виноват? Конечно, не Ропшин. Нельзя винить его за то, что критики нашли «разоблачения» на тех страницах, на которых художественно изображались переживания, *во всяком случае* заслуживавшие бережного и, — скажу прямо, — почтительного к ним отношения. Переживания эти не фраза, не пустая выдумка, это — целая трагедия, — одна из тех трагедий, которые «очищают» зрителя (чтобы употребить здесь известное выражение Аристотеля), заставляя его верить во внутреннюю красоту если не всей человеческой природы вообще, то по крайней мере природы некоторой части человечества.

Вы знаете, что я совсем не террорист; но именно потому, что я не террорист, я считал себя обязанным до конца высказать свой взгляд на переживания сделавшего большие теоретическое ошибки террориста Болотова.

Главная мысль трагедии, переживаемой Болотовым нашего времени, может быть выражена несколько видоизмененными словами Некрасова: «Захватило их трудное время не готовыми

---

[1] Если двое делают одно и то же, получается не одно и то же *(лат.)* — *Ред.*

к тяжкой борьбе». Они достаточно подготовились к ней только с нравственной стороны. Тут они показали примеры несомненнейшего героизма. Но у этих героев было, как у героического юноши Ахиллеса, свое уязвимое место. Их ахиллесовой пятой была неудовлетворительность тех теоретических *«заветов»*, которыми они подкрепляли и оправдывали свое стремление к практической деятельности. И тут не поправишь дела никакими протестами. Тут необходим серьезный, — можно сказать самоотверженный, — пересмотр теоретических заветов. Редакция журнала, печатающего роман Ропшина, отвечает на опубликованный ею в 8-й книжке протест группы сочувствующих ей лиц указанием на необходимость новой теоретической работы. В этом как будто слышится сознание ею нужды в пересмотре старых заветов. Выражается оно, между прочим, и в том, что редакция отворяет двери журнала даже для таких новых сотрудников, как г. Л. Шестов. Гостеприимство весьма похвально. Но если в заветах, унаследованных от Михайловского, была своя слабая теоретическая сторона, то поправят дело, конечно, не господа Шестовы, от которых с досадой отмахнулся бы обеими руками сам Михайловский.

Где же искать выхода? Выход будет дан только той теорией, которая правильно разрешит вопросы, поднятые в романе и романом «То, чего не было». Это может сделать вполне удовлетворительным для наших дней образом только современная нам «алгебра революции». Субъективизм никогда не мог справиться с такими задачами, а теперь он слишком одряхлел для того, чтобы браться за них.

Прошу заметить: теперь речь идет у меня уже не о Болотове и не о каком-нибудь другом герое романа «То, чего не было», а об его авторе.

Не кто-нибудь из его героев, а именно он сам, описывая их переживания и, — что в данном случае много важнее, — их действия, выражает тот же самый взгляд на роль личности в истории, который значительно раньше был высказан Толстым в «Войне и мире». Его теоретическая мысль совершенно порабощается здесь Толстым. Он потому и склонен повторять «отдельные слова» Толстого, что они представляются ему наилучшим выражением наиболее правильного взгляда на то, какое значение могут иметь сознательные усилия людей в ходе великих исторических событий. Сущность этого взгляда состоит в том, что «нам не дано знать», что нас ведет какая-то высшая сила, что на деле сознательные усилия людей обыкновенно ничего не значат, ни к чему не приводят и т. п. Но это — чистейший фатализм. И вот перед нами вырастает новый вопрос, — роман Ропшина потому-то и представляет собою

крупное событие в нашей литературе, что им возбуждается много вопросов, — вырастает вот какой вопрос: как же это случилось, что часть тех людей, образ мысли которых представляет собою, казалось бы, прямую противоположность фатализму, приходят к фаталистическим выводам, когда история берет на себя труд проверить их теоретические взгляды?

Этот вопрос опять заставляет нас обратиться к тем идейным заветам, символом которых служит портрет Н. К. Михайловского, напечатанный, вместо вступительной статьи, в первой книжке журнала «Заветы». Идейные заветы Михайловского и его ближайших единомышленников заключались, между прочим, в отрицании материалистического объяснения истории. Но только это объяснение и способно разрешить антиномию между сознательностью и стихийностью в процессе исторического развития. Только оно и способно окончательно справиться с той фаталистической философией истории, с которой мы встречаемся в «Войне и мире» Толстого и которую Ропшин ошибочно принял за ответ на вопросы, вызванные в нем недавним периодом революционного возбуждения в России. Верный идейным заветам субъективистов, Ропшин отверг материалистическое объяснение истории и... вслед за Толстым произнес свое ignoramus [1]. Но его ignoramus применимо не ко всем, а лишь к некоторым. Напрасно думает он, что человеческий разум вообще не способен предвидеть ход исторических событий и тем самым направить их к сознательной цели. Вспомним хоть боевые события, описанные в «Войне и мире». Если они почти всегда опровергали расчеты немецких и русских архистратегов, то они почти всегда оправдывали соображения и расчеты Наполеона. Это происходило оттого, что Наполеон гораздо глубже названных стратегов понимал объективное положение дел. То же и с новаторами в других областях. В одних странах события смеются над расчетами новаторов, а в других оправдывают их. Расчеты нынешних немецких новаторов, наверное, будут, «*в случае чего*», оправданы событиями. Это потому, что немецкие новаторы умеют пользоваться материалистическим объяснением истории, потому что они хорошо изучили «алгебру революции».

Мне очень хотелось бы ошибиться, но я боюсь, что Ропшин никогда не обратит своего умственного взора в том направлении, в каком только и можно искать решения вопросов, им же самим выдвинутых в его романе. Слишком уж мало подготовлен он старыми идейными заветами к усвоению совершенно

---

[1] мы не знаем (*лат.*). — *Ред.*

трезвого взгляда на движущие силы общественных событий. Скажу прямо: иногда в его рассуждениях мне чуялось присутствие мистической жилки. А его Сережа — настоящий мистик. Хорошо сделал Ропшин, что скоро отправил на тот свет этого опасного человека: он мог бы наделать большой беды в его романе; мог, например, заговорить языком Мережковского.

Мистическая струйка в романе «То, чего не было» вызывает во мне опасение того, что, отвернувшись от литературной манеры декадентов, Ропшин не совсем отвернулся от их теоретических взглядов. Было бы очень жаль, если бы люди с девизом «в борьбе обретешь ты право свое!» вздумали подкреплять свои практические стремления Евангелием от декаданса. Но я замечаю, что я начал говорить в сослагательном наклонении, а с меня пока довольно изъявительного. Заключаю свое письмо тем же, чем я его начал: очень желательно было бы, чтобы наша критика пересмотрела свой приговор о романе Ропшина, а что более всего желательно, так это то, чтобы она, рассуждая об этом романе, не ограничивалась придирчивым, несправедливым и, в сущности, бессодержательным указанием на «имитацию» Толстого, а вспомнила совет Добролюбова «толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения, не навязывая, впрочем, автору никаких заранее сочиненных идей и задач».

Я потому обращаюсь к Вам, Владимир Павлович, опровергая неблагоприятные отзывы критики о романе Ропшина, что Вы, как мне показалось, вполне согласны с ними. А мне хотелось бы, чтобы в Вашем лице «Современный мир» внимательнее отнесся к тому литературному явлению, которое своим богатым и правдивым содержанием заслуживает очень большого внимания, особенно со стороны людей, разделяющих основные положения марксизма.

Крепко жму руку.

Г. Плеханов

СОДЕРЖАНИЕ

Ропшин В.

Р73 То, чего не было: Роман/В. Ропшин (Б. Савинков); Вступ. статья Ю. Давыдова.— М.: Худож. лит., 1990.— 399 с. (Забытая книга).

ISBN 5-280-01326-9

Роман «То, чего не было» В. Ропшина, принадлежащий перу одного из лидеров партии эсеров, организатору многих террористических актов Борису Савинкову (1879—1925), посвящен революционным событиям 1905—1907 гг.

В однотомник включены (раздел «Приложение») воспоминания матери Б. Савинкова С. А. Савинковой (1855—?) «Годы Скорби» и «На волос от казни», а также статья Г. В. Плеханова (1856—1918) «О том, что есть в романе «То, чего не было».

Р $\frac{4702010101\text{-}175}{028(01)\text{-}90}$ без объявл. **ББК 84Р1**

В. Ропшин

(Борис Викторович Савинков)

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО

Редакторы *Ю. Розенблюм, О. Ларкина*
Художественный редактор *Г Масляненко*
Технический редактор *А. Кашафутдинова*
Корректор *И. Ломанова, Л. Волкова*

ИБ № 6034

Сдано в набор 25 07.89. Подписано в печать 31.01.90.
Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. № 2.
Гарнитура «Тип таймс». Печать высокая.
Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. л. 22,83.
Тираж 100 000 экз. Изд № 1-3674
Заказ № 2842. Цена 2 р. 50 к.

Набрано на ПЭВМ в ордена Трудового Красного Знамени издательстве «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диапозитивы изготовлены в МФЦ издательства «Юридическая литература» 121069, Москва, Качалова, 14.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28


2 р. 50 к.